ВПЕРВЫЕ ПОЛНОСТЬЮ

ИЛЬЯ ИЛЬФ · ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ



ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ

Annotation

И. Ильф и Е. Петров завершили роман «Двенадцать стульев» в 1928 году, но еще до первой публикации цензоры изрядно сократили, «почистили» его. Правка продолжалась от издания к изданию еще десять лет. В итоге книга уменьшилась почти на треть. Публикуемый ныне вариант — первый полный — реконструирован по архивным материалам. Книга снабжена обширным историко-литературным и реальным комментарием.

- Илья Ильф, Евгений Петров
  - Легенда о великом комбинаторе,
  - Часть первая
    - ГЛАВА ПЕРВАЯ
    - Глава II
    - ГЛАВА ВТОРАЯ
    - Глава IV
    - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
    - Глава VI
    - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
    - Глава VIII
    - Глава IX
    - ГЛАВА ПЯТАЯ
    - Глава XI
    - ГЛАВА ШЕСТАЯ
    - Глава XIII
    - ГЛАВА СЕДЬМАЯ
    - Глава XV
    - ГЛАВА ВОСЬМАЯ
  - Часть вторая «В Москве»
    - ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
    - Глава XVIII
    - ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
    - Глава XX
    - Глава XXI
    - ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
    - Глава XXIII

        - ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
        - Глава XXV
        - ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
        - Глава XXVII
        - Глава XXVIII
        - ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
        - Глава XXX
        - Глава XXXI
        - ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
        - Глава XXXIII
    - Часть третья
        - ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
        - Глава XXXV
        - ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
        - Глава XXXVII
        - ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
        - Глава XXXIX
        - ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
        - Глава XLI
        - ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
        - Глава XLIII
- notes
    - Часть первая
        - Глава I
            - 1
            - 2
            - 3
            - 4
            - 5
            - 6
            - 7
            - 8
            - 9
            - 10
            - 11
            - 12
            - 13
            - 14
            - 15

- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- Глава II
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
- Глава III
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39
  - 40
  - 41
  - 42
  - 43
  - 44
  - 45
  - 46
- Глава IV
  - 47
  - 48
  - 49
  - 50
  - 51

  - 52
  - 53
  - 54
  - 55
  - 56
  - 57
  - 58
  - 59
  - 60
- Глава V
  - 61
  - 62
  - 63
  - 64
  - 65
  - 66
  - 67
  - 68
  - 69
  - 70
  - 71
  - 72
  - 73
  - 74
- Глава VI
  - 75
  - 76
  - 77
  - 78
  - 79
  - 80
  - 81
  - 82
  - 83
  - 84
  - 85
  - 86
  - 87
  - 88

    - 89
    - 90
    - 91
    - 92
    - 93
    - 94
    - 95
    - 96
    - 97
    - 98
- Глава VII
    - 99
    - 100
    - 101
    - 102
    - 103
    - 104
    - 105
    - 106
    - 107
    - 108
    - 109
    - 110
    - 111
    - 112
    - 113
    - 114
    - 115
    - 116
    - 117
    - 118
- Глава VIII
    - 119
    - 120
    - 121
    - 122
    - 123
    - 124
    - 125

- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- Глава IX
  - 132
  - 133
  - 134
  - 135
  - 136
  - 137
  - 138
- Глава X
  - 139
  - 140
  - 141
  - 142
  - 143
  - 144
  - 145
  - 146
  - 147
  - 148
  - 149
  - 150
  - 151
  - 152
- Глава XI
  - 153
  - 154
  - 155
  - 156
  - 157
  - 158
  - 159
  - 160
  - 161

    - 162
    - 163
    - 164
- Глава XII
    - 165
    - 166
    - 167
    - 168
    - 169
    - 170
    - 171
    - 172
    - 173
    - 174
    - 175
    - 176
    - 177
    - 178
    - 179
    - 180
    - 181
    - 182
- Глава XIII
    - 183
    - 184
    - 185
    - 186
    - 187
    - 188
- Глава XIV
    - 189
    - 190
    - 191
    - 192
    - 193
    - 194
    - 195
    - 196
    - 197

        - 198
    - Глава XV
        - 199
        - 200
        - 201
        - 202
        - 203
        - 204
        - 205
        - 206
        - 207
        - 208
        - 209
        - 210
        - 211
        - 212
        - 213
    - Глава XVI
        - 214
        - 215
        - 216
        - 217
        - 218
        - 219
        - 220
        - 221
        - 222
- Часть вторая
    - Глава XVII
        - 223
        - 224
        - 225
        - 226
        - 227
        - 228
        - 229
        - 230
    - Глава XVIII
        - 231

    - 232
    - 233
    - 234
    - 235
    - 236
    - 237
    - 238
    - 239
    - 240
    - 241
    - 242
    - 243
    - 244
    - 245
    - 246
    - 247
    - 248
    - 249
- Глава XIX
    - 250
    - 251
    - 252
    - 253
    - 254
- Глава XX
    - 255
    - 256
    - 257
    - 258
    - 259
    - 260
    - 261
- Глава XXI
    - 262
    - 263
    - 264
    - 265
    - 266
    - 267

    - 268
    - 269
    - 270
    - 271
    - 272
    - 273
    - 274
    - 275
- Глава XXII
    - 276
    - 277
    - 278
    - 279
    - 280
    - 281
    - 282
    - 283
    - 284
    - 285
    - 286
- Глава XXIII
    - 287
    - 288
    - 289
    - 290
    - 291
    - 292
    - 293
- Глава XXIV
    - 294
    - 295
    - 296
    - 297
    - 298
    - 299
    - 300
    - 301
    - 302
    - 303

    - 304
- Глава XXV
    - 305
    - 306
    - 307
    - 308
    - 309
    - 310
    - 311
    - 312
    - 313
    - 314
- Глава XXVI
    - 315
    - 316
    - 317
    - 318
    - 319
    - 320
    - 321
    - 322
    - 323
    - 324
    - 325
    - 326
    - 327
    - 328
    - 329
    - 330
    - 331
    - 332
- Глава XXVII
    - 333
    - 334
    - 335
    - 336
    - 337
    - 338
    - 339

    - 340
- Глава XXVIII
    - 341
- Глава XXIX
    - 342
    - 343
    - 344
    - 345
    - 346
    - 347
- Глава XXX
    - 348
    - 349
    - 350
    - 351
    - 352
    - 353
    - 354
    - 355
    - 356
    - 357
- Глава XXXI
    - 358
    - 359
    - 360
    - 361
    - 362
    - 363
    - 364
    - 365
    - 366
    - 367
    - 368
    - 369
    - 370
    - 371
    - 372
    - 373
    - 374

- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- Глава XXXII
  - 381
  - 382
  - 383
  - 384
  - 385
  - 386
  - 387
- Глава XXXIII
  - 388
  - 389
  - 390
  - 391
  - 392
  - 393
  - 394
  - 395
  - 396
  - 397
  - 398
  - 399
  - 400
  - 401
  - 402
  - 403
  - 404
  - 405
  - 406
  - 407
  - 408
  - 409
- Часть третья
  - Глава XXXIV

  - 410
  - 411
  - 412
  - 413
  - 414
  - 415
  - 416
  - 417
  - 418
  - 419
  - 420
  - 421
  - 422
- Глава XXXV
  - 423
  - 424
  - 425
  - 426
  - 427
  - 428
  - 429
  - 430
- Глава XXXVI
  - 431
  - 432
  - 433
  - 434
  - 435
  - 436
  - 437
- Глава XXXVII
  - 438
  - 439
  - 440
  - 441
  - 442
  - 443
  - 444
  - 445

    - 446
    - 447
    - 448
    - 449
    - 450
    - 451
    - 452
    - 453
    - 454
    - 455
- Глава XXXVIII
    - 456
    - 457
    - 458
    - 459
    - 460
    - 461
    - 462
    - 463
    - 464
- Глава XXXIX
    - 465
    - 466
    - 467
    - 468
    - 469
    - 470
    - 471
    - 472
    - 473
    - 474
    - 475
    - 476
    - 477
    - 478
    - 479
- Глава XL
    - 480
    - 481

    - 482
    - 483
- Глава XLI
    - 484
    - 485
    - 486
    - 487
    - 488
    - 489
    - 490
    - 491
    - 492
    - 493
    - 494
    - 495
    - 496
- Глава XLII
    - 497
    - 498
    - 499
    - 500
    - 501
    - 502
    - 503
- Глава XLIII
    - 504
    - 505
    - 506

Илья Ильф, Евгений Петров
ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ

Посвящается Валентину Петровичу Катаеву

Легенда о великом комбинаторе, или Почему в Шанхае ничего не случилось

Происхождение легенды

В истории создания «Двенадцати стульев», описанной мемуаристами и многократно пересказанной литературоведами, вымысел практически неотделим от фактов, реальность — от мистификации.

Известно, правда, что будущие соавторы, земляки-одесситы, оказались в Москве не позже 1923 года. Поэт и журналист Илья Арнольдович (Иехиел-Лейб бен Арье) Файнзильберг (1897–1937) взял псевдоним Ильф еще в Одессе, а вот бывший сотрудник одесского уголовного розыска Евгений Петрович Катаев (1903–1942) свой псевдоним — Петров — выбрал, вероятно, сменив профессию. С 1926 года он вместе с Ильфом работал в газете «Гудок», издававшейся Центральным комитетом профессионального союза рабочих железнодорожного транспорта СССР.

В «Гудке» работал и Валентин Петрович Катаев (1897–1986), брат Петрова, друг Ильфа, приехавший в Москву несколько раньше. Он в отличие от брата и друга успел к 1927 году стать литературной знаменитостью: печатал прозу в центральных журналах, пьесу его ставил МХАТ, собрание сочинений готовило к выпуску одно из крупнейших издательств — «Земля и фабрика».

Если верить мемуарным свидетельствам, сюжет романа и саму идею соавторства Ильфу и Петрову предложил Катаев. По его плану работать надлежало втроем: Ильф с Петровым начерно пишут роман, Катаев правит готовые главы «рукою мастера», при этом литературные «негры» не остаются безымянными — на обложку выносятся три фамилии. Обосновывалось предложение довольно убедительно: Катаев очень популярен, его рукописи у издателей нарасхват, тут бы и зарабатывать как можно больше, сюжетов хватает, но преуспевающему прозаику не хватает времени, чтоб реализовать все планы, а брату и другу поддержка не повредит. И вот не позднее сентября 1927 года Ильф с Петровым начинают писать «Двенадцать стульев». Через месяц первая из трех частей романа

готова, ее представляют на суд Катаева, однако тот неожиданно отказывается от соавторства, заявив, что «рука мастера» не нужна — сами справились. После чего соавторы по-прежнему пишут вдвоем — днем и ночью, азартно, как говорится, запойно, не щадя себя. Наконец в январе 1928 года роман завершен, и с января же по июль он публикуется в иллюстрированном ежемесячнике «30 дней».

Так ли все происходило, нет ли — трудно сказать. Ясно только, что при упомянутых сроках вопрос о месте и времени публикации решался если и не до начала работы, то уж во всяком случае задолго до ее завершения. В самом деле, материалы, составившие январский номер, как водится, были загодя прочитаны руководством журнала, подготовлены к типографскому набору, набраны, сверстаны, сданы на проверку редакторам и корректорам, вновь отправлены в типографию и т. п. На подобные процедуры — по тогдашней журнальной технологии — тратилось не менее двух-трех недель. И художнику-иллюстратору, кстати, не менее пары недель нужно было. Да еще и разрешение цензуры надлежало получить, что тоже времени требует. Значит, решение о публикации романа принималось редакцией журнала отнюдь не в январе 1928 года, когда работа над рукописью была завершена, а не позднее октября — ноября 1927 года. Переговоры же, надо полагать, велись еще раньше.

С учетом этих обстоятельств понятно, что подаренным сюжетом вклад Катаева далеко не исчерпывался. В качестве литературной знаменитости брат Петрова и друг Ильфа стал, так сказать, гарантом: без катаевского имени соавторы вряд ли получили бы «кредит доверия», ненаписанный или, как минимум, недописанный роман не попал бы заблаговременно в планы столичного журнала, рукопись не принимали бы там по частям. И не печатали бы роман в таком объеме: все же публикация в семи номерах — случай экстраординарный для иллюстрированного ежемесячника.

Разумеется, издание тоже было выбрано не наугад. В журнале «30 дней» соавторы могли рассчитывать не только на литературную репутацию Катаева, но и на помощь знакомых. Об одном из них, популярном еще в предреволюционную пору журналисте Василии Александровиче Регинине (1883–1952), заведующем редакцией, о его причастности к созданию романа мемуаристы и литературоведы иногда упоминали, другой же, бывший акмеист Владимир Иванович Нарбут (1888–1938), ответственный (т. е. главный) редактор, остался как бы в тени. Между тем их дружеские связи с авторами романа и Катаевым-старшим были давними и прочными. Регинин организовывал советскую печать в Одессе после гражданской войны и, как известно, еще тогда приятельствовал чуть ли не со всеми

местными литераторами, а Нарбут, сделавший при Советской власти стремительную карьеру, к лету 1920 года стал в Одессе полновластным хозяином ЮгРОСТА — Южного отделения Российского телеграфного агентства, куда пригласил Катаева и других писателей-одесситов.

В Москве Нарбут реорганизовал и создал несколько журналов, в том числе «30 дней», а также издательство «Земля и фабрика» — «ЗиФ», где был, можно сказать, представителем ЦК ВКП(б). Своим прежним одесским подчиненным он, как отмечали современники, явно протежировал. И характерно, что первое отдельное издание «Двенадцати стульев», появившееся в 1928 году, было зифовским. Кстати, вышло оно в июле, аккурат к завершению журнальной публикации, что было оптимально с точки зрения рекламы, а в этой области Нарбут, возглавлявший «ЗиФ», был признанным специалистом.

Нежелание мемуаристов и советских литературоведов соотнести деятельность Нарбута с историей создания «Двенадцати стульев» отчасти объясняется тем, что на исходе лета 1928 года политическая карьера бывшего акмеиста прервалась: после ряда интриг в ЦК (не имевших отношения к «Двенадцати стульям») он был исключен из партии и снят со всех постов. Регинин же остался заведующим редакцией, и вскоре у него появился другой начальник. Однако в 1927 году Нарбут еще благополучен, его влияния вполне достаточно, чтобы с легкостью преодолевать или обходить большинство затруднений, неизбежных при срочной сдаче материалов прямо в номер.

Если принять во внимание такой фактор, как поддержка авторитетного Регинина и влиятельнейшего Нарбута, то совместный дебют Ильфа и Петрова более не напоминает удачный экспромт, нечто похожее на сказку о Золушке. Скорее уж это была отлично задуманная и тщательно спланированная операция — с отвлекающим маневром, с удачным пропагандистским обеспечением. И проводилась она строго по плану: соавторы торопились, работая ночи напролет, не только по причине природного трудолюбия, но и потому, что вопрос о публикации был решен, сроки представления глав в январский и все последующие номера журнала — жестко определены.

Не исключено, кстати, что Нарбут и Регинин, изначально зная или догадываясь о специфической роли Катаева, приняли его предложение, дабы помочь романистам-дебютантам. А когда Катаев официально отстранился от соавторства, Ильф и Петров уже предъявили треть книги, остальное спешно дописывалось, правилось, и опытным редакторам нетрудно было догадаться, что роман обречен на успех. Потому за

катаевское имя, при столь удачной мотивировке отказа, держаться не стоило. Кстати, история о подаренном сюжете избавляла несостоявшегося соавтора и от подозрений в том, что он попросту сдал свое имя напрокат.

Есть в этой истории еще один аспект, ныне забытый. Игра в «литературного отца» — общеизвестная традиция, которой следовали многие советские писатели, охотно ссылавшиеся на бесспорные авторитеты — вроде Максима Горького. Но в данном случае традиция пародировалась, поскольку «литературным отцом» был объявлен брат и приятель — Катаич, Валюн, как называли его друзья. И не случайно в воспоминаниях Петрова история о сюжетном «подарке» соседствует с сообщением об одном из тогдашних катаевских псевдонимов — Старик Собакин (Старик Саббакин). Петров таким образом напомнил читателям о подвергавшейся постоянным ироническим обыгрываниям пушкинской строке: «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил». Получалось, что будущих соавторов благословил Старик Собакин. Посвящением Катаеву открывалась и первая зифовская книга.

Текстология романа

Посвящение Катаеву сохранялось во всех последующих изданиях, а вот сам роман быстро менялся. В журнальной публикации было тридцать семь глав, в первом зифовском отдельном издании 1928 года — сорок одна, и, наконец, во втором, тоже зифовском, выпущенном в 1929 году, осталось сорок. Столько же оставалось и во всех последующих.

С точки зрения советских текстологов журнальный вариант «Двенадцати стульев» и первое книжное издание — художественно неполноценны: первая публикация вообще не в счет, поскольку текст сокращали применительно к журнальному объему, в книжном же издании 1928 года авторы хоть и восстановили ряд купюр, однако делали это наспех, так сказать, по инерции, а позже сочли сделанное нецелесообразным, что и подтверждается вторым зифовским вариантом. Здесь, по мнению текстологов, авторы подошли к роману с максимальной взыскательностью, правили и сокращали не спеша, потому сорокаглавный вариант принимался за основу при последующих переизданиях. И в 1938 году, то есть еще при жизни одного из соавторов, сокращенный и выправленный роман был включен в четырехтомное собрание сочинений, выпускавшееся издательством «Советский писатель». Это издание, настаивают текстологи, вполне правомерно считается эталонным и

тиражируется десятилетиями.

Такой подход обусловлен не только личными пристрастиями исследователей, но и общими принципами текстологии советской литературы. Априорно подразумевалось, что литератор в СССР не скован ни цензурой, ни редакторским произволом. Все разночтения в прижизненных изданиях советских писателей полагалось интерпретировать как результат постоянно растущей авторской «требовательности к себе», стремления к «художественной достоверности», «художественной целостности» и т. п. В итоге проблемы восстановления купюр и выявления цензурных искажений вообще не ставились. При подготовке очередной публикации надлежало лишь выбрать вариант, отражающий «последнюю волю автора», и тут наиболее репрезентативным — по определению — оказывалось последнее прижизненное издание. Для «Двенадцати стульев» — вариант 1938 года.

Ныне ситуация изменилась, и только от исследователей зависит, какими критериями пользоваться при определении репрезентативности вариантов. Потому целесообразно обратиться к исходному материалу — рукописям.

В архиве Ильфа и Петрова сохранились два варианта романа: автограф Петрова и машинопись с правкой обоих соавторов. Самый ранний — автограф — содержит двадцать глав. Названий у них нет. Похоже, этот вариант переписывался Петровым с предшествующих черновиков набело, однако по ходу соавторы вносили незначительные исправления: изменили, например, название одного из городов, где разворачивалось действие, и т. д. Каждая глава начиналась с новой страницы, более того, ей предшествовала еще и страница-титул, где отдельно указывался номер главы прописью. Вероятно, такой порядок удобен, когда рукопись сдается машинистке по главам. Машинописных экземпляров было не менее двух, но сохранился только один.

После перепечатки, уже в машинописи, авторы изменили поглавное деление: текст разбили не на двадцать, а на сорок три главы, и каждая получила свое название. Тут, вероятно, сыграла роль журнальная специфика: главы меньшего объема удобнее при распределении материала по номерам. Затем роман был существенно сокращен: помимо глав целиком изымались эпизоды, сцены, отдельные фразы. Сокращения, похоже, проводились в два этапа: сначала авторами, что отражено в машинописном варианте, а потом редакторами — по другому, несохранившемуся экземпляру правленной авторами машинописи. Виной тому не только цензура: в журнале действительно приходилось экономить

объем, ведь и после всех сокращений публикация романа чрезмерно затянулась.

Жертвуя объемом, авторы получали рекламу, да и жертвы в значительной мере были заведомо временными: в книжном издании объем лимитирован не столь жестко, при поддержке руководства издательства сокращенное легко восстановить, а поддержкой руководства Ильф и Петров давно заручились. Вероятно, договор с издательством был заключен одновременно или вскоре после подписания договора с журналом, что отчасти подтверждается и мемуарными свидетельствами. За основу взяли один из не тронутых редакторами машинописных экземпляров, многие купюры в итоге были восстановлены. Полностью неопубликованными остались лишь две главы (ранее, в автографе, они составляли одну), но и без них книга чисто полиграфически оказалась весьма объемной.

Основой второго книжного издания 1929 года была уже не рукопись, а первый зифовский вариант, который вновь редактировали: изъяли полностью еще одну главу, внесли ряд изменений и существенных сокращений в прочие. Можно, конечно, считать, что все это сделали сами авторы, по собственной инициативе, руководствуясь исключительно эстетическими соображениями. Но тогда придется поверить, что за два года Ильф и Петров не сумели толком прочитать ими же написанный роман, и лишь при подготовке третьей публикации у них словно бы открылись глаза. Принять эту версию трудно. Уместнее предположить, что новая правка была обусловлена вполне заурядными обстоятельствами: требованиями цензора. И если в 1928 году отношения с цензурой сановный Нарбут улаживал, то к 1929 году цензура мягче не стала, а сановной поддержки Ильф и Петров уже не имели.

После второго зифовского издания они, похоже, не оставили надежду опубликовать роман целиком. Две главы, что еще ни разу не издавались, были под общим названием напечатаны в октябрьском номере журнала «30 дней» за 1929 год, то есть проведены через цензурные рогатки. Таким образом, официально разрешенными (пусть в разное время и с потерями) оказались все сорок три главы машинописи. Оставалось только свести воедино уже апробированное и печатать роман заново. Но, как известно, такой вариант «Двенадцати стульев» не появился.

Характер правки на различных этапах легко прослеживается. Роман, завершенный в январе 1928 года, был предельно злободневен, изобиловал общепонятными политическими аллюзиями, шутками по поводу фракционной борьбы в руководстве ВКП(б) и газетно-журнальной

полемики, пародиями на именитых литераторов, что дополнялось ироническими намеками, адресованными узкому кругу друзей и коллег-гудковцев. Все это складывалось в единую систему, каждый элемент ее был композиционно обусловлен. Политические аллюзии в значительной мере устранялись еще при подготовке журнального варианта, изъяли также и некоторые пародии. Борьба с пародиями продолжалась и во втором зифовском варианте — уцелели немногие. В последующих изданиях исчезали имена опальных партийных лидеров, высокопоставленных чиновников и т. п. Потому вариант 1938 года отражает не столько «последнюю авторскую волю», сколько совокупность волеизъявлений цензоров — от первого до последнего. И многолетняя популярность «Двенадцати стульев» свидетельствует не о благотворном влиянии цензуры, но о качестве исходного материала, который не удалось окончательно испортить.

Политический контекст

Популярным роман стал сразу же, разошелся на пословицы и поговорки — результат крайне редкий для книги советских писателей. Критика, однако, довольно долго пребывала в растерянности. Не заметить новый сатирический роман, опубликованный центральным издательством, было нельзя, но и спорить о его достоинствах или недостатках критики не торопились. Лишь 21 сентября 1928 года в газете «Вечерняя Москва» появилась небольшая рецензия, подписанная инициалами «Л. К.», автор которой не без снисходительности указывал, что хоть книга «читается легко и весело», однако в целом «роман не поднимается на вершины сатиры», да и вообще «утомляет». Затем критика умолкла надолго. По сути, обсуждение началось лишь после того, как 17 июня 1929 года в «Литературной газете» под рубрикой «Книга, о которой не пишут» была опубликована статья, где указывалось, что роман «несправедливо замолчала критика».

В итоге, как известно, советские литературоведы условились считать очевидным, что объект сатиры Ильфа и Петрова — «отдельные недостатки», а не «советский образ жизни». Формула эта очень удобна, поскольку объясняет практически все, ничего конкретно не касаясь. Однако первоначальная растерянность опытных рецензентов подтверждает, что в 1928 году объяснение, предложенное позже, было далеко не очевидным. Скорее уж очевидным было то, что всегда ценили

поклонники Ильфа и Петрова, оппозиционно настроенные к режиму: авторы «Двенадцати стульев» шутили очень рискованно, огульно высмеивали отечественную прессу, издевались над традиционными советскими пропагандистскими установками. Критики-современники это, безусловно, заметили, и все же нашлись у них основания не спешить с разгромными отзывами.

Понятно, что и авторы романа, снискавшие к 1927 году известность в качестве абсолютно лояльных газетчиков, да и покровительствовавший им сановный Нарбут, известный своей осторожностью в вопросах идеологии, рассчитывали не на разгромные рецензии. Значит, в 1927 году — при работе над романом — дерзкие шутки Ильфа и Петрова признавались вполне уместными, а вот в 1928 году их допустимость вызвала у современников серьезные сомнения. Но сомнения эти разрешились в пользу авторов романа — после «сигнала сверху», санкционировавшего благожелательный отзыв в «Литературной газете».

Понадобилось время, чтобы рецензенты окончательно убедились: авторы «Двенадцати стульев» не вышли за допустимые пределы и не собирались это делать. Наоборот — они строго следовали требованиям конъюнктуры. Литературно-политической конъюнктуры, сложившейся к началу работы над романом, но отчасти изменившейся к моменту его издания. Под патронажем Нарбута они написали книгу о том, что в Шанхае ничего особенного не случилось. И таким образом выполнили партийную директиву.

Отметим, что действие в романе начинается весной и завершается осенью 1927 года — накануне юбилея: к 7 ноября готовилось широкомасштабное празднование десятилетия со дня прихода к власти партии большевиков, десятилетия Советского государства. На это же время — с весны по осень 1927 года — пришелся решающий этап открытой полемики официального партийного руководства с «левой оппозицией» — Л. Д. Троцким и его единомышленниками. Именно в контексте антитроцкистской полемики роман — такой, каким он задумывался, — был необычайно актуален.

Оппозиционеры уже давно утверждали, что лидеры партии — И. В. Сталин и Н. И. Бухарин — отказались ради упрочения личной власти от идеала «мировой революции», а это неизбежно создает непосредственную угрозу существованию СССР в условиях агрессивного «капиталистического окружения». Апологеты же официального партийного курса доказывали в свою очередь, что оппозиционеры — экстремисты, не умеющие и не желающие работать в условиях мира и

потому мечтающие о перманентных потрясениях «мировой революции», о возрождении «военного коммунизма», тогда как правящая группа Сталина — Бухарина — гарант стабильности, опора нэпа.

Весной 1927 года у оппозиционеров появились новые аргументы. Неудачей завершились многолетние попытки «большевизировать» Китай, где шла многолетняя гражданская война, широко обсуждавшаяся советской прессой. 15 апреля советские газеты пространно-истерично сообщили о том, что в Шанхае недавние союзники — китайские левые радикалы националистического толка — изменили политическую ориентацию и приступили к уничтожению соотечественников-коммунистов.

Статья в «Правде» называлась «Шанхайский переворот», и это словосочетание вскоре стало термином. Лидеры «левой оппозиции» объявили «шанхайский переворот» закономерным результатом ошибочной сталинско-бухаринской политики, из-за которой страна оказалась на грани военной катастрофы. По их мнению, неудача в Китае, способствовавшая «спаду международного рабочего движения», отдалила «мировую революцию» и помогла «консолидации сил империализма», чреватой в ближайшем будущем тотальной войной всех буржуазных стран со страной социализма. Опасность, настаивали оппозиционеры, усугубляется еще и тем, что внутренняя политика правительства, нэп, снижает обороноспособность страны, поскольку ведет к «реставрации капитализма», множит и усиливает внутренних врагов, которые непременно будут консолидироватъся с врагами внешними.

Сталинско-бухаринские пропагандисты попали в сложное положение: троцкисты апеллировали к модели «осажденная крепость», базовой для советской идеологии. Конечно, аргументы «левой оппозиции» легко было опровергнуть, ссылаясь, к примеру, на то, что «мировая революция», как свидетельствует недавний опыт, вообще маловероятна и «шанхайский переворот» — в самом худшем случае — означает лишь безвозвратную потерю средств, потраченных на экспансию в Китай, а вовсе не интервенцию, равным образом нет и «внутренней угрозы». Однако в этом случае официальные идеологи вынуждены были бы отвергнуть советскую аксиоматику: положения о «мировой революции», о постоянной военной угрозе со стороны «империалистических правительств», о заговорах «врагов внутренних» — ее неотъемлемые элементы.

Пришлось прибегнуть к экивокам, объясняя, что «шанхайский переворот» — событие хоть и досадное, но не столь значительное, как утверждают оппозиционеры; «мировая революция» все равно далека;

война, конечно, неизбежна, только начнется еще не скоро; Красная армия способна разгромить всех агрессоров; что же до «врагов внутренних», то они никакой реальной силы не представляют. Да и вообще нет нужды всем и каждому постоянно рассуждать о «международном положении»: на то есть правительство, а гражданам СССР надлежит выполнять его решения.

На тезисах официальной пропаганды и строится сюжет «Двенадцати стульев». Действие в романе начинается 15 апреля 1927 года, «шанхайский переворот», главная газетная новость, обсуждается героями, однако обсуждается между прочим, как событие вполне заурядное, никого не пугающее и не обнадеживающее, все соображения героев романа о «международном положении» подчеркнуто комичны, и тем более комичны попытки создать антисоветское подполье. Авторы последовательно убеждают читателя: в СССР нет питательной среды для «шпионской сети», «врагам внешним», даже если они сумеют проникнуть в страну, не на кого там всерьез опереться, угрозы «реставрации капитализма» нет. Это хоть и не согласовывалось с недавними и позднейшими пропагандистскими кампаниями, но идеально соответствовало правительственному «заказу» в конкретной ситуации — полемике с Троцким.

К лету 1928 года роман уже не казался столь злободневным, как в 1927 году: политическая обстановка изменилась, «левая оппозиция» была сломлена, Троцкий удален с политической арены. Кроме того, Сталин отказался от союза с Бухариным, и теперь Бухарин числился в опаснейших оппозиционерах — «правых уклонистах». А в полемике с «правыми уклонистами» официальная пропаганда вновь актуализовала модель «осажденной крепости». Ирония по поводу близкой «мировой революции», «империалистической агрессии», шпионажа и т. п. теперь выглядела неуместной.

Ильф и Петров оперативно реагировали на пропагандистские новшества, вносили в роман изменения, но заново переписывать его не стали. Все равно главная идеологическая установка «Двенадцати стульев» оставалась актуальной: надежды на «скорое падение большевиков» беспочвенны, СССР будет существовать, что бы ни предпринимали враги — внешние и внутренние. С этой точки зрения «Двенадцать стульев» — типичный «юбилейный роман». Однако антитроцкистская, точнее, антилевацкая направленность его оставалась вне сомнений, и характерно, что уже опальный Бухарин цитировал «Двенадцать стульев» в речи, опубликованной «Правдой» 2 декабря 1928 года.

Впрочем, рассуждения относительно сервилизма авторов здесь вряд ли уместны. Начнем с того, что антитроцкистская направленность, ставшая

идеологической основой романа, была обусловлена не только «социальным заказом». Нападки в печати на Троцкого многие интеллектуалы воспринимали тогда в качестве признаков изменения к лучшему, возможности, так сказать, «большевизма с человеческим лицом». Участвуя в полемике, Ильф и Петров защищали, помимо прочего, нэп и стабильность, противопоставленные «военному коммунизму». Они вовремя уловили конъюнктуру, но, надо полагать, конъюнктурные расчеты не противоречили убеждениям.

Так уж совпало, что иронические пассажи по поводу советской фразеологии были с весны по осень 1928 года свидетельством лояльности, а «шпионские страсти», разглагольствования о «мировой революции» всемерно вышучивались в эту же пору как проявления троцкизма. С троцкизмом ассоциировалась и «левизна» в искусстве, авангардизм. Потому главными объектами пародий в «Двенадцати стульях» стали В. В. Маяковский, В. Э. Мейерхольд и Андрей Белый. Подробно эти пародии, а равным образом некоторые политические аллюзии, рассмотрены в комментарии.

Эдиционные принципы

Для предлагаемого издания за основу был взят самый ранний из сохранившихся вариантов, переписанный Петровым (РГАЛИ. Ф. 1821. Оп. 1. Ед. хр. 31). Поглавное деление дается по машинописному варианту, и структура комментария соответствует этим сорока трем главам (РГАЛИ. Ф. 1821. Оп. 1. Ед. хр. 32–33). Дополнительно в тексте указаны также границы двадцати глав исходного варианта. В ряде случаев учтена чисто стилистическая правка машинописного варианта, но игнорируются правка идеологическая и сокращения. Орфография и пунктуация приведены в соответствие с нормами современного литературного языка.

Принципы комментирования традиционны: поясняются прежде всего реалии, цитаты и реминисценции, литературные и политические аллюзии, пародии, конкретные события, так или иначе связанные с эпизодами романа, текстологически существенные разночтения. Подробный анализ интертекстуальных зависимостей не входит в задачу.

При подготовке комментария использованы монографические исследования:

• Курдюмов А. А. (Лурье Я. С.) В краю непуганых идиотов: Книга об Ильфе и Петрове. Paris, 1983;

• Щеглов Ю. К. Романы И. Ильфа и Е. Петрова: Спутник читателя. В 2 т. Wien, 1990–1991.

Кроме того, комментарии к изданиям романа:

• Долинский М. З. Комментарии <к роману И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»> // Ильф И., Петров Е. Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска. М., 1989;

• Сахарова Е. М. Комментарии <к роману И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»> // Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. М., 1987.

За оказанную помощь благодарим В. Т. Бабенко, Н. А. Богомолова, В. В. Бродского, В. М. Гаевского, А. Ю. Галушкина, А. Я. Гитиса, В. Н. Денисова, О. А. Долотову, Г. Х. Закирова, В. Н. Каплуна, Л. Ф. Кациса, Р. М. Кирсанову, Г. В. Макарову, В. В. Нехотина, А. Е. Парниса, Р. М. Янгирова.

М. П. Одесский, Д. М. Фельдман

От издательства

В тексте романа курсивом выделены разночтения и фрагменты, исключенные из варианта, входившего в ранее издававшиеся собрания сочинений Ильфа и Петрова.

Часть первая
«Старгородский лев»

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Глава I
Безенчук и *нимфы*

В уездном городе N[1] было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем[2] и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе N люди рождались, брились и умирали довольно редко. Жизнь города была тишайшей. Весенние вечера были упоительны, грязь под луною сверкала, как антрацит, и вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу месткома коммунальников,[3] что это просто мешало ей собирать членские взносы.

Вопросы любви и смерти не волновали Ипполита Матвеевича Воробьянинова, хотя этими вопросами, по роду своей службы, он ведал с 9 утра до 5 вечера ежедневно, с получасовым перерывом для завтрака.

По утрам, выпив из *причудливого (морозного с жилкой)* стакана свою порцию горячего молока, поданного Клавдией Ивановной, он выходил из полутемного домика на просторную, полную диковинного весеннего света улицу *«Им. тов. Губернского»*.[4] Это была приятнейшая из улиц, какие встречаются в уездных городах. По левую руку, за волнистыми зеленоватыми стеклами, серебрились гроба похоронного бюро «Нимфа». Справа, за маленькими, с обвалившейся замазкой окнами, угрюмо возлежали дубовые, пыльные и скучные *гроба*, гробовых дел мастера Безенчука. Далее «Цирульный мастер Пьер и Константин» обещал своим потребителям «холю ногтей» и «ондулясион[5] на дому». Еще дальше расположилась гостиница с парикмахерской, а за нею, на большом пустыре, стоял палевый теленок и нежно лизал поржавевшую, прислоненную *(как табличка у подножия пальмы в ботаническом саду)* к одиноко торчащим воротам вывеску:

«Погребальная контора „Милости просим“».

Хотя похоронных депо было множество, но клиентура у них была небольшая. «Милости просим» лопнуло еще за три года до того, как Ипполит Матвеевич осел в городе N, а мастер Безенчук пил горькую и

даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб.

Люди в городе N умирали редко, и Ипполит Матвеевич знал это лучше кого бы то ни было, потому что служил в загсе, где ведал столом регистрации смертей и браков.

Стол, за которым работал Ипполит Матвеевич, походил на старую надгробную плиту. Левый *уголок* его был уничтожен крысами. Хилые его ножки тряслись под тяжестью пухлых папок табачного цвета с записями, из которых можно было почерпнуть все сведения о родословных жителей города N и о генеалогических *(или, как шутливо говаривал Ипполит Матвеевич, гинекологических)* древах, произросших на скудной уездной почве.

В пятницу 15 апреля 1927 года Ипполит Матвеевич, как обычно, проснулся в половине восьмого и сразу же просунул нос в старомодное пенсне с золотой дужкой. Очков он не носил. Однажды, решив, что носить пенсне негигиенично, Ипполит Матвеевич направился к оптику и купил очки без оправы, с позолоченными оглоблями. Очки с первого раза ему понравились, но жена (это было незадолго до ее смерти) нашла, что в очках он вылитый Милюков,[6] и он отдал очки дворнику. Дворник, хотя и не был близорук, к очкам привык и носил их с удовольствием.

— Бонжур! — пропел Ипполит Матвеевич самому себе, спуская ноги с постели.

«Бонжур» указывало на то, что Ипполит Матвеевич проснулся в добром расположении. Сказанное при пробуждении «гут морген» обычно значило, что печень пошаливает, что 52 года — не шутка и что погода нынче сырая.

Ипполит Матвеевич сунул сухощавые ноги в довоенные штучные брюки,[7] завязал их у щиколотки тесемками и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими квадратными носами *и низкими подборами*.[8] Через пять минут на Ипполите Матвеевиче красовался лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной звездой,[9] и переливчатый люстриновый пиджачок.[10] Смахнув с *седых (волосок к волоску) усов* оставшиеся после умывания росинки, Ипполит Матвеевич зверски пошевелил усами, в нерешительности *попробовал* шероховатый подбородок, провел щеткой по коротко остриженным алюминиевым волосам *пять раз левой и восемь раз правой рукой ото лба к затылку* и, учтиво улыбаясь, двинулся навстречу входившей в комнату теще — Клавдии Ивановне.

— Эпполе-эт, — прогремела она, — сегодня я видела дурной сон.

Слово «сон» было произнесено с французским прононсом.

Ипполит Матвеевич поглядел на тещу сверху вниз. Его рост доходил до *185* сантиметров. С такой высоты ему легко и удобно было относиться к теще *Клавдии Ивановне* с некоторым пренебрежением.

Клавдия Ивановна продолжала:

— Я видела покойную Мари с распущенными волосами и в золотом кушаке.

От пушечных звуков голоса Клавдии Ивановны дрожала чугунная лампа с ядром, дробью и пыльными стеклянными цацками.[11]

— Я очень встревожена! Боюсь, не случилось бы чего!

Последние слова были произнесены с такой силой, что каре волос на голове Ипполита Матвеевича колыхнулось в разные стороны. Он сморщил лицо и раздельно сказал:

— Ничего не будет, маман. За воду вы уже вносили?

Оказывается, что не вносили. Калоши тоже не были помыты. Ипполит Матвеевич не любил *свою тещу*. Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет. Скупа она была до чрезвычайности, и только бедность Ипполита Матвеевича не давала развернуться этому захватывающему чувству. Голос у нее был такой силы и густоты, что ему позавидовал бы Ричард Львиное Сердце.[12] И, кроме того, что было самым ужасным, Клавдия Ивановна видела сны. Она видела их всегда. Ей снились девушки в кушаках и *без них*, лошади, обшитые желтым драгунским кантом,[13] дворники, играющие на арфах, архангелы в сторожевых тулупах, прогуливающиеся по ночам с колотушками в руках, и вязальные спицы, которые сами собой прыгали по комнате, производя огорчительный звон. Пустая старуха была Клавдия Ивановна. Вдобавок ко всему под носом у нее росли усы, и каждый ус был похож на кисточку для бритья.

Ипполит Матвеевич, слегка раздраженный, вышел из дому. У входа в свое потасканное заведение стоял, прислонясь к дверному косяку и скрестив руки, гробовых дел мастер Безенчук. От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были ярко желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем.

— Почет дорогому гостю! — прокричал он скороговоркой, завидев Ипполита Матвеевича. — С добрым утром.

Ипполит Матвеевич вежливо приподнял запятнанную касторовую шляпу.[14]

— Как здоровье *вашей* тещеньки, разрешите, *такое нахальство,* узнать?

— Мр-р, мр-р, — неопределенно ответил Ипполит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, проследовал дальше.

— Ну, дай ей бог здоровьичка, — с горечью сказал Безенчук, — одних убытков сколько несем, туды его в качель.

И снова, скрестив руки на груди, прислонился к двери.

У врат похоронного бюро «Нимфа» Ипполита Матвеевича снова попридержали.

Владельцев «Нимфы» было трое. Они враз поклонились Ипполиту Матвеевичу и хором осведомились о *здоровье* тещи.

— Здорова, здорова, — ответил Ипполит Матвеевич, — что ей сделается. Сегодня золотую девушку видела, распущенную. Такое ей было *обозрение* во сне.

Три «нимфа» переглянулись и громко вздохнули.

Все эти разговоры задержали Ипполита Матвеевича в пути, и он, против обыкновения, пришел на службу тогда, когда часы, висевшие над лозунгом «Сделал свое дело — и уходи», показывали пять минут десятого.

— *Мацист*[15] *опоздал!*

Ипполита Матвеевича за большой рост, а особенно за усы, прозвали в учреждении Мацистом, хотя у настоящего Мациста никаких усов не было.

Вынув из ящика стола синюю войлочную подушечку, Ипполит Матвеевич положил ее на стул, придал усам правильное направление (параллельно линии стола) и сел на подушечку, несколько возвышаясь над *всеми* тремя своими сослуживцами. Ипполит Матвеевич не боялся геморроя, он боялся протереть брюки и потому пользовался синим войлоком.

За всеми манипуляциями советского служащего[16] застенчиво следили двое молодых людей — мужчина и девица. Мужчина в суконном, на вате, пиджаке был совершенно подавлен служебной обстановкой, запахом ализариновых чернил,[17] часами, которые часто и тяжело дышали, а в особенности, строгим плакатом: «Сделал свое дело — и уходи». Хотя дела своего мужчина в пиджаке еще и не начинал, но уйти ему уже хотелось. Ему казалось, что дело, по которому он пришел, настолько незначительно, что из-за него совестно беспокоить такого видного седого гражданина, каким был Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич и сам понимал, что у пришедшего дело маленькое, что оно терпит, а потому, раскрыв скоросшиватель № 2 и дернув щечкой, углубился в бумаги.

Девица в длинном жакете, обшитом блестящей черной тесьмой, пошепталась с мужчиной и, *потея* от стыда, стала медленно подвигаться к Ипполиту Матвеевичу.

— Товарищ, — сказала она, — где тут…

Мужчина в пиджаке радостно вздохнул и, неожиданно для самого себя, гаркнул:

— Сочетаться!

Ипполит Матвеевич внимательно поглядел на перильца, за которыми стояла чета.

— Рождение? Смерть?

— Сочетаться, — повторил мужчина в пиджаке и растерянно оглянулся по сторонам.

Девица прыснула. Дело было на мази. Ипполит Матвеевич с ловкостью фокусника принялся за работу. Записал старушечьим почерком имена новобрачных в толстые книги, строго допросил свидетелей, за которыми невеста сбегала во двор, долго и нежно дышал на квадратные штампы и, привстав, оттискивал их на потрепанных паспортах.[18] Приняв от молодоженов два рубля и *выдавая* квитанцию, Ипполит Матвеевич сказал, усмехнувшись: «За совершение таинства» — и поднялся во весь свой прекрасный рост, по привычке выкатив грудь (в свое время он нашивал корсет). Толстые желтые лучи солнца лежали на его плечах, как эполеты. Вид у него был несколько смешной, но необыкновенно торжественный. Двояковогнутые стекла пенсне пучились белым прожекторным светом. Молодые стояли, как барашки.

— Молодые люди, — заявил Ипполит Матвеевич выспренно, — позвольте вас поздравить, как говаривалось раньше, с законным браком. Очень, оч-чень приятно видеть таких молодых людей, как вы, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов. Очень, оч-чень приятно.

Произнесши эту тираду, Ипполит Матвеевич пожал новобрачным руки, сел и, весьма довольный собою, продолжал чтение бумаг из скоросшивателя № 2.

За соседним столом служащие хрюкали в чернильницы:

— *Мацист опять проповедь читал.*

Началось спокойное течение служебного дня. Никто не тревожил стол регистрации смертей и браков. В окно было видно, как граждане, поеживаясь от весеннего холодка, разбредались по своим *делам.* Ровно в полдень запел петух в кооперативе «Плуг и *молот*». Никто этому не удивился. Потом раздалось металлическое кряканье и клекот мотора. С

улицы *«Им. тов. Губернского»* выкатился плотный клуб фиолетового дыма. Клекот усилился. Из-за дыма вскоре появились контуры уисполкомовского автомобиля Гос. № 1 с крохотным радиатором и громоздким кузовом. Автомобиль, барахтаясь в грязи, пересек Старопанскую площадь и, колыхаясь, исчез в *ледовитом* дыму, а служащие долго еще стояли у окна, комментируя происшествие и ставя его в связь с возможным сокращением штата. Через некоторое время по деревянным мосткам *противоположной стороны площади* осторожно прошел *мастер* Безенчук. Безенчук целыми днями шатался по городу, выпытывая, не умер ли кто.

Наступил узаконенный получасовой перерыв для завтрака. Раздалось полнозвучное чавканье. Старушку, пришедшую регистрировать внучонка, отогнали на середину площади.

Переписчик Сапежников[19] *начал, досконально уже всем известный, цикл охотничьих рассказов. Весь смысл этих рассказов сводился к тому, что на охоте приятно и даже необходимо пить водку. Ничего больше от него нельзя было добиться.*

— Ну вот-с, — иронически сказал Ипполит Матвеевич, — вы только что изволили сказать, что раздавили эти самые две полбутылки[20]*… Ну, а дальше что?*

— Дальше?.. А дальше я и говорю, что по зайцу нужно бить крупной дробью… Ну, вот… Проспорил мне на этом Григорий Васильевич диковинку… Ну и вот, раздавили мы диковинку и еще соточкой смочили. Так было дело.

Ипполит Матвеевич раздраженно пыхнул папироской:

— Ну, а зайцы как? Стреляли вы по ним крупной дробью?

— Вы подождите, не перебивайте. Тут подъезжает на телеге Дачников, а у него, бродяги, под соломой целый гусь запрятан — четвертуха вина…

Сапежников радостно захохотал, обнажив светлые десны:

— Вчетвером целого гуся одолели и легли спать, тем более на охоту чуть свет выходить надо. Утром встаем. Темно еще, холодно. Одним словом, драже прохладительное… Ну, у меня полшишки нашлось. Выпили. Чувствуем, не хватает. Драманж![21] *Баба двадцатку донесла. Была там в деревне колдовница такая — вином торгует…*

— Когда же вы охотились-то, позвольте полюбопытствовать?

— А тогда ж и охотились… Что с Григорий Васильевичем делалось!.. Я, вы знаете, никогда не блюю… И даже еще мерзавчика раздавил для

легкости. А Донников, бродяга, опять на телеге укатил. «Не расходитесь, говорит, ребята. Я сейчас еще кой-чего довезу». Ну, и довез, конечно. И все сороковками — других в «Молоте» не было. Даже собак напоили…

— А охота?! Охота?! — закричали все.

— С пьяными собаками какая же охота? — обижаясь, сказал Сапежников.

— М-мальчишка! — прошептал Ипполит Матвеевич и, негодуя, направился к своему столу.

Этим узаконенный получасовой перерыв для завтрака завершился.

Служебный день подходил к концу. На соседней желтенькой с белым колокольне что есть мочи забили в колокола. Дрожали стекла. С колокольни посыпались галки, помитинговали над площадью и унеслись. Вечернее небо леденело над опустевшей площадью.

В канцелярию вошел рыжий бородатый милиционер в форменной фуражке[22]*, тулупе с косматым воротником. Под мышкой милиционер осторожно держал маленькую разносную книгу в засаленном полотняном переплете. Застенчиво ступая своими слоновьими сапогами, милиционер подошел к Ипполиту Матвеевичу и налег грудью на тщедушные перильца.*

— Здорово, товарищ, — густо сказал милиционер, доставая из разносной книги большой документ, — товарищ начальник до вас прислал, доложить на ваше распоряжение, чтоб зарегистрировать.

Ипполит Матвеевич принял бумагу, расписался в получении и принялся ее просматривать. Бумага была такого содержания:

«Служебная записка. В загс. Тов. Воробьянинов! Будь добрый. У меня как раз сын народился. В 3 часа 15 минут утра. Так ты его зарегистрируй вне очереди, без излишней волокиты. Имя сына — Иван, а фамилия моя. С коммунистическим пока Замначальника Умилиции Перервин».

Ипполит Матвеевич заспешил и без излишней волокиты, а также вне очереди (тем более, что ее никогда и не бывало) зарегистрировал дитя Умилиции.

От милиционера пахло табаком, как от Петра Великого, и деликатный Ипполит Матвеевич свободно вздохнул лишь тогда, когда милиционер ушел.

Пора было уходить и Ипполиту Матвеевичу. Все, что имело родиться в этот день, — родилось и было записано в толстые книги. Все, кто хотели обвенчаться, — были повенчаны и тоже записаны в толстые книги. И не было лишь, к явному разорению гробовщиков, ни одного смертного случая. Ипполит Матвеевич сложил дела, спрятал в ящик войлочную подушечку, распушил гребенкой усы и уже было, мечтая об огнедышащем

супе, собрался пойти прочь, — как дверь канцелярии распахнулась и на пороге ее появился гробовых дел мастер Безенчук.

— Почет дорогому гостю, — улыбнулся Ипполит Матвеевич. — Что скажешь?

Хотя дикая рожа мастера Безенчука и сияла в наступивших сумерках, но сказать он ничего не смог.

— Ну? — *сказал* Ипполит Матвеевич более строго.

— «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает? — смутно молвил гробовой мастер. — Разве ж она может покупателя удовлетворить? Гроб — он одного лесу сколько требует…

— Чего? — спросил Ипполит Матвеевич.

— Да вот «Нимфа»!.. Их три семейства с одной торговлишки живут. Уже у них и материал не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я — фирма старая. Основан в *1907* году. У меня гроб, *как огурчик*, отборный, *на любителя…*

— Ты что же это, с ума сошел? — кротко спросил Ипполит Матвеевич и двинулся к выходу. — Обалдеешь ты среди *своих* гробов.

Безенчук предупредительно *распахнул* дверь, пропустил Ипполита Матвеевича вперед, а сам увязался за ним, дрожа как бы от нетерпения.

— Еще когда «Милости просим» *были*, тогда верно. Против ихнего глазету[23] ни одна фирма, даже в самой Твери, выстоять не могла,[24] туды ее в качель. А теперь, прямо скажу, — лучше моего *товару* нет. И не ищите даже.

Ипполит Матвеевич с гневом обернулся, посмотрел секунду на Безенчука *довольно* сердито и зашагал несколько быстрее. Хотя никаких неприятностей по службе с ним сегодня не произошло, но почувствовал он себя довольно гадостно.

Трое владельцев «Нимфы» стояли у своего заведения в тех же позах, в каких Ипполит Матвеевич оставил их утром. Казалось, с тех пор они не сказали друг другу ни слова, но разительная перемена в их лицах, таинственная удовлетворенность, томно мерцавшая в их глазах, показывала, что им известно кое-что значительное.

При виде своих коммерческих врагов Безенчук отчаянно махнул рукой, остановился и зашептал вслед Воробьянинову:

— Уступлю за тридцать два рублика.

Ипполит Матвеевич поморщился и ускорил шаг.

— Можно в кредит, — добавил Безенчук.

Трое же владельцев «Нимфы» ничего не говорили. Они молча устремились вслед за Воробьяниновым, беспрерывно снимая на ходу

картузы и вежливо кланяясь.

Рассерженный вконец глупыми приставаниями гробовщиков, Ипполит Матвеевич быстрее обыкновенного взбежал на крыльцо, раздраженно соскреб о ступеньку грязь с *сапог* и, испытывая сильнейшие приступы аппетита, вошел в сени. Навстречу ему из комнаты вышел священник церкви Фрола и Лавра отец Федор, *пышущий жаром.* Подобрав правой рукой рясу и не *замечая* Ипполита Матвеевича, отец Федор пронесся к выходу.

Тут Ипполит Матвеевич заметил излишнюю чистоту, новый, режущий глаза беспорядок в расстановке немногочисленной мебели и ощутил щекотание в носу, происшедшее от сильного лекарственного запаха. В первой комнате Ипполита Матвеевича встретила соседка, *жена агронома мадам* Кузнецова. Она *зашипела* и замахала руками:

— Ей хуже, она только что исповедовалась. Не стучите сапогами.

— Я не стучу, — покорно ответил Ипполит Матвеевич. — Что же случилось?

Мадам Кузнецова подобрала губы и показала рукой на дверь второй комнаты.

— Сильнейший сердечный припадок.

И, повторяя явно чужие слова, понравившиеся ей своей значительностью, добавила:

— Не исключена возможность смертельного исхода. Я сегодня весь день на ногах. Прихожу утром за мясорубкой, смотрю — дверь открыта, в кухне никого, в этой комнате тоже, ну, я *думала,* что Клавдия Ивановна пошла за мукой для куличей, *она давеча собиралась.* Мука теперь, сами знаете, если не купишь заранее…

Мадам Кузнецова долго *бы* еще рассказывала про муку, про дороговизну и про то, как она нашла Клавдию Ивановну лежащей у изразцовой печки в совершенно мертвенном состоянии, но стон, раздавшийся из соседней комнаты, больно поразил слух Ипполита Матвеевича. Он быстро перекрестился слегка онемевшей рукой и прошел в комнату тещи.

Глава II
Кончина мадам Петуховой

Клавдия Ивановна лежала на спине, подсунув одну руку под голову. Голова ее была в чепце интенсивно абрикосового цвета, который был *в такой моде в 1911 году*, когда дамы носили *платья* «шантеклер»[25] и только начинали танцевать аргентинский танец *танго.* Лицо Клавдии Ивановны было торжественно, но ровно ничего не выражало. Глаза смотрели в потолок.

— Клавдия Ивановна, — позвал Воробьянинов.

Теща быстро зашевелила губами, но вместо привычных уху Ипполита Матвеевича трубных звуков он услышал стон, тихий, тонкий и такой жалостный, что сердце его дрогнуло и блестящая слеза неожиданно быстро выкатилась из глаза и, словно ртуть, скользнула по лицу.

— Клавдия Ивановна, — повторил Воробьянинов, — что с вами?

Но снова не получил ответа. Старуха закрыла глаза и слегка завалилась на бок.

В комнату тихо вошла агрономша и увела его за руку, как мальчика, которого ведут мыться.

— Она заснула. Врач не велел ее беспокоить. Вы, голубчик, вот что. Сходите в аптеку. Нате квитанцию и узнайте, почем пузыри для льда.

Ипполит Матвеевич во всем покорился мадам Кузнецовой, чувствуя ее неоспоримое превосходство в *этих* делах.

До аптеки бежать было далеко. По-гимназически зажав в кулаке рецепт, Ипполит Матвеевич, *торопясь,* вышел на улицу. Было уже почти темно. На фоне иссякающей зари виднелась тщедушная фигура гробовых дел мастера Безенчука, который, прислонясь к еловым воротам, закусывал хлебом и луком. Тут же рядом сидели на корточках *трое хозяев «Нимфы»* и, облизывая ложки, ели из чугунного горшочка гречневую кашу. При виде Ипполита Матвеевича гробовщики вытянулись, как солдаты. Безенчук обидчиво пожал плечами и, протянув руку в направлении конкурентов, проворчал:

— Путаются, туды их в качель, под ногами.

Посреди Старопанской площади, у бюстика поэта Жуковского с высеченной на цоколе надписью: «Поэзия есть бог в святых мечтах земли»,

[26] велись оживленные разговоры, вызванные известием о тяжелой болезни Клавдии Ивановны. Общее мнение собравшихся горожан сводилось к тому, что «все там будем» и что «бог дал, бог и взял».

Парикмахер «Пьер и Константин», охотно отзывавшийся, впрочем, на имя — Андрей Иванович, и тут не упустил случая выказать свои познания в медицинской области, почерпнутые им из московского журнала «Огонек»,[27] *лежавшего обычно на столике его предприятия для услаждения бреющихся граждан.*

— Современная наука, — говорил Андрей Иванович, — дошла до невозможного. Возьмите, скажем, у клиента прыщик на подбородке выскочил. Раньше до заражения крови доходило, а теперь в Москве, говорят, не знаю, правда это или неправда, на каждого клиента отдельная стерилизованная кисточка полагается.

Граждане протяжно вздохнули.

— Это ты, Андрей, малость *захватил!*..

— Где же это видано, чтоб на каждого человека отдельная кисточка! Выдумает же *человек!*..

Бывший пролетарий умственного труда, а ныне палаточник Прусис даже разнервничался:

— Позвольте, Андрей Иванович, в Москве, по данным последней переписи, больше двух миллионов жителей. Так, значит, нужно больше двух миллионов кисточек? Довольно оригинально.

Разговор принимал горячие формы и черт знает до чего дошел бы, если б в конце Осыпной улицы не показался *бегущий иноходью* Ипполит Матвеевич.

— Опять в аптеку побежал. Плохи дела, значит.

— Помрет старуха. Недаром Безенчук по городу сам не свой бегает.

— А доктор что говорит?

— Что доктор? В страхкассе разве доктора?[28] И здорового залечат!

«Пьер и Константин», давно уже порывавшийся сделать сообщение на медицинскую тему, заговорил, опасливо оглянувшись *по сторонам.*

— Теперь вся сила в гемоглобине.

Сказав это, «Пьер и Константин» умолк.

Замолчали и горожане, каждый по-своему размышляя о таинственных силах гемоглобина.

Когда *луна поднялась* и ее мятный свет озарил миниатюрный бюстик Жуковского, на медной его спинке можно было ясно разобрать *крупно* написанное мелом краткое ругательство. Впервые подобная надпись

появилась на бюстике 15 июня 1897 года, в ночь, наступившую непосредственно после *его* открытия, и как представители полиции, а впоследствии милиции, ни старались, хулительная надпись аккуратно *появлялась* каждый день.

В деревянных, с наружными ставнями домиках уже пели самовары. Был час ужина. Граждане не стали понапрасну терять время и разошлись. Подул ветер…

Между тем, Клавдия Ивановна умирала. Она то просила пить, то говорила, что ей нужно встать и сходить за отданными в починку парадными штиблетами Ипполита Матвеевича, то жаловалась на пыль, от которой, по ее словам, можно было задохнуться, то просила зажечь все лампы.

Ипполит Матвеевич, который уже устал волноваться, ходил по комнате, и в голову ему лезли неприятные хозяйственные мысли. Он думал о том, как придется брать в кассе взаимопомощи аванс, бегать за попом и отвечать на соболезнующие письма родственников. Чтобы рассеяться немного, Ипполит Матвеевич вышел на крыльцо. В зеленом свете луны стоял гробовых дел мастер Безенчук.

— Так как же прикажете, господин Воробьянинов? — спросил мастер, прижимая к груди картуз.

— Что ж, пожалуй, — угрюмо ответил Ипполит Матвеевич.

— А «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает, — заволновался Безенчук.

— Да пошел ты к черту! Надоел!

— Я ничего. Я насчет кистей и глазета, *как* сделать, туды их в качель? Первый *сорт прима?* Или как?

— Без всяких кистей и глазетов. Простой деревянный гроб. Сосновый. Понял?

Безенчук приложил палец к губам, показывая этим, что он все понимает, повернулся и, балансируя картузом, но все же шатаясь, отправился восвояси. Тут только Ипполит Матвеевич заметил, что *гробовой* мастер смертельно пьян.

На душе Ипполита Матвеевича снова стало необыкновенно гадостно. Он не представлял себе, как будет приходить в опустевшую, замусоренную квартиру. Ему казалось, что со смертью тещи исчезнут те маленькие удобства и привычки, которые он с усилиями создал себе после революции, похитившей у него большие удобства и широкие привычки. «Жениться? — подумал Ипполит Матвеевич. — На ком? На племяннице начальника *умилиции*, на Варваре Степановне, сестре Прусиса? Или, может

быть, нанять домработницу? Куда там! Затаскает по судам. Да и накладно».

Жизнь сразу почернела в глазах Ипполита Матвеевича. И, полный негодования и отвращения *к своей жизни*, он снова вернулся в дом.

Клавдия Ивановна уже не бредила. Высоко лежа на подушках, она посмотрела на вошедшего Ипполита Матвеевича вполне осмысленно и, как ему показалось, даже строго.

— Ипполит, — прошептала она явственно, — сядьте около меня. Я должна рассказать вам…

Ипполит Матвеевич с неудовольствием сел, вглядываясь в похудевшее, усатое лицо тещи. Он попытался улыбнуться и сказать что-нибудь ободряющее. Но улыбка получилась дикая, а ободряющих слов совсем не нашлось. Из горла Ипполита Матвеевича вырвалось лишь неловкое пиканье.

— Ипполит, — повторила теща, — помните вы наш гостиный *гарнитюр?*[29]

— Какой? — спросил Ипполит Матвеевич с предупредительностью, возможной лишь к очень больным людям.

— Тот… Обитый английским ситцем[30] *в цветочек…*

— Ах, это в моем доме?

— Да, в Старгороде…[31]

— Помню, я-то отлично помню… Диван, *двое кресел,* дюжина стульев и круглый столик о шести ножках. Мебель была превосходная, гамбсовская[32]… А почему вы вспомнили?

Но Клавдия Ивановна не смогла ответить. Лицо ее медленно стало покрываться купоросным цветом. Захватило почему-то дух и у Ипполита Матвеевича. Он отчетливо вспомнил гостиную в своем особняке, симметрично расставленную ореховую мебель с гнутыми ножками, начищенный восковой пол, старинный коричневый рояль и овальные черные рамочки с дагерротипами сановных родственников на стенах.

Тут Клавдия Ивановна деревянным, равнодушным голосом сказала:

— В сиденье стула я зашила свои бриллианты.

Ипполит Матвеевич покосился на старуху.

— Какие бриллианты? — спросил он машинально, но тут же спохватился. — Разве их не отобрали тогда, во время обыска?

— Я *зашила* бриллианты в стул, — упрямо повторила старуха.

Ипполит Матвеевич вскочил и, посмотрев на освещенное керосиновой лампой *с жестяным рефлектором* каменное лицо Клавдии Ивановны, понял, что она не бредит.

— Ваши бриллианты?! — закричал он, пугаясь силы своего голоса. — В стул? Кто вас надоумил? Почему вы не дали их мне?

— Как же было дать вам бриллианты, когда вы пустили по ветру имение моей дочери? — спокойно и зло молвила старуха.

Ипполит Матвеевич сел и сейчас же снова встал. Сердце его с шумом рассылало потоки крови по всему телу. В голове начало гудеть.

— Но вы их вынули оттуда? Они здесь?

Старуха отрицательно покачала головой.

— Я не успела. Вы помните, как быстро и неожиданно нам пришлось бежать. Они остались в стуле, который стоял между терракотовой лампой и камином.

— Но ведь это же безумие! Как вы похожи на свою дочь! — закричал Ипполит Матвеевич полным голосом *и*, уже не стесняясь тем, что находится у постели умирающей, с грохотом отодвинул *столик* и засеменил по комнате.

Старуха безучастно следила за действиями Ипполита Матвеевича.

— Но вы хотя бы представляете себе, куда эти стулья могли попасть? Или вы думаете, быть может, что они смирнехонько стоят в гостиной моего дома и ждут, покуда вы придете забрать ваши р-регалии?

Старуха ничего не ответила.

— *Хоть отметку, черт возьми, вы сделали на этом стуле? Отвечайте!*

У делопроизводителя загса от злобы свалилось с носа пенсне и, мелькнув у колен золотой *своей* дужкой, грянулось об пол *и распалось на мелкие дребезги.*

— Как? Засадить в стул бриллиантов на семьдесят тысяч!? В стул, на котором неизвестно кто сидит!?.

Но тут Клавдия Ивановна всхлипнула и подалась всем корпусом к краю кровати. Рука ее, описав полукруг, пыталась ухватить Ипполита Матвеевича, но тут же упала на стеганое фиолетовое одеяло.

Ипполит Матвеевич, повизгивая от страха, бросился к *агрономше.*

— Умирает, кажется.

Агрономша деловито перекрестилась и, не скрывая своего любопытства, вместе с мужем, бородатым агрономом, побежала в дом Ипполита Матвеевича. Сам он ошеломленно забрел в городской сад.

И покуда чета агрономов с *их* прислугой *прибирали* в комнате покойной, Ипполит Матвеевич бродил по саду, натыкаясь *без пенсне* на скамьи, принимая окоченевшие от ранней весенней любви парочки за кусты, *а сверкающие под луной кусты принимая за бриллиантовые кущи.*

В голове Ипполита Матвеевича творилось черт знает что. Звучали цыганские хоры, грудастые дамские оркестры беспрерывно исполняли танго-амапа;[33] представлялась ему московская зима и черный длинный рысак, презрительно хрюкающий на пешеходов; многое представлялось Ипполиту Матвеевичу: и оранжевые, упоительно дорогие кальсоны, и лакейская преданность, и возможная поездка в *Тулузу…*

Но сейчас же Ипполит Матвеевич облился холодом сомнений:

— Как же я их найду?

Цыганские хоры сразу умолкли.

— Где эти стулья теперь искать? Их, конечно, растащили из моего дома по всему Старгороду. По всем этим пыльным, вонючим учреждениям, вроде моего загса.

Ипполит Матвеевич зашагал медленнее и вдруг споткнулся о тело гробовых дел мастера Безенчука. Мастер спал, лежа в тулупе поперек садовой дорожки. От толчка он проснулся, чихнул и живо встал.

— Не извольте беспокоиться, господин Воробьянинов, — сказал он горячо, как бы продолжая начатый давеча разговор, — *гроб* — он работу любит.

— Умерла Клавдия Ивановна! — сообщил заказчик.

— Ну, царствие небесное, — согласился Безенчук, — преставилась, значит, старушка… Старушки, они всегда преставляются… Или богу душу отдают — это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, — значит, «преставилась»… А, например, которая покрупнее, да похудее — та, считается, «богу душу отдает»…

— То есть как это считается? У кого это считается?

— У нас и считается. У мастеров… Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели не дай бог помрете, что «в ящик сыграли». А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, «приказал долго жить». А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят — «перекинулся» или «ноги протянул». Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что «дуба дают». Так про них и говорят: «А наш-то, слышали, дуба дал»…

Потрясенный этой, *несколько* странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:

— Ну, а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут?

— *Я* человек маленький. Скажут «гигнулся Безенчук». А больше ничего не скажут.

И строго добавил:

— Мне «дуба дать» или «сыграть в ящик» — невозможно. У меня комплекция мелкая… А с гробом как, господин Воробьянинов? Неужто так без кистей и глазету ставить будете?

Но Ипполит Матвеевич, снова потонув в ослепительных мечтах, ничего не ответил и двинулся вперед. Безенчук последовал за ним, подсчитывая что-то на пальцах и, по обыкновению, бормоча.

Луна давно сгинула. Было по-зимнему холодно. Лужи снова затянуло ломким, *как вафля*, льдом. На улице *«Им. тов. Губернского»*, куда вышли спутники, ветер дрался с вывесками. Со стороны Старопанской площади, со звуками опускаемой железной шторы, выехал пожарный обоз на тощих лошадях. Пожарные *в касках*, свесив парусиноые ноги с площадки, мотали головами и пели нарочито противными голосами:

Нашему брандмейстеру[34] слава!
Нашему дорогому товарищу Насосову сла-ава!..

— На свадьбе у Кольки, брандмейстерова сына, гуляли, — равнодушно сказал Безенчук и почесал под тулупом грудь. — Так неужто так-таки без глазету и без всего делать?

Как раз к этому времени Ипполит Матвеевич уже решил все. «Поеду, — решил он, — найду. А там… посмотрим». И в *бриллиантовых* мечтах даже покойная теща показалась ему милее, чем была. Он повернулся к Безенчуку:

— Черт с тобой! Делай! Глазетовый. С кистями.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Глава III
«Зерцало грешного»

Исповедовав умирающую Клавдию Ивановну, священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков, вышел из дома Воробьянинова в полном ажиотаже и всю дорогу до своей квартиры прошел, рассеянно глядя по сторонам и смущенно улыбаясь. К концу дороги рассеянность его дошла до такой степени, что он чуть было не угодил под уисполкомовский автомобиль Гос. № 1. Выбравшись из фиолетового тумана, напущенного адской машиной *уисполкома,* отец Востриков пришел в совершенное расстройство и, несмотря на почтенный сан и средние годы, проделал остаток пути фривольным полугалопом.

Матушка Катерина Александровна накрывала к ужину. Отец Федор в свободные от всенощной дни любил ужинать рано. Но сейчас, сняв шляпу и теплую, на ватине, рясу, батюшка быстро проскочил в спальню, к удивлению матушки, заперся там и глухим голосом стал напевать «Достойно есть».[35]

Матушка присела на стул и боязливо зашептала:

— Новое дело затеял! *Опять как с Неркой кончится.*

Неркой звали суку французского бульдога, которую отец Федор с преогромным трудом купил за 40 рублей на Миусском рынке, в Москве[36]*. Отец Федор замыслил свести бульдожку с крутобоким, мордатым, вечно чихающим кобельком секретаря уисполкома, а регулярно получаемый от избранной четы приплод отвозить в Москву и с выгодой продавать любителям. При виде собачки попадья ахнула и со всей твердостью заявила, что «конского завода» не допустит. Сладить, однако, с отцом Федором было невозможно. Катерина Александровна после трехдневной ссоры покорилась, и воспитание Нерки началось. Еду собаке подавали на трех блюдах. На одном лежали квадратные кусочки вареного мяса, на другом — манная кашица, а в третье блюдечко отец Федор накладывал какое-то мерзкое месиво, утверждая, что в нем содержится большой процент фосфору, так необходимого молодой собаке для укрепления костей. От добротной пищи и нежного воспитания Нерка расцвела и вошла в необходимый для произведения потомства возраст. Отец Федор надзирал за собакой, диспутировал с видными городскими собачеями,*

скорбя лишь о том, что не может побеседовать с секретарем уисполкома, великим, как говорили, знатоком по части собаководства.

Наконец на Нерку надели новый щеголеватый ошейник с перьями, напоминающий запястье египетской царицы Клеопатры, и Катерина Александровна, взяв с собою 3 рубля, повела благоухающую невесту к медалисту-жениху, принадлежащему секретарю уисполкома.

Счастливый принц встретил прелестную Нерку нежным, далеко слышным лаем.

Отец Федор, сидя у окна, в нетерпении поджидал возвращения молодой. В конце улицы появилась упитанная фигура Катерины Александровны. Саженях в тридцати от дома она остановилась, чтобы поговорить с соседкой. Нерка, придерживаемая шнурком, рассеянно описывала вокруг хозяйки кольца, восьмерки и параболы, изредка принюхиваясь к основанию ближайшей тумбочки[37].

Но уже через минуту хозяйская гордость, обуявшая душу отца Федора, сменилась негодованием, а потом и ужасом. Из-за угла быстро выкатился большой одноглазый, известный всей улице своей порочностью пес Марсик. Помахав хвостом, лежавшим на спине кренделем, мерзавец подскочил к Нерке с явно матримониальными намерениями.

Отец Федор от негодования подпрыгнул на стуле. Катерина Александровна, увлеченная беседой, не замечала ничего, происходившего за ее спиной. Востриков ужаснулся и, захватив в сенях палку, выбежал на улицу. Сцена, представившаяся его взору, была полна драматизма. Катерина Александровна бегала вокруг собак, визжа: «Пошел! Пошел! Пошел!» — и била Марсика зонтиком по могучей спине. Пес не обращал на побои ни малейшего внимания. Мысли его были далеко. Закричав еще издали страшным голосом, отец Федор бросился спасать свое будущее богатство, но было уже поздно. Избитый Марсик ускакал на трех ногах.

Дома произошла большая семейная сцена, уснащенная многими тяжелыми подробностями. Попадья плакала. Отец Федор сердито молчал, с омерзением поглядывая на оскверненную собаку. Оставалась крохотная надежда на то, что потомство Нерки все-таки пойдет по уисполкомовской линии.

Через положенное время Нерка принесла шесть отличных мордатых крутобоких щенят чисто бульдожьей породы, которых портила одна маленькая подробность: у каждого щенка имелся большой черный пушистый, лежащий на спине кренделем хвост. Вместе с кренделеобразными хвостами рухнула возможность продать приплод с прибылью. Щенков раздарили. Нерку подвергли строгому заточению и

снова стали ждать приплода. По ночам, а также утром, днем и вечером под окнами отца Вострикова медленно похаживал порочный Марсик, уставясь единственным нахальным глазом в окна и жалобно подвывая.

Несмотря на тюремный режим и новые три рубля, затраченные на секретарского кобеля, второе поколение еще больше напоминало бродягу Марсика. Один щенок родился даже одноглазым. Успех бродячего пса был совершенно необъясним. Тем не менее третья серия щенков оказалась вылитыми марсиками и от визитов к уисполкомовскому медалисту заимствовала только кривые породистые лапы. Отец Востриков хотел сгоряча вчинить иск, но так как Марсик не имел хозяина, вчинить иск было некому. Так распался «конский завод» и мечты о верном, постоянном доходе.

Порывистая душа отца Федора не знала покою. Не знала она его никогда. Ни тогда, когда он был воспитанником духовного училища, Федей, ни когда он был усатым семинаристом Федор Иванычем. Перейдя из семинарии в университет и проучившись на юридическом факультете три года, Востриков в 1915 году убоялся возможной мобилизации и снова пошел по духовной *линии*. Сперва был рукоположен в диаконы, а потом посвящен в сан священника и назначен в уездный город N. И всегда, во всех этапах духовной и гражданской карьеры, отец Федор оставался стяжателем.

Мечтал отец Востриков о собственном свечном заводе. Терзаемый видением больших заводских барабанов, наматывающих толстые восковые канаты, отец Федор изобретал различные проекты, осуществление которых должно было доставить ему основной и оборотный капиталы для покупки давно присмотренного в Самаре заводика.

Идеи осеняли отца Федора неожиданно, и он сейчас же принимался за работу. Отец Федор вдруг начинал варить мраморное стирочное мыло; наваривал его пуды, но *хотя мыло, по его уверению,* заключало в себе огромный процент жиров, оно не мылилось и вдобавок стоило втрое дороже, чем «*плугимолотовское*». Мыло долго потом мокло и разлагалось в сенях, так что Катерина Александровна, проходя мимо него, даже всплакивала. А еще потом мыло выбрасывали в выгребную яму.

Прочитав в каком-то животноводческом журнале, что мясо кроликов нежно, как у цыпленка, что плодятся они во множестве и что разведение их может принести рачительному хозяину немалые барыши, отец Федор немедленно обзавелся полдюжиной производителей, и уже через *пять месяцев* собака Нерка, испуганная неимоверным количеством ушастых существ, заполнивших двор и дом, сбежала неизвестно куда. Проклятые

обыватели города N оказались чрезвычайно консервативными и с редким *для неорганизованной массы* единодушием не покупали *у Вострикова ни одного кролика.* Тогда отец Федор, переговорив с попадьей, решил украсить свое меню кроликами, мясо которых превосходит по вкусу мясо цыплят. Из кроликов приготовляли: жаркое, битки, пожарские котлеты. Кроликов варили в супе, подавали к ужину в холодном виде и запекали в бабки. Это не привело ни к чему. Отец Федор подсчитал, что при переходе исключительно на кроличий паек семья сможет съесть за месяц не больше *40* животных, в то время как ежемесячный приплод составляет *90* штук, причем число это с каждым месяцем будет увеличиваться в геометрической прогрессии.

Тогда Востриковы решили давать *вкусные* домашние обеды. Отец Федор весь вечер *при лампе* писал химическим карандашом на аккуратно нарезанных листках арифметической бумаги объявления о даче вкусных домашних обедов, приготовляемых исключительно на свежем коровьем масле. Объявление начиналось словами: «Дешево и вкусно». Попадья наполнила эмалированную мисочку мучным клейстером, и отец Федор *поздним* вечером налепил объявления на всех телеграфных столбах и поблизости советских учреждений.

Новая затея имела большой успех. В первый же день явилось 7 человек, в том числе делопроизводитель военкомата Бендин и заведующий подотделом благоустройства Козлов, тщанием которого недавно был снесен единственный в городе памятник старины, триумфальная арка елисаветинских времен,[38] мешавшая, по его словам, уличному движению. Всем им обед очень понравился. На другой день явилось *14* человек. С кроликов не успевали сдирать шкурки. Целую неделю дело шло великолепно, и отец Федор уже подумывал об открытии небольшого скорняжного производства, без мотора,[39] когда произошел совершенно непредвиденный случай.

Кооператив «Плуг и молот», который был *уже* заперт три недели по случаю переучета товаров, открылся, и работники прилавка, пыхтя от усилий, выкатили на задний двор, общий с двором отца Федора, бочку гнилой капусты, которую и свалили в выгребную яму. Привлеченные пикантным запахом, кролики сбежались к яме, и уже на другое утро среди нежных грызунов начался мор. Свирепствовал он всего только три часа, но уложил *всех 240* производителей и *весь* не поддающийся учету приплод.

Ошеломленный, отец Федор притих на целых два месяца и взыграл духом только теперь, возвратясь из *дому* Воробьянинова и запершись, к

удивлению матушки, в спальне. Все *показывало* на то, что отец Федор озарен новой идеей, захватившей *все его существо.*

Катерина Александровна косточкой согнутого пальца постучала в дверь *спальной*. Ответа не было, только усилилось пение. Попадья отступила от двери и заняла позицию на диване. Через минуту дверь приоткрылась, и в щели показалось лицо отца Федора, на котором играл девичий румянец.

— Дай мне, мать, ножницы поскорее, — быстро проговорил отец Федор.

— А ужин как же?

— Ладно. Потом.

Отец Федор схватил ножницы, снова заперся и подошел к небольшому стенному овальному зеркалу в поцарапанной черной раме.

Рядом с зеркалом висела старинная народная картинка «Зерцало грешного», печатанная с медной доски и приятно раскрашенная рукой. *Отец Федор купил эту картинку в последний свой приезд в Москву на Смоленском рынке*[40] *и очень любил ее.* Особенно утешило *его* «Зерцало грешного» после неудачи с кроликами. *Картинка* ясно показывала бренность всего земного. По верхнему ее ряду шли четыре рисунка, подписанные славянской вязью, значительные и умиротворяющие душу: «Сим молитву деет, Хам пшеницу сеет, Яфет власть имеет, *смерть* всем владеет». Смерть была с косою и песочными часами с крыльями. Смерть была сделана как бы из протезов и ортопедических частей и стояла, широко расставив ноги, на пустой холмистой земле. Вид ее ясно говорил, что неудача с кроликами — дело пустое.

Сейчас отцу Федору больше понравилась картинка: «Яфет власть имеет», где тучный богатый человек с бородою сидел в маленьком зальце на троне *с полным сознанием своего богатства.*

Отец Федор улыбнулся и, *довольно торопливо,* внимательно глядя на себя в зеркало, начал подстригать свою благообразную бороду. Волосы сыпались на пол, ножницы скрипели, и через пять минут отец Федор убедился, что подстригать бороду он совершенно не умеет. Борода его оказалась скошенной на один бок, неприличной и даже подозрительной.

Помаячив у зеркала еще немного, отец Федор обозлился, позвал жену и, протягивая ей ножницы, раздраженно сказал:

— Помоги мне хоть ты, матушка. Никак не могу вот с волосищами своими справиться.

Матушка от удивления даже руки назад отвела.

— Что же ты над собой сделал? — вымолвила она наконец.

— Ничего не сделал. Подстригаюсь. Помоги, пожалуйста. Вот здесь, как будто, скособочилось…

— Господи, — сказала матушка, посягая на локоны отца Федора, — неужели, Феденька, ты к обновленцам перейти собрался?

Такому направлению разговора отец Федор обрадовался.

— А почему, мать, не перейти мне к обновленцам? А обновленцы что, не люди?

— Люди, конечно, люди, — согласилась матушка ядовито, — как же, по иллюзионам ходят, алименты платят…[41]

— Ну, и я по иллюзионам буду бегать.

— Бегай, пожалуйста.

— И буду бегать.

— Добегаешься! Ты в зеркало на себя посмотри.

И действительно. *Из* зеркала на отца Федора глянула бойкая черноглазая физиономия с небольшой дикой бородкой и нелепо длинными усами.

Стали подстригать усы, доводя их до пропорциональных размеров.

Дальнейшее еще больше поразило матушку. Отец Федор заявил, что этим же вечером должен выехать по делу, и потребовал, чтобы Катерина Александровна сбегала к брату-булочнику и взяла у него на неделю пальто с барашковым воротником и коричневый утиный картуз.[42]

— Никуда не пойду! — заявила матушка и заплакала.

Полчаса шагал отец Федор по комнате и, пугая жену изменившимся своим лицом, молол чепуху. Матушка поняла только одно: отец Федор ни с того, ни с сего *постригся,* хочет в дурацком картузе ехать неизвестно куда, а ее бросает.

— Не бросаю, — твердил отец Федор, — не бросаю, через неделю буду назад. Ведь может же быть у человека дело. Может или не может?

— Не может, — говорила попадья.

Отцу Федору, человеку в обращении с ближними кроткому, пришлось даже постучать кулаком по столу. Хотя стучал он осторожно и неумело, так как никогда *этого не* делал, попадья все же очень испугалась и, накинув *оренбургский* платок, побежала к брату за *статской* одеждой.

Оставшись один, отец Федор с минуту подумал, сказал: «Женщинам тоже тяжело» — и вытянул из-под кровати сундучок, обитый жестью. Такие сундучки встречаются по большей части у красноармейцев. Оклеены они полосатыми обоями, поверх которых красуется портрет Буденного или картонка от папиросной коробки «Пляж», *изображающей трех красавиц,*

лежащих на усыпанном галькой батумском берегу. Сундучок Востриковых, к неудовольствию отца Федора, также был оклеен картинками, но не было там ни Буденного, ни батумских красоток. Попадья залепила все нутро сундучка фотографиями, вырезанными из журнала «Летопись войны 1914 года».[43] Тут было и «Взятие Перемышля», и «Раздача теплых вещей нижним чинам на позициях», *и сам молодецкий казак Козьма Крючков, первый георгиевский кавалер.*

Выложив на пол лежавшие сверху книги: комплект журнала «Русский паломник» за 1903 год,[44] толстеннейшую «Историю раскола» и брошюрку «Русский в Италии»,[45] на обложке которой отпечатан был курящийся Везувий, отец Федор запустил руку на самое дно сундучка и вытащил старый обтерханный женин капор.[46] Зажмурившись от запаха нафталина, который внезапно ударил из сундучка, отец Федор, разрывая кружевца и прошвы, вынул из капора тяжелую полотняную колбаску. Колбаска содержала в себе двадцать золотых десяток — все, что осталось от коммерческих авантюр отца Федора.

Он привычным движением руки приподнял полу *серенькой* рясы и засунул колбаску в карман полосатых брюк. Потом подошел к комоду и вынул из конфетной коробки пятьдесят рублей трехрублевками и пятирублевками. В коробке оставалось еще двадцать рублей.

— На *неделю* хватит, — решил он.

Глава IV
Муза дальних странствий

За час до прихода вечернего почтового поезда отец Федор, в коротеньком, чуть ниже колен, пальто и с плетеной корзинкой, стоял в очереди у кассы и боязливо поглядывал на входные двери. Он боялся, что матушка, противно его настоянию, прибежит на вокзал провожать, и тогда палаточник Прусис, сидевший в буфете и угощавший пивом финагента,[47] сразу его узнает. Отец Федор с удивлением и стыдом посматривал на свои *обнаженные* полосатые брюки.

Агент ОДТГПУ[48] *медленно прошел по залу, утихомирил возникшую в очереди брань из-за места и занялся уловлением беспризорных, которые осмелились войти в зал I и II класса, играя на деревянных ложках «Жила-была Россия, великая держава»*[49].

Кассир, суровый гражданин, долго возился с компостерами, пробивал на билете кружевные цифры и, к удивлению всей очереди, давал мелкую сдачу деньгами, а не благотворительными марками в пользу детей[50].

Посадка в бесплацкартный поезд[51] носила обычный *кровопролитный* характер. Пассажиры, согнувшись под тяжестью преогромных мешков, бегали от головы поезда к хвосту и от хвоста к голове. Отец Федор ошеломленно бегал вместе со всеми. Он так же, как и все, говорил с проводниками искательным голосом, так же, как и все, боялся, что кассир дал ему «*неправильный*» билет, и только впущенный наконец в вагон вернулся к обычному спокойствию и даже повеселел.

Паровоз закричал полным голосом, и поезд тронулся, увозя с собой отца Федора в неизвестную даль по делу загадочному, но сулящему, как видно, большие выгоды.

Интересная штука — полоса отчуждения.[52] Самый обыкновенный гражданин, попав в нее, чувствует в себе некоторую хлопотливость и быстро превращается либо в пассажира, либо в грузополучателя, либо просто в безбилетного забулдыгу, омрачающего жизнь и служебную деятельность кондукторских бригад и перронных контролеров.

С той минуты, когда гражданин вступает в полосу отчуждения, которую он по-дилетантски называет вокзалом или станцией, жизнь его резко меняется. Сейчас же к нему подскакивают Ермаки Тимофеевичи в

белых передниках с никелированными бляхами на сердце[53] и услужливо подхватывают багаж. С этой минуты гражданин уже не принадлежит самому себе. Он — пассажир и начинает исполнять все обязанности пассажира. Обязанности эти многосложны, но приятны.

Пассажир очень много ест. Простые смертные по ночам не едят, но пассажир ест и ночью. Ест он жареного цыпленка, который для него дорог, крутые яйца, вредные для желудка, и маслины. Когда поезд прорезает стрелку, на полках брякают многочисленные чайники и подпрыгивают завернутые в газетные кульки цыплята, лишенные ножек, с корнем вырванных пассажирами. Но пассажиры ничего этого не замечают. Они рассказывают анекдоты. Регулярно, через каждые три минуты, весь вагон надсаживается от смеха. Затем наступает тишина, и бархатный голос докладывает следующий анекдот:

«Умирает старый еврей.[54] Тут жена стоит, дети.

— А Моня здесь? — *еврей* спрашивает еле-еле.

— Здесь.

— А тетя Брана пришла?

— Пришла.

— А где бабушка, я ее не вижу?

— Вот она стоит.

— А Исак?

— Исак тут.

— А дети?

— Вот все дети.

— Кто же в лавке остался?!»

Сию же секунду чайники начинают брякать и цыплята летают на верхних полках, потревоженные громовым смехом. Но пассажиры этого не замечают. У каждого на сердце лежит заветный анекдот, который, трепыхаясь, дожидается своей очереди. Новый исполнитель, толкая локтями соседей и умоляюще крича: «А вот мне рассказывали», — с трудом завладевает вниманием и начинает:

«Один еврей приходит домой и ложится спать рядом со своей женой. Вдруг он слышит, под кроватью кто-то скребется. Еврей опустил под кровать руку и спрашивает:

— Это ты, Джек?

А Джек лизнул руку и отвечает:

— Это я!»

Пассажиры умирают от смеха, темная ночь закрывает поля, из

паровозной трубы вылетают вертлявые искры, и тонкие семафоры в светящихся зеленых очках щепетильно проносятся мимо, глядя поверх поезда.

Интересная штука полоса отчуждения! Во все концы страны бегут длинные тяжелые поезда дальнего следования. Всюду открыта дорога. Везде горит зеленый огонь — путь свободен. Полярный экспресс подымается к Мурманску. Согнувшись и сгорбясь на стрелке, с Курского вокзала выскакивает «Первый-К», прокладывая путь на Тифлис. Дальневосточный курьер огибает Байкал, полным ходом приближаясь к Тихому океану.

Муза дальних странствий манит человека. Уже вырвала она отца Федора из тихой уездной обители и бросила невесть в какую губернию. Уже и *делопроизводитель* загса, Ипполит Матвеевич Воробьянинов, потревожен в самом нутре своем и задумал черт знает что такое.

Носит людей по стране. Один за десять тысяч километров от места службы находит себе сияющую невесту. Другой, в погоне за сокровищами, бросает почтово-телеграфное отделение и, как школьник, бежит на Алдан.[55] А третий так и сидит себе дома, любовно поглаживая созревшую грыжу и читая сочинения графа Салиаса,[56] купленные вместо рубля за пять копеек.

На второй день после похорон, управление которыми любезно взял на себя гробовой мастер Безенчук, Ипполит Матвеевич отправился на службу и, исполняя возложенные на него обязанности, зарегистрировал собственноручно кончину Клавдии Ивановны Петуховой, *59 лет*, домашней хозяйки, беспартийной, жительство имевшей в уездном городе N и родом происходившей из дворян Старгородской губернии. Затем Ипполит Матвеевич испросил себе *двухнедельный узаконенный декретный* отпуск,[57] получил *41* рубль отпускных денег и, распрощавшись с сослуживцами, отправился домой. По дороге он завернул в аптеку.

Провизор Леопольд Григорьевич, которого домашние и друзья называли — Липа, стоял за красным лакированным прилавком, окруженный *молочного цвета* банками с ядом, и, *со свойственной ему нервностью*, продавал свояченице брандмейстера «крем Анго против загара и веснушек, придает исключительную белизну коже». Свояченица брандмейстера, однако, требовала «пудру Рашель золотистого цвета, придает телу ровный, *недостижимый* в природе загар». Но в аптеке был только *«крем Анго против загара»*, и борьба столь противоположных

продуктов парфюмерии длилась полчаса. Победил все-таки Липа, продавший свояченице брандмейстера губную помаду и *«Клоповар»* — прибор, построенный по принципу самовара, но имеющий внешний вид лейки.[58]

— Как вам нравится Шанхай[59]? — спросил Липа Ипполита Матвеевича, — не хотел бы я теперь быть в этом сетльменте.

— Англичане ж сволочи, — ответил Ипполит Матвеевич. — Так им и надо. Они всегда Россию продавали.

Леопольд Григорьевич сочувственно пожал плечами, как бы говоря — «Кто Россию не продавал», и приступил к делу.

— Что вы хотели?

— Средство для волос.

— Для ращения, уничтожения, окраски?

— Какое там ращение, — сказал Ипполит Матвеевич, — для окраски.

— Для окраски есть замечательное средство «Титаник».[60] Получено с таможни. Контрабандный товар. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Радикальный черный цвет. Флакон на полгода стоит *3 р. 12 копеек.* Рекомендую как хорошему знакомому.

Ипполит Матвеевич повертел в руках квадратный флакон «Титаника», со вздохом посмотрел на этикетку и выложил деньги на прилавок.

— Они скоро всю Хэнань заберут, эти кантонцы. Сватоу, я знаю. А?

Ипполит Матвеевич возвратился домой и с омерзением стал поливать голову и усы «Титаником». По квартире распространилось зловоние.

После обеда вонь убавилась, усы обсохли, слиплись, и расчесать их можно было только с большим трудом. Радикальный черный цвет оказался с несколько зеленоватым отливом, но вторично красить уже было некогда. Ипполит Матвеевич вынул из тещиной шкатулки найденный им накануне список драгоценностей *Клавдии Ивановны,* пересчитал все наличные деньги, запер квартиру, спрятал ключи в задний карман *брюк*, сел в ускоренный № 7 и уехал в Старгород.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Глава V
Бойкий мальчик

На масленицу 1913 года в Старгороде произошло событие, возмутившее передовые слои местного общества.

В четверг вечером, в кафешантане «Сальве», в роскошно отделанных залах шла грандиозная программа. «Всемирно известная труппа жонглеров „10 арабов“! Величайший феномен XX века Стэнс — Загадочно! Непостижимо! Чудовищно! Стэнс — человек-загадка. Поразительные испанские акробаты Инас! Брезина — дива из парижского театра Фоли-Бержер[61]*! Сестры Драфир и другие номера».*

Сестры Драфир, их было трое, метались по крохотной сцене, задник которой изображал Версальский вид, и с волжским акцентом пели:

Пред вами мы, как птички,
Ловко порхаем здесь,
Толпа нам рукоплещет,
Бомонд в восторге весь.

Исполнив этот куплет, сестры вздрогнули, взялись за руки и под усилившийся аккомпанемент рояля грянули что есть силы рефрен:

Мы порхаем,
Мы слез не знаем,
Нас знает каждый всяк —
И умный, и дурак.

Отчаянный пляс и обворожительные улыбки трио Драфир не произвели никакого действия на передовые круги старгородского общества. Круги эти, представленные в кафешантане гласным городской думы[62] *Чарушниковым с двоюродной сестрой, первогильдийным купцом*[63] *Ангеловым, сидевшим навеселе с двумя двоюродными сестрами в палевых одеждах, архитектором управы, городовым врачом, тремя*

помещиками и многими, менее именитыми, людьми с двоюродными сестрами и без них, проводили трио Драфир похоронными хлопками и снова предались радостям «семейного парадного ужина с шампанским Мумм (зеленая лента) по 2 рубля с персоны».

На столиках в особенных стопочках из «белого металла бр. Фраже»[64] *торчали привлекательные голубые меню, содержание которых, наводившее на купца Ангелова тяжелую пьяную скуку, было обольстительно и необыкновенно для молодого человека, лет семнадцати, сидевшего у самой сцены с недорогой, очень зрелых лет двоюродной сестрой. Молодой человек еще раз перечел меню: «Судачки Попьет. Жаркое цыпленок. Малосольный огурец. Суфле-глясе Жанна Д'Арк. Шампанское Мумм (зеленая лента). Дамам — живые цветы», — сбалансировал в уме одному ему известные суммы и робко заказал ужин на две персоны. А уже через полчаса плакавшего молодого человека, в котором купец Ангелов громогласно опознал переодетого гимназиста, сына бакалейщика Дмитрия Маркеловича, выводил старый лакей Петр*[65]*, с негодованием бормотавший: «А ежели денег нет, то зачем фрукты требовать. Они в карточке не обозначены. Им цена особая». Двоюродная сестра, кокетливо закутавшись в кошачий палантин с черными лапками, шла позади, выбрасывая зад то направо, то налево и иронически подергивая плечами. Купец Ангелов радостно кричал вслед опозоренному гимназисту: «Двоечник! Второгодник! Папе скажу! Будет тебе бенефис!»*

Скука, навеянная выступлением сестер Драфир, исчезла бесследно. На сцену медленно вышла знаменитая мадемуазель Брезина с бритыми подмышками и небесным личиком. Дива была облачена в страусовый туалет. Она не пела, не рассказывала, ни даже не танцевала. Она расхаживала по сцене, умильно глядя на публику, пронзительно вскрикивая и одновременно с этим сбивая носком божественной ножки проволочные пенсне без стекол с носа партнера — бесцветного усатого господина. Ангелов и городской архитектор, бритый старичок, были вне себя.

— Отдай все — и мало! — кричал Ангелов страшным голосом.

— Бис! Бис! Бис! — надсаживался архитектор.

Гласный городской думы Чарушников, пронзенный в самое сердце феей из Фоли-Бержер, поднялся из-за столика и, примерившись, тяжело дыша, бросил на сцену кружок серпантину. Развившись только до половины, кружок попал в подбородок прелестной дивы. Фея еще больше заулыбалась. Неподдельное веселье захватило зал. Требовали шампанского. Городской архитектор плакал. Помещики усиленно приглашали городового

врача к себе на охоту. Оркестр заиграл туш…

В момент наивысшей радости раздались громкие голоса. Оркестр смолк, и архитектор — первый, обернувшийся ко входу, сначала закашлялся, а потом зааплодировал. В залу вошел известный мот и бонвиван, уездный предводитель дворянства[66] *Ипполит Матвеевич Воробьянинов, ведя под руки двух совершенно голых дам. Позади шел околоточный надзиратель*[67] *в шинели и белых перчатках, держа под мышкой разноцветные бебехи, составлявшие, по-видимому, наряды разоблачившихся спутниц Ипполита Матвеевича.*

— Не губите, ваше высокоблагородие! — дрожащим голосом говорил околоточный. — По долгу службы…

Голые дамы с любопытством смотрели на окружающих невинными глазами. В зале началось смятенье. Не пал духом один лишь Ангелов.

— Голубчик! Ипполит Матвеевич! — дико умилился он. — Орел! Дай я тебя поцелую. Оркестр — туш!!!

— По долгу службы, — неожиданно твердо вымолвил околоточный, — не дозволяют правила!

— Што-с? — спросил Ипполит Матвеевич тенором. — Кто вы такой?

— Околоточный надзиратель шестого околотка, Садовой части, Юкин.

— Господин Юкин, — язвительно сказал Ипполит Матвеевич, — сходите к полицмейстеру[68] *и доложите ему, что вы мне надоедали. А теперь по долгу службы составьте протокол.*

И Ипполит Матвеевич горделиво проследовал со своими спутницами в отдельный кабинет, куда немедленно ринулись встревоженный метрдотель, сам хозяин «Сальве» и совершенно одичавший купец Ангелов.

Событие это, взволновавшее передовые круги старгородского общества, окончилось так же, как оканчивались все подобные события: 25 рублей штрафу и статейка в местной либеральной газете «Общественная мысль» под осторожным заглавием «Приключения предводителя». Статейка была написана возвышенным слогом и начиналась так:

«В нашем богоспасаемом городе что ни событие, то:

— Сенсация!

И, как нарочно, в каждой сенсации замешаны именно:

— Влиятельные лица…»

Статья, в которой упоминались инициалы Ипполита Матвеевича,

заканчивалась неизбежным: «Бывали хуже времена, но не было подлей»[69] — и была подписана популярным в городе фельетонистом Принцем Датским[70]. В тот же день чиновник для особых поручений при градоначальнике позвонил в редакцию и, с устрашающей любезностью, просил господина «Принца Датского» прибыть в канцелярию градоначальника к 4 часам дня для объяснений. Принц Датский сразу затосковал и уже не смог дописать очередного фельетона о подозрительной затяжке переговоров по сдаче городского театра под спектакли московского опереточного театра. В назначенное время венценосный журналист сидел в приемной градоначальника и, смущаясь, думал о том, как он, заикающийся настолько, что его не смогли излечить даже курсы профессора Файнштейна[71], будет объясняться с градоначальником, человеком вспыльчивым и ничего не понимающим в газетной технике. Градоначальник говорил, презрительно растягивая слова и с особенным удовольствием всматриваясь в синеватое лицо Принца Датского, который тщетно силился выговорить необыкновенно трудные для него слова: «Ваше высокопревосходительство». Беседа кончилась тем, что градоначальник поднялся из-за стола и сказал:

— Для вашего спокойствия рекомендую о таких вещах больше не заикаться.

Принц Датский, успевший одолеть к этому времени слова: «Ваше высокопревосходительство» — зашипел особенно сильно, позволил себе улыбнуться и, почти выворачиваясь наизнанку от усилия, вытряхнул из себя ответ:

— Т-т-то-те-т-так я же в-в-в-оообще з-аикаюсь!

Остроумие Принца было оценено довольно дорого. Газета заплатила 100 р. штрафу и о следующих похождениях Ипполита Матвеевича уже ничего не писала.

Неожиданные поступки были свойственны Ипполиту Матвеевичу с детства.

Ипполит Матвеевич Воробьянинов родился в 1875 году в Старгородском уезде в поместье своего отца Матвея Александровича, страстного любителя голубей. Покуда сын рос, болел детскими болезнями и вырабатывал первые взгляды на жизнь, Матвей Александрович гонял длинным бамбуковым шестом голубей, а по вечерам, запахнувшись в халат, писал сочинение о разновидностях и привычках любимых птиц. Все крыши усадебных построек были устланы хрупким голубиным пометом. Любимый голубь Матвея Александровича Фредерик со своей супругой

Манькой обитали в отдельной благоустроенной голубятне.

На девятом году жизни мальчика Ипполита определили в приготовительный класс Старгородской дворянской гимназии, где он узнал, что, кроме красивых и приятных вещей — пенала, скрипящего и пахучего кожаного ранца, переводных картинок и упоительного катания на лаковых перилах гимназической лестницы, есть еще единицы, двойки, двойки с плюсом и тройки с двумя минусами. О том, что он лучше других мальчиков, Ипполит узнал уже во время вступительного экзамена по арифметике. На вопрос о том, сколько получится яблок, если из левого кармана вынуть три яблока, а из правого — девять, сложить их вместе, а потом разделить на три, Ипполит ничего не ответил, потому что решить этой задачи не смог. Экзаменатор собрался было записать Воробьянинову Ипполиту двойку, но батюшка, сидевший за столом вместе с прочими экзаменаторами, завздыхал и сообщил: «Это Матвея Александровича сын, очень бойкий мальчик». Экзаменатор записал Воробьянинову Ипполиту три, и бойкий мальчик был принят.

В Старгороде были две гимназии: дворянская и городская. Воспитанники дворянской гимназии питали традиционную вражду к питомцам городской гимназии. Они называли их «карандашами» и гордились своими фуражками с красным околышем, за что, в свою очередь, получили позорное прозвище «баклажан». Не один «карандаш» принял мученический венец из «фонарей» и «бланшей» от руки кровожадных «баклажан». Озлобленные «карандаши» устраивали на «баклажан»-одиночек облавы и с гиканьем обстреливали дворянчиков из дальнобойных рогаток. «Баклажан»-одиночка, тряся ранцем, спасался в переулок и долго еще сидел в подъезде какого-нибудь дома, бледный и потерявший одну калошу. Взятая в плен калоша забрасывалась победителями на крышу по возможности высокого дома.

Были еще в Старгороде кадеты, которых гимназисты называли «сапогами», но жили они в двух верстах от города, в своем корпусе, и вели, по мнению «мартыханов»[72]*, жизнь загадочную и даже легендарную.*

Ипполит завидовал кадетам, их голубым погончикам с наляпанным по трафарету желтым александровским вензелем, их бляхам с накладными орлами; но, лишенный, по воле отца, возможности получить воспитание воина, сидел в гимназии, получал тройки с двумя минусами и пускался на самые неслыханные предприятия.

В третьем классе Ипполит остался на второй год. Как-то, перед самыми экзаменами, во время большой перемены три гимназиста забрались в актовый зал и долго лазили там, с восторгом осматривая

стол, покрытый сверкающим зеленым сукном, тяжелые малиновые портьеры с бамбошками и кадки с пальмами. Гимназист Савицкий, известный в гимназических кругах сорвиголова, радостно плюнул в вазон с фикусом. Ипполит и третий гимназист Пыхтеев-Какуев[73] чуть не умерли от смеха.

— А фикус ты можешь поднять? — с почтением спросил Ипполит.

— Ого! — ответил «силач» Савицкий.

— А ну, подыми!

Савицкий сейчас же начал трудиться над фикусом.

— Не подымешь! — шептали Ипполит с Пыхтеевым-Какуевым. Савицкий с красной мордочкой и взмокшими нахохленными волосами продолжал копошиться у фикуса.

Вдруг произошло самое ужасное: Савицкий оторвался от фикуса и спиною налетел на колонну красного дерева с золотыми ложбинками, на которой стоял мраморной бюст Александра I, Благословенного. Бюст зашатался, слепые глаза царя укоризненно посмотрели на притихших мигом гимназистов, и Благословенный, постояв секунду под углом в сорок пять градусов, как самоубийца в реку, кинулся головой вниз. Падение императора, хотя и заглушенное лежавшим на полу кавказским ковром, имело роковые последствия. От лица царя отделился сверкающий как рафинад кусок, в котором гимназисты с ужасом узнали нос. Холодея от ужаса, товарищи подняли бюст и поставили его на прежнее место. Первым убежал Пыхтеев-Какуев.

— Что ж теперь будет, Воробьянинов? — спросил Савицкий.

— Это не я разбил, — быстро ответил Ипполит.

Он покинул актовый зал вторым. Оставшись один, Савицкий, не надеясь ни на что, пытался водворить нос на прежнее место. Нос не приставал. Тогда Савицкий пошел в уборную и утопил нос в дыре.

Во время греческого в третий класс вошел директор Сизик. Сизик сделал знак греку оставаться на месте и произнес ту же самую речь, которую он только что произносил по очереди в пяти старших классах. У директора не было зубов.

— Гошпода, — заявил он, — кто ражбил бюшт гошударя в актовом жале?

Класс молчал.

— Пожор! — рявкнул директор, обрызгивая слюною «зубрил», сидящих на передних партах.

«Зубрилы» преданно смотрели в глаза Сизика. Взгляд их выражал горькое сожаление о том, что они не знают имени преступника.

— Пожор! — повторил директор. — Имейте в виду, гошпода, што ешли в чечении чаша виновный не шожнаеча, вешь клаш будет оштавлен на второй год. Те же, которые шидят второй год, будут ишключены.

Третий класс не знал, что Сизик говорил о том же самом во всех классах, и поэтому его слова вызвали ужас.

Конец урока прошел в полном смятении. Грека никто не слушал. Ипполит смотрел на Савицкого.

— Сизик врет, — говорил Савицкий грустно, — пугает. Нельзя всех оставить на второй год.

Пыхтеев-Какуев плакал, положив голову на парту.

— А мы-то за что? — кричали «зубрилы», преданно глядя на грека.

— Ну, дети, дети, дети! — взывал грек.

Но паника только увеличивалась. Плакал уже не один Пыхтеев-Какуев. Доведенные до отчаяния «зубрилы» рыдали. Звонок, возвестивший конец урока, прозвучал среди взрывов всеобщего отчаяния.

«Зубрила» Мурзик прочел молитву после учения «Благодарим тя создателю», икая от горя.

После урока Савицкий, не добившись никакого толку от заплаканного Пыхтеева-Какуева, пошел искать Ипполита, но Ипполита нигде не было.

На другой день Савицкий был исключен из гимназии. Пыхтеев-Какуев получил тройку «из поведения с предупреждением и вызовом родителей». Родитель, мелкопоместный владетель, приехал на бегунках[74]*, запряженных неподкованной лошадкой, и, после разговора с директором, утащил сына в шинельную, где и отодрал его самым зверским образом в присутствии массы любопытных из старших классов. Рев маленького Пыхтеева-Какуева был слышен даже за городской чертой.*

Ипполит продолжал учиться. Гимназические его годы сопровождали обычные события и вещи. В гимназию он приезжал в фаэтоне с фонарями и толстым кучером, который величал его по имени и отчеству. Липки и резинки водились у него самые лучшие и дорогие. Играл он в перышки всегда счастливо, потому что перья покупали ему целыми коробками и с таким резервом он мог играть до бесконечности, беря противников «на выдержку». Завтракать он ездил домой. Это вызывало зависть, и он этим гордился. В пятом классе он уже говорил, слегка растягивая слова, что не помешало ему снова сесть на второй год. В шестом классе была выкурена первая папироса. Зима прошла в гимназических балах, где Ипполит, показывая белую шелковую подкладку мундира, вертелся в мазурке и пил в гардеробной ром. В седьмом классе его мучили квадратные уравнения, «чертова лестница» (объем пирамиды), параллелограмм

скоростей и «Метаморфозы» Овидия. А в восьмом классе он узнал «Логику», «Христианские нравоучения» и легкую венерическую болезнь.

Отец его сильно одряхлел. Длинный бамбуковый шест уже дрожал в его руках, а сочинение о свойствах голубиной породы уже перевалило за середину. Матвей Александрович умер, так его и не закончив, и Ипполит Матвеевич, кроме шестнадцати голубиных стай, совершенно иссохшего и ставшего похожим на попугая Фредерика, получил двадцать тысяч годового дохода и огромное, плохо поставленное хозяйство.

Начало самостоятельной жизни молодой Воробьянинов ознаменовал блестяще организованным кутежом с пьяной стрельбой по голубям и облавой на деревенских девок. Образование свое он считал законченным. Он не пошел ни в университет, ни на государственную службу. От военной его избавила общая слабость здоровья, поразительная в таком цветущем на вид человеке. Он так и остался неслужащим дворянином, золотой рыбкой себе на уме, неверным женихом и волокитой по натуре. Он переустроил родительский особняке Старгороде на свой лад, завел камердинера с баками, трех лакеев, повара-француза, шедевром которого было филе из налима «Вам-Блям», и большой штат кухонной прислуги.

Глава VI
Продолжение предыдущей

Благотворительные базары в Старгороде отличались большой пышностью и изобретательностью, которую наперерыв проявляли дамы избранного старгородского общества. Базары эти устраивались то в виде московского трактира, то на манер кавказского аула, где черкешенки с двойными подбородками и в корсетах торговали в пользу приютских детей шампанским «Аи» по цене, не слыханной даже на таких заоблачных высотах.

На одном из этих базаров Ипполит Матвеевич, стоя под вывеской: «Настоящи кавказски духан. Нормальни кавказски удовольсти», — познакомился с женой нового окружного прокурора — Еленой Станиславовной Боур. Прокурор был стар, но жена его, по уверению секретаря суда, —

…сама юность волнующая,
Сама младость ликующая,
К поцелуям зовущая,
Вся такая воздушная.

Секретарь суда грешил стишками.

«Зовущая к поцелуям» Елена Станиславовна имела на голове черную бархатную тарелочку с шелковой розеткой цветов французского национального флага, что должно было изображать полный наряд молодой черкесской девицы. На плече воздушная прокурорша держала картонный кувшин, оклеенный золотой бумагой, из которого торчало горлышко шампанской бутылки.

— Разришиты стаканчик шампански! — сказал Ипполит Матвеевич галантно.

Прокурорша нежно улыбнулась и спустила с плеча кувшин. Ипполит Матвеевич, задержав дыхание, смотрел на ее голые парафиновые руки, неумело открывающие бутылку. Он выпил свой бокал, как воду, не почувствовав даже вкуса. Голые руки Елены Станиславовны смешали все его мысли. Он вынул из жилетного кармана сотенный билет, положил его на край скалы из бурого папье-маше и, громко сопя, отошел. Прокурорша

улыбнулась еще нежней, потащила кредитку к себе и молвила музыкальным голосом:

— Бедные дети не забудут вашей щедрости.

Ипполит Матвеевич издали прижал руки к груди и поклонился на целый аршин глубже, чем кланялся обычно. Разогнувшись, Ипполит Матвеевич понял, что без прокурорши ему не жить и попросил секретаря суда представить его новому прокурору. Прокурор был похож на умную обезьяну. Прохаживаясь с Ипполитом Матвеевичем между замком Тамары и сидевшим на кресле и державшим в клюве кружку для пожертвований чучелом орла, прокурор Боур проворно чесал у себя за ухом и рассказывал последние петербургские новости.

С Еленой Станиславовной Воробьянинову в этот вечер довелось разговаривать еще несколько раз по поводу бедственного положения приютских детей и живописности старгородского парка.

На следующий день Ипполит Матвеевич подкатил к подъезду Боуров на злейших в мире лошадях, провел полчаса в приятнейшей беседе о бедственном положении приютских детей, а уже через месяц секретарь суда конфиденциально шепнул в мохнатое ухо следователя по важнейшим делам, что прокурор «кажется стал бодаться», на что следователь с усмешкой ответил: «Це дило треба розжуваты» — и рассказал очень интересное дело, слушавшееся в городе Орле и окончившееся оправданием мужа, убившего изменницу жену.

Во всем городе дамочки заливались по-соловьиному. Мужья завидовали удачливости Воробьянинова. Постники, трезвенники и идеалисты забрасывали прокурора анонимными письмами. Прокурор читал их на заседаниях суда, ловко и быстро чеша за ухом. С Воробьяниновым он был любезнее прежнего. Положение его было безвыходным — он ожидал вскоре перевода в столицу и не мог портить своей карьеры пошлым убийством любовника жены.

Но Ипполит Матвеевич позволил себе совершенную бестактность. Он велел выкрасить свой экипаж в белый цвет и прокатился в нем вместе с угоревшей от любви прокуроршей по Большой Пушкинской улице. Напрасно Елена Станиславовна прикрывала мраморное лицо вуалеткой, расшитой черными птичками, — ее все узнали. Город в страхе содрогнулся, но этот любовный эксцесс не оказал на прокурора никакого действия. Отчаявшиеся постники, трезвенники и идеалисты стали бомбардировать анонимками само министерство юстиции. Товарищ министра был поражен трусостью окружного прокурора[75]*. Все ждали дуэли. Но прокурор, по-прежнему минуя оружейный магазин, катил*

каждое утро к зданию судебных установлений, с грустью поглядывая на фигуру Фемиды, державшей весы, в одной чашке которых он явственно видел себя санкт-петербургским прокурором, а в другой — розового и наглого Воробьянинова.

Все кончилось совершенно неожиданно: Ипполит Матвеевич увез прокуроршу в Париж, а прокурора перевели в Сызрань. В Сызрани прокурор прожил долго, заслал человек восемьсот на каторгу и в конце концов умер.

Ипполит Матвеевич со своей подругой приехал в Париж осенью. Париж готовился к всемирной выставке. Еще незаконченная башня Эйфеля[76]*, похожая на сумасшедшую табуретку, вызывала ужас идеалистов, постников и трезвенников богоспасаемого города Парижа. Вечером, в отеле, Ипполиту Матвеевичу показали самого Эйфеля — господина среднего роста с бородкой «буланже»*[77] *цвета соли и перцу, в рогатом пенсне. Из-за него произошла ссора, уже не первая, впрочем, между Ипполитом Матвеевичем и его любовницей. Напичканная сведениями, полученными ею от соседа по купе, молодого французского инженера, Елена Станиславовна неожиданно заявила, что преклоняется перед смелыми дерзаниями господина Эйфеля.*

— Обвалится эта каланча на твоего Эйфелева, — грубо ответил Ипполит Матвеевич. — Я б такому дураку даже конюшни не дал строить.

И среди двух русских возник тяжкий спор, кончившийся тем, что Ипполит Матвеевич в сердцах купил молодого рослого сенбернара, доводившего Елену Станиславовну до притворной истерики и прогрызшего ее новую ротонду[78]*, обшитую черным стеклярусом.*

В пахнущем москательной лавкой Париже молодые люди веселились: шатались по кабачкам, ели пьяные вишни, бывали на спектаклях «Французской комедии»[79]*, пили чай из самовара, специально выписанного Ипполитом Матвеевичем из России, за что и получили от отельной прислуги кличку «молодоженов с машиной»; неудачно съездили на рулетку, но не говорили уже больше ни о бедственном положении приютских детей, ни о живописности старгородского парка, потому что страсть незаметно пропала и осталась привычка к бездельной веселой жизни вдвоем. Елена Станиславовна сходила однажды к известной гадалке, мадам де Сюри, и вернулась оттуда необыкновенно взволнованной.*

— Нет, ты обязательно должен к ней сходить. Она мне все рассказала. Это удивительно, — твердила Елена Станиславовна.

Но Ипполит Матвеевич, проигравший накануне в безик семьсот франков заезжему россиянину[80]*, только посмотрел на свои кофейные с черными лампасами панталоны и неожиданно сказал:*

— Едем, милая, домой. Давно пора.

Старгород был завален снегом.[81] *Тяжелые обозы шагом проходили по Большой Пушкинской. Обледенелые деревья Александровского бульвара были абонированы галками. Галки картавили необыкновенно возбужденно, что напоминало годичные собрания «Общества приказчиков-евреев». Снежные звезды, крестики и другие морозные знаки отличий медленно садились на нос Ипполита Матвеевича. Ветра не было. С вокзала Ипполит Матвеевич ехал на низких санках, небрежно поглядывая на городские достопримечательности: на новое здание биржи, сооруженное усердием старгородских купцов в ассиро-вавилонском стиле, на каланчу Пушкинской части с висевшими на ней двумя большими круглыми бомбами, которые указывали на пожар средней величины*[82]*, возникший в районе.*

— Кто горит, Михайла? — спросил Ипполит Матвеевич кучера.

— Балагуровы горят. Вторые сутки.

Не проехали и двух кварталов, как натолкнулись на небольшую толпу народа, уныло стоявшую напротив балагуровского дома. Из открытых окон второго этажа медленно выходил дым. Внезапно в окне появился пожарный и лениво прокричал вниз:

— Ваня! Дай-ка французскую лестницу.

Снег продолжал летать. Внизу никто не отзывался. Пожарный в раздумье постоял у окна, зевнул и равнодушно скрылся в дыму.

— Так он и пять суток гореть будет, — гневно сказал Ипполит Матвеевич. — Тоже… Париж.

С Еленой Станиславовной Воробьянинов разошелся очень мирно. Продолжал бывать у нее, ежемесячно посылал ей в конверте 300 рублей и нисколько не обижался, когда заставал у нее молодых офицеров, по большей части бойких и прекрасно воспитанных.

Ипполит Матвеевич продолжал жить в своем особняке на Денисовской улице, ведя легкую холостую жизнь. Он очень заботился о своей наружности и, морщась от боли, выдирал стальным пинцетом высовывающиеся из ноздри волоски; посещал первые представления в городском театре и одно время так пристрастился к опере, что подружился с баритоном Абрамовым и прошел с ним арию Жермена из «Травиаты» — «Ты забыл край милый свой, бросил ты Прованс родной». Когда приступили к разучиванию арии Риголетто: «Куртизаны, исчадия

порока, насмеялись надо мною вы жестоко», — баритон с негодованием заметил, что Ипполит Матвеевич живет с его женой, колоратурным сопрано. Последовавшая затем сцена была ужасна. Возмущенный до глубины души баритон сорвал с Воробьянинова 160 рублей и покатил в Казань.

Скабрезные похождения Ипполита Матвеевича, а в особенности избиение в клубе благородного собрания присяжного поверенного Мурузи закрепили за ним репутацию демонического человека.

Даже в 1905 году, принесшем беспокойство и тревогу, Ипполита Матвеевича не покинула природная жизнерадостность и вера в твердые устои российской государственности. К тому же в имении Ипполита Матвеевича все прошло тихо, если не считать сожжения нескольких стогов сена. Графа Витте, заключившего Портсмутский мир[83]*, Ипполит Матвеевич сгоряча назвал предателем, но подробно по этому поводу так и не высказался.*

Новые годы не переменили жизни Ипполита Матвеевича. Он часто бывал в Петербурге и Москве, любил слушать цыган, делая при этом тонкие различия между петербургскими и московскими, посещал гимназических товарищей, служивших кто по министерству внутренних дел, а кто и по финансовой части.

Жизнь проходила весело и быстро. На Ипполита Матвеевича уже не охотились предприимчивые родоначальницы. Все считали его безнравственным холостяком. И вдруг, в 1911 году, Воробьянинов женился на дочери соседа — состоятельного помещика Петухова[84]*. Произошло это после того, как отъявленный холостяк, наехав как-то в имение, увидел, что дела его пошатнулись и что без выгодной женитьбы поправить их невозможно. Наибольшее приданое можно было получить за Мари Петуховой, долговязым и кротким скелетом. Два месяца Ипполит Матвеевич складывал к подножию кроткого скелета белые розы, а на третий сделал предложение, женился и был избран уездным предводителем дворянства.*

— Ну, как твой скелетик?[85] *— нежно спрашивала Елена Станиславовна, у которой Ипполит Матвеевич после женитьбы стал бывать чаще прежнего.*

Ипполит Матвеевич весело ощеривался, заливаясь смехом.

— Нет, честное слово, она очень милая, но до чего наивна… А Клавдия Ивановна!.. Ты знаешь, она называет меня Эполет. Ей кажется, что так произносят в Париже. Замечательно.

С годами жизнь Ипполита Матвеевича заметно менялась. Он рано и красиво поседел. У него появились маленькие привычки. Просыпаясь по утрам, он говорил себе: «Гутен морген» или «Бонжур». Его одолевали детские страсти. Он начал собирать земские марки, ухлопал на это большие деньги, скоро оказался владельцем лучшей коллекции в России и завел оживленную переписку с англичанином Энфильдом, обладавшим самой полной коллекцией русских земских марок. Превосходство англичанина в области коллекционирования марок подобного рода сильно волновало Ипполита Матвеевича. Положение предводителя и большие связи помогли ему в деле одоления коварного врага из Глазго. Ипполит Матвеевич подбил председателя земской управы на выпуск новых марок Старгородского губернского земства[86]*, чего уже не было лет десять. Председатель управы, смешливый старик, введенный Ипполитом Матвеевичем в суть дела, долго хохотал и согласился на предложение Воробьянинова. Новые марки были выпущены в количестве двух экземпляров и включены в каталог за 1912 год. Клише Воробьянинов собственноручно разбил молотком. Через три месяца Ипполит Матвеевич получил от Энфильда учтивое письмо, в котором англичанин просил продать ему одну из этих редчайших марок по цене, какую будет угодно назначить мистеру Воробьянинову.*

От радости на глазах у мистера Воробьянинова даже выступили слезы. Он немедленно сел писать ответное письмо мистеру Энфильду. В письме он написал латинскими буквами: «Nacosia — vicousi!».

После этого деловая связь с мистером Энфильдом навсегда прекратилась и удовлетворенная страсть Ипполита Матвеевича к маркам значительно ослабела.

К этому времени Ипполита Матвеевича стали звать бонвиваном. Да он и в самом деле любил хорошо пожить. Жил он, к удивлению тещи, доходами от имения своей жены. Клавдия Ивановна однажды даже пыталась поделиться с ним своими взглядами на жизнь и обязанности примерного мужа, но зять внезапно затрясся, сбросил на пол сахарницу и крикнул:

— Замечательно! Меня учат жить! Это просто замечательно!

Сейчас же вслед за этим бушующий зять укатил в Москву на банкет, затеянный охотничьим клубом в честь умерщвления известным охотником г. Шарабариным двухтысячного, со времени основания клуба, волка.

Столы были расставлены в виде полумесяца. Посредине стола, на сахарной скатерти, среди поросят, заливных и вспотевших графинчиков с

водками и коньяками лежала шкура юбиляра. Г. Шарабарин, клюнувший уже с утра и ослепленный магнием бесчисленных фотографов, стоял, дико поглядывая по сторонам, и слушал речи.

Ипполиту Матвеевичу слово было предоставлено поздно, когда он уже основательно развеселился. Он быстро накинул на себя шкуру волка и, позабыв о семейных делах, торжественно сказал:

— Милостивые государи, господа члены охотничьего клуба! Позвольте вас поздравить от имени старгородских любителей ружейной охоты с таким знаменательным событием. Очень, очень приятно видеть таких почтенных любителей ружейной охоты, как господин Шарабарин, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов! Очень, очень приятно!

Сказав этот спич, Ипполит Матвеевич сбросил на пол юбилейную шкуру, поставил на нее сопротивляющегося господина Шарабарина и троекратно с ним расцеловался.

В этот свой наезд Ипполит Матвеевич пробыл в Москве две недели и вернулся веселый и злой. Теща дулась. И Ипполит Матвеевич в пику ей совершил поступок, который дал такую обильную пищу злоязычию Принца Датского.

Был 1913 год. Двадцатый век расцветал.

Французский авиатор Бренденжон де Мулинэ совершил свой знаменитый перелет из Парижа в Варшаву[87] *на приз Помери*[88]*. Дамы в корзинных шляпах с зонтиками и гимназисты старших классов встретили «победителя воздуха» восторженными истериками. «Победитель воздуха», несмотря на перенесенные испытания, чувствовал себя довольно бодро и охотно пил шампанское*[89]*.*

Жизнь била ключом. «Уродонал Шателена», как вещали гигантские объявления, мгновенно придавал почкам их первоначальную свежесть и непорочную чистоту. Во всех газетах ежедневно печатался бодрящий призыв анонимного варшавского благодетеля:

Измученные гонореей!
Выслушайте меня!

Измученные читатели жадно внимали словам благодетеля, спешно выписывали патентованное средство и получали хроническую форму болезни.

На Александровском вокзале в Москве толпа курсисток, носильщиков

и членов общества «Свободной эстетики» встречала вернувшегося из Полинезии поэта К. Д. Бальмонта.[90] *Толстощекая барышня первая кинула в трубадура с козлиной бородкой мокрую розу. Поэта осыпали цветами весны — ландышами. Началась первая приветственная речь.*

— Дорогой Константин, семь лет ты не был в Москве…

После речей к трубадуру прорвался освирепевший почитатель и, передавая букет поэту, сказал вытверженный наизусть экспромт:

Из-за туч
Солнца луч
Гений твой.
Ты могуч,
Ты певуч,
Ты живой.

Вечером в обществе «Свободной эстетики» торжество чествования поэта было омрачено выступлением неофутуриста Маяковского, допытывавшегося у прославленного барда, «не удивляет ли его то, что все приветствия исходят от лиц, ему близко знакомых»[91]*. Шиканье и свистки покрыли речь неофутуриста.*

Двадцатый век расцветал.

Два молодых человека — двадцатилетний барон Гейсмар и сын видного чиновника министерства иностранных дел Долматов — познакомились в иллюзионе с женой прапорщика запаса Марианной Тиме и убили ее, чтобы ограбить.[92]

В синематографах, на морщинистых экранах, шла сильная драма в 3 частях из русской жизни «Княгиня Бутырская»[93]*, хроника мировых событий «Эклер-журнал»*[94] *и комическая «Талантливый полицейский» с участием Поксона*[95] *(гомерический хохот).*

Из Спасских ворот Кремля выходил на Красную площадь крестный ход, и протодиакон Розов, десятипудовый верзила[96]*, читал устрашающим голосом высочайший манифест.*

В старгородской газете «Ведомости градоначальства» появился ликующий стишок, принадлежащий перу местного цензора Плаксина:

Скажи, дорогая мамаша,
Какой нынче праздник у нас,

В блестящем мундире папаша,
Не ходит брат Митенька в класс?

Брат Митенька не ходил в класс по случаю трехсотлетия дома Романовых[97]*. И папаши — действительно в блестящих мундирах и просторных треуголках — катили на пролетках к стрельбищному полю, на котором назначен был парад частей гарнизона, кадетского корпуса и казенных гимназий.*

На джутовой фабрике и в железнодорожных мастерских рабочим раздавали билеты на романовские гуляния в саду трезвости, а вечером несколько штатских выхватили из толпы гуляющих двух рабочих и отвезли на извозчиках в жандармское управление. Это не сделало никакого шума, гулянье продолжалось, и еще далеко за полночь в темном небе блистал, сокращался и, раздуваемый ветром, снова пылал фейерверочный императорский вензель.

В это самое время рабочий Мнухин, держа в руке картуз и чувствуя себя несвободно, стоял перед столом жандармского ротмистра Аугуста. Ротмистр был краток:

— Прокламации тебе кто дал?

— Никто не давал.

— А они откуда ж взялись?

— Не знаю.

И два стражника увели Мнухина через весь город, мимо канатного депо, водопроводной башни, кладбища, через пустыри — в тюрьму. Мнухин шел широким шагом, изредка любопытно поглядывая на кувыркавшийся фейерверк, который был виден всю дорогу. Когда стражники, сдав арестованного, возвращались назад, фейерверка уже не было, и в полной темноте сквернословила загулявшая бабенка.[98]

В эту же ночь Ипполит Матвеевич, от которого еще пахло духами, переваривал торжественный ужин, сидя на балконе своего особняка. Ему было только 38 лет. Тело он имел чистое, полное и доброкачественное. Зубы все были на месте. В голове, как ребенок во чреве матери, мягко шевелился свежий армянский анекдот. Жизнь казалась ему прекрасной. Теща была побеждена, денег было много, на будущий год он замышлял новое путешествие за границу.

Но не знал Ипполит Матвеевич, что через год, в мае, умрет его жена, а в июле возникнет война с Германией. Он считал, что к пятидесяти годам будет губернским предводителем, не зная того, что в 18-м году его

выгонят из собственного дома и он, привыкший к удобному и сытому безделью, покинет потухший Старгород, чтобы в товаро-пассажирском поезде бежать куда глаза глядят.

Ипполит Матвеевич, сидя на балконе, видел в своем воображении мелкую рябь остендского взморья, графитные кровли Парижа, темный лак и сияние медных кнопок международных вагонов, но не воображал себе Ипполит Матвеевич (а если бы и воображал, то все равно не понял бы) хлебных очередей, замерзшей постели, масляного каганца, сыпно-тифозного бреда и лозунга «Сделал свое дело — и уходи» в канцелярии загса уездного города N.

Не знал Ипполит Матвеевич, сидя на балконе, и того, что через четырнадцать лет еще крепким мужчиной он вернется назад в Старгород и снова войдет в те самые ворота, над которыми он сейчас сидит, войдет чужим человеком, чтобы искать клад своей тещи, сдуру запрятанный ею в гамбсовский стул, на котором ему так удобно сейчас сидеть и, глядя на полыхающий фейерверк с горящим в центре императорским гербом, мечтать о том, как прекрасна жизнь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Глава VII
Великий комбинатор

В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный.

— Дядя! — весело кричал он. — Дай десять копеек!

Молодой человек вынул из кармана *налитое* яблоко[99] и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и *воскликнул:*

— Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?

Зарвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и *немедленно* отстал.

Молодой человек солгал: у него не было ни денег, ни квартиры, где они могли бы лежать, ни ключа, которым можно было бы эту квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошел в зеленом, *узком, в талию,* костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинного цвета. Носков под штиблетами не было.[100] В руке молодой человек держал астролябию.[101]

«О, *Баядерка,* ти-ри-рим, ти-ри-ра!»[102] — запел он, подходя к привозному рынку.

Тут для него нашлось много дела. Он втиснулся в шеренгу продавцов, торговавших на развале, выставил вперед астролябию и серьезным голосом стал кричать:

— Кому астролябию?! Дешево продается астролябия!! Для делегаций и женотделов[103] скидка!

Неожиданное предложение долгое время не рождало спроса. Делегации домашних хозяек больше интересовались дефицитными товарами и толпились у мануфактурных палаток. Мимо продавца астролябии уже два раза прошел агент Старгуброзыска.[104] Но так как астролябия ни в какой мере не походила на украденную вчера из канцелярии Маслоцентра[105] пишущую машинку, агент перестал магнетизировать молодого человека глазами и ушел.

К обеду астролябия была продана интеллигентному слесарю[106] за три рубля.

— Сама меряет, — сказал молодой человек, передавая астролябию покупателю, — было бы что мерять.

Освободившись от хитрого инструмента, веселый молодой человек пообедал в столовой «Уголок вкуса» и пошел осматривать город. Он прошел Советскую улицу, вышел на Красноармейскую (бывшая Большая Пушкинская), пересек Кооперативную и снова очутился на Советской. Но это была уже не та Советская, которую он прошел, — в городе было две Советских улицы. Немало подивившись этому обстоятельству, молодой человек очутился на улице Ленских событий[107] (бывшей Денисовской). Подле красивого двухэтажного особняка № 28 с вывеской «СССР, РСФСР. 2-й дом социального обеспечения Старгубстраха» молодой человек остановился, чтобы прикурить у дворника, который сидел на каменной скамеечке при воротах.

— А что, отец, — спросил молодой человек, затянувшись, — невесты у вас в городе есть?

Старик дворник ничуть не удивился.

— Кому и кобыла невеста, — ответил он, охотно ввязываясь в разговор.

— Больше вопросов не имею, — быстро проговорил молодой человек.

И сейчас же задал новый вопрос:

— В таком доме, да без невест?

— Наших невест, — возразил дворник, — давно на том свете с фонарями ищут. У нас тут государственная богадельня, старухи живут на полном пенсионе.

— Понимаю. Это которые еще до исторического материализма родились?

— Уж это верно. Когда родились, тогда и родились.

— А в этом доме что было до исторического материализма?

— Когда было?

— Да тогда, при старом режиме?

— А при старом режиме барин мой жил.

— Буржуй?

— Сам ты буржуй! *Он не буржуй был.* Предводитель дворянства.

— Пролетарий, значит?

— Сам ты пролетарий! Сказано тебе — предводитель.

Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой

структуре общества, продолжался бы еще бог знает сколько времени, если бы молодой человек не взялся за дело решительно.

— Вот что, дедушка, — молвил он, — неплохо бы вина выпить.

— Ну, угости.

На час оба исчезли, а когда вернулись назад, дворник был уже вернейшим другом молодого человека.

— Так я у тебя переночую, — говорил *он*.

— По мне хоть всю жизнь живи, раз хороший человек.

Добившись так быстро своей цели, гость проворно спустился в дворницкую, снял *апельсиновые* штиблеты и растянулся на скамейке, обдумывая план действий на завтра.

Звали молодого человека — Остап Бендер. Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность: «Мой папа, — говорил он, — был турецко-подданный[108]». Сын турецко-подданного за свою жизнь переменил много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь одному делу, постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старгород без носков, без ключа, без квартиры и без денег.

Лежа в теплой до вонючести дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры.

Можно было сделаться многоженцем и спокойно переезжать из города в город, таская за собой новый чемодан с захваченными у дежурной жены ценными вещами.

А можно было *еще* завтра же пойти в Стардеткомиссию[109] и предложить им взять на себя распространение еще не написанной, но гениально задуманной картины «Большевики пишут письмо Чемберлену[110]», по популярной картине художника Репина — «Запорожцы пишут письмо султану».[111] В случав удачи этот вариант мог бы принести рублей четыреста.

Оба варианта были задуманы Остапом во время его последнего пребывания в Москве. Вариант с многоженством родился под влиянием вычитанного в вечерней газете судебного отчета, где ясно указывалось, что некий многоженец получил всего два года без строгой изоляции.[112] Вариант № 2 родился в голове Бендера, когда он по контрамарке обозревал выставку АХРР.[113]

Однако оба *варианта* имели свои недостатки. Начать карьеру многоженца без дивного, серого в яблоках, костюма было невозможно. К тому же нужно было иметь хотя бы десять рублей для представительства и

обольщения. Можно было, конечно, жениться и в походном зеленом костюме,[114] потому что мужская сила и красота Бендера были совершенно неотразимы для провинциальных Маргарит на выданье, но это было бы, как говорил Остап: «Низкий сорт. *Не чистая* работа». С картиной тоже не все обстояло гладко. Могли встретиться чисто технические затруднения. Удобно ли будет рисовать т. Калинина в папахе и белой бурке, а т. Чичерина[115] — голым по пояс. В случае чего можно, конечно, нарисовать всех персонажей картины в обычных костюмах, но это уже не то.

— Не будет того эффекта! — произнес Остап вслух.

Тут он заметил, что дворник уже давно о чем-то горячо говорит. Оказывается, дворник предался воспоминаниям о бывшем владельце дома.

— Полицмейстер ему честь отдавал… Приходишь к нему, *положим буду говорить*, на Новый год с поздравлением — трешку дает… На Пасху, *положим буду говорить*, — еще трешку. Да, положим, в день ангела ихнего поздравляешь… Ну, вот одних поздравительных за год рублей пятнадцать и набежит… Медаль даже обещался мне представить. «Я, — говорит, — хочу, *чтоб* дворник у меня с медалью был». Так и говорил: «Ты, Тихон, считай себя уже с медалью»…

— Ну и что, дали?

— Ты погоди… «Мне, — говорит, — дворника без медали не нужно». В Санкт-Петербург поехал за медалью. Ну, в первый раз, буду говорить, не вышло. Господа чиновники не захотели. «Царь, — говорят, — за границу уехал, сейчас невозможно». Приказал мне барин ждать. «Ты, — говорит, — Тихон, жди, без медали не будешь»…

— А твоего барина что, шлепнули? — неожиданно спросил Остап.

— Никто не шлепал. Сам уехал. Что ему тут было с солдатней сидеть… А теперь медали за дворницкую службу дают?

— Дают. Могу тебе выхлопотать.

Дворник с уважением посмотрел на Бендера.

— Мне без медали нельзя. У меня служба такая.

— Куда ж твой барин уехал?

— А кто его знает! Люди говорили, в Париж уехал.

— А!.. Белой акации, цветы эмиграции[116]… Он, значит, эмигрант?

— Сам ты эмигрант… В Париж, люди говорят, уехал. А дом под старух забрали… Их хоть каждый день поздравляй — гривенника не получишь!.. Эх! Барин был!..

В этот момент над дверью задергался ржавый звонок. Дворник,

кряхтя, поплелся к двери, открыл ее и в сильнейшем замешательстве отступил.

На верхней ступеньке стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов, черноусый и черноволосый. Глаза его сияли под пенсне довоенным блеском.

— Барин! — страстно замычал Тихон. — Из Парижа!

Ипполит Матвеевич, смущенный присутствием в дворницкой постороннего, голые фиолетовые ступни которого только сейчас увидел из-за края стола, смутился и хотел было бежать, но Остап Бендер живо вскочил и низко склонился перед Ипполитом Матвеевичем.

— У нас хотя и не Париж, но милости просим к нашему шалашу.

— Здравствуй, Тихон, — вынужден был сказать Ипполит Матвеевич, — я вовсе не из Парижа. Чего тебе это взбрело в голову?

Но Остап Бендер, длинный благородный нос которого явственно чуял запах жареного, не дал дворнику и пикнуть.

— *Понимаю,* — сказал он, кося глазом, — вы не из Парижа. Конечно. Вы приехали из *Конотопа* навестить свою покойную бабушку…

Говоря так, он нежно обнял очумевшего дворника и выставил его за дверь прежде, чем тот понял, что случилось, а когда опомнился, то мог сообразить лишь то, что из Парижа приехал барин, что его, Тихона, выставили из дворницкой и что в левой руке его зажат бумажный рубль. *Глядя на бумажку, дворник так растрогался, что направился в пивную и заказал себе пару горшановского пива.*[117]

Тщательно заперев на крючок за дворником дверь, Бендер обернулся к все еще стоявшему среди комнаты Воробьянинову и сказал:

— Спокойно, все в порядке. Моя фамилия — Бендер! Может, слыхали?

— Не слышал, — нервно ответил Ипполит Матвеевич.

— *Ну да,* откуда же в Париже может быть известно имя Остапа Бендера? Тепло теперь в Париже? Хороший город. У меня там двоюродная сестра замужем. Недавно прислала мне шелковый платок в заказном письме…

— Что за чепуха! — воскликнул Ипполит Матвеевич. — Какие платки? Я приехал не из Парижа, а из…

— *Понимаю.* Из Моршанска.

Ипполит Матвеевич никогда еще не имел дела с таким темпераментным молодым человеком, как Бендер, и почувствовал себя *просто* плохо.

— Ну, знаете, я пойду, — сказал он.

— Куда же вы пойдете? Вам некуда торопиться. ГПУ к вам само придет.

Ипполит Матвеевич не нашелся, что ответить, расстегнул пальто с осыпавшимся бархатным воротником и сел на лавку, недружелюбно глядя на Бендера.

— Я вас не понимаю, — сказал он упавшим голосом.

— Это не страшно. Сейчас поймете. Одну минуточку.

Остап надел на голые ноги *апельсиновые* штиблеты, прошелся по комнате и начал:

— Вы через какую границу? Польскую? Финляндскую? Румынскую? Должно быть, дорогое удовольствие. Один мой знакомый переходил недавно границу, он живет в Славуте, с нашей стороны, а родители его жены *в Леденятах*, с той стороны. По семейному делу поссорился он с женой, а она из обидчивой фамилии. Плюнула ему в рожу и удрала через границу к родителям. Этот знакомый посидел дня три один и видит — дело плохо: обеда нет, в комнате грязно, и решил помириться. Вышел ночью и пошел через границу к тестю. Тут его пограничники и взяли, пришили дело, посадили на шесть месяцев, а потом исключили из профсоюза. Теперь, говорят, жена прибежала назад, дура, а муж в допре[118] сидит. Она ему передачу носит… А вы тоже через польскую границу переходили?

— Честное слово, — вымолвил Ипполит Матвеевич, чувствуя неожиданную зависимость от разговорчивого молодого человека, ставшего на его дороге к бриллиантам, — честное слово, я подданный РСФСР. В конце концов я могу вам показать паспорт…

— При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт — это такой пустяк, что об этом смешно говорить… Один мой знакомый доходил до того, что печатал даже доллары. А вы знаете, как трудно подделать американские доллары? Там бумага с такими, знаете, разноцветными волосками. Нужно большое знание техники. Он удачно сплавлял их на московской черной бирже; потом оказалось, что его дедушка, известный валютчик, покупал их в Киеве и совершенно разорился, потому что доллары были все-таки фальшивые. Так что вы со своим паспортом тоже можете прогадать.

Ипполит Матвеевич, рассерженный тем, что вместо энергичных поисков бриллиантов он сидит в вонючей дворницкой и слушает трескотню молодого нахала о темных делах его знакомых, все же никак не решался уйти. Он чувствовал сильную робость при мысли о том, что неизвестный молодой человек разболтает по всему городу, что приехал бывший предводитель. Тогда — всему конец, а может быть, еще *в ГПУ*

посадят.

— Вы все-таки никому не говорите, что меня видели, — просительно сказал Ипполит Матвеевич, — могут и впрямь подумать, что я эмигрант.

— Вот! *Вот это* конгениально. Прежде всего актив: имеется эмигрант, вернувшийся в родной город. Пассив: он боится, что его заберут в ГПУ.

— Да ведь я же вам тысячу раз говорил, что я не эмигрант!

— А кто вы такой? Зачем вы сюда приехали?

— Ну, приехал из города N по делу.

— По какому делу?

— Ну, по личному делу.

— И после этого вы говорите, что вы не эмигрант?.. Один мой знакомый тоже приехал…

Тут Ипполит Матвеевич, доведенный до отчаяния историями о знакомых Бендера и видя, что его не собьешь с позиции, покорился.

— Хорошо, — сказал он, — я вам все объясню.

«В конце концов без помощника трудно, — подумал Ипполит Матвеевич, — а жулик он, кажется, большой. Такой может быть полезен».

Глава VIII
Бриллиантовый дым

Ипполит Матвеевич снял с головы пятнистую касторовую шляпу, расчесал усы, из которых, при прикосновении гребешка, вылетела дружная стайка *небольших* электрических искр, и, решительно откашлявшись, рассказал Остапу Бендеру, первому встреченному им проходимцу, все, что ему было известно о *бриллиантах* со слов умирающей тещи.

В продолжение рассказа Остап несколько раз вскакивал и, обращаясь к железной печке, восторженно вскрикивал:

— Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед — тронулся!

А уже через час оба сидели за шатким столиком и, упираясь друг в друга головами, читали длинный список драгоценностей, некогда украшавших тещины пальцы, шею, уши, грудь и волосы.

Ипполит Матвеевич, поминутно поправляя колебавшееся на носу пенсне, с ударением произносил:

— Три нитки жемчуга… Хорошо помню… Две по сорок бусин, а одна большая — в сто десять… *Бриллиантовый* кулон… Клавдия Ивановна говорила, что *4000* стоит, старинной работы…

Дальше шли кольца, не обручальные кольца, толстые, глупые и дешевые, а тонкие, легкие, с впаянными в них чистыми, умытыми бриллиантами; тяжелые ослепительные подвески, кидающие на маленькое женское ухо разноцветный огонь; браслеты в виде змей с изумрудной чешуей; фермуар,[119] на который ушел урожай с *500* десятин *пшеницы;* жемчужное колье, которое было бы по плечу разве только знаменитой опереточной примадонне; венцом всего была сорокатысячная диадема.[120]

Ипполит Матвеевич оглянулся. По темным углам зачумленной дворницкой вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. *Бриллиантовый* дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный мираж потрясал комнату.

Взволнованный Ипполит Матвеевич очнулся только от *звуков* голоса Остапа.

— Выбор неплохой. Камни, я вижу, подобраны со вкусом. Сколько вся эта музыка стоила?

— Тысяч семьдесят — семьдесят пять.

— Мгу… Теперь, значит, стоит полтораста тысяч.

— Неужели так много? — обрадованно спросил Воробьянинов.

— Не меньше. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это.

— Как плюнуть?!

— Слюной, — ответил Остап, — как плевали до эпохи исторического материализма. Ничего не выйдет.

— Как же так?

— А вот как. Сколько было стульев?

— Дюжина. Гостиный гарнитур.

— Давно, наверно, сгорел ваш гостиный гарнитур в печках.

Воробьянинов так испугался, что даже встал с места.

— Спокойно, спокойно. За дело берусь я. Заседание продолжается. Кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик.

Тяжело дышавший Ипполит Матвеевич кивком головы выразил свое согласие. Тогда Остап Бендер начал вырабатывать условия.

— В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии[121] и технический руководитель дела, получаю шестьдесят процентов, а соцстрах можете за меня не платить. Это мне все равно.

Ипполит Матвеевич посерел.

— Это грабеж среди бела дня.

— А сколько же вы думали мне предложить?

— Н-н-ну, пять процентов, ну, десять, наконец. Вы поймите, ведь это же *15 000* рублей!

— Больше вы ничего не хотите?

— Н-нет.

— А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром, да еще дать вам ключ от квартиры, где деньги лежат, *и сказать вам, где нет милиционера?*

— В таком случае — простите! — сказал Воробьянинов в нос. — У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом.

— Ага! В таком случае — простите, — возразил великолепный Остап, — у меня есть не меньшие основания, как говорил Энди Таккер,[122] предполагать, что и я один *смогу* справиться с вашим делом.

— Мошенник! — закричал Ипполит Матвеевич, задрожав.

Остап был холоден.

— Слушайте, господин из Парижа, а знаете ли вы, что *наши бриллианты* почти что у меня в кармане! И вы меня интересуете *постольку*, поскольку я хочу обеспечить вашу старость!

Тут только Ипполит Матвеевич понял, какие железные лапы схватили

его за горло.

— Двадцать процентов, — сказал он угрюмо.

— И мои харчи? — насмешливо спросил Остап.

— Двадцать пять.

— И ключ от квартиры?

— Да ведь это тридцать семь с половиной тысяч!

— К чему такая точность? Ну так и быть — пятьдесят процентов. Половина — ваша, половина — моя.

Торг продолжался. Остап *еще уступил.* Он, из уважения к личности Воробьянинова, соглашался работать из сорока процентов.

— Шестьдесят тысяч! — кричал Воробьянинов.

— Вы довольно пошлый человек, — возражал Бендер, — вы любите деньги больше, чем надо.

— А вы не любите денег? — взвыл Ипполит Матвеевич голосом флейты.

— Я не люблю.

— Зачем же вам шестьдесят тысяч?

— Из принципа!

Ипполит Матвеевич только дух перевел.

— Ну что, тронулся лед? — *добавил* Остап.

Воробьянинов запыхтел и покорно сказал:

— Тронулся.

— Ну, по рукам, уездный предводитель команчей! Лед тронулся! Лед тронулся, господа присяжные заседатели!

После того как Ипполит Матвеевич, обидевшись на прозвище «предводителя команчей», потребовал извинений и Остап, произнося извинительную речь, назвал его фельдмаршалом, — приступили к выработке диспозиции.

В это время дворник Тихон пропивал в пивной «Фазис» рубль, чудесным образом попавший в его руку. Пять слепых гармонистов, тесно прижавшись друг к другу, сидели на крохотном деревянном островке, морщась от долетавших до них брызг пивного прибоя.

Появлением барина и тремя бутылками пива дворник был растроган до глубины души. Все казалось ему превосходным: и барин, и пиво, и даже предостерегающий плакат: «Прозба непреличными словами не выражатся». Слово «не» давно уже было вырвано с мясом каким-то весельчаком. И эта особенность страшно смешила дворника Тихона. Дворник крутил головой и бормотал:

— Выдумали же, дьяволы!

Насмеявшись вдоволь, дворник Тихон взял последнюю свою бутылку и пошел к соседнему столику, за которым сидели совершенно ему не знакомые штатские молодые люди.

— А что, солдатики, — спросил Тихон, подсаживаясь, — верно говорят, что помещикам землю скоро отдавать будут?[123]

Молодые люди загоготали. Один из них спросил:

— Ты-то сам из помещиков будешь?

— Мы из дворников, — ответил Тихон, — а, буду говорить, помещик, положим, вернулся. И ему земли не дадут?

— Ну ясно, дура ты, не дадут.

Тихон очень удивился, допил пиво, опьянел еще больше и заболботал что-то несуразное про вернувшегося барина. Молодые люди насилу высадили его из-за своего столика.

— Барин, — бормотал Тихон, — медаль даст. Приехал мой барин.

— Ну и дурак же! — подытожили молодые люди. — Это чей дворник?

— Вдовьего дома. Бывшего Воробьянинского.

— Вернется он сюда, как же! Ему и заграницей неплохо.

— А может, вернулся — в спецы метит.

В полночь дворник Тихон, хватаясь руками за все попутные палисадники и надолго приникая к столбам, тащился в *свою пещеру*. На его несчастье было новолунье.

— А! Пролетарий умственного труда! Работник метлы! — воскликнул Остап, завидя согнутого в колесо дворника.

Дворник замычал низким и страстным голосом, каким иногда, среди ночной тишины, вдруг горячо и хлопотливо начинает *мычать* унитаз.

— Это конгениально, — сообщил Остап Ипполиту Матвеевичу, — а ваш дворник довольно-таки большой пошляк. Разве можно так напиваться на рубль?

— М-можно, — сказал *неожиданно прозревший дворник.*

— Послушай, Тихон, — начал Ипполит Матвеевич, не знаешь ли ты, дружок, что с моей мебелью?

Остап осторожно поддерживал Тихона, чтобы речь могла свободно литься из его широко открытого рта. Ипполит Матвеевич в напряжении ждал. Но из дворницкого рта, в котором зубы росли не подряд, а через один, вырвался *оглушающий* крик:

— Бывывывали дни вессселые…[124]

Дворницкая наполнилась громом и звоном. Дворник трудолюбиво и старательно исполнял *свой хорал,* не пропуская ни единого слова. Он ревел, двигаясь по комнате, то бессознательно ныряя под стол, то ударяясь картузом о медную цилиндрическую гирю «ходиков», то становясь на одно колено. Ему было страшно весело.

Ипполит Матвеевич совсем потерялся.

— Придется отложить опрос свидетелей до утра, — сказал Остап. — Будем спать.

Дворника, тяжелого во сне, как комод, перенесли на скамью. Воробьянинов и Остап *спали вдвоем на дворницкой кровати.* У Остапа под пиджаком оказалась рубашка «ковбой»[125] в черную и красную клетку. Под *рубашкой «ковбой»* не было уже больше ничего. Зато у Ипполита Матвеевича под известным *уже* читателю лунным жилетом оказался еще один — гарусный,[126] ярко-голубой.

— Жилет прямо на продажу, — завистливо сказал Бендер, — он мне как раз подойдет. Продайте.

Ипполиту Матвеевичу неудобно было отказывать своему новому компаньону и непосредственному участнику концессии *и он,* морщась, согласился продать его за свою цену — восемь рублей.

— Деньги после реализации нашего клада, — заявил Бендер, принимая от Воробьянинова *еще теплый* жилет.

— Нет, я так не могу, — сказал Ипполит Матвеевич, краснея. — Позвольте жилет обратно.

Деликатная натура Остапа возмутилась.

— Но ведь это же лавочничество! — закричал он. — Начинать полуторастатысячное дело и ссориться из-за восьми рублей! Учитесь жить широко!..

Ипполит Матвеевич покраснел еще больше, вынул маленький блокнотик и каллиграфически записал: «25/IV — 27 г. *выдано* т. Бендеру *р. — 8*». Остап заглянул в книжечку.

— Ого! Если вы уже открываете мне лицевой счет, то хоть ведите его правильно. Заведите дебет, заведите кредит. В дебет не забудьте занести 60 000 рублей, которые вы мне должны, а в кредит — жилет. Сальдо в мою пользу — *59 992* рубля. Еще можно жить.

После этого Остап заснул беззвучным детским сном. А Ипполит Матвеевич снял с себя шерстяные напульсники,[127] баронские сапоги и, оставшись в заштопанном егерском белье,[128] посапывая, полез под одеяло. Ему было очень неудобно. С внешней стороны, где не хватало

одеяла, было холодно, а с другой стороны его жгло молодое, полное трепетных идей тело великого комбинатора.

Всем троим снились сны.

Воробьянинову *снились* сны черные: микробы, угрозыск, бархатные толстовки[129] и гробовых дел мастер Безенчук в смокинге, но небритый.

Остап видел вулкан *Фудзи-Яму*, заведующего Маслотрестом[130] и Тараса Бульбу, продающего открытки с видами Днепростроя.[131]

А дворнику снилось, что из конюшни ушла лошадь. Во сне он искал ее до самого утра и, не найдя, проснулся разбитый и мрачный. Долго, с удивлением, смотрел он на спящих в его постели людей. Ничего не поняв, он взял метлу и направился на улицу исполнять свои прямые обязанности: подбирать конские яблоки и кричать на богоделок.

Глава IX
Следы «Титаника»

Ипполит Матвеевич проснулся по привычке в половине восьмого, пророкотал «гут морген» и направился к *отливу, находившемуся тут же в дворницкой.*[132] Он умывался с наслаждением, отплевывался, причитал и тряс головой, чтобы избавиться от воды, набежавшей в уши. Вытираться было приятно, но, отняв от лица полотенце, Ипполит Матвеевич увидел, что оно испачкано тем *радикально-черным* цветом, которым с позавчерашнего дня были окрашены его горизонтальные усы. Сердце Ипполита Матвеевича *сразу* потухло. Он бросился к своему карманному зеркальцу, *которое лежало на стуле.* В зеркальце отразился большой нос и зеленый, как молодая травка, левый ус. Ипполит Матвеевич поспешно передвинул зеркальце направо. Правый ус был того же омерзительного цвета. Нагнув голову, словно желая забодать зеркальце, несчастный увидел, что радикальный черный цвет еще господствовал в центре каре, но по краям был обсажен тою же травянистой каймой. Все существо Ипполита Матвеевича издало такой громкий стон, что Остап Бендер открыл *свои чистые голубые* глаза.

— Вы с ума сошли! — воскликнул Бендер и сейчас же сомкнул *свои* сонные вежды.

— Товарищ Бендер, — умоляюще зашептала жертва «Титаника».

Остап проснулся после многих толчков и уговоров. Он внимательно посмотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеялся. Отвернувшись от директора-учредителя концессии, главный руководитель работ и технический директор содрогался, хватался за спинку кровати, кричал *«не могу»* и снова бушевал.

— С вашей стороны это нехорошо, товарищ Бендер! — сказал Ипполит Матвеевич, с дрожью шевеля зелеными усами.

Это придало новые силы уже изнемогшему было Остапу. Чистосердечный его смех продолжался еще минут десять. Отдышавшись, он сразу сделался очень серьезным.

— Что вы на меня смотрите такими злыми глазами, как солдат на вошь? Вы на себя посмотрите.

— Но ведь мне аптекарь говорил, что это будет *радикально-черный* цвет. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни

керосином… Контрабандный товар.

— Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице.[133] Покажите флакон… И потом посмотрите. Вы читали это?

— Читал.

— А вот это, маленькими буквами? Тут ясно сказано, что после мытья горячей и холодной водой или мыльной пеной и керосином волосы *надо не* вытирать, а сушить на солнце или у примуса… Почему вы не сушили? Куда вы теперь пойдете с этой зеленой *липой?*

Ипполит Матвеевич был подавлен. Вошел Тихон. Увидя барина в зеленых усах, он перекрестился и попросил опохмелиться.

— Выдайте рубль герою труда,[134] — предложил Остап, — и, пожалуйста, не записывайте на мой счет! Это ваше интимное дело с бывшим сослуживцем… Подожди, отец, не уходи, дельце есть.

Остап завел с дворником беседу о мебели, и уже через пять минут концессионеры знали все. Всю мебель в 1919 году увезли в жилотдел,[135] за исключением одного гостиничного стула, который сперва находился во владении Тихона, а потом был забран у него завхозом 2-го дома соцобеса.

— Так он что — здесь в доме?

— Здесь и стоит.

— А скажи, дружок, — замирая спросил Воробьянинов, — когда стул у тебя был, ты его… не чинил?

— Чинить его невозможно. В старое время работа была хорошая. Еще тридцать лет такой стул может выстоять.

— Ну иди, дружок, возьми еще рубль, да смотри не говори, что я приехал.

— Могила, гражданин Воробьянинов.

Услав дворника и прокричав *«лед тронулся»*, Остап Бендер снова обратился к усам Ипполита Матвеевича.

— Придется *снова красить.* Давайте деньги — пойду в аптеку. Ваш «Титаник» ни к черту не годится, только собак красить… Вот в старое время была красочка!.. Мне один беговой профессор рассказал волнующую историю. Вы интересовались бегами? Нет? Жалко. Волнующая вещь. Так вот… Был такой знаменитый *жулик*, граф Друцкий. Он проиграл на бегах пятьсот тысяч. Король проигрыша. И вот, когда у него уже, кроме долгов, ничего не было и граф подумывал о самоубийстве, один жучок дал ему за *50* рублей замечательный совет. Граф уехал и через год вернулся с орловским рысаком-трехлеткой. После этого граф не только вернул свои

деньги, но даже выиграл еще тысяч триста. Его орловец Маклер с отличным аттестатом всегда приходил первым. На дерби он на целый корпус обошел Мак-Магона. Гром!.. Но тут Курочкин (слышали?) замечает,[136] что все орловцы начинают менять масть — один только Маклер, как дуся, не меняет цвета. Скандал был неслыханный! Графу дали три года. Оказалось, что Маклер не орловец, а перекрашенный метис, а метисы гораздо резвее орловцев и их к ним на версту не подпускают. Каково?.. Вот это красочка! Не то, что ваши усы!..

— Но аттестат? У него ведь был отличный аттестат?

— Такой же, как этикетка на вашем «Титанике», — фальшивый! Давайте деньги на *новую* краску.

Остап вернулся с новой микстурой.

— «Наяда». Возможно, что лучше вашего «Титаника». Снимайте пиджак!

Начался обряд перекраски, но «изумительный каштановый цвет, придающий волосам нежность и пушистость», смешавшись с зеленью «Титаника», неожиданно окрасил голову и усы Ипполита Матвеевича в краски солнечного спектра.

Ничего еще не евший с утра, Воробьянинов злобно ругал все парфюмерные заводы, как государственные, так и подпольные, находящиеся в Одессе на Малой Арнаутской улице.

— Таких усов, должно быть, нет даже у Аристида Бриана,[137] — бодро заметил Остап, — но жить с такими ультрафиолетовыми волосами в Советской России не рекомендуется. Придется сбрить.

— Я не могу, — скорбно ответил Ипполит Матвеевич, — это невозможно.

— Что, усы дороги вам как память?

— Не могу, — повторил Воробьянинов, понуря голову.

— Тогда вы всю жизнь сидите в дворницкой, а я пойду за стульями. Кстати, первый стул над нашей головой.

— Брейте!

Разыскав ножницы, Бендер мигом отхватил усы, *и* они, *взращиваемые Ипполитом Матвеевичем десятилетиями,* бесшумно свалились на пол. *С головы падали волосы радикально-черного цвета, зеленые и ультрафиолетовые.* Покончив со стрижкой, технический директор достал из кармана *старую* бритву «Жилет», а из бумажника запасное лезвие, — стал брить почти плачущего Ипполита Матвеевича.

— Последний ножик на вас трачу. Не забудьте записать на мой дебет

два рубля за бритье и стрижку.

Содрогаясь от горя, Ипполит Матвеевич все-таки спросил:

— Почему же так дорого. Везде стоит сорок копеек.

— За конспирацию, товарищ фельдмаршал, — быстро ответил Бендер.

Страдания человека, которому *безопасной бритвой бреют голову*, — невероятны. Это Ипполит Матвеевич понял с самого начала операции. *Посередине Остап прервал свое ужасное дело и сладко спросил:*

— Бритвочка не беспокоит?

— Конечно, беспокоит, — застрадал Воробьянинов.

— Почему же она вас беспокоит, господин предводитель? Она ведь не советская, а заграничная.

Но конец, который бывает всему, пришел.

— Готово. Заседание продолжается! Нервных просят не смотреть! Теперь вы похожи на Боборыкина, известного автора-куплетиста.[138]

Ипполит Матвеевич отряхнул с себя мерзкие клочья, бывшие так недавно красивыми сединами, умылся и, ощущая на всей голове сильное жжение, в сотый раз сегодня уставился в зеркало. То, что он увидел, ему неожиданно понравилось. На него смотрело искаженное страданиями, но довольно юное лицо актера без ангажемента.

— Ну, марш вперед, труба зовет! — закричал Остап. — Я по следам в жилотдел, или, вернее, в тот дом, в котором когда-то был жилотдел, а вы к старухам!

— Я не могу, — сказал Ипполит Матвеевич, — мне очень тяжело будет войти в собственный дом.

— Ах, да!.. Волнующая история! Барон-изгнанник! Ладно! Идите в жилотдел, а здесь поработаю я. Сборный пункт — в дворницкой. Парад-алле!

ГЛАВА ПЯТАЯ
Глава X
Голубой воришка

Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич.

Он был не только завхозом, но и вообще заведующим. Прежнего *зава* за грубое обращение с воспитанницами *семь месяцев назад* сняли с работы и назначили капельмейстером симфонического оркестра. Альхен ничем не напоминал своего невоспитанного начальника. В порядке уплотненного рабочего дня он принял на себя управление домом и с пенсионерками обращался отменно вежливо, проводя в доме важные реформы и нововведения.

Остап Бендер потянул тяжелую дубовую дверь воробьяниновского особняка и очутился в вестибюле. Здесь пахло подгоревшей кашей. Из верхних помещений неслась разноголосица, похожая на отдаленное «ура» в цепи. Никого не было, и никто не появился. Вверх *вела двумя маршами* дубовая лестница с лаковыми некогда ступенями. Теперь в ней торчали только кольца, а *самих* медных прутьев, прижимавших когда-то ковер к ступенькам, не было.

«Предводитель команчей жил, однако, в пошлой роскоши», — думал Остап, *подымаясь* наверх.

В первой же комнате, светлой и просторной, сидели в кружок десятка полтора седеньких старушек в платьях из наидешевейшего туальденора мышиного цвета.[139] Напряженно вытянув *сухие* шеи и глядя на стоявшего в центре *человека в цветущем возрасте,* старухи пели:

Слышен звон бубенцов издалека.
Это тройки знакомый разбег.
А вдали простирался широко

Белым саваном искристый снег.[140]

Предводитель хора, в серой толстовке из того же туальденора и туальденоровых брюках, отбивал такт обеими руками и, вертясь, покрикивал:

— Дисканты, тише! Кокушкина — слабее!

Он увидел Остапа, но, не в силах удержать *движение* своих рук, только недоброжелательно *на него* посмотрел и продолжал дирижировать. Хор с усилием загремел, как сквозь подушку:

Та-та-та, та-та-та, та-та-та-та,
То-ро-ром, ту-ру-рум, ту-ру-рам.

— Скажите, где здесь можно видеть товарища завхоза? — вымолвил Остап, прорвавшись в первую же паузу.

— А в чем дело, товарищ?

Остап подал дирижеру руку и дружелюбно спросил:

— Песни народностей? Очень интересно. Я инспектор пожарной охраны.

Завхоз застыдился.

— Да, да, — сказал он, конфузясь, — это как раз кстати. Я даже доклад собирался писать.

— Вам нечего беспокоиться, — великодушно заявил Остап, — я сам напишу доклад. Ну, давайте смотреть помещение.

Альхен мановением руки распустил хор, и старухи удалились мелкими радостными шажками.

— Пожалуйте за мной, — пригласил завхоз.

Прежде чем пройти дальше, Остап уставился на мебель первой комнаты. В комнате стояли стол, две садовые скамейки на железных ногах (*в спинку* одной из них было глубоко *врезано имя — Коля*) и рыжая фисгармония.

— В этой комнате примусов не зажигают? Временные печи и тому подобное?

— Нет, нет. Здесь у нас занимаются кружки: хоровой, драматический, *изобразительные искусства, музыкальный кружок…*

Дойдя до слова «музыкальный», Александр Яковлевич покраснел. Сначала запылал подбородок, потом лоб и щеки. Альхену было очень

стыдно. Он давно уже продал все инструменты духовой капеллы. Слабые легкие старух все равно выдували из них только щенячий визг. Было смешно видеть эту громаду металла в таком беспомощном положении. Альхен не мог не украсть капеллу. И теперь ему было очень стыдно.

На стене, простершись от окна до окна, висел лозунг, написанный белыми буквами на куске туальденора мышиного цвета:

«Духовой оркестр — путь к коллективному творчеству».

— Очень хорошо, — сказал Остап, — комната для кружковых занятий никакой опасности в пожарном отношении не представляет. Перейдем дальше.

Пройдя фасадные комнаты воробьяниновского особняка быстрым аллюром, Остап нигде не заметил орехового стула с гнутыми ножками, обитого светлым английским ситцем в цветочках. По стенам утюженного мрамора были наклеены приказы по дому № 2 Старсобеса. Остап читал их, время от времени энергично спрашивая: «Дымоходы прочищаются регулярно? Печи в порядке?» И, получая исчерпывающие ответы, двигался дальше.

Инспектор пожарной охраны усердно искал в доме хотя бы один уголок, представляющий опасность в пожарном отношении, но в пожарном отношении все было благополучно. Зато розыски *клада* были безуспешны. Остап входил в спальни *старух, которые* при его появлении вставали и низко кланялись. Здесь стояли койки, устланные ворсистыми, как собачья шерсть, одеялами, с одной стороны которых фабричным способом было выткано слово «Ноги». Под кроватями стояли сундучки, выдвинутые по инициативе Александра Яковлевича, любившего военную постановку дела, ровно на одну треть.

Все в доме № 2 поражало глаз своей чрезмерной скромностью: и меблировка, состоявшая исключительно из садовых скамеек, привезенных с Александровского, ныне имени Пролетарских *Субботников,* бульвара, и базарные керосиновые лампочки, и самые одеяла с пугающим словом «Ноги». Но одно лишь в доме было сделано крепко и пышно — это были дверные пружины.

Дверные приборы были страстью Александра Яковлевича. Положив великие труды, он снабдил все без исключения двери пружинами самых разнообразных систем и фасонов. Здесь были простейшие пружины, в виде железной штанги. Были духовые пружины с медными цилиндрическими насосами. Были приборы на блоках со спускающимися увесистыми

дробовыми мешочками. Были еще пружины конструкций таких сложных, что собесовский слесарь только удивленно качал головой. Все эти цилиндры, пружины и противовесы обладали могучей силой. Двери захлопывались с такою же стремительностью, как дверцы мышеловок. От работы *дверных* механизмов дрожал весь дом. Старухи с печальным писком спасались от набрасывавшихся на них дверей, но убежать удавалось не всегда. Двери настигали беглянок и толкали их в спину, а сверху с глухим карканьем уже спускался противовес, пролетая мимо виска, как ядро.

Когда Бендер с завхозом проходили по дому, двери салютовали страшными ударами. *Казалось, что возвращаются дни гражданской войны.*

За всем этим крепостным великолепием ничего не скрывалось — стула не было. В поисках пожарной опасности инспектор попал на кухню. Там, в большом бельевом котле, варилась каша, запах которой великий комбинатор учуял еще в вестибюле. Остап покрутил носом и сказал:

— Это что, на машинном масле?

— Ей-богу, на чистом сливочном! — сказал Альхен, краснея до слез. — Мы на ферме покупаем.

Ему было очень стыдно.

— А! Впрочем, это пожарной опасности не представляет, — заметил Остап.

В кухне стула тоже не было. Была только *жирная* табуретка, на которой сидел повар в переднике и колпаке из туальденора.

— Почему это у вас все наряды серого цвета, да и кисейка такая, что ею только окна вытирать?

Застенчивый Альхен потупился еще больше.

— Кредитов отпускают в недостаточном количестве.

Он был противен самому себе.

Остап сомнительно посмотрел на него и сказал:

— К пожарной охране, которую я в настоящий момент представляю, это не относится.

Альхен испугался.

— Против пожара, — заявил он, — у нас все меры приняты. Есть даже огнетушитель «Эклер».

Инспектор, заглядывая по дороге в чуланчики, неохотно проследовал к огнетушителю. Красный жестяной конус, хотя и являлся единственным в доме предметом, имеющим отношение к пожарной охране, вызвал в инспекторе особое раздражение.

— На толкучке покупали?

И, не дождавшись ответа как громом пораженного Александра Яковлевича, снял «Эклер» со ржавого гвоздя, *повернул его острым концом к полу,* без предупреждения разбил *капсуль* и быстро повернул конус кверху. Но, вместо ожидаемой пенной струи, конус выбросил из себя тонкое *противное* шипение, напоминавшее старинную мелодию «Коль славен наш господь в Сионе».[141]

— Конечно, на толкучке, — подтвердил Остап свое первоначальное мнение и повесил продолжавший петь огнетушитель на прежнее место.

Провожаемые шипением, они пошли дальше.

«Где же он может быть? — думал Остап. — Это мне начинает не нравиться». И он решил не покидать туальденорового чертога до тех пор, пока не узнает все.

За то время, покуда инспектор и завхоз лазали по чердакам, входя во все детали противопожарной охраны и расположения дымоходов, 2-й дом Старсобеса жил обыденной своей жизнью.

Обед был готов. Запах подгоревшей каши заметно усилился и перебил все остальные кислые запахи, обитавшие в доме. В коридорах зашелестело. Старухи, неся впереди себя в обеих руках жестяные мисочки с кашей, осторожно выходили из кухни и садились обедать за общий стол, стараясь не глядеть на развешенные в столовой лозунги, сочиненные лично Александром Яковлевичем и художественно выполненные Александрой Яковлевной. Лозунги были такие: «Пища — источник здоровья», «Одно яйцо содержит столько же жиров, сколько $^1/_2$ фунта мяса», *«Тщательно следи за своими зубами»*, «Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу» и «Мясо — вредно».

Все эти святые слова будили в старухах воспоминания об исчезнувших еще до революции зубах, о яйцах, пропавших приблизительно в ту же пору, о мясе, уступающем в смысле жиров яйцам, а может быть, и об обществе, которому они были лишены возможности помогать, тщательно пережевывая пищу.

Хуже всех приходилось старухе Кокушкиной, которая сидела против большого, хорошо иллюстрированного акварелью чертежа коровы. Чертеж этот был пожертвован ОННОБом — Обществом новой научной организации быта. Симпатичная корова, глядевшая с чертежа одним темным испанским глазом, была искусно разделена на части и походила на генеральный план нового кооперативного дома, с тою только разницей, что те места, которые на плане дома были обозначены уборными,

кухнями, коридорами и черными лестницами, на плане коровы фигурировали под названиями: филе, ссек, край, 1-й сорт, 2-й, 3-й и 4-й.

Кокушкина ела свою кашу, не поднимая головы. Поразительная корова вызывала у нее слюнотечение и перебои сердца. Во 2-м доме Собеса мясо к обеду подавали редко.

Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхена, а Паша Эмильевич — двоюродным племянником Александры Яковлевны. Молодые люди, самым старшим из которых был *32-летний* Паша Эмильевич, не считали свою жизнь в доме собеса чем-либо ненормальным. Они жили в доме на старушечьих правах, у них тоже были казенные постели с одеялами, на которых было написано «Ноги», облачены они были, как и старухи, в мышиный туальденор, но благодаря молодости и силе они питались лучше воспитанниц. Они крали в доме все, что не успевал украсть Альхен. Паша Эмильевич мог слопать в один присест *5 фунтов* тюльки, что он однажды и сделал, оставив весь дом без обеда.

Не успели старухи основательно распробовать кашу, как Яковлевичи вместе с Эмильевичем, проглотив свои порции и отрыгиваясь, встали из-за стола и пошли в кухню на поиски чего-либо удобоваримого.

Обед продолжался. Старушки загомонили:

— Сейчас нажрутся, станут песни орать!

— А Паша Эмильевич сегодня утром стул из красного уголка продал. С черного хода вынес перекупщику.

— Посмотрите, пьяный сегодня придет…

В эту минуту разговор воспитанниц был прерван трубным сморканьем, заглушившим даже все продолжающееся пение огнетушителя в коридоре, и коровий голос начал:

— … бретение…

Старухи, пригнувшись и не оборачиваясь на стоявший в углу на мытом паркете громкоговоритель, продолжали есть, надеясь, что их минет чаша сия. Но громкоговоритель бодро продолжал:

— Евокррраxxxx видусоб… ценное изобретение. Дорожный мастер Мурманской железной дороги товарищ Сокуцкий, Самара, Орел, Клеопатра, Устинья, Царицын, Клементий, Ифигения, Йорк, — Со-куц-кий…[142]

Труба с хрипом втянула в себя воздух и насморочным голосом

возобновила передачу:

— … изобрел световую сигнализацию на снегоочистителях. Изобретение одобрено Доризулом,[143] Дарья, Онега, Раймонд…

Старушки серыми утицами поплыли в свои комнаты. Труба, подпрыгивая от собственной мощи, продолжала бушевать в пустой комнате:

— … А теперь прослушайте новгородские частушки…

Далеко, далеко, в самом центре земли, кто-то тронул балалаечные струны, и черноземный Баттистини[144] запел:

На стене клопы сидели
И на солнце щурились,
Фининспектора узрели —
Сразу *окачурились*…

В центре земли эти частушки вызвали бурную деятельность. В трубе послышался страшный рокот. Не то это были громовые аплодисменты, не то начали работать подземные вулканы.

Между тем помрачневший инспектор пожарной охраны спустился задом по чердачной лестнице и, снова очутившись в кухне, увидел пятерых граждан, которые прямо руками выкапывали из бочки кислую капусту и обжирались ею. Ели они в молчании. Один только Паша Эмильевич по-гурмански крутил головой и, снимая с усов капустные водоросли, с трудом говорил:

— Такую капусту грешно есть помимо водки.[145]

— Новая партия старушек? — спросил Остап.

— Это сироты, — ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.

— Дети Поволжья?[146]

Альхен замялся.

— Тяжелое *наследье* царского режима?

Альхен развел руками, мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие.

— Совместное воспитание обоих полов по комплексному методу?

Застенчивый Александр Яковлевич тут же, без промедления, пригласил пожарного инспектора отобедать чем бог послал.

В этот день бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с

мясом *1-го* сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок.

— Сашхен, — сказал Александр Яковлевич, — познакомься с товарищем из *Губпожара.*

Остап артистически раскланялся с хозяйкой дома и объявил ей такой длиннющий и двусмысленный комплимент, что даже не смог *его довести* до конца. Сашхен — рослая дама, миловидность которой была несколько обезображена николаевскими полубакенбардами,[147] тихо засмеялась и выпила с мужчинами.

— Пью за ваше коммунальное хозяйство! — воскликнул Остап.

Обед прошел весело, и только за компотом Остап вспомнил о цели своего посещения.

— Отчего, — спросил он, — в вашем кефирном заведении такой скудный инвентарь?

— Как же, — заволновался Альхен, — а фисгармония?

— Знаю, знаю — вокс гуманум.[148] Но посидеть у вас со вкусом абсолютно не на чем. Одни садовые лоханки.

— В красном уголке есть стул, — обиделся Альхен, — английский стул. Говорят, еще от старой обстановки остался.

— А я, кстати, не видел вашего красного уголка. Как он в смысле пожарной охраны? Не подкачает? Придется посмотреть.

— Милости просим.

Остап поблагодарил хозяйку за обед и тронулся.

В красном уголке примусов не разводили, временных печей не было, дымоходы были в исправности и прочищались регулярно, но стула, к непомерному удивлению Альхена, не было. *Остап даже заскрипел от недовольства.* Бросились искать стул. Заглядывали под кровати и под скамейки, отодвинули для чего-то фисгармонию, допытывались у старушек, которые опасливо поглядывали на Пашу Эмильевича, но стула так и не нашли. Паша Эмильевич проявил в розысках стула большое *упорство.* Все уже успокоились, а Паша Эмильевич все еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал чайные жестяные кружки и бормотал:

— Где же он может быть? Сегодня он был, я видел его собственными глазами. Смешно даже.

— Грустно, девицы,[149] — ледяным голосом сказал Остап.

— Это просто смешно! — нагло повторял Паша Эмильевич.

Но тут певший все время *огнетушитель* «Эклер» взял самое верхнее фа, на что способна одна лишь народная артистка республики Нежданова,

[150] смолк на секунду и с криком выпустил первую пенную струю, залившую потолок и сбившую с головы повара туальденоровый колпак. За первой струей *пеногон-огнетушитель* выпустил вторую струю туальденорового цвета, повалившую несовершеннолетнего Исидора Яковлевича. После этого работа «Эклера» стала бесперебойной.

К месту происшествия ринулись Паша Эмильевич, Альхен и все уцелевшие Яковлевичи.

— Чистая работа! — сказал Остап. — Идиотская выдумка!

Старухи, оставшись с Остапом наедине без начальства, сейчас же стали заявлять претензии.

— Брательников в доме поселил. Обжираются.

— Поросят молоком кормит, а нам кашу сует.

— Все из дому повыносил.

— Спокойно, девицы, — сказал Остап, отступая, — это к вам из инспекции труда придут. Меня сенат не уполномочил.

Старухи не слушали.

— А Пашка-то Мелентьевич, этот стул он сегодня унес и продал. Сама видела.

— Кому? — закричал Остап.

— Продал и все. Мое одеяло продать хотел.

В коридоре шла ожесточенная борьба с огнетушителем. Наконец человеческий гений победил, и пеногон, растоптанный железными ногами Паши Эмильевича, *последний раз выблевал* вялую струю и затих навсегда.

Старух послали мыть пол. Инспектор пожарной охраны *втянул в себя воздух*, пригнул голову и, слегка покачивая бедрами, подошел к Паше Эмильевичу.

— Один мой знакомый, — сказал Остап веско, — тоже продавал государственную мебель. Теперь он пошел в монахи — сидит в допре.

— Мне ваши беспочвенные обвинения странны, — заметил Паша Эмильевич, от которого шел сильный запах пенных струй.

— Ты кому продал стул? — спросил Остап позванивающим шепотом.

Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами.

— Перекупщику, — ответил он.

— Адрес?

— Я его в первый раз в жизни видел.

— Первый раз в жизни?

— Ей-богу.

— Набил бы я тебе рыло, — мечтательно сообщил Остап, — только

Заратустра не позволяет.[151] Ну, пошел к чертовой матери!..

Паша Эмильевич искательно улыбнулся и стал отходить.

— Ну, ты, жертва аборта, — высокомерно сказал Остап, — отдай концы, не отчаливай. Перекупщик что, блондин, брюнет?

Паша Эмильевич стал подробно объяснять. Остап внимательно его выслушал и окончил интервью словами:

— Это, безусловно, к пожарной охране не относится.

В коридоре к уходящему *уже* Бендеру подошел застенчивый Альхен и дал ему червонец.

— Это *114* статья Уголовного кодекса, — сказал Остап, — дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей.[152]

Но деньги взял и, не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу. Дверь, снабженная могучим прибором, с натугой растворилась и дала Остапу под зад толчок в *1* $^{1}/_{2}$ тонны весом.

— Удар состоялся, — сказал Остап, потирая ушибленное место, — заседание продолжается!

Глава XI
Где ваши локоны?

В то время как Остап осматривал 2-й дом Старсобеса, Ипполит Матвеевич, выйдя из дворницкой и чувствуя холод в бритой голове, двинулся по улицам родного города.

По мостовой бежала светлая весенняя вода. Стоял непрерывный треск и цокот от падающих с крыш *бриллиантовых* капель. Воробьи охотились за навозом. Солнце сидело на всех крышах. Золотые битюги нарочито громко гремели копытами по обнаженной мостовой и, склонив уши долу, с удовольствием прислушивались к собственному стуку. На сырых телеграфных столбах ежились мокрые объявления с расплывшимися *химическими* буквами: «Обучаю игре на гитаре по цифровой системе» и «Даю уроки обществоведения для готовящихся в народную консерваторию». Взвод красноармейцев в зимних шлемах[153] *неустрашимо* пересекал лужу, начинавшуюся у магазина Старгико[154] и тянувшуюся вплоть до здания *Губплана*,[155] фронтон которого был увенчан гипсовыми тиграми, победами и кобрами.

Ипполит Матвеевич шел, с интересом посматривая на встречных и поперечных прохожих. Он, который прожил в России всю жизнь и революцию, видел, как ломался, перелицовывался и менялся быт. Он привык к этому, но оказалось, что он привык к этому только в одной точке земного шара — в уездном городе N. Приехав в родной город, он увидел, что ничего не понимает. Ему было неловко и странно, как если бы он и впрямь был эмигрантом и сейчас только приехал из Парижа. В прежнее время, проезжая по городу в экипаже, он обязательно встречал знакомых или же известных ему с лица людей. Сейчас он прошел уже четыре квартала по улице Ленских событий, но знакомые не встречались. Они исчезли, а может быть, постарели так, что их нельзя было узнать, а может быть, сделались неузнаваемыми, потому что носили другую одежду, другие шляпы. Может быть, они переменили походку. Во всяком случае, их не было.

Ипполит Матвеевич шел бледный, холодный, потерянный. Он совсем забыл, что ему нужно разыскивать жилотдел *или то, что от жилотдела осталось. Вместо того он без смысла* переходил с тротуара на тротуар, сворачивал в переулки, где распустившиеся битюги совсем уже нарочно

стучали копытами; в переулках было больше зимы и кое-где попадался *лед цвета кариозного зуба.* Весь город был другого цвета. Синие дома стали зелеными, желтые — серыми, с каланчи исчезли бомбы, по ней не ходил больше пожарный, и на улицах было гораздо шумнее, чем это помнилось Ипполиту Матвеевичу.

На Большой Пушкинской Ипполита Матвеевича удивили никогда не виданные им в Старгороде рельсы и трамвайные столбы с проводами. Ипполит Матвеевич не читал газет и не знал, что к *первому* маю в Старгороде собираются открыть две трамвайные линии: Вокзальную и Привозную.[156] То Ипполиту Матвеевичу казалось, что он никогда не покидал *Старгород*, то Старгород представлялся ему местом совершенно незнакомым.

В таких мыслях он дошел до улицы Маркса и Энгельса. В этом месте к нему вернулось детское ощущение, что вот сейчас из-за угла двухэтажного дома с длинным балконом обязательно должен выйти знакомый. Ипполит Матвеевич даже приостановился в ожидании. Но знакомый не вышел. Сначала из-за угла показался стекольщик с ящиком бемского стекла[157] и буханкой замазки медного цвета. Выдвинулся из-за угла франт в замшевой кепке с кожаным желтым козырьком. За ним выбежали дети — школьники первой ступени[158] с книжками в ремешках.

Вдруг Ипполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел незнакомый гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул. Ипполит Матвеевич, которым неожиданно овладела икота, всмотрелся и сразу узнал свой стул.

Да! Это был гамбсовский стул, обитый потемневшим в революционных бурях английским ситцем в цветочках, это был ореховый стул с гнутыми ножками. Ипполит Матвеевич почувствовал себя так, как будто бы ему выпалили в ухо.

— Точить *ножи-ножницы*, бритвы править! — закричал вблизи баритональный бас.

И сейчас же донеслось тонкое эхо:

— Паять, пачинять!..

— Московская гайзета «Звестие», журнал «Смехач», «Красная *Нива»,* *[159]* *«Старгородская правда»!..*

Где-то наверху со звоном высадили стекло. Потрясая город, проехал грузовик Мельстроя.[160] Засвистел милиционер. Жизнь кипела и переливалась через край. Времени терять было нечего.

Ипполит Матвеевич леопардовым скоком приблизился к

возмутительному незнакомцу и молча дернул стул к себе. Незнакомец дернул стул обратно. Тогда Ипполит Матвеевич, держась левой рукой за ножку, стал с силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула.

— Грабят, — шепотом сказал незнакомец, еще крепче держась за стул.

— Позвольте, позвольте, — лепетал Ипполит Матвеевич, продолжая отклеивать пальцы незнакомца.

Стала собираться толпа. Человека три уже стояло поблизости, с живейшим интересом следя за развитием конфликта.

Тогда оба опасливо оглянулись и, не глядя друг на друга, но не выпуская стула из цепких рук, быстро пошли вперед, как будто бы ничего и не было.

«Что же это такое?» — отчаянно думал Ипполит Матвеевич.

Что думал незнакомец — нельзя было понять, но походка у него была самая решительная.

Они шли все быстрее и, завидя в глухом переулке пустырь, засыпанный щебнем и строительными материалами, как по команде повернули туда. Здесь силы Ипполита Матвеевича учетверились.

— Позвольте же! — закричал он, не стесняясь.

— Ка-ра-ул! — еле слышно воскликнул незнакомец.

И так как руки у обоих были заняты стулом, они стали пинать друг друга ногами. Сапоги незнакомца были с подковами, и Ипполиту Матвеевичу сначала пришлось довольно плохо. Но он быстро приспособился и, прыгая то направо, то налево, как будто танцевал краковяк, увертывался от ударов противника и старался поразить *его ударом* в живот. В живот ему попасть не удалось, потому что мешал стул, но зато он угодил в коленную чашечку *врага*, после чего тот смог лягаться только левой ногой.

— О, господи! — зашептал незнакомец.

И тут Ипполит Матвеевич увидел, что незнакомец, возмутительнейшим образом похитивший его стул, не кто иной, как священник церкви Фрола и Лавра — отец Федор Востриков.

Ипполит Матвеевич опешил.

— Батюшка! — воскликнул он, в удивлении снимая руки со стула.

Отец Востриков полиловел и разжал наконец пальцы. Стул, никем не поддерживаемый, свалился на битый кирпич.

— Где же ваши усы, уважаемый Ипполит Матвеевич? — с наивозможной язвительностью спросила духовная особа.

— А ваши локоны где? У вас ведь были локоны?

Невыносимое презрение слышалось в словах Ипполита Матвеевича.

Он окатил отца Федора взглядом необыкновенного благородства и, взяв под мышку стул, повернулся, чтобы уйти. Но отец Федор, уже оправившийся от смущения, не дал Воробьянинову такой легкой победы. С криком: «Нет, прошу вас», — он снова ухватился за стул. Была восстановлена первая позиция. *Оба противника* стояли, вцепившись в ножки, как коты или боксеры, мерили друг друга взглядами *и похаживали* из стороны в сторону.

Хватающая за сердце пауза длилась целую минуту.

— Так это вы, святой отец, — проскрежетал Ипполит Матвеевич, — охотитесь за моим имуществом?

С этими словами Ипполит Матвеевич лягнул святого отца ногой в бедро.

Отец Федор изловчился, злобно пнул предводителя в пах так, что тот согнулся, *и зашипел.*

— Это не ваше имущество!

— А чье же?

— Не ваше.

— А чье же?

— Не ваше, не ваше.

— А чье же, чье?

— Не ваше.

Шипя так, они неистово лягались.

— А чье же это имущество? — возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца.

Преодолевая боль, святой отец твердо сказал:

— Это национализированное имущество.

— Национализированное?

— Да-с, да-с, национализированное.

Говорили они с такой необыкновенной быстротой, что слова сливались.

— Кем национализировано?

— Советской властью! Советской властью.

— Какой властью? *Какой властью?*

— Властью трудящихся.

— А-а-а!.. — сказал Ипполит Матвеевич, леденея, *как мята.* — Властью рабочих и крестьян?

— Да-а-а-с!..

— М-м-м… Так, может быть, вы, святой отец, партийный?

— М-может быть!

Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем «может быть?» смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем — руки были заняты стулом. Ипполит Матвеевич издал звук открываемой двери и изо всей мочи толкнул врага стулом. Враг упал, увлекая за собой задыхающегося Воробьянинова. Борьба продолжалась в партере.

Вдруг раздался треск — отломились сразу обе передние ножки. Забыв друг о друге, противники принялись терзать ореховое кладохранилище. С печальным криком чайки разодрался английский ситец в цветочках. Спинка отлетела, отброшенная могучим порывом. Кладоискатели рванули рогожу вместе с медными пуговичками и, ранясь о пружины, погрузили пальцы в шерстяную набивку. Потревоженные пружины пели. Через пять минут стул был обглодан. От него остались рожки да ножки. Во все стороны катились пружины. Ветер носил гнилую шерсть по пустырю. Гнутые ножки лежали в яме. *Бриллиантов* не было.

— Ну что, нашли? — спросил Ипполит Матвеевич, задыхаясь.

Отец Федор, весь покрытый клочками шерсти, отдувался и молчал.

— Вы аферист, — крикнул Ипполит Матвеевич, — я вам морду побью, отец Федор.

— Руки коротки, — ответил батюшка.

— Куда же вы пойдете весь в пуху?

— А вам какое дело?

— Стыдно, батюшка! Вы просто вор!

— Я у вас ничего не украл!

— Как же вы узнали об этом? Использовали в своих интересах тайну исповеди? Очень хорошо! Очень красиво!

Ипполит Матвеевич с негодующим *«Пфуй!»* покинул пустырь и, чистя на ходу рукава пальто, направился домой.

На углу улицы Ленских событий и Ерофеевского переулка Воробьянинов увидел своего компаньона. Технический директор и главный руководитель концессии стоял вполоборота, приподняв левую ногу, — ему чистили *верх* ботинок канареечным кремом. Ипполит Матвеевич подбежал к нему. Директор беззаботно мурлыкал «Шимми»: [161]

Раньше это делали верблюды,
Раньше так плясали ба-та-ку-ды,
А теперь уже танцует шимми це-лый мир…

— Ну, как жилотдел? — спросил он деловито и сейчас же добавил: — Подождите, не рассказывайте, вы слишком взволнованы, прохладитесь.

Выдав чистильщику семь копеек, Остап взял Воробьянинова под руку и повлек его по улице.

— *Ну, теперь вываливайте.*

Все, что *вывалил* взволнованный Ипполит Матвеевич, Остап выслушал с большим вниманием.

— Ага! Небольшая черная бородка? Правильно! Пальто с барашковым воротником? Понимаю. Это стул из богадельни. Куплен сегодня утром за три рубля.

— Да вы погодите…

И Ипполит Матвеевич рассказал главному концессионеру обо всех подлостях отца Федора. Остап омрачился.

— Кислое дело, — сказал он, — пещера *Лехтвейса*.[162] Таинственный соперник. Его нужно опередить, а морду ему мы всегда успеем пощупать. *В жилотдел! Заседание продолжается.*

Пока друзья закусывали в пивной «Стенька Разин» и Остап разузнавал, в каком доме находился раньше жилотдел и какое учреждение находится в нем теперь, — день *кончался.*

Золотые битюги снова *превратились в коричневых. Бриллиантовые* капли холодели на лету и плюхались оземь. В пивных и ресторане «Феникс» пиво поднялось в цене — наступил вечер. На Большой Пушкинской зажглись электрические лампы, и, возвращаясь домой с первой весенней прогулки, с барабанным топаньем прошел отряд пионеров.

Началось гулянье. По Большой Пушкинской проехал прокатный автомобиль. Из кино уже вышла первая партия публики, отсмотревшей третью серию американского боевика «Акулы Нью-Йорка».[163]

Тигры, победы и кобры *Губплана* таинственно светились под входящей в город луной.

Идя домой с замолчавшим вдруг Остапом, Ипполит Матвеевич посмотрел на губплановских тигров и кобр. В его время здесь помещалась губернская земская управа, и горожане очень гордились[164] кобрами, считая их старгородской достопримечательностью.

«Найду», — подумал Ипполит Матвеевич, вглядываясь в гипсовую победу.

Тигры ласково размахивали хвостами, кобры радостно сокращались, и душа Ипполита Матвеевича наполнилась уверенностью.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
Глава XII
Слесарь, попугай и гадалка

Дом № 7 по Перелешинскому переулку не принадлежал к лучшим зданиям Старгорода. Два его этажа, построенные в забубенном стиле Второй империи,[165] все же были украшены побитыми львиными мордами, необыкновенно похожими на лицо известного в свое время писателя Арцыбашева.[166] Арцыбашевских ликов было ровно восемь, по числу окон, выходящих в переулок, и помещались эти львиные хари в оконных ключах. Были на доме еще два украшения, но уже чисто коммерческого характера. С одной стороны — лазурная вывеска «Одесская бубличная артель — „Московские баранки“.[167] На вывеске был изображен молодой человек в галстуке и коротких французских брюках. Он держал в одной, вывернутой *наизнанку* руке сказочный рог изобилия, из которого лавиной валили охряные московские баранки, выдававшиеся по нужде и за одесские бублики. При этом молодой человек сладострастно улыбался. С другой стороны — упаковочная контора «Быстроупак»[168] извещала о себе уважаемых *«гр. гр.»* заказчиков[169] черной вывеской с круглыми золотыми буквами.

Несмотря на ощутительную разницу в вывесках и величине оборотного капитала, оба эти разнородные предприятия занимались одним и тем же делом — спекулировали мануфактурой всех видов: грубошерстной, тонкошерстной, *камвольной*, хлопчатобумажной, а если попадался шелк хороших цветов и рисунков, то и шелком.

Пройдя ворота, залитые туннельным мраком и водой, и свернув направо, во двор с цементным колодцем, можно было увидеть две двери без крылец, выходящие прямо на острые камни двора. Дощечка тусклой меди с вырезанной на ней писанными буквами фамилией *«В. М. Полесовъ» — помещалась на правой двери.* Левая была снабжена беленькой жестянкой «Моды и шляпы». Это тоже была одна видимость. Внутри модной и шляпной *квартиры* не было ни спартри,[170] ни отделки, ни безголовых манекенов с офицерской выправкой, ни головатых болванок для изящных дамских шляп *«Жоржет»*.[171] Вместо всей этой мишуры в трехкомнатной квартире жил непорочно белый попугай в красных подштанниках. Попугая

одолевали блохи, но пожаловаться он никому не мог, потому что не говорил человеческим голосом. По целым дням попугай грыз семечки и сплевывал шелуху сквозь прутья башенной клетки *на ковер.* Ему не хватало только гармоники и новых свистящих калош, чтобы походить на подгулявшего кустаря-одиночку. На окнах *висели* темные коричневые *занавеси* с блямбами, и в квартире преобладали темно-коричневые тона. Над пианино висела репродукция картины Беклина «Остров мертвых»[172] в раме фантази[173] темно-зеленого полированного дуба под стеклом. Один угол стекла давно вылетел, и обнаженная часть картины была так отделана мухами, что совершенно сливалась с рамой. Что творилось в этой части острова мертвых — узнать было уже невозможно.

В спальне, на *железной* кровати, сидела сама хозяйка и, опираясь локтями на восьмиугольный столик, покрытый нечистой скатертью ришелье,[174] раскладывала карты. Перед нею сидела вдова Грицацуева в пушистой шали.

— Должна вас предупредить, девушка, что я за сеанс меньше пятидесяти копеек не беру, — сказала хозяйка.

Вдова, не знавшая преград в стремлении отыскать нового мужа, согласилась платить установленную цену.

— Только вы, пожалуйста, *будущее,* — жалобно попросила она.

— Вас надо гадать на даму треф, — *сообщила хозяйка.*

— Я всегда была червонная дама, — *возразила вдова.*

Хозяйка равнодушно согласилась и начала комбинировать карты. Черновое определение вдовьей судьбы было дано уже через несколько минут. Вдову ждали большие и мелкие неприятности, *на* сердце у нее лежал трефовый король, с которым дружила бубновая дама.

Набело гадали по руке. Линии вдовы Грицацуевой были чисты, мощны и безукоризненны. Линия жизни простиралась так далеко, что конец ее заехал в пульс, и если линия говорила правду, — вдова должна была бы дожить до *мировой революции.[175] Линии* ума и искусства давали право надеяться, что *если* вдова бросит торговлю бакалеей, *то* подарит человечеству непревзойденные шедевры в какой угодно области искусства, науки или обществоведения. Бугры Венеры у вдовы походили на манчжурские сопки и обнаруживали чудесные запасы любви и нежности.

Все это гадалка объяснила вдове, употребляя слова и термины, принятые в среде графологов, хиромантов и лошадиных барышников.

— Вот спасибо вам, мадамочка, — сказала вдова, — уж я теперь знаю, кто трефовый король. И бубновая дама мне тоже очень известна. А король-

то марьяжный?

— *Король?* Марьяжный, девушка.

Окрыленная вдова зашагала домой. А гадалка, сбросив карты в ящик, зевнула, *показала* пасть пятидесятилетней женщины и пошла в кухню. Там она повозилась с обедом, *готовившимся* на керосинке «Грец», по-кухарочьи вытерла руки о передник, взяла *поколовшееся эмалевое* ведро и вышла во двор за водой. *В доме не было водопровода.*

Она шла по двору, тяжело передвигаясь на плоских ступнях. Ее полуразвалившийся бюст вяло прыгал в перекрашенной кофточке. На голове рос веничек седеющих волос. Она была почти старухой, была *почти грязна,* смотрела на всех подозрительно и любила сладкое. *Она наваривала себе большие кастрюли компоту и съедала его с серым хлебом, в одиночку. Попугай следил за тем, как она ела, полузакрыв глаза серым замшевым веком. Она шла по двору, и если* бы Ипполит Матвеевич увидел ее сейчас, то никогда не узнал бы *Елену* Боур, *красавицу-прокуроршу, о* которой секретарь суда когда-то сказал стихами, что она «к поцелуям зовущая, вся такая воздушная».

У колодца мадам Боур была приветствована соседом, Виктором Михайловичем Полесовым, *гениальным* слесарем-интеллигентом, который набирал воду в бидон из-под бензина. У Полесова было лицо оперного дьявола, которого тщательно мазали сажей перед тем, как выпустить на сцену.

Обменявшись приветствиями, соседи заговорили о деле, занимавшем весь Старгород.

— До чего дожились, — иронически сказал Полесов, — вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай собираются пускать!..

Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, *думающая,* что творог добывается из вареников, — все же посочувствовала:

— Какие теперь магазины! Теперь только очереди, а магазинов нет. И названия у этих магазинов самые ужасные. Старгико!..

— Нет, знаете, Елена Станиславовна, это еще что! У них четыре мотора «Всеобщей Электрической Компании»[176] остались. Ну, эти кое-как пойдут, хотя кузова та-акой хлам!.. Стекла не на резинах. Я сам видел. Дребезжать *это* все будет!.. Мрак! А остальные моторы — харьковская работа.[177] Сплошной *Госпромцветмет.* Версты не протянут.[178] Я на них

смотрел…

Гениальный слесарь раздраженно замолк. Его черное лицо блестело на солнце. Белки глаз были желтоваты. *Виктор Михайлович Полесов был не только гениальным слесарем, но и гениальным лентяем.* Среди кустарей с мотором, которыми изобиловал Старгород, он был самым непроворным и *наиболее часто* попадавшим впросак. Причиной *к этому* служила его чрезмерно кипучая натура. Это был кипучий лентяй. Он постоянно пенился. В собственной его мастерской, помещавшейся во втором дворе дома № 7 по Перелешинскому переулку, застать его было невозможно. Потухший *переносной* горн сиротливо стоял посреди каменного сарая, по углам которого были навалены проколотые камеры, рваные протекторы «Треугольник»,[179] рыжие замки, такие огромные, что ими можно было запирать города, мятые баки для горючего с надписями «Indian» и «Wanderer»,[180] детская рессорная колясочка, навеки заглохшая динамка, гнилые сыромятные ремни, *масляная* пакля, стертая наждачная бумага, австрийский штык и множество рваной, гнутой и давленой дряни.

Заказчики не находили Виктора Михайловича. Виктор Михайлович уже где-то распоряжался. Ему было не до работы. Он не мог *видеть спокойно* въезжающего в свой или чужой двор ломовика с кладью. Полесов сейчас же выходил во двор и, сложив руки *на спине,* презрительно наблюдал за действиями возчика. Наконец сердце его не выдерживало.

— Кто же так заезжает? — кричал он, ужасаясь. — Заворачивай!

Испуганный возчик заворачивал.

— Куда ж ты заворачиваешь, морда?! — страдал Виктор Михайлович, налетая на лошадь. — Надавали бы тебе в старое время пощечин, тогда бы заворачивал!

Покомандовавши так с полчаса, Полесов собирался было уже возвратиться в мастерскую, где ждал его непочиненный велосипедный насос, но тут спокойная жизнь города обычно вновь нарушалась каким-нибудь недоразумением. То на улице сцеплялись осями телеги, и Виктор Михайлович указывал, как лучше всего и быстрее их расцепить; то меняли телеграфный столб, и Полесов проверял его перпендикулярность к земле собственным, специально вынесенным из мастерской отвесом; то, наконец, *устраивалось общее собрание жильцов. Тогда Виктор Михайлович стоял посреди двора и созывал жильцов ударами в железную доску; но на самом собрании ему не удавалось побывать. Проезжал* пожарный обоз, и Полесов, взволнованный звуками трубы и испепеляемый огнем беспокойства, бежал за колесницами.

Однако временами Виктора Михайловича настигала стихия реального действия. На несколько дней он скрывался в мастерскую и молча работал. Дети свободно бегали по двору и кричали что хотели, ломовики *заворачивали и* описывали во дворе какие угодно кривые, телеги на улице вообще переставали сцепляться, и пожарные колесницы и катафалки в одиночестве катили на пожар, — Виктор Михайлович работал. Однажды, после одного такого запоя, он вывел во двор, как барана за рога, мотоцикл, составленный из кусочков автомобилей, огнетушителей, велосипедов и пишущих машинок. Мотор в *1* $^{1}/_{2}$ силы был вандерeровский, колеса давидсоновские,[181] а другие существенные части уже давно потеряли фирму. С седла свисал на шпагатике картонный плакат «Проба». Собралась толпа. Не глядя ни на кого, Виктор Михайлович закрутил рукой педаль. Искры не было минут десять. Затем раздалось железное чавканье, прибор задрожал и окутался грязным дымом. Виктор Михайлович кинулся в седло, и мотоцикл, забрав безумную скорость, вынес его через туннель на середину мостовой и сразу остановился, словно срезанный пулей. Виктор Михайлович собрался было уже слезть и обревизовать свою загадочную машинку, но она дала вдруг задний ход и, пронеся своего создателя через тот же туннель, остановилась на месте отправления — посреди двора, ворчливо ахнула и взорвалась. Виктор Михайлович уцелел чудом и из обломков мотоцикла в следующий запойный период устроил стационарный двигатель, который был очень похож на настоящий *двигатель*, но не работал.

Венцом академической деятельности слесаря-интеллигента была эпопея с воротами *дома* № 5. Жилтоварищество этого дома заключило с Виктором Михайловичем договор,[182] по которому Полесов обязывался привести железные ворота дома в полный порядок и выкрасить их в какой-нибудь экономический цвет, по своему усмотрению. С другой стороны, жилтоварищество обязывалось уплатить В. М. Полесову, по приеме работы специальной комиссией, *21 р. 75 коп.* Гербовые марки были отнесены за счет исполнителя работы.

Виктор Михайлович утащил ворота, как Самсон. В мастерской он с энтузиазмом взялся за работу. Два дня ушло на расклепку ворот. Они были разобраны на составные части. Чугунные завитушки лежали в детской колясочке, железные штанги и копья были сложены под верстак. Еще несколько дней прошло на осмотр повреждений. А потом в городе произошла большая неприятность — на Дровяной лопнула магистральная водопроводная труба, и Виктор Михайлович остаток недели провел на

месте аварии, иронически улыбаясь, крича на рабочих и поминутно заглядывая в провал. Когда организаторский пыл Виктора Михайловича несколько утих, он снова подступил к воротам, но было поздно: дворовые дети уже играли чугунными завитушками и копьями ворот дома № 5. Увидав разгневанного слесаря, дети в испуге побросали *завитушки* и убежали. Половины завитушек не хватало, и найти их не удалось. После этого Виктор Михайлович совершенно охладел к воротам. А в доме № 5, раскрытом настежь, происходили ужасные *вещи:* с чердаков крали мокрое белье, и однажды вечером *украли* даже закипающий во дворе самовар. Виктор Михайлович лично принимал участие в погоне за вором, но вор, хотя и нес в вытянутых вперед руках кипящий самовар, из жестяной трубы которого било пламя, — бежал очень резво и, оборачиваясь назад, хулил державшегося впереди всех Виктора Михайловича нечистыми словами. Но больше всех пострадал дворник дома № 5. Он потерял еженощный заработок — ворот не было, нечего было открывать, и загулявшим жильцам не за что было отдавать свои гривенники. Сперва дворник приходил справляться, скоро ли будут собраны ворота, потом молил *Христом-богом,* а под конец стал произносить неопределенные угрозы. Жилтоварищество посылало Виктору Михайловичу письменные напоминания. Дело пахло судом. Положение напрягалось все больше и больше.

Стоя у колодца, гадалка и слесарь-энтузиаст продолжали беседу.

— При наличии отсутствия пропитанных шпал, — кричал Виктор Михайлович на весь двор, — это будет не трамвай, а одно горе!

— Когда уже *это все* кончится, — сказала Елена Станиславовна, — живем, как дикари.

— Конца этому нет… Да! Знаете, кого я сегодня видел? Воробьянинова!

Елена Станиславовна прислонилась к колодцу, в изумлении продолжая держать на весу полное ведро с водой.

— Прихожу я в *Коммунхоз* продлить договор на аренду мастерской, иду по коридору. Вдруг подходят ко мне двое. Я смотрю — что-то знакомое. Как будто воробьяниновское лицо. И спрашивает: «Скажите, что здесь за учреждение раньше было, в этом здании?» Я говорю, что раньше была здесь женская гимназия, а потом жилотдел. «А вам зачем?» — спрашиваю. А *он* говорит «спасибо» — и пошел дальше. Тут я ясно увидел, что это сам *Воробьянинов. Откуда он здесь взялся?* И *тот* с ним был — красавец мужчина. Явно бывший офицер. И тут я подумал…

В эту минуту Виктор Михайлович заметил нечто неприятное. Прервав

речь, он схватил свой бидон и быстро спрятался за мусорный ящик. Во двор медленно вошел Дворник дома № 5, остановился подле колодца и стал озирать дворовые постройки. Не заметив нигде Виктора Михайловича, он загрустил.

— Витьки слесаря опять нету? — спросил он у Елены Станиславовны.

— Ах, ничего я не знаю, — сказала гадалка, — ничего я не знаю.

И в необыкновенном волнении, *вываливая* воду из ведра, торопливо ушла к себе.

Дворник погладил цементный бок колодца и пошел к мастерской. Через два шага после вывески «Ход в слесарную мастерскую» красовалась вывеска «Слесарная мастерская и починка примусов», под которой висел тяжелый замок. Дворник ударил ногой в замок и с ненавистью сказал:

— У, гангрена!

Дворник стоял у мастерской еще минуты три, наливаясь самыми ядовитыми чувствами, потом с грохотом отодрал вывеску, понес ее на *средину* двора к колодцу и, став на нее обеими ногами, начал скандалить.

— Ворюги у вас в доме *№ 7* живут! — вопил дворник. — Сволота всякая! Гадюка семибатюшная! Среднее образование имеет!.. Я не посмотрю на среднее образование!.. Гангрена проклятая!!!

В это время семибатюшная гадюка со средним образованием сидела за мусорным ящиком на бидоне и тосковала.

С треском распахивались рамы, и из окон выглядывали веселые жильцы. С улицы во двор, не спеша, входили любопытные. При виде аудитории дворник разжегся еще больше.

— Слесарь-механик! — вскрикивал дворник. — Аристократ собачий!

Парламентарные выражения дворник богато перемежал нецензурными словами, которым отдавал предпочтение. Слабое женское сословие, густо облепившее подоконники, очень негодовало на дворника, но от окон не отходило.

— Харю разворочу! — неистовствовал дворник. — Образованный!

Когда скандал был в зените, явился милиционер и молча стал тащить *дворника* в район. Милиционеру помогали молодцы из «Быстроупака».

Дворник покорно обнял милиционера за шею и заплакал *навзрыд.*

Опасность миновала.

Тогда из-за мусорного ящика выскочил истомившийся Виктор Михайлович. Аудитория зашумела.

— Хам! — закричал Виктор Михайлович вслед шествию. — Хам! Я тебе покажу! Мерзавец!

Горько рыдавший дворник ничего этого не услышал. Его несли на

руках в отделение, *туда* же, в качестве вещественного доказательства, потащили вывеску «Слесарная мастерская и починка примусов».

Виктор Михайлович еще долго хорохорился.

— Сукины сыны, — говорил он зрителям, — возомнили о себе. Хамы!

— Будет вам, Виктор Михайлович! — крикнула из окна Елена Станиславовна. — Зайдите ко мне на минуточку.

Она поставила перед Виктором Михайловичем блюдечко компота и, расхаживая по комнате, принялась расспрашивать.

— Да говорю же вам, что это он, без усов, но он, — по обыкновению, кричал Виктор Михайлович, — ну вот, знаю я его отлично! Воробьянинов, как вылитый!

— Тише вы, господи! Зачем он сюда приехал, как вы думаете?

На черном лице Виктора Михайловича определилась ироническая улыбка.

— Ну, а вы как думаете?

Он усмехнулся с еще большей иронией.

— Уж, во всяком случае, не договоры с большевиками подписывать.

— Вы думаете, что он подвергается опасности?

Запасы иронии, накопленные Виктором Михайловичем за десять лет революции, были неистощимы. На лице его заиграли серии улыбок различной силы и скепсиса.

— Кто в Советской России не подвергается опасности, тем более человек в таком положении, как Воробьянинов? Усы, Елена Станиславовна, даром не сбривают.

— Он послан из-за границы? — спросила Елена Станиславовна, чуть не задохнувшись.

— Безусловно, — ответил гениальный слесарь.

— С какой же целью он здесь?

— Не будьте ребенком.

— Все равно. Мне надо его видеть.

— А вы знаете, чем рискуете?

— Ах, все равно! После десяти лет разлуки я не могу не увидеться с Ипполитом Матвеевичем.

Ей и на самом деле показалось, что судьба разлучила их в ту пору, когда они любили друг друга.

— Умоляю вас, найдите его! Узнайте, где он! Вы всюду бываете! Вам будет нетрудно! Передайте, что я хочу его видеть. Слышите?

Попугай в красных подштанниках, дремавший на жердочке, испугался шумного разговора, перевернулся вниз головой и в таком виде замер.

— Елена Станиславовна, — сказал слесарь-механик, *приподымаясь* и прижимая руки к груди, — я найду его и свяжусь с ним.

— Может быть, вы хотите еще компоту? — растрогалась гадалка.

Виктор Михайлович съел компот, прочел злобную лекцию о неправильном устройстве попугайской клетки и попрощался с Еленой Станиславовной, порекомендовав ей держать все в строжайшем секрете.

Глава XIII
Алфавит — зеркало жизни

На второй день компаньоны убедились, что жить в дворницкой больше неудобно. Бурчал Тихон, совершенно обалдевший после того, как увидел барина сначала черноусым, потом зеленоусым, а под конец и совсем без усов. Спать было не на чем. В дворницкой стоял запах гниющего навоза, распространяемый новыми валенками Тихона. Старые валенки стояли в углу и воздуха тоже не озонировали.

— Считаю вечер воспоминаний закрытым, — сказал Остап, — нужно переезжать в гостиницу.

Ипполит Матвеевич дрогнул.

— Этого нельзя.

— Почему-с?

— Там придется прописаться.

— Паспорт не в порядке?

— Да нет, паспорт в порядке, но в городе мою фамилию хорошо знают. Пойдут толки.

Концессионеры в раздумье помолчали.

— А фамилия Михельсон вам нравится? — неожиданно спросил великолепный Остап.

— Какой Михельсон? Сенатор?

— Нет. Член союза совторгслужащих.[183]

— Я вас не пойму.

— Это от отсутствия технических навыков. Не будьте божьей коровой.

Бендер вынул из зеленого пиджака профсоюзную книжку и передал Ипполиту Матвеевичу.

— Конрад Карлович Михельсон, сорока восьми лет, беспартийный, холост, член союза с *1921* года, в высшей степени нравственная личность, мой хороший знакомый, кажется, друг детей… Но вы можете не дружить с детьми — этого от вас милиция не потребует.[184]

Ипполит Матвеевич зарделся.

— Но удобно ли…

— По сравнению с нашей концессией это деяние, хотя и предусмотренное *уголовным* кодексом, все же имеет невинный вид детской

игры в крысу.

Воробьянинов все-таки запнулся.

— Вы идеалист, Конрад Карлович. Вам еще повезло, а то *бы* вам вдруг пришлось стать каким-нибудь Папа-Христозопуло или Зловуновым.

Последовало быстрое согласие, и концессионеры *выбрались на улицу, не попрощавшись с Тихоном.* Остановились они в меблированных комнатах «Сорбонна», *принадлежавших Старкомхозу.* Остап переполошил весь небольшой штат отельной прислуги. Сначала он обозревал семирублевые номера, но остался недоволен их меблировкой. Убранство пятирублевых номеров понравилось ему больше, но ковры были какие-то облезшие и возмущал запах. В трехрублевых номерах было все хорошо, за исключением картин.

— Я не могу жить в одной комнате с пейзажами, — сказал Остап.

Пришлось поселиться в номере за рубль восемьдесят. Там не было пейзажей, не было ковров, а меблировка была строго выдержана: две кровати и ночной столик.

— Стиль каменного века, — заметил Остап с одобрением, — а доисторические животные в матрацах *у вас* не водятся?

— Смотря по сезону, — ответил лукавый коридорный, — если, например, губернский съезд какой-нибудь, то, конечно, нету, потому что пассажиров бывает много и перед ними чистка происходит большая. А в прочее время действительно случается, что и набегают. Из соседних номеров «Ливадия».

В этот же день концессионеры побывали в Старкомхозе, где получили все необходимые сведения.

Оказалось, что жилотдел был расформирован в 1921 году и что обширный его архив *был* слит с архивом Старкомхоза. За дело взялся великий комбинатор. К вечеру компаньоны уже знали домашний адрес заведующего архивом Варфоломея Коробейникова, бывшего чиновника канцелярии градоначальства, ныне работника конторского труда.

Остап облачился в гарусный жилет, выбил о спинку кровати пиджак, вытребовал у Ипполита Матвеевича рубль двадцать копеек на представительство и отправился с визитом к архивариусу. Ипполит Матвеевич остался в «Сорбонне» и в волнении стал прохаживаться в *ущелии* между двумя кроватями.

В этот вечер, зеленый и холодный, решалась судьба всего предприятия. Если удастся достать копии ордеров, по которым распределялась изъятая из воробьяниновского особняка мебель, — дело можно считать наполовину удавшимся. Дальше предстояли трудности,

конечно, невообразимые, но нить была бы уже в руках.

— Только бы ордера достать, — прошептал Ипполит Матвеевич, валясь на постель, — только бы ордера!..

Пружины разбитого матраца кусали его, как блохи. Он не чувствовал этого. Он еще неясно представлял себе, что последует вслед за получением ордеров, но был уверен, что тогда все пойдет, как по маслу. «А маслом, — *вертелось* у него в голове, — каши не испортишь».

А каша заваривалась большая. Обуянный розовой мечтою, Ипполит Матвеевич переваливался на кровати. Пружины под ним блеяли.

Остапу пришлось пересечь весь город. Коробейников жил на Гусище, окраине Старгорода. *На Гусище* жили преимущественно железнодорожники. Иногда над домами, по насыпи, огороженной бетонным тонкостенным забором, проходил задним ходом сопящий паровоз, *крыши* домов на секунду освещались полыхающим огнем паровозной топки, иногда катились порожние вагоны, иногда взрывались петарды. Среди халуп и временных бараков тянулись длинные кирпичные корпуса сырых еще кооперативных домов.

Остап миновал светящийся остров — железнодорожный клуб, — по бумажке проверил адрес и остановился у домика архивариуса. *Бендер* крутнул звонок с выпуклыми буквами «прошу крутить».

После длительных расспросов *«кому* да зачем» ему открыли, и он очутился в темной, заставленной шкафами, передней. В темноте кто-то дышал на Остапа, но ничего не говорил.

— Где здесь гражданин Коробейников? — спросил Бендер.

Дышащий человек взял Остапа за руку и ввел в освещенную висячей керосиновой лампой столовую. Остап видел перед собою маленького старичка-*чистюлю* с необыкновенно гибкой спиной. Не было сомнений в том, что старик этот — сам гражданин Коробейников. Остап без приглашения *отодвинул* стул и сел.

Старичок безбоязненно смотрел на самоуправца и молчал. Остап любезно начал разговор первым:

— Я к вам по делу. Вы служите в архиве Старкомхоза?

Спина старика пришла в движение и утвердительно выгнулась.

— А раньше служили в жилотделе?

— Я всюду служил, — сказал старик весело.

— Даже в канцелярии градоначальства?

При этом Остап грациозно улыбнулся. Спина старика долго извивалась и наконец остановилась в положении, свидетельствовавшем, что служба в градоначальстве — дело давнее и что все упомнить

положительно невозможно.

— А позвольте все-таки узнать, чем обязан? — спросил хозяин, с интересом глядя на гостя.

— Позволю, — ответил гость. — Я Воробьянинова сын.

— Это какого же? Предводителя?

— Его.

— А он что, жив?

— Умер, гражданин Коробейников. Почил.

— Да, — без особой грусти сказал старик, — печальное событие. Но ведь, кажется, у него детей не было?

— Не было, — любезно подтвердил Остап.

— Как же?..

— Ничего. Я от морганатического брака.

— Не Елены ли Станиславовны будете сынок?

— Да. Именно.

— А она в каком здоровье?

— Маман давно в могиле.

— Так, так, ах, как грустно.

И долго еще старик глядел со слезами сочувствия на Остапа, хотя не далее как сегодня видел Елену Станиславовну на базаре, в мясном ряду.

— Все умирают, — сказал он, — *вот и бабушка моя тоже… зажилась. А…* все-таки разрешите узнать, по какому делу, уважаемый, вот имени вашего не знаю…

— Вольдемар, — быстро сообщил Остап.

— … Владимир Ипполитович? Очень хорошо. Так. Я вас слушаю, Владимир Ипполитович.

Старичок присел к столу, покрытому клеенкой в узорах, и заглянул в самые глаза Остапа.

Остап в отборных словах выразил свою грусть по родителям. Он очень сожалеет, что вторгся так поздно в жилище глубокоуважаемого архивариуса и причинил ему беспокойство своим визитом, но надеется, что глубокоуважаемый архивариус простит его, когда узнает, какое чувство толкнуло его на это.

— Я хотел бы, — с невыразимой сыновней любовью закончил Остап, — найти что-нибудь из мебели папаши, чтобы сохранить о нем память. Не знаете ли вы, кому передана мебель из папашиного дома?

— Сложное дело, — ответил старик, подумав, — это только обеспеченному человеку под силу… А вы, простите, чем занимаетесь?

— Свободная профессия. Собственная мясохладобойня на артельных

началах в Самаре.

Старик с сомнением посмотрел на зеленые доспехи молодого Воробьянинова, но возражать не стал.

«Прыткий молодой человек», — подумал он.

Остап, который к этому времени закончил свои наблюдения над Коробейниковым, решил, что «старик — типичная сволочь».

— Так вот, — сказал Остап.

— Так вот, — сказал архивариус, — трудно, но можно…

— Потребует расходов? — помог владелец мясохладобойни.

— Небольшая сумма…

— Ближе к телу, как говорил Мопассан. Сведения будут оплачены.

— Ну что ж, семьдесят рублей положите.

— Это почему ж так много? Овес нынче дорог?

Старик мелко задребезжал, виляя позвоночником.

— Изволите шутить.

— Согласен, папаша. Деньги против ордеров. Когда к вам зайти?

— Деньги при вас?

Остап с готовностью похлопал себя по карману.

— Тогда пожалуйте хоть сейчас, — торжественно сказал Коробейников.

Он зажег свечу и повел Остапа в соседнюю комнату. Там кроме кровати, на которой, очевидно, спал хозяин дома, стоял письменный стол, заваленный бухгалтерскими книгами, и длинный канцелярский шкаф с открытыми полками. К ребрам полок были приклеены печатные литеры — А, Б, В и далее, до арьергардной буквы Я. На полках лежали пачки ордеров, перевязанные свежей бечевкой.

— Ого! — сказал восхищенный Остап. — Полный архив на дому!

— Совершенно полный, — скромно ответил архивариус, — я, знаете, на всякий случай… Коммунхозу он не нужен, а мне, на старости лет, может пригодиться… Живем мы, знаете, как на вулкане… Все может произойти… Кинутся тогда люди искать свои мебеля, а где они, мебеля? Вот они где! Здесь они! В шкафу. А кто сохранил, кто уберег? Коробейников. Вот господа спасибо и скажут старичку, помогут на старости лет… А мне много не нужно — по десяточке за ордерок подадут — и на том спасибо… А то иди, попробуй, ищи ветра в поле. Без меня не найдут!..

Остап восторженно смотрел на старика.

— Дивная канцелярия, — сказал он, — полная механизация. Вы прямо *герой!*

Польщенный архивариус стал вводить гостя в детали любимого дела. Он раскрыл толстые книги учета и распределения.

— Все здесь, — сказал он, — весь Старгород! Вся мебель! У кого когда взято, кому когда выдано. А вот это — алфавитная книга — зеркало жизни! Вам про чью мебель? Купца первой гильдии Ангелова? Пожа-алуйста. Смотрите на букву А. Буква А, Ак, Ам, Ан, Ангелов… Номер… Вот. 82742. Теперь книгу учета сюда. Страница 142. Где Ангелов? Вот Ангелов. Взято у Ангелова 18 декабря 1918 года — рояль «Беккер» № 97012, табурет к нему мягкий, бюро две штуки, гардеробов четыре — два красного дерева, шифоньер один и так далее… А кому дано?.. Смотрим книгу распределения. Тот же номер 82742… Дано… Шифоньер — в *Горвоенком,* гардеробов три штуки — в детский интернат «Жаворонок»… И еще один гардероб — в личное распоряжение секретаря Старпродкомгуба.[185] А рояль куды пошел? Пошел рояль в Собес, во 2-й дом. И посейчас там рояль есть…

«Что-то не видел я там такого рояля», — подумал Остап, вспомнив застенчивое личико Альхена.

— Или, примерно, у правителя канцелярии городской управы Мурина… На букву М, значит, и нужно искать… Все тут. Весь город. Рояли тут, козетки всякие, трюмо, кресла, диванчики, пуфики, люстры… Сервизы даже, и то есть…

— Ну, — сказал Остап, — вам памятник нужно нерукотворный[186] воздвигнуть. Однако ближе к *телу.* Например, буква *В…*

— Есть буква В, — охотно отозвался Коробейников. — Сейчас. Вм, Вн, Ворицкий № 48238, Воробьянинов, Ипполит Матвеевич, батюшка ваш, царство ему небесное, большой души был человек… Рояль «Беккер» № *5480009,* вазы китайские маркированные четыре, французского завода *«Сэвр»,* ковров-обюссонов[187] восемь разных размеров, гобелен «Пастушка», гобелен «Пастух», текинских ковров два, хорасанских ковров один, чучело медвежье с блюдом одно, спальный гарнитур — двенадцать мест, столовый гарнитур — шестнадцать мест, гостиный гарнитур — четырнадцать мест, ореховый, мастера Гамбса работы…

— А кому роздано? — в нетерпении спросил Остап.

— Это мы сейчас. Чучело медвежье с блюдом — во второй район милиции. Гобелен «Пастух» — в фонд художественных ценностей. Гобелен «Пастушка» — в клуб водников. Ковры обюссон, текинские и хоросан — в Наркомвнешторг. Гарнитур спальный — в союз охотников, гарнитур столовый — в Старгородское отделение Главчая. Гарнитур

гостиный ореховый — по частям. Стол круглый и стул один — во 2-й дом Собеса, диван с гнутой спинкой — в распоряжение жилотдела, до сих пор в передней стоит, всю обивку промаслили, сволочи… И еще один стул товарищу Грицацуеву, как инвалиду империалистической войны, по его заявлению и грифу завжилотделом т. Буркина. Десять стульев — в Москву, в *Государственный музей мебели,*[188] согласно циркулярного письма Наркомпроса… Вазы китайские маркированные…

— Хвалю! — сказал Остап, ликуя. — Это конгениально! Хорошо бы и на ордера посмотреть.

— Сейчас, сейчас и до ордеров доберемся. На № 48238, литера В…

Архивариус подошел к шкафу и, поднявшись на цыпочки, достал нужную пачку *солидных размеров.*

— Вот-с. Вся вашего батюшки мебель тут. Вам все ордера?

— Куда мне все… Так… Воспоминания детства — гостиный гарнитур… Помню, игрывал я в гостиной, на ковре *Хорасан,* глядя на гобелен «Пастушка»… Хорошее было время — золотое детство!.. Так вот, гостиным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся.

Архивариус с любовью стал расправлять пачку зеленых корешков и принялся разыскивать там требуемые ордера. Коробейников отобрал пять *ордеров.* Один ордер на десять стульев, два — по одному стулу, один — на круглый стол и один — на гобелен «Пастушка».

— Изволите ли видеть. Все в порядке. Где что стоит — все известно. На корешках все адреса прописаны и собственноручная подпись получателя. Так что никто в случае чего не отопрется. Может быть, хотите генеральши Поповой гарнитур? Очень хороший. Тоже гамбсовская работа.

Но Остап, движимый любовью исключительно к родителям, схватил ордера, засунул их на самое дно бокового кармана, а от генеральшиного гарнитура отказался.

— Можно расписочку писать? — осведомился архивариус, ловко выгибаясь.

— Можно, — любезно сказал Бендер, — пишите, борец за идею.

— Так я уж напишу.

— Кройте!

Перешли в первую комнату. Коробейников каллиграфическим почерком написал расписку и, улыбаясь, передал ее гостю. Главный концессионер необыкновенно учтиво принял бумажку двумя пальцами правой руки и положил ее в тот *же* карман, где уже лежали драгоценные ордера.

— Ну, пока, — сказал он, сощурясь, — я вас, кажется, сильно

обеспокоил. Не смею больше обременять своим присутствием. Вашу руку, правитель канцелярии.

Ошеломленный архивариус вяло пожал поданную ему руку.

— Пока, — повторил Остап.

Он двинулся к выходу.

Коробейников ничего не понял. Он даже посмотрел на стол — не оставил ли *там гость денег,* но *на* столе денег не было. Тогда архивариус очень тихо спросил:

— А деньги?

— Какие деньги? — сказал Остап, открывая входную дверь. — Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?

— Да как же! За мебель! За ордера!

— Голуба, — пропел Остап, — ей-богу, клянусь честью покойного батюшки. Рад душой, но нету, забыл взять с текущего счета…

Старик задрожал и вытянул вперед хилую свою лапку, желая задержать ночного посетителя.

— Тише, дурак, — сказал Остап грозно, — говорят тебе русским языком — завтра, значит, завтра. Ну, пока! Пишите письма!..

Дверь с треском захлопнулась. Коробейников снова открыл ее и выбежал на улицу, но Остапа уже не было. Он быстро шел мимо моста. Проезжавший через виадук локомотив осветил его своими огнями и завалил дымом.

— Лед тронулся! — закричал Остап машинисту. — Лед тронулся, господа присяжные заседатели!

Машинист не расслышал, махнул рукой, колеса машины сильнее задергали стальные локти кривошипов, и паровоз умчался.

Коробейников постоял на ледяном ветерке минуты две и, мерзко сквернословя, вернулся в свой домишко. Невыносимая горечь охватила его. Он стал посреди комнаты и в ярости *стал* пинать *стол ногой.* Подпрыгивала пепельница, сделанная на манер калоши с красной надписью «Треугольник», и стакан чокнулся с графином.

Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он мог обмануть кого угодно, но здесь его надули с такой гениальной простотой, что он долго еще стоял, колотя *ногами* по толстым ножкам обеденного стола.

Коробейникова на Гусище звали Варфоломеичем. Обращались к нему только в случае крайней нужды. Варфоломеич брал в залог вещи и назначал людоедские проценты. Он занимался этим уже несколько лет и еще ни разу не попался *милиции.* А теперь он, *как цыпленок,* попался на

лучшем своем коммерческом предприятии, от которого ждал больших барышей и обеспеченной старости. *С этой неудачей мог сравниться только один случай в жизни Варфоломеича.*

Года три назад, когда впервые после революции вновь появились медовые субъекты, принимающие страхование жизни, Варфоломеич решил обогатиться за счет Госстраха. Он застраховал свою бабушку ста двух лет, почтенную женщину, возрастом которой гордилось все Гусище, на тысячу рублей. Древняя женщина была одержима многими старческими болезнями. Поэтому Варфоломеичу пришлось платить высокие страховые взносы. Расчет Варфоломеича был прост и верен. Старуха долго прожить не могла. Вычисления Варфоломеича говорили за то, что она не проживет и года, за год пришлось бы внести рублей шестьдесят страховых денег, и 940 рублей являлись бы прибылью почти гарантированной.

Но старуха не умирала. Сто третий год она прожила вполне благополучно. Негодуя, Варфоломеич возобновил страхование на второй год. На сто четвертом году жизни старуха значительно окрепла — у нее появился аппетит и разогнулся указательный палец правой руки, скрученный подагрой уже лет десять. Варфоломеич со страхом убедился, что, истратив сто двадцать рублей на бабушку, он не получил ни копейки процентов на капитал. Бабушка не хотела умирать: капризничала, требовала кофий и однажды летом выползла даже на площадь Парижской Коммуны послушать новомодную выдумку — музыкальное радио. Варфоломеич понадеялся, что музыкальный рейс доконает старуху, которая, действительно, слегла и пролежала в постели три дня, поминутно чихая. Но организм победил. Старуха встала и потребовала киселя. Пришлось в третий раз платить страховые деньги. Положение сделалось невыносимым. Старуха должна была умереть и все-таки не умерла. Тысячерублевый мираж таял, сроки истекали, надо было возобновлять страхование. Неверие овладело Варфоломеичем. Проклятая старуха могла прожить еще двадцать лет. Сколько ни обхаживал Варфоломеича страховой агент, как ни убеждал он его, рисуя обольстительные, не дай бог, похороны старушки, — Варфоломеич был тверд, как диабаз. Страхования он не возобновил.

Лучше потерять, решил он, сто восемьдесят рублей, чем двести сорок, триста, триста шестьдесят, четыреста двадцать или, может быть, даже четыреста восемьдесят, не говоря уж о процентах на капитал.

Даже теперь, пиная ногой стол, Варфоломеич не переставал по

привычке прислушиваться к кряхтению бабушки, хотя никаких коммерческих выгод из этого кряхтения он уже извлечь не мог.

— Шутки!? — крикнул он, вспоминая о погибших ордерах. — Теперь деньги только вперед. И как же это я так оплошал? Своими руками отдал ореховый гостиный гарнитур!.. Одному гобелену «Пастушка» цены нет! Ручная работа!..

Звонок «прошу крутить» давно уже *крутила* чья-то неуверенная рука, и не успел Варфоломеич вспомнить, что входная дверь осталась открытой, как в передней раздался тяжкий грохот, и голос человека, запутавшегося в лабиринте шкафов, воззвал:

— Куда здесь войти?

Варфоломеич вышел в переднюю, потянул к себе чье-то пальто (на ощупь — драп) и ввел в столовую отца Федора *Вострикова.*

— Великодушно извините, — сказал отец Федор.

Через десять минут обоюдных недомолвок и хитростей выяснилось, что гражданин Коробейников действительно имеет кое-какие сведения о мебели Воробьянинова, а отец Федор не отказывается за эти сведения уплатить. Кроме того, к живейшему удовольствию архивариуса, посетитель оказался родным братом бывшего предводителя и страстно желал сохранить о нем память, приобретя ореховый гостиный гарнитур. С этим гарнитуром у брата Воробьянинова были связаны наиболее теплые воспоминания отрочества.

Варфоломеич запросил сто рублей. Память брата посетитель расценивал значительно ниже, рублей в тридцать. Согласились на пятидесяти.

— Деньги я бы попросил вперед, — заявил архивариус, — это мое правило.

— А это ничего, что я золотыми десятками? — заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака.

— По курсу приму. По девять с полтиной. Сегодняшний курс.

Востриков вытряс из колбаски пять желтячков, досыпал к ним два с полтиной серебром и пододвинул всю горку архивариусу. Варфоломеич два раза пересчитал монеты, сгреб их в руку, попросил гостя минуточку повременить и пошел за ордерами. В тайной своей канцелярии Варфоломеич не стал долго размышлять, раскрыл алфавит — зеркало жизни — на букву П, быстро нашел требуемый номер и взял с полки пачку ордеров генеральши Поповой. Распотрошив пачку, Варфоломеич выбрал из нее один ордер, выданный тов. Брунсу, проживающему *на* Виноградной, 34, на *12* ореховых стульев фабрики Гамбса. Дивясь своей сметке и

умению изворачиваться, архивариус усмехнулся и отнес ордера покупателю.

— Все в одном месте? — воодушевленно воскликнул покупатель.

— Один к одному. Все там стоят. Гарнитур замечательный. Пальчики оближете. Впрочем, что вам объяснять! Вы сами знаете!

Отец Федор долго восторженно тряс руку архивариуса и, ударившись несчетное количество раз о шкафы в передней, убежал в ночную темноту.

Варфоломеич долго еще подсмеивался над околпаченным покупателем. Золотые монеты он положил в ряд на столе и долго сидел, сонно глядя на пять светлых кружочков.

«И чего это их на воробьяниновскую мебель потянуло? — подумал он. — С ума посходили».

Он разделся, невнимательно помолился богу, лег в узенькую девичью постельку и озабоченно заснул.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Глава XIV
Знойная женщина, мечта поэта

За ночь холод был съеден без остатка. Стало так тепло, что у ранних прохожих ныли ноги. Воробьи несли разный вздор. Даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь. Небо было в мелких облачных клецках. Из мусорного ящика несло запахом фиалки и супа пейзан. Ветер млел под карнизом. Коты развалились на крыше, как в ложе, и, снисходительно сощурясь, глядели *во* двор, через который бежал коридорный Александр с тючком грязного белья.

В коридорах «Сорбонны» зашумели. На открытие трамвая из уездов съезжались делегаты. Из гостиничной линейки[189] с вывеской «Сорбонна» высадилась их целая куча. Послышались шумные возгласы:

— *На обед записывайтесь у товарища Рыженковой.*

— *Кто в музейную экскурсию? Подходите сюда!*

Таща с собой плетенки, сундучки и мешочки, делегаты, осторожно ступая по коврикам, разошлись в свои номера.

Солнце грело в полную силу. Ночная сырость испарялась с быстротою разлитого по полу эфира. Взлетали кверху рифленые железные шторы магазинов. Совработники, вышедшие на службу в ватных пальто, задыхались, распахивались, чувствуя тяжесть весны.

На Кооперативной улице у перегруженного грузовика Мельстроя лопнула рессора, и прибывший на место происшествия Виктор Михайлович Полесов подавал советы.

В номере, обставленном с деловой роскошью (две кровати и ночной столик), послышались конский храп и ржание: Ипполит Матвеевич весело умывался и прочищал нос. Великий комбинатор лежал в постели, рассматривая повреждения в *канареечных* штиблетах.

— Кстати, — сказал он, — прошу погасить задолженность.

Ипполит Матвеевич вынырнул из полотенца и посмотрел на компаньона выпуклыми без пенсне глазами.

— Что вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Что вас удивило? Задолженность? Да! Вы мне должны деньги. Я вчера позабыл вам сказать, что за ордера мною уплачено, согласно ваших полномочий, семьдесят

рублей. К сему прилагаю расписку. Перебросьте сюда тридцать пять рублей. Концессионеры, надеюсь, участвуют в расходах на равных основаниях?

Ипполит Матвеевич надел пенсне, прочел расписку и, томясь, отдал деньги. Но даже это не могло омрачить его радости. Богатство было в руках. Тридцатирублевая пылинка *исчезала* в сиянии *бриллиантовой* горы. Ипполит Матвеевич, лучезарно улыбаясь, вышел в коридор и стал прогуливаться. Планы новой, построенной на драгоценном фундаменте жизни, тешили его. «А святой отец? — *подумал он, ехидствуя.* — Дурак дураком остался. Не видать ему стульев, как своей бороды».

Дойдя до конца коридора, Воробьянинов обернулся. Белая, в *трещинках*, дверь № 13 раскрылась, и прямо навстречу ему вышел отец Федор в синей косоворотке, подпоясанный потертым черным шнурком с пышной кисточкой. Доброе его лицо расплывалось от счастия. Он вышел в коридор *тоже* на прогулку. Соперники несколько раз встречались и, победоносно поглядывая друг на друга, следовали дальше. В концах коридора оба разом поворачивались и снова сближались. В груди Ипполита Матвеевича кипел восторг. То же чувство одолевало и отца Федора. Чувство сожаления к побежденному противнику одолевало обоих. Наконец, во время пятого рейса, Ипполит Матвеевич не выдержал:

— Здравствуйте, батюшка, — сказал он с невыразимой сладостью.

Отец Федор собрал весь сарказм, положенный ему богом, и ответствовал:

— Доброе утро, Ипполит Матвеевич.

Враги разошлись. Когда пути их сошлись снова, Воробьянинов уронил:

— Не ушиб ли я вас во время последней встречи?

— Нет, отчего же, очень приятно было встретиться, — ответил ликующий отец Федор.

Их снова разнесло. *Ликующая* физиономия отца Федора стала возмущать Ипполита Матвеевича.

— Обедню, небось, уже не служите? — спросил он при следующей встрече.

— Где там служить! Прихожане по городам разбежались — сокровища ищут.

— Заметьте, свои сокровища! Свои!

— Мне неизвестно чьи, а только ищут.

Ипполит Матвеевич хотел сказать какую-нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно

проследовал в свой номер. Через минуту оттуда вышел сын турецкого подданного — Остап Бендер в голубом жилете и, наступая на шнурки *от* своих ботинок, направился к Вострикову. Розы на щеках отца Федора увяли и обратились в пепел.

— Покупаете старые вещи? — спросил Остап грозно. — Стулья? Потроха? Коробочки от ваксы?

— Что вам угодно? — прошептал отец Федор.

— Мне угодно продать вам старые брюки.

Священник оледенел и отодвинулся.

— Что ж вы молчите, как архиерей на приеме?

Отец Федор медленно направился к своему номеру.

— Старые вещи покупаем, новые крадем! — крикнул Остап вслед.

Востриков вобрал голову и остановился у своей двери. Остап продолжал измываться.

— Как же насчет штанов, многоуважаемый служитель культа? Берете? Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Оптом всю партию — дешевле будет. И в стульях они не лежат, искать не надо!? А?!

Дверь за служителем культа захлопнулась.

Удовлетворенный Остап, хлопая шнурками по ковру, медленно пошел назад. Когда его массивная фигура отдалилась достаточно далеко, отец Федор быстро высунул голову за дверь и с долго сдерживаемым негодованием пискнул:

— Сам ты дурак!

— Что? — крикнул Остап, бросаясь обратно, но дверь была уже заперта, и только щелкнул замок.

Остап наклонился к замочной скважине, приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал:

— Почем опиум для народа?[190]

За дверью молчали.

— Папаша, вы пошлый человек! — прокричал Остап.

В эту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш *«Фабер»*, острием которого отец Федор пытался ужалить врага. Концессионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость, и карандаш, упираясь, как заноза, медленно выполз из скважины. С этим трофеем Остап возвратился в свой номер. Компаньоны еще больше развеселились.

— И враг бежит, бежит, бежит![191] — пропел Остап.

На ребре карандаша он вырезал перочинным ножиком оскорбительное слово, выбежал в коридор и, опустив карандаш в замочную амбразуру, сейчас же вернулся.

Друзья вытащили на свет зеленые корешки ордеров и принялись их тщательно изучать.

— Ордер на гобелен «Пастушка», — сказал Ипполит Матвеевич мечтательно, — я купил этот гобелен у петербургского антиквара.

— К черту пастушку! — крикнул Остап, разрывая ордер в лапшу.

— Стол круглый… Как видно, от гарнитура…

— Дайте сюда столик! К чертовой матери столик.

Остались два ордера. Один на *10* стульев, выданный *Государственному музею* мебели в Москве. *Нескучный сад, № 11*. Другой — на один стул — «тов. Грицацуеву, в Старгороде, по улице Плеханова, 15».

— Готовьте деньги, — сказал Остап, — возможно, в Москву придется ехать.

— Но тут же тоже есть стул.

— Один шанс против десяти. Чистая математика. Да и то, если гражданин Грицацуев не растапливал им буржуйку.

— Не шутите так, не нужно.

— Ничего, ничего, либер фатер Конрад Карлович Михельсон, найдем! Святое дело! Батистовые портянки будем носить, крем Марго кушать.

— Мне почему-то кажется, — заметил Ипполит Матвеевич, — что ценности должны быть именно в этом стуле.

— Ах! Вам кажется? Что вам еще кажется? Ничего? Ну, ладно. Будем работать по-марксистски. Предоставим небо птицам, а сами обратимся к стульям.[192] Я измучен желанием поскорее увидеться с инвалидом империалистической войны, гражданином Грицацуевым, улица Плеханова, дом 75. Не отставайте, Конрад Карлович. План составим по дороге.

Проходя мимо двери отца Федора, мстительный сын турецкого подданного пнул ее ногой. Из номера послышалось слабое рычание затравленного конкурента.

— Как бы он за нами не пошел! — испугался Ипполит Матвеевич.

— После сегодняшнего свидания министров на яхте — никакое сближение невозможно. Он меня боится.

Друзья вернулись только к вечеру. Ипполит Матвеевич был озабочен. Остап сиял. На нем были новые малиновые башмаки, к каблукам которых

были привинчены круглые, *изборожденные, как граммофонная пластинка*, резиновые набойки, шахматные носки в зеленую и черную клетку, кремовая кепка и полушелковый шарф румынского оттенка.[193]

— Есть-то он есть, — сказал Ипполит Матвеевич, вспоминая визит к вдове Грицацуевой, — но как этот стул достать? Купить?

— Как же, — ответил Остап, — не говоря уже о совершенно непроизводительном расходе, это вызовет толки. Почему один стул? Почему именно этот стул?..

— Что же делать?

Остап с любовью осмотрел задники новых штиблет.

— *Шик модерн*, — сказал он. — Что делать? Не волнуйтесь, председатель, беру операцию на себя. Перед этими ботиночками ни один стул не устоит.

— Нет, вы знаете, — оживился Ипполит Матвеевич, — когда вы разговаривали с госпожой Грицацуевой о наводнении, я сел на наш стул, и, честное слово, я чувствовал под собой что-то твердое. Они там, ей-богу, там… Ну вот, ей-богу ж, я чувствую.

— Не волнуйтесь, гражданин Михельсон.

— Его нужно ночью выкрасть! Ей-богу, выкрасть!

— Однако для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы. А технику этого дела вы знаете? Может быть, у вас в чемодане запрятан походный несессер с набором отмычек? Выбросьте из головы! Это типичное пижонство, грабить бедную вдову.

Ипполит Матвеевич опомнился.

— Хочется ведь скорее, — сказал он умоляюще.

— Скоро только кошки родятся, — наставительно заметил Остап. — Я женюсь на ней.

— На ком?!

— На мадам Грицацуевой.

— Зачем же?

— Чтобы спокойно, без шума, покопаться в стуле.

— Но ведь вы себя связываете на всю жизнь!

— Чего не сделаешь для блага концессии!

— На всю жизнь…

Ипполит Матвеевич в крайнем удивлении взмахнул руками. Пасторское бритое лицо его ощерилось. Показались не чищенные со дня отъезда из города N голубые зубы.

— На всю жизнь! — прошептал Ипполит Матвеевич. — Это большая жертва.

— Жизнь! — сказал Остап. — Жертва! Что вы знаете о жизни и о жертвах? Или вы думаете, что если вас выселили из вашего особняка, вы знаете жизнь?! И если у вас реквизировали поддельную китайскую вазу, то это жертва? Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука, но, господа присяжные заседатели, эта сложная штука открывается просто, как ящик. Надо только уметь его открыть. Кто не может открыть, тот пропадает. Вы слыхали о гусаре-схимнике?

Ипполит Матвеевич не слыхал.

— Буланов! Не слыхали? Герой аристократического Петербурга?.. Сейчас услышите…

И Остап Бендер рассказал Ипполиту Матвеевичу историю, удивительное начало которой взволновало весь светский Петербург, а еще более удивительный конец потерялся и прошел решительно никем не замеченным в последние годы.

Рассказ о гусаре-схимнике

Блестящий гусар, граф Алексей Буланов, как правильно сообщил Бендер, был действительно героем аристократического Петербурга. Имя великолепного кавалериста и кутилы не сходило с уст чопорных обитателей дворцов по Английской набережной и со столбцов светской хроники. Очень часто на страницах иллюстрированных журналов появлялся фотографический портрет *красавца-гусара* — куртка, расшитая бранденбурами и отороченная зернистым каракулем, высокие прилизанные височки и короткий победительный нос.

За графом Булановым катилась слава участника многих тайных дуэлей, имевших роковой исход, явных романов с наикрасивейшими, неприступнейшими дамами света, сумасшедших выходок против уважаемых в обществе особ и прочувствованных кутежей, неизбежно кончавшихся избиением штафирок.

Граф был красив, молод, богат, счастлив в любви, счастлив в картах и в наследовании имущества. Родственники его умирали *быстро*, и наследства их увеличивали и без того огромное *богатство*.

Он был дерзок и смел. Он помогал абиссинскому негусу Менелику в его войне с итальянцами. Он сидел под большими абиссинскими звездами, закутавшись в белый бурнус, *и глядел* в трехверстную карту местности. Свет факелов бросал шатающиеся тени на прилизанные височки графа. У ног его сидел новый друг, абиссинский мальчик Васька.[194] Разгромив

войска итальянского *короля*,[195] граф вернулся в Петербург вместе с абиссинцем Васькой. Петербург встретил героя цветами и шампанским. Граф Алексей снова погрузился в беспечную пучину *наслаждений.* О нем продолжали говорить с удвоенным восхищением, женщины травились из-за него, мужчины завидовали. На запятках графской кареты, пролетавшей по Миллионной, неизменно стоял абиссинец, вызывая своей чернотой и тонким станом изумление прохожих.

И внезапно все кончилось. Граф Алексей Буланов исчез. Княгиня Белорусско-Балтийская,[196] последняя пассия графа, была безутешна. *Таинственное* исчезновение графа наделало много шуму. Газеты были полны догадками. Сыщики сбились с ног. Но все было тщетно. Следы графа не находились.

Когда шум уже затихал, из Аверкиевой пустыни пришло письмо, все объяснившее. Блестящий граф, герой аристократического Петербурга, Валтасар XIX века — принял схиму. Передавали ужасающие подробности. Говорили, что граф-монах носит вериги в несколько пудов, что он, привыкший к тонкой французской кухне, питается теперь только картофельной шелухой. Поднялся вихрь предположений. Говорили, что графу было видение умершей матери. Женщины плакали. У подъезда княгини Белорусско-Балтийской стояли вереницы карет. Княгиня с мужем принимали соболезнования. Рождались новые слухи. Ждали графа назад. Говорили, что это временное помешательство на религиозной почве. Утверждали, что граф бежал от долгов. Передавали, что виною всему несчастный роман.

А на самом деле гусар пошел в монахи, чтобы постичь жизнь. Назад он не вернулся. Мало-помалу о нем забыли. Княгиня Балтийская познакомилась с итальянским певцом, а абиссинец Васька уехал на родину.

В обители граф Алексей Буланов, принявший имя Евпла, изнурял себя великими подвигами. Он действительно носил вериги, но ему показалось, что этого недостаточно для познания жизни. Тогда он изобрел себе особую монашескую форму: клобук с отвесным козырьком, закрывающим *все* лицо, и рясу, связывающую движения. С благословения игумена он стал носить эту форму. Но и этого показалось ему мало. Обуянный гордыней смирения, он удалился в лесную землянку и стал жить в дубовом гробу.

Подвиг схимника Евпла наполнил удивлением обитель. Он ел только сухари, запас которых ему возобновляли раз в три месяца.

Так прошло двадцать лет. Евпл считал свою жизнь мудрой, правильной и единственно верной. Жить ему стало необыкновенно легко, и

мысли его были хрустальными. Он постиг жизнь и понял, что иначе жить нельзя.

Однажды он с удивлением заметил, что на том месте, где он в продолжение двадцати лет привык находить сухари, ничего не было. Он не ел четыре дня. На пятый день пришел неизвестный ему старик в лаптях и сказал, что *мужики сожгли помещика, а* монахов выселили большевики и устроили в обители совхоз. Оставив *сухари*, старик, плача, ушел. Схимник не понял старика. Светлый и тихий, он лежал в гробу и радовался познанию жизни. *Старик-крестьянин* продолжал носить сухари.

Так прошло еще несколько никем не потревоженных лет. Однажды только дверь землянки растворилась, и несколько человек, согнувшись, вошли в нее. Они подошли к гробу и принялись молча рассматривать старца. Это были рослые люди в сапогах со шпорами, в огромных галифе и с маузерами в деревянных полированных ящиках. Старец лежал в гробу, вытянув руки, и смотрел на пришельцев лучезарным взглядом. Длинная и легкая *серая* борода закрывала половину гроба. Незнакомцы зазвенели шпорами, пожали плечами и удалились, бережно прикрыв за собою дверь.

Время шло. Жизнь раскрылась перед схимником во всей своей полноте и сладости. В ночь, наступившую за тем днем, когда схимник окончательно понял, что все в его познании светло, он неожиданно проснулся. Это его удивило. Он никогда не просыпался ночью. Размышляя о том, что его разбудило, он снова заснул и сейчас же опять проснулся, чувствуя сильное жжение в спине. Постигая причину этого жжения, он старался заснуть, но не мог. Что-то мешало ему. Он не спал до утра. В следующую ночь его снова кто-то разбудил. Он проворочался до утра, тихо стеная и, незаметно для самого себя, почесывая руки. Днем, поднявшись, он случайно заглянул в гроб. Тогда он понял все. По углам его мрачной постели быстро перебегали *вишневого цвета* клопы. Схимнику сделалось противно.

В этот же день пришел старик с сухарями. И вот подвижник, молчавший *двадцать* лет, заговорил. Он попросил принести ему немножко керосину. Услышав речь великого молчальника, крестьянин опешил. Однако, стыдясь *почему-то* и пряча бутылочку, он принес керосин. Как только старик ушел, отшельник дрожащей рукой смазал все швы и пазы гроба. Впервые за три дня Евпл заснул спокойно. Его ничто не потревожило. Смазывал он керосином гроб и в следующие дни. Но через два месяца понял, что керосином вывести клопов нельзя. По ночам он быстро переворачивался и громко молился, но молитвы помогали еще меньше керосина. Прошло полгода в невыразимых мучениях, прежде чем

отшельник обратился к старику снова. Вторая просьба еще больше поразила старика. Схимник просил привезти ему из города порошок «Арагац» против клопов. Но и «Арагац» не помог. Клопы размножались необыкновенно быстро *и кусали немилосердно*. Могучее здоровье схимника, которое не могло сломить двадцатипятилетнее постничество, — заметно ухудшалось. Началась темная отчаянная жизнь. Гроб стал казаться схимнику Евплу омерзительным и неудобным. Ночью, по совету крестьянина, он *лучиною жег клопов*. Клопы умирали, но не сдавались.

Было испробовано последнее средство — продукты бр. Глик — розовая жидкость с запахом отравленного персика под названием «Клопин». Но и это не помогло. Положение ухудшалось. Через два года от начала великой борьбы отшельник случайно заметил, что совершенно перестал думать о смысле жизни, потому что круглые сутки занимался травлей клопов.

Тогда он понял, что ошибся. Жизнь так же, как и двадцать пять лет *тому* назад, была темна и загадочна. Уйти от мирской тревоги не удалось. Жить телом на земле, а *душою* на небесах оказалось невозможным.

Тогда старец встал и проворно вышел из землянки. Он стоял среди темного зеленого леса. Была ранняя сухая осень. У самой землянки выперлось из-под земли целое семейство белых грибов-толстобрюшек. Неведомая птаха сидела на ветке и пела *solo*. Послышался шум проходящего поезда. Земля задрожала. Жизнь была прекрасна. Старец, не оглядываясь, пошел вперед.

Сейчас он служит кучером конной базы Московского коммунального хозяйства.

Рассказав Ипполиту Матвеевичу эту в высшей степени поучительную историю, Остап почистил рукавом пиджака свои малиновые башмачки, сыграл на губах туш и удалился.

Под утро он ввалился в номер, разулся, поставил малиновую обувь на ночной столик и стал поглаживать глянцевитую кожу, с нежной страстью приговаривая:

— Мои маленькие друзья.

— Где вы были? — спросил Ипполит Матвеевич спросонья.

— У вдовы, — глухо ответил Остап.

— Ну?

Ипполит Матвеевич оперся на локоть.

— И вы женитесь на ней?

Глаза Остапа заискрились.

— Теперь я *должен* жениться, как честный человек.

Ипполит Матвеевич сконфуженно хрюкнул.

— Знойная женщина, — сказал Остап, — мечта поэта. Провинциальная непосредственность. В центре таких субтропиков давно уже нет, но на периферии, на местах — еще встречаются.

— Когда же свадьба?

— Послезавтра. Завтра нельзя, *1-е* мая — все закрыто.

— Как же будет с нашим делом? Вы женитесь… *Может* быть, придется ехать в Москву…

— Ну, чего вы беспокоитесь? Заседание продолжается.

— А жена?

— Жена? *Бриллиантовая* вдовушка? Последний вопрос. Внезапный отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в Малом Совнаркоме.[197] Прощальная слеза и цыпленок на дорогу.[198] Поедем с комфортом. Спите. Завтра у нас свободный день.

Глава XV
Дышите глубже, вы взволнованы!

В утро *первого* мая Виктор Михайлович Полесов, снедаемый обычной жаждой деятельности, выскочил на улицу и помчался к центру. Сперва его разнообразные таланты не могли найти себе должного применения, потому что народу было еще мало и праздничные трибуны, оберегаемые конными милиционерами, были пусты. Но часам к девяти в разных концах города замурлыкали, засопели и засвистали оркестры. Из ворот выбегали домашние хозяйки. *Послышался смех и улюлюканье — с трибуны гнали возбужденно лающего пса.*

Колонна музработников в мягких отложных воротничках каким-то образом втиснулась в середину шествия железнодорожников, путаясь под ногами и всем мешая. Грузовик, *одетый новеньким зеленым паровозом*[199] серии «Щ», все время наскакивал на музработников сзади. При этом на *работников* гобоя и флейты из самого паровозного брюха неслись крики:

— Где ваш распорядитель? Вам разве по Красноармейской?! Не видите, влезли и создали пробку!

Тут, на горе музработников, в дело вмешался Виктор Михайлович.

— Конечно же, вам сюда в переулок нужно сворачивать! Праздника даже не могут организовать! — надрывался Полесов. — Сюда! Сюда! Удивительное безобразие!

Грузовики Старкомхоза и Мельстроя развозили детей. Самые маленькие стояли у бортов грузовика, а ростом побольше — в середине. Несовершеннолетнее воинство потряхивало бумажными флажками и веселилось до упаду.

Стучали пионерские барабаны. Допризывники выгибали груди и старались идти в ногу. Было тесно, шумно и жарко. Ежеминутно образовывались заторы и ежеминутно же рассасывались. Чтобы скоротать время в заторе, — качали старичков и активистов. Старички причитали бабьими голосами. Активисты летали молча, с серьезными лицами. В одной веселой колонне приняли продиравшегося на другую сторону Виктора Михайловича за распорядителя и стали качать его. Полесов дергал ногами, как паяц.

Пронесли чучело английского министра Чемберлена, которого рабочий с анатомической мускулатурой бил картонным молотом по

цилиндру. *На цилиндре была надпись: «Лига Наций».*[200] Проехали на автомобиле три комсомольца во фраках и белых перчатках. Они сконфуженно поглядывали на толпу.

— Васька! — кричали с тротуара. — Буржуй! Отдай подтяжки!

Девушки пели. В толпе служащих *Собеса* шел Альхен с большим красным *бантом* и задумчиво пел:

Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!..[201]

Физкультурники по команде раздельно кричали нечто невнятное.

Все шло, ехало, *валило* и маршировало к новому трамвайному депо, из которого ровно в час дня должен был выйти первый в Старгороде *электрический трамвай.*

Никто в точности не знал, когда начали строить старгородский трамвай. Как-то, в двадцатом году, когда начались субботники, деповцы и канатчики пошли с музыкой на Гусище и весь день копали какие-то ямы. Нарыли очень много глубоких и больших ям. Среди работающих бегал товарищ в инженерной фуражке.[202] За ним ходили с разноцветными шестами десятники. В следующий субботник работали в том же месте. Две ямы, вырытые не там, где надо, пришлось снова завалить. Товарищ в инженерной фуражке, *как наседка,* налетал на десятников и требовал объяснений. Новые ямы рыли еще глубже и шире.

Потом привезли кирпич и появились настоящие строительные рабочие. Они начали выкладывать фундамент. Затем все стихло. Товарищ в инженерной фуражке приходил еще иногда на опустевшую постройку и долго расхаживал в обложенной кирпичом яме, бормоча:

— Хозрасчет!

Он похлопывал по фундаменту палкой и бежал домой, в город, закрывая ладонями замерзшие уши.

Фамилия инженера была Треухов.

Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Треуховым уже давно, еще в 1912 году, но городская управа проект отвергла. Через два года Треухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция. Теперь помешали нэп, хозрасчет, самоокупаемость.[203] Фундамент на лето зарастал цветами, а зимою дети устраивали там ледяные горки.

Треухов мечтал о большом деле. Ему нудно было служить в отделе благоустройства Старкомхоза, чинить обочины тротуаров и составлять сметы на установку афишных тумб. Но большого дела не было. Проект трамвая, снова поданный на рассмотрение, барахтался в высших губернских инстанциях, одобрялся, не одобрялся, переходил на рассмотрение в центр, но, независимо от одобрения или неодобрения, покрывался пылью, потому что ни в том, ни в другом случае денег не давали.

— Это варварство! — кричал Треухов на жену. — Денег нет? А переплачивать на извозопромышленников, на гужевую доставку на станцию товаров есть деньги? Старгородские извозчики дерут с живого и мертвого! Конечно! Монополия мародеров! Попробуй пешком с вещами за пять верст на вокзал пройтись!? Трамвай окупится в шесть лет!..

Его блеклые усы гневно обвисали. Курносое лицо шевелилось. Он вынимал из стола напечатанные светописью на синей бумаге чертежи и сердито показывал их жене в тысячный раз. Тут были планы станции, депо и двенадцати трамвайных линий.

— Черт с ними, с двенадцатью. Потерпят. Но три, три линии! Без них Старгород задохнется. *Без них ничего не выйдет. Ни строить на окраинах нельзя будет, ни до вокзала добраться… Азия!*

— Ну, а тебе-то что? — возмущалась жена. — Жалованья тебе ни убавят, ни прибавят. Посмотри, на кого ты перевелся!..

Треухов фыркал и шел в кухню пилить дрова.

Все хозяйственные работы по дому он выполнял сам. Он сконструировал и построил люльку для ребенка и стиральную машину. Первое время сам стирал белье, объясняя жене, как нужно обращаться с машиной. По крайней мере, пятая часть жалованья уходила у Треухова на выписку иностранной технической литературы. Чтобы сводить концы с концами, он бросил курить. *Весною в своем дворике он собственноручно вскапывал огород, удобрял землю химическим способом и выращивал крупные овощи.*

Потащил он свой проект к новому заведующему Старкомхозом, Гаврилину, которого перевели в Старгород из Самарканда. Почерневший под туркестанским солнцем новый заведующий долго, но без особого внимания слушал Треухова, *перебросил* все чертежи и под конец сказал:

— А вот в Самарканде никакого трамвая не надо. Там все на ешаках *ездют.* Ешак три рубля стоит — дешевка. А подымает пудов десять!.. Маленький такой ешачок, даже удивительно!

— Вот это и есть Азия! — сердито сказал Треухов. — Ишак три рубля

стоит, а скормить ему нужно тридцать рублей в год.

— А на трамвае вашем вы много на тридцать рублей наездите? Триста раз. Даже не каждый день в году.

— Ну и выписывайте себе ваших ишаков! — закричал Треухов и выбежал из кабинета, ударив дверью.

С тех пор у нового заведующего вошло в привычку при встрече с Треуховым задавать ему насмешливые вопросы:

— Ну как, будем выписывать ешаков или трамвай построим?

Лицо Гаврилина было похоже на гладко обструганную репу. Глаза хитрили.

Месяца через два Гаврилин вызвал к себе инженера и серьезно сказал ему:

— У меня тут планчик наметился. Мне одно ясно, что денег нет, а трамвай не ешак — его за трешку не купишь. Тут материальную базу подводить надо. Практическое разрешение какое? Акционерное общество. А еще какое? Заем. Под проценты. Трамвай через сколько лет должен окупиться?

— Со дня пуска в эксплуатацию трех линий первой очереди — через шесть лет.

— Ну, будем считать, через десять. Теперь акционерное общество. Кто войдет? Пищетрест,[204] Маслоцентр… Канатчикам трамвай нужен? *Мы* до вокзала грузовые вагоны отправлять будем. Значит, канатчики. НКПС, может быть, даст немного. Ну, *Губисполком* даст. Это *уже* обязательно. А раз начнем — Госбанк и Комбанк[205] дадут ссуду. Вот такой мой планчик… В пятницу на президиуме губисполкома разговор будет. Если решимся — за вами остановка.

Треухов до поздней ночи взволнованно стирал белье и объяснял жене преимущества трамвайного транспорта перед гужевым.

В пятницу вопрос решился благоприятно. И начались муки творчества. Акционерное общество сколачивали с великой натугой. НКПС то вступал, то не вступал в число акционеров. Пищетрест всячески старался вместо 15 % акций получить только десять. Наконец, весь пакет акций был распределен, хотя и не обошлось без столкновений. Гаврилина за *«нажим»* вызывали в ГубКК.[206] Впрочем, все обошлось благополучно. Оставалось начать.

— Ну, товарищ Треухов, — сказал Гаврилин, — начинай. Чувствуешь, что можешь построить? То-то. Это тебе не ешака купить.

Треухов утонул в работе. *Он уже не пилил дрова, не стирал на своей*

машине белье. Пришла пора великого дела, о котором он мечтал долгие годы. Писались сметы, составлялся *штаб* постройки, *делались* заказы. Трудности возникали там, где их меньше всего ожидали. В городе не оказалось специалистов-бетонщиков, и их пришлось выписать из Ленинграда. Гаврилин торопил, но заводы обещались дать машины только через полтора года. А нужны они были, самое позднее, через год. Подействовала только угроза заказать машины за границей. Потом пошли неприятности помельче. То нельзя было найти фасонного железа нужных размеров. То вместо пропитанных шпал предлагали непропитанные. Наконец, дали то, что нужно, но Треухов, поехавший сам на шпадопропиточный завод, забраковал 60 % шпал. В чугунных частях были раковины. Лес был сырой. Рельсы были хороши, но и они стали прибывать с опозданием на месяц.

Гаврилин часто приезжал в старом простуженном *«фиате»* на постройку станции. Здесь между ним и Треуховым вспыхивали перебранки.

Наступил и финансовый кризис. Госбанк урезал ссуду на 40 %. Строить было не на что. Положение было такое, что если через две недели не дадут денег, то по векселям платить будет нечем. В последнее время Треухов ночевал в конторе постройки. С домом он сносился по телефону и приезжал домой только в субботу на воскресенье. В вечер финансового поражения к конторе постройки притрясся на своем утлом «фиате» Гаврилин и закричал:

— Едем, инженер, в центр согласовывать, не то нас банк по миру пустит.

Треухов еле успел позвонить домой. Гаврилин торопил к скорому.

Строители пробыли в Москве пять дней. Центр был побежден. Ссуда была восстановлена в прежнем размере.

Покуда строились и монтировались трамвайная станция и депо, старгородцы только отпускали шуточки. Куплетист Федя Клетчатый осмелился даже в ресторане «Феникс» осмеять постройку в куплетах.

Приезжали меня сватать,
Просили приданого.
А папаша посулил
Трамвая буланого.

Но когда стали укладывать рельсы и навешивать провода на круглые

трамвайные мачты, даже такой неисправимый пессимист, как Федя Клетчатый, переменил фронт и запел по-иному:

Електрический мой конь
Лучше, чем кобылка.
На трамвае я поеду,
А со мною милка.

В «Старгородской правде» трамвайным вопросом занялся известный всему городу фельетонист Принц Датский, писавший теперь под псевдонимом Маховик.[207] Не меньше трех раз в неделю Маховик разражался большим бытовым очерком о ходе постройки. Третья полоса газеты, изобиловавшая заметками под скептическими заголовками: «Мало пахнет клубом», «По слабым точкам», «Осмотры нужны, но причем тут блеск и длинные хвосты», «Хорошо и… плохо», «Чему мы рады и чему нет», «Подкрутить вредителей просвещения» и «С бумажным морем пора *прикончить*», — стала дарить читателей солнечными и бодрыми заголовками очерков Маховика: «Как строим, как живем», «Гигант скоро заработает», «Скромный строитель» и далее, в том же духе.

Треухов с дрожью разворачивал газету и, чувствуя отвращение к братьям-писателям, читал о своей особе бодрые строки:

> «… Подымаюсь по стропилам. Ветер шумит в уши.
>
> Наверху — он, этот невзрачный строитель нашей мощной трамвайной станции, этот худенький с виду, курносый *человечек* в затрапезной фуражке с молоточками.
>
> Вспоминаю: «На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн»…
>
> Подхожу. Ни единого ветерка. Стропила не шелохнутся.
>
> Спрашиваю:
>
> — Как выполняются задания?
>
> Некрасивое лицо строителя, инженера Треухова, оживляется.
>
> Он пожимает мне руку. Он говорит:
>
> — *70 %* задания уже выполнено»…

Статья *кончается* так:

> «Он жмет мне на прощанье руку… Позади меня гудят стропила.
>
> Рабочие снуют там и сям.
>
> Кто может забыть этих кипений рабочей стройки, этой неказистой фигуры нашего строителя?
>
> Маховик».

Спасало Треухова только то, что на *чтение* времени не было и иногда удавалось пропустить сочинение *тов.* Маховика.

Один раз Треухов не выдержал и написал тщательно продуманное язвительное опровержение.

«Конечно, — писал он, — болты можно называть трансмиссией, но делают это люди, ничего не смыслящие в строительном деле. И потом я хотел бы заметить тов. Маховику, что стропила гудят только тогда, когда постройка собирается развалиться. Говорить так о стропилах — все равно, что утверждать, будто бы виолончель рожает детей. Примите и проч.»

После этого неугомонный Принц на постройке перестал появляться, но бытовые очерки по-прежнему стали украшать третью полосу, резко выделяясь на фоне обыденных: «15000 рублей ржавеют», «Жилищные комочки», «Материал плачет» и «Курьезы и слезы».

Строительство подходило к концу. Термитным способом сваривались рельсы, и они тянулись без зазоров от самого вокзала до боен и от привозного рынка до кладбища.

Сперва открытие трамвая хотели приурочить к девятой годовщине Октября, но вагоностроительный завод, ссылаясь на *«Арматуру»*, не сдал к сроку вагонов.[208] Открытие пришлось отложить к *первому* мая. К этому дню решительно все было готово.

Концессионеры гуляючи дошли вместе с демонстрантами до Гусищ. Там собрался весь Старгород. Новое здание депо обвивали хвойные дуги, хлопали флаги, ветер бегал по лозунгам. Конный милиционер галопировал за первым мороженщиком, бог весть как попавшим в пустой, оцепленный трамвайщиками, круг. Между двумя воротами депо высилась жидкая, пустая еще трибуна с микрофоном-усилителем. К трибуне подходили делегаты. Сводный оркестр коммунальников и канатчиков пробовал силу своих легких. Барабан лежал на земле.

По светлому залу депо, в котором стояли десять *салатных* вагонов, занумерованных от 701 до 710 *номера*, шлялся московский корреспондент в волосатой кепке. На груди у него висела зеркалка, в которую он часто и озабоченно заглядывал. Корреспондент искал главного инженера, чтобы

задать ему несколько вопросов на трамвайные темы. Хотя в голове корреспондента очерк об открытии трамвая, со включением конспекта еще не произнесенных речей, был уже готов, — корреспондент добросовестно продолжал изыскания, находя недостаток лишь в отсутствии буфета. Наконец, московский гость нашел главного инженера.

Треухов, который ночь провел на работе и с утра еще ничего не ел, стоял, задрав курносое лицо, у вагона № 703. Он следил за пробой бигеля[209]*. Ему казалось, что пружина бигеля слаба. На крыше вагона сидел старший монтер, переговариваясь с Треуховым.*

— Вот этот? — спросил корреспондент, мотнув головой в сторону Треухова.

Узнав, что этот, корреспондент сейчас же попросил Треухова стать поближе к вагону и общелкал его со всех сторон. Последнее фото получилось, вероятно, неудачным, потому что Треухов внезапно нырнул под вагон и стал там громко кричать, требуя у кого-то объяснений. Корреспондент напал на техника. Техник сконфузился и стал давать такие исчерпывающие объяснения, что корреспондент, желая окончить чрезмерно уснащенную техническими терминами беседу, сфотографировал техника и убежал к трибуне.

В толпе пели, кричали и грызли семечки, дожидаясь пуска трамвая. На трибуну поднялся президиум губисполкома. Принц Датский *обменивался спотыкающимися* фразами с собратом по перу. Ждали приезда московских кинохроникеров.

— Товарищи! — сказал Гаврилин. — Торжественный митинг по случаю открытия старгородского трамвая позвольте считать открытым!

Медные трубы задвигались, вздохнули и три раза подряд сыграли «Интернационал».

— Слово для доклада предоставляется товарищу Гаврилину! — крикнул Гаврилин.

Принц Датский — Маховик и московский гость, не сговариваясь, записали в свои записные книжки: «Торжественный митинг открылся докладом председателя Старкомхоза тов. Гаврилина. Толпа обратилась в слух…»

Оба корреспондента были людьми совершенно различными. Московский гость был холост и юн. Принц Маховик, обремененный большой семьей, давно перевалил за четвертый десяток. Один всегда жил в Москве, другой никогда в Москве не был. Москвич любил пиво, *Маховик Датский*, кроме водки, ничего в рот не брал. Но *эта разность* в характерах, возрасте, привычках и воспитании *ничему не мешала*.

Впечатления у обоих журналистов отливались в одни и те же затертые, подержанные, вывалянные в пыли фразы. Карандаши их зачиркали, и в книжках появилась новая запись: «В день праздника улицы Старгорода стали как будто шире…»

Гаврилин начал свою речь хорошо и просто:

— Трамвай построить, — сказал он, — это не ешака купить.

В толпе внезапно послышался громкий смех Остапа Бендера. Он оценил эту фразу. *Все заржали.* Ободренный приемом, Гаврилин, сам не понимая почему, вдруг заговорил о международном положении.[210] Он несколько раз пытался пустить свой доклад по трамвайным рельсам, но с ужасом замечал, что не может этого сделать. Слова сами по себе, против воли оратора, получались какие-то международные. После Чемберлена, которому Гаврилин уделил полчаса, на международную арену вышел американский сенатор Бора.[211] Толпа обмякла. Корреспонденты враз записали: «В образных выражениях оратор обрисовал международное положение нашего Союза…» Распалившийся Гаврилин нехорошо отозвался о румынских боярах и перешел на Муссолини.[212] И только к концу речи он поборол свою вторую международную натуру и заговорил хорошими деловыми словами:

— И я так думаю, товарищи, что этот трамвай, который сейчас выйдет из депа, благодаря кого он выпущен? Конечно, товарищи, благодаря вот вас, благодаря всех рабочих, которые действительно поработали не за страх, а, товарищи, за совесть. А еще, товарищи, благодаря честного советского специалиста, главного инженера Треухова. Ему тоже спасибо!..

Стали искать Треухова, но не нашли. Представитель Маслоцентра, которого давно уже жгло, протиснулся к перилам трибуны, взмахнул рукой и громко заговорил о международном положении. По окончании его речи оба корреспондента, прислушиваясь к жиденьким хлопкам, быстро записали: «Шумные аплодисменты, переходящие в овацию». Потом подумали над тем, что «переходящие в овацию» будет, пожалуй, слишком сильно. Москвич решился и овацию вычеркнул. Маховик вздохнул и оставил.

Солнце быстро катилось по наклонной плоскости. С трибуны произносились приветствия. Оркестр поминутно играл туш. Светло засинел вечер, а митинг все продолжался. И говорившие и слушавшие давно уже чувствовали, что произошло что-то неладное, что митинг затянулся, что нужно как можно скорее перейти к пуску трамвая. Но все так привыкли говорить, что не могли остановиться.

Наконец нашли Треухова. Он был испачкан и, прежде чем пойти на трибуну, долго мыл в конторе лицо и руки.

— Слово предоставляется главному инженеру, товарищу Треухову! — радостно возвестил Гаврилин. — Ну, говори, а то я совсем не то говорил, — добавил он шепотом.

Треухов хотел сказать многое. И про субботники, и про тяжелую работу, обо всем, что сделано и что можно *сделать*. А сделать можно много: можно освободить город от заразного привозного рынка, построить крытые стеклянные корпуса, можно построить постоянный мост, *вместо ежегодно сносящегося ледоходом*, можно, наконец, осуществить проект постройки огромной мясохладобойни.

Треухов открыл рот и, запинаясь, заговорил:

— Товарищи! Международное положение нашего государства…

И дальше замямлил такие прописные истины, что толпа, слушавшая уже шестую международную речь, похолодела.

Только окончив, Треухов понял, что и он ни слова не сказал о трамвае.

«Вот обидно, — подумал он, — абсолютно мы не умеем говорить, абсолютно».

И ему вспомнилась речь французского коммуниста, которую он слышал на собрании в Москве. Француз говорил о буржуазной прессе. «Эти акробаты пера, — восклицал он, — эти виртуозы фарса, эти шакалы ротационных машин…» Первую часть речи француз произносил в тоне *la*, вторую часть — в тоне do и последнюю, патетическую, — в тоне *mi*. Жесты его были умеренны и красивы.

«А мы только муть разводим, — решил Треухов, — лучше б совсем не говорили».

Было уже совсем темно, когда председатель губисполкома разрезал ножницами красную ленточку, запиравшую выход из депо. Рабочие и представители общественных организаций с гомоном стали рассаживаться по вагонам. Ударили тоненькие звоночки, и первый вагон трамвая, которым управлял сам Треухов, выкатился из депо под оглушительные крики толпы и стоны оркестра. Освещенные вагоны казались еще ослепительнее, чем днем. Все *десять вагонов* плыли цугом по Гусищу; пройдя под железнодорожным мостом, легко поднялись в город и свернули на Большую Пушкинскую. Во втором вагоне ехал оркестр и, выставив трубы из окон, играл марш Буденного.[213]

Гаврилин, в кондукторской форменной тужурке, с сумкой через плечо, прыгая из вагона в вагон, нежно улыбался, давал некстати звонки и вручал пассажирам пригласительные билеты на «Торжественный вечер, имеющий

быть *1-го* мая в 9 ч. вечера в клубе коммунальников по следующей программе: 1) Доклад тов. Мосина, 2) Вручение грамоты союзом коммунальников и 3) Неофициальная Часть: большой концерт и семейный ужин с буфетом».

На площадке последнего вагона стоял неизвестно как попавший в число почетных гостей Виктор Михайлович. Он принюхивался к мотору. К крайнему удивлению Полесова, мотор выглядел отлично и, как видно, работал исправно. Стекла не дребезжали. Осмотрев их подробно, Виктор Михайлович убедился, что они все-таки на резине. Он уже сделал несколько замечаний вагоновожатому и считался среди публики знатоком трамвайного дела на Западе.

— А воздушный тормоз работает неважно, — заявил Полесов, с торжеством поглядывая на пассажиров, — не всасывает.

— Тебя не спросили, — ответил вагоновожатый, — авось *без тебя* засосет.

Проделав праздничный тур по городу, вагоны вернулись в депо, где их поджидала толпа. Треухова качали уже при полном блеске электрических ламп. Качнули и Гаврилина, но так как он весил пудов шесть и высоко не летал, его скоро отпустили. Качали тов. Мосина, техников и рабочих. Второй раз в этот день качали Виктора Михайловича. Теперь он уже не дергал ногами, а, строго и серьезно глядя в звездное небо, взлетал и парил в ночной темноте. Спланировав в последний раз, Полесов заметил, что его держит за ногу и смеется гадким смехом не кто иной, как бывший предводитель Ипполит Матвеевич Воробьянинов. Полесов вежливо высвободился, отошел немного в сторону, но из виду предводителя уже не выпускал. Увидев, что Ипполит Матвеевич, вместе с *неизменным* молодым незнакомцем, явно бывшим офицером, уходят, — Виктор Михайлович осторожно последовал за ними.

Когда все уже кончилось и Гаврилин в своем лиловеньком «фиате» поджидал отдававшего последние распоряжения Треухова, чтобы ехать с ним в клуб, — к воротам депо подкатил фордовский полугрузовичок с кинохроникерами.

Первым из машины ловко выпрыгнул мужчина в двенадцатиугольных роговых очках и элегантном кожаном армяке без рукавов. Острая длинная борода росла у мужчины прямо из адамова яблока. Второй мужчина тащил киноаппарат, путаясь в длинном шарфе того стиля, который Остап Бендер обычно называл «шик-модерн». Затем из грузовичка поползли ассистенты, *«юпитеры»* и девушки.

Вся шайка с криками ринулась в депо.

— Внимание! — крикнул бородатый армяковладелец. — Коля! Ставь *«юпитера»!..*

Треухов заалелся и двинулся к ночным посетителям.

— Это вы кино? — спросил он. — Что ж вы днем не приехали?

— А… *На когда* назначено открытие трамвая?

— Он уже открыт.

— Да, да, мы несколько задержались. Хорошая натура подвернулась. Масса работы. Закат солнца… Впрочем, мы и так справимся. Коля! Давай свет! Вертящееся колесо! Крупно! Двигающиеся ноги толпы — крупно. Люда! Милочка! Пройдитесь! Коля, начали! Начали! Пошли! *Идете, идете, идете…* Довольно. Спасибо. Теперь будем снимать строителя. Товарищ Треухов? Будьте добры, товарищ Треухов. Нет, не так. В три четверти… Вот так, пооригинальней, на фоне трамвая… Коля! Начали! Говорите что-нибудь!..

— Ну, мне право, так неудобно!..

— Великолепно!.. Хорошо!.. Еще говорите!.. Теперь вы говорите с первой пассажиркой трамвая… Люда! Войдите в рамку. Так… Дышите глубже — вы взволнованы. Коля! Ноги крупно!.. Начали!.. Так, так… Большое спасибо… Стоп!

С давно дрожавшего «фиата» тяжело слез Гаврилин и пришел звать отставшего друга. Режиссер с волосатым адамовым яблоком оживился.

— Коля! Сюда! Прекрасный типаж. Рабочий. Пассажир трамвая. Дышите глубже. Вы взволнованы. Вы никогда прежде не ездили в трамвае. Начали! Дышите!

Гаврилин с ненавистью засопел.

— Прекрасно!.. Милочка! Иди сюда! Привет от комсомола!.. Дышите глубже. Вы взволнованы… Так… Прекрасно. Коля, кончили.

— А трамвай снимать не будете? — спросил Треухов застенчиво.

— Видите ли, — промычал кожаный режиссер, — условия освещения не позволяют. Придется доснять в Москве. *Пока.*

Шайка молниеносно исчезла.

— Ну, поедем, дружок, отдыхать, — сказал Гаврилин, — *ты* что, закурил?

— Закурил, — сознался Треухов, — не выдержал.

На семейном вечере голодный, накурившийся Треухов выпил три рюмки водки и совершенно опьянел. Он целовался со всеми, и все его целовали. Он хотел сказать что-то доброе своей жене, но только рассмеялся. Потом долго тряс руку Гаврилина и говорил:

— Ты чудак! Тебе надо научиться проектировать железнодорожные

мосты! Это замечательная наука. И главное — абсолютно простая. Мост через Гудзон…

Через полчаса его развезло окончательно, и он произнес филиппику, направленную против буржуазной прессы.

— Эти акробаты фарса, гиены пера! Эти виртуозы ротационных машин, — кричал он.

Домой его отвезла жена на извозчике.

— Хочу ехать на трамвае, — говорил он жене, — ну, как ты этого не понимаешь? Раз есть трамвай, значит, на нем нужно ездить!.. Почему?.. Во-первых, это выгодно…

Полесов шел следом за концессионерами, долго крепился и, выждав, когда вокруг никого не было, подошел к Воробьянинову.

— Добрый вечер, господин Ипполит Матвеевич! — сказал он почтительно.

Воробьянинову сделалось не по себе.

— Не имею чести, — пробормотал он.

Остап выдвинул правое плечо и подошел к слесарю-интеллигенту.

— Ну-ну, — сказал он, — что вы хотите сказать моему другу?

— Вам не надо беспокоиться, — зашептал Полесов, оглядываясь по сторонам. — Я от Елены Станиславовны…

— Как? Она *еще* здесь?

— Здесь. И очень хочет вас видеть.

— Зачем? — спросил Остап. — А вы кто такой?

— Я… Вы, Ипполит Матвеевич, не думайте ничего такого. Вы меня не знаете, но я вас очень хорошо помню.

— Я бы хотел зайти к Елене Станиславовне, — нерешительно сказал Воробьянинов.

— Она чрезвычайно просила вас прийти.

— Да, но откуда она узнала?..

— Я вас встретил в коридоре *Комхоза* и долго думал, знакомое лицо. Потом вспомнил. Вы, Ипполит Матвеевич, ни о чем не волнуйтесь! Все будет совершенно тайно.

— Знакомая женщина? — спросил Остап деловито.

— М-да, старая знакомая…

— Тогда, может быть, зайдем, поужинаем у старой знакомой? Я, например, безумно хочу жрать, а все закрыто.

— Пожалуй.

— Тогда идем. Ведите нас, таинственный незнакомец.

И Виктор Михайлович проходными дворами, поминутно оглядываясь,

повел компаньонов к дому гадалки, в Перелешинский переулок.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Глава XVI
Союз меча и орала

Когда женщина стареет, с ней могут произойти многие неприятности — могут выпасть зубы, поседеть и поредеть волосы, развиться одышка, может нагрянуть тучность, может одолеть крайняя худоба, — но голос у нее не изменится. Он останется таким же, каким был у нее гимназисткой, невестой или любовницей молодого повесы.

Поэтому, когда Полесов постучал в дверь и Елена Станиславовна спросила «Кто там?», Воробьянинов дрогнул. Голос его любовницы был тот же, что и в девяносто девятом году,[214] перед открытием парижской выставки. Но, войдя в комнату и сжимая веки от света, Ипполит Матвеевич увидел, что от прокурорши не осталось и следа.

— Как вы изменились! — сказал он невольно.

Старуха бросилась ему на шею.

— Спасибо, — сказала она, — я знаю, чем вы рисковали, придя ко мне. Вы тот же великодушный рыцарь. Я не спрашиваю вас, зачем вы приехали из Парижа. Видите, я не любопытна.

— Но я *вовсе не приехал* из Парижа, — растерянно сказал Воробьянинов.

— Мы с коллегой прибыли из Берлина, — поправил Остап, нажимая на локоть Ипполита Матвеевича, — но об этом не рекомендуется *говорить*.

— Ах, я так рада вас видеть? — возопила гадалка. — Войдите сюда, в эту комнату… А вы, Виктор Михайлович, простите, но не зайдете ли вы через полчаса?

— О! — заметил Остап. — Первое свидание? Трудные минуты!.. Разрешите и мне удалиться. Вы позволите с вами, любезнейший Виктор Михайлович?

Слесарь задрожал от радости. Оба ушли в квартиру Полесова, где Остап, сидя на обломке ворот дома № 5 по Перелешинскому переулку, стал развивать перед оторопевшим кустарем-одиночкой с мотором фантасмагорические идеи, клонящиеся к спасению родины.

Через час они вернулись и застали стариков совершенно разомлевшими.

— *А вы помните, Ипполит Матвеевич? — говорила Елена*

Станиславовна.

— А вы помните, Елена Станиславовна? — говорил Ипполит Матвеевич.

«Кажется, наступил психологический момент для ужина», — подумал Остап. И, прервав Ипполита Матвеевича, вспоминавшего выборы в городскую управу, сказал:

— В Берлине есть очень странный обычай — там едят так поздно, что нельзя понять, что это: ранний ужин или поздний обед!

Елена Станиславовна встрепенулась, отвела кроличий взгляд от Воробьянинова и потащилась в кухню.

— А теперь действовать, действовать и действовать! — сказан Остап, понизив голос до степени полной нелегальности.

Он взял Полесова за руку.

— Старуха не подкачает? Надежная женщина?

Полесов молитвенно сложил руки.

— Ваше политическое кредо?

— Всегда! — восторженно ответил Полесов.

— Вы, надеюсь, кирилловец?[215]

— Так точно. — *Полесов* вытянулся в струну.

— Россия вас не забудет! — рявкнул Остап.

Ипполит Матвеевич, держа в руке сладкий пирожок, с недоумением слушал Остапа; но *Остапа* удержать было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение — упоительное состояние перед выше-средним шантажом.[216] Он прошелся по комнате, как барс.

В таком возбужденном состоянии его застала Елена Станиславовна, с трудом тащившая из кухни самовар. Остап галантно подскочил к ней, перенял на ходу самовар и поставил его на стол. Самовар свистнул. Остап решил действовать.

— Мадам, — сказал он, — мы счастливы видеть в вашем лице…

Он не знал, кого он счастлив видеть в лице Елены Станиславовны. Пришлось начать снова. Изо всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какое-то «милостиво повелеть соизволил». Но это было не к месту. Поэтому он начал деловито:

— Строгий секрет. Государственная тайна.

Остап показал рукой на Воробьянинова.

— Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это — гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору.

Ипполит Матвеевич встал во весь свой прекрасный рост и растерянно посмотрел по сторонам. Он ничего не понимал, но, зная по опыту, что Остап Бендер *ничего не делает* зря, — молчал. В Полесове все происходящее вызвало дрожь. Он стоял, задрав подбородок к потолку, в позе человека, готовящегося пройти церемониальным маршем. Елена Станиславовна села на стул, в страхе глядя на Остапа.

— Наших в городе много? — спросил Остап напрямик. — Каково настроение *в городе*?

— При наличии отсутствия… — сказал Виктор Михайлович.

И стал путано объяснять свои беды. Тут был и дворник дома № 5, возомнивший о себе хам, и плашки в три восьмых дюйма, и трамвай, и прочее.

— Хорошо! — грянул Остап. — Елена Станиславовна! С вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить к вам?

— Кого ж можно пригласить? *Максим* Петровича разве с женой?

— Без жены, — поправил Остап, — без жен. Вы будете единственным приятным исключением. Еще кого?

В обсуждении, к которому деятельно примкнул и Виктор Михайлович, выяснилось, что пригласить можно того же Максима Петровича Чарушникова, бывшего гласного городской думы, а ныне чудесным образом сопричисленного к лику совработников; хозяина «Быстроупака» Дядьева, председателя «Одесской бубличной артели — „Московские баранки“ Кислярского и двух молодых людей без *фамилии*, но вполне надежных.

— В таком случае прошу их пригласить сейчас же на маленькое совещание под величайшим секретом.

Заговорил Полесов:

— Я побегу к Максиму Петровичу, за *Никешой* и Владей, а уж вы, Елена Станиславовна, потрудитесь и сходите в «Быстроупак» и за Кислярским.

Полесов умчался. Гадалка с благоговением посмотрела на Ипполита Матвеевича и тоже ушла.

— Что это значит? — спросил Ипполит Матвеевич, *надувая щеки*.

— Это значит, — ответил Остап, — что вы отсталый; человек.

— Почему?

— Потому что. Простите за пошлый вопрос — сколько у вас есть денег?

— Каких денег?

— Всяких. Включая серебро и медь.

— Тридцать пять рублей.

— И с этими деньгами вы собирались окупить все расходы по нашему предприятию?

Ипполит Матвеевич молчал.

— Вот что, дорогой патрон. Мне сдается, что вы меня понимаете. Вам придется побыть часок гигантом мысли и особой, приближенной к императору.

— Зачем?

— Затем, что нам нужен оборотный капитал. Завтра моя свадьба. Я не нищий. Я хочу пировать в этот знаменательный день.

— Что же я должен делать? — простонал Ипполит Матвеевич.

— Вы должны молчать. Иногда для важности надувайте щеки.

— Но ведь это же… обман.

— Кто это говорит? Это говорит граф Толстой? Или Дарвин? Нет. Я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель. Не задумывайтесь. Молчите. И не забывайте надувать щеки.

— К чему ввязываться в такое опасное дело? Ведь могут донести.

— Об этом не беспокойтесь. На плохие шансы я не ловлю. Дело будет поведено так, что никто ничего не поймет. Давайте пить чай.

Пока концессионеры пили и ели, а попугай трещал скорлупой подсолнухов, в квартиру входили гости.

Никеша и Владя пришли вместе с Полесовым. Виктор Михайлович не решился представить молодых людей гиганту мысли. *Молодые люди* засели в уголке и принялись наблюдать за тем, как отец русской демократии ест холодную телятину. Никеша и Владя были вполне созревшие недотепы. Каждому из них было лет под тридцать. Им, видно, очень нравилось, что их пригласили на заседание.

Бывший гласный городской думы Чарушников, тучный старик, долго тряс руку Ипполита Матвеевича и заглядывал ему в глаза. Под наблюдением Остапа старожилы города стали обмениваться воспоминаниями. Дав им разговориться, Остап обратился к Чарушникову:

— Вы в каком полку служили?

Чарушников запыхтел.

— Я… я, так сказать, вообще не служил, потому что будучи облечен доверием общества, проходил по выборам.

— Вы дворянин?

— Да. Был.

— Вы, надеюсь, остались им и сейчас? Крепитесь Потребуется ваша помощь. Полесов вам говорил?.. Заграница нам поможет. Остановка за общественным мнением. Полная тайна организации. Внимание!

Остап отогнал Полесова от Никеши и Влади и с неподдельной суровостью спросил:

— В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. Внимание.

Остапа несло. Дело как будто налаживалось. Представленный Еленой Станиславовной владельцу «Быстроупака», Остап отвел его в сторону, предложил ему крепиться, осведомился, в каком полку он служил, и обещал содействие заграницы и полную тайну организации Первым чувством владельца «Быстроупака» было желание как можно скорее убежать из заговорщицкой квартиры Он считал свою фирму слишком солидной, чтобы вступать в рискованное дело. Но, оглядев ловкую фигуру Остапа, он поколебался и стал размышлять:

«А вдруг!.. Впрочем, все зависит от того, под каким соусом все это будет подано».

Дружеская беседа за чайным столом *оживлялась.* Посвященные свято хранили тайну и разговаривали о *последних* городских новостях.

Последним пришел гражданин Кислярский, который не будучи дворянином и никогда не служа в гвардейских полках, из краткого разговора с Остапом сразу уяснил себе положение вещей.

— Крепитесь, — сказал Остап наставительно.

Кислярский пообещал.

— Вы, как представитель частного капитала, не можете остаться глухи к стонам родины.

Кислярский сочувственно загрустил.

— Вы знаете, кто это сидит? — спросил Остап, показывая на Ипполита Матвеевича.

— Как же, — ответил Кислярский, — это господин Воробьянинов.

— Это, — сказал Остап, — гигант мысли, отец русской демократии, особа, приближенная к императору.

«В лучшем случае два года со строгой изоляцией,[217] — подумал Кислярский, начиная дрожать. — Зачем я сюда пришел?»

— Тайный *«Союз меча и орала»!* — зловеще прошептал Остап.

«Десять лет»! — мелькнула у Кислярского мысль.

— Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки!..

«Я тебе покажу, сукин сын, — подумал Остап, — меньше, чем за *100*

рублей, я тебя не выпущу».

Кислярский сделался мраморным. Еще сегодня он так вкусно и спокойно обедал, ел куриные пупочки, бульон с орешками и ничего не знал о страшном *«Союзе меча и орала»*. Он остался — «длинные руки» произвели на него невыгодное впечатление.

— Граждане! — сказал Остап, открывая заседание. — Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания — она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те, и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, *беспризорные,* находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.

Речь великого комбинатора вызвала среди слушателей различные чувства.

Полесов не понял своего нового друга — молодого гвардейца.

«Какие дети? — подумал он. — Почему дети?»

Ипполит Матвеевич даже и не старался ничего понять. Он *уже давно* махнул на все рукой и молча сидел, надувая щеки.

Елена Станиславовна пригорюнилась.

Никеша и Владя преданно глядели на голубую жилетку Остапа.

Владелец «Быстроупака» был чрезвычайно доволен.

«Красиво составлено, — решил он, — под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи — почет! Не вышло — мое дело шестнадцатое. Помогал детям, и дело с концом».

Чарушников обменялся значительным взглядом с Дядьевым и, отдавая должное конспиративной ловкости докладчика, продолжал катать по столу хлебные шарики.

Кислярский был на седьмом небе.

«Золотая голова», — думал он. Ему казалось, что он еще никогда так сильно не любил беспризорных детей, как в этот *момент.*

— Товарищи! — продолжал Остап. — Нужна немедленная помощь! Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда! Поможем детям! Будем помнить, что дети — цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям, и никому

другому. Вы меня понимаете?

Остап вынул из бокового кармана *удостоверение и* квитанционную книжку.

— Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия.

Ипполит Матвеевич надулся и наклонил голову. Тут даже несмышленые Никеша с Владей и сам *гениальный* слесарь поняли тайную суть иносказаний Остапа.

В порядке старшинства, господа, — сказал Остап, — начнем с уважаемого *Максим* Петровича.

Уважаемый Максим Петрович заерзал и дал от силы тридцать рублей.

— В лучшие времена дам больше! — заявил он.

— Лучшие времена скоро наступят, — сказал Остап, — впрочем, к беспризорным детям, которых я в настоящий момент представляю, это не относится.

Восемь рублей дали Никеша с Владей.

— Мало, молодые люди.

Молодые люди зарделись.

Полесов сбегал домой и принес пятьдесят.

— Браво, гусар, — сказал Остап, — для гусара-одиночки с мотором этого на первый раз достаточно. Что скажет купечество?

Дядьев и Кислярский долго торговались и жаловались на *уравнительные*.[218] Остап был неумолим.

— В присутствии самого Ипполита Матвеевича считаю эти разговоры излишними.

Ипполит Матвеевич наклонил голову. Купцы пожертвовали в пользу *детишек* по двести рублей.

— Всего, — возгласил Остап, — четыреста восемьдесят восемь рублей. Эх! Двенадцати рублей не хватает для ровного счета.

Елена Станиславовна, долго крепившаяся, ушла в спальню и вынесла в старом ридикюле искомые двенадцать рублей.

Остальная часть заседания была смята и носила менее торжественный характер. Остап начал резвиться. Елена Станиславовна совсем размякла. Гости постепенно расходились, почтительно прощаясь с организаторами.

— О дне следующего заседания вы будете оповещены особо, — говорил Остап на прощание, — строжайший секрет. Дело помощи детям должно находиться в тайне. Это, кстати, в ваших личных интересах.

При этих словах Кислярскому захотелось дать еще пятьдесят рублей, но больше уже не приходить ни на какие заседания. Он еле удержал себя

от этого порыва.

— Ну, — сказал Остап, — будем двигаться. Вы, Ипполит Матвеевич, я надеюсь, воспользуетесь *гостеприимством* Елены Станиславовны и переночуете у нее. Кстати, нам и для конспирации полезно разделиться на время. А я пошел.

Ипполит Матвеевич отчаянно подмаргивал Остапу глазом, но тот сделал вид, что не заметил, и вышел на улицу.

Пройдя квартал, он вспомнил, что в кармане у него лежат 500 честно заработанных рублей.

— Извозчик! — крикнул он. — Вези в «Феникс»!

— Это можно, — сказал извозчик.

Он неторопливо подвез Остапа к закрытому ресторану.

— Это что? Закрыто?

— По случаю Первого мая.

— Ах, чтоб их! И денег сколько угодно, и погулять негде! Ну, тогда валяй на улицу Плеханова. Знаешь?

Остап решил поехать к своей невесте.

— А раньше как эта улица называлась?

— Не знаю.

— Куда ж ехать? И я не знаю.

Тем не менее Остап велел ехать и искать.

Часа полтора проколесили они по пустому ночному городу, опрашивая ночных сторожей и милиционеров. Один милиционер долго пыжился и наконец сообщил, что Плеханова не иначе как бывшая Губернаторская.

— Ну, Губернаторская! Губернаторскую я хорошо знаю. Двадцать пять лет вожу на Губернаторскую.

— Ну и езжай *на Губернаторскую.*

Приехали на Губернаторскую, но она оказалась не Плеханова, а Карла Маркса.

Озлобленный Остап возобновил поиски затерянной улицы имени Плеханова. *И вот всю ночь безумец бедный, куда б стопы не обращал,* [219] — *не мог найти улицы имени Плеханова.*

Рассвет бледно осветил лицо богатого страдальца, так и не сумевшего развлечься *в советском городе.*

— Вези в «Сорбонну»! — крикнул он. — Тоже, извозчик! Плеханова не знаешь!..

Чертог вдовы Грицацуевой сиял.[220] Во главе свадебного стола сидел марьяжный король — сын турецко-подданного. Он был элегантен и пьян.

Гости шумели.

Молодая была уже не молода. Ей было не меньше *35* лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, *краткий, но выразительный нос*, расписные щеки, мощный затылок и *необозримые зады*. Нового мужа она обожала и очень боялась. Поэтому звала его не по имени и даже не по отчеству, которого она так и не узнала, а по фамилии — товарищ Бендер.

Ипполит Матвеевич снова сидел на заветном стуле. В продолжении всего свадебного ужина он подпрыгивал на *стуле*, чтобы почувствовать твердое. Иногда это ему удавалось. Тогда все присутствующие нравились ему, и он неистово начинал кричать «горько».

Остап все время произносил речи, спичи и тосты. Пили за народное просвещение и ирригацию Узбекистана. После этого гости стали расходиться. Ипполит Матвеевич задержался в передней и шепнул Бендеру.

— Так вы не тяните. Они там.

— Вы, стяжатель, — ответил пьяный Остап, — ждите меня в гостинице. Никуда не уходите. Я могу прийти каждую минуту. Уплатите в гостинице по счету. Чтоб все было готово. Адье, фельдмаршал. Пожелайте мне спокойной ночи.

Ипполит Матвеевич пожелал и отправился в «Сорбонну» волноваться.

В пять часов утра явился Остап со стулом. Ипполита Матвеевича проняло. Остап поставил стул посредине комнаты и сел *на него*.

— Как это вам удалось? — выговорил наконец Воробьянинов.

— Очень просто, по-семейному. Вдовица спит и видит сон. Жаль было будить. «На заре ты ее не буди».[221] Увы! Пришлось оставить любимой записку: «Выезжаю с докладом в Новохоперск.[222] К обеду не жди. Твой Суслик». А стул я захватил в столовой. Трамвая в эти утренние часы нет — *отдыхал по пути*.

Ипполит Матвеевич с урчанием кинулся к стулу.

— Тихо, — сказал Остап, — нужно действовать без *шуму*.

Он вынул из глубоких карманов плоскогубцы, и работа закипела.

— Вы дверь заперли? — спросил Остап.

Отталкивая нетерпеливого Воробьянинова, Остап аккуратно вскрыл стул, стараясь не повредить *английского ситца* в цветочках.

— Такого *ситца* теперь нет, надо его сохранить. Товарный голод,

ничего не поделаешь.

Все это довело Ипполита Матвеевича до крайнего раздражения.

— Готово, — сказал Остап тихо.

Он приподнял покровы и обеими руками стал шарить между пружинами. На лбу у него обозначилась венозная ижица.

— Ну? — повторял Ипполит Матвеевич на разные лады. — Ну? Ну?

— Ну и ну, — отвечал Остап раздраженно, — один шанс против одиннадцати. И этот шанс…

Он хорошенько порылся в стуле и закончил:

— И этот шанс пока не наш.

Он поднялся во весь рост и принялся чистить коленки. Ипполит Матвеевич кинулся к стулу.

Во втором бриллиантов не было. У Ипполита Матвеевича обвисли руки. Но Остап был по-прежнему бодр.

— Теперь наши шансы увеличились.

Он походил по комнате:

— Ничего. Этот стул обошелся вдове больше, чем нам.

Остап вынул из бокового кармана золотую брошь со стекляшками, дутый золотой браслет, полдюжины золоченых ложечек и чайное ситечко.

Ипполит Матвеевич в горе даже не сообразил, что стал соучастником обыкновенной кражи.

— Пошлая вещь, — заметил Остап, — но согласитесь, что я не мог покинуть любимую женщину, не оставив о ней никакого воспоминания. Однако времени терять не следует. Это еще только начало. Конец в Москве. А *государственный музей мебели* — это вам не вдова — там потруднее будет!

Компаньоны запихнули обломки стула под кровать и, подсчитав деньги (их, вместе с пожертвованиями в пользу детей, оказалось *610* рублей), — выехали на вокзал к московскому поезду.

Ехать пришлось через весь город на извозчике. На Кооперативной они увидели Полесова, бежавшего по тротуару, как пугливая антилопа. За ним гнался дворник дома № 5 по Перелешинскому переулку. Заворачивая за угол, концессионеры успели заметить, что дворник настиг Виктора Михайловича и принялся его дубасить. Полесов кричал *«Караул!»* и *«Хам!»*.

Возле самого вокзала, на Гусище, пришлось переждать похоронную процессию. На грузовой платформе, содрогаясь, ехал гроб, за которым следовал совершенно обессиленный Варфоломеич. Каверзная бабушка умерла как раз в тот год, когда он перестал делать страховые взносы.

До отхода поезда сидели в уборной, опасаясь встречи с любимой женщиной.

Поезд уносил друзей в шумный центр. Друзья приникли к окну. Вагоны проносились над Гусищем.

Внезапно Остап заревел и схватил Воробьянинова за бицепс.

— Смотрите, смотрите! — крикнул он. — Скорее! Альхен, с-сукин сын!..

Ипполит Матвеевич посмотрел вниз. Под насыпью дюжий усатый молодец тащил тачку, груженную рыжей фисгармонией и пятью оконными рамами. Тачку подталкивал стыдливого вида гражданин в мышиной толстовочке.

Солнце пробилось сквозь тучи. Сияли кресты церквей.

Остап, хохоча, высунулся из окна и гаркнул:

— Пашка! На толкучку едешь?

Паша Эмильевич поднял голову, но увидел только буфера последнего вагона и еще сильнее заработал ногами.

— Видели? — радостно спросил Остап. — Красота! Вот работают люди!

Остап похлопал загрустившего Воробьянинова по спине.

— Ничего, папаша! Не унывайте! Заседание продолжается! Завтра вечером мы в Москве!

Часть вторая «В Москве»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Глава XVII
Среди океана стульев

Статистика знает все.[223]

Точно учтено количество пахотной земли в СССР с подразделением на чернозем, суглинок и лес. Все граждане обоего пола записаны в аккуратные толстые книги, так хорошо известные Ипполиту Матвеевичу Воробьянинову, — книги загсов. Известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики. Известно, сколько этот средний гражданин выпивает в среднем водки с примерным указанием потребляемой закуски. Известно, сколько в стране охотников, балерин, револьверных станков, собак всех пород, велосипедов, памятников, девушек, маяков и швейных машинок.

Как много жизни, полной пыла, страстей и мысли, глядит на нас со статистических таблиц!

Кто он, розовощекий индивид, сидящий с салфеткой на груди за столиком и с аппетитом уничтожающий дымящуюся снедь? Вокруг него лежат стада миниатюрных быков. Жирные свиньи сбились в угол таблицы. В специальном статистическом бассейне плещутся бесчисленные осетры, налимы и рыба чехонь. На плечах, руках и голове индивида сидят куры. В перистых облаках летают домашние гуси, утки и индейки. Под столом сидят два кролика. На горизонте возвышаются пирамиды и вавилоны из печеного хлеба. Небольшая крепость из варенья омывается молочной рекой. Огурец, величиною в пизанскую башню, стоит на горизонте. За крепостными валами из соли и перцу пополуротно маршируют вина, водки и наливки. В арьергарде жалкой кучкой плетутся безалкогольные напитки — нестроевые нарзаны, лимонады и сифоны в проволочных сетках.

Кто же этот розовощекий индивид — обжора, пьянчуга и сластун?

Гаргантюа, король дипсодов?[224] Силач Фосс?[225] Легендарный солдат Яшка-Красная Рубашка?[226] Лукулл?..[227]

Это не Лукулл. Это — Иван Иванович Сидоров, или Сидор Сидорович Иванов, — средний гражданин, съедающий в среднем за свою жизнь всю изображенную на таблице снедь. Это — нормальный потребитель калорий и витаминов — тихий сорокалетний холостяк, служащий в госмагазине галантереи и трикотажа.

От статистики не скроешься никуда. Она имеет точные сведения не только о количестве зубных врачей, *колбасных шприцев,* дворников, кинорежиссеров, проституток, соломенных крыш, вдов, извозчиков и колоколов, — но знает даже, сколько в стране статистиков.

И одного она не знает. *Не знает и не может узнать. Она не знает,* сколько в СССР стульев.

Стульев очень много. Последняя статистическая перепись определила численность населения союзных республик в *143* миллиона человек. Если отбросить *90* миллионов крестьян, предпочитающих стульям лавки, полати, завалинки, а на востоке — истертые ковры и паласы, — то все же *останется 53* миллиона человек, в домашнем обиходе которых стулья являются предметами первой необходимости. Если же принять во внимание возможные просчеты в исчислениях и привычку некоторых граждан Союза сидеть между двух стульев, то, сократив на всякий случай общее число вдвое, найдем, что стульев в стране должно быть не менее *26* $^{1}/_{2}$ миллионов. Для верности откажемся еще от *6* $^{1}/_{2}$ миллионов. Оставшиеся двадцать миллионов будут числом минимальным.

Среди этого океана стульев, сделанных из ореха, дуба, ясеня, палисандра, красного дерева и карельской березы, среди стульев еловых и сосновых — герои романа должны найти ореховый гамбсовский стул с гнутыми ножками, таящий в своем, обитом английским ситцем, брюхе сокровища мадам Петуховой.

Герои романа *в одних носках* лежали на верхних полках и еще спали, когда поезд осторожно перешел Оку и, усилив ход, стал приближаться к Москве.

Неяркое московское небо было обложено по краям лепными облаками.

Трамваи визжали на поворотах так естественно, что, казалось, будто визжит не вагон, а сам кондуктор, приплюснутый сотрудниками к табличке «Курить и плевать воспрещается». Курить и плевать воспрещалось, но толкать кондуктора в живот, дышать ему в ухо и придираться к нему без всякого повода, очевидно, не воспрещалось. И этим спешили воспользоваться все. Был критический час. Земные и неземные создания спешили на службу.

Мелкая птичья шушера, покрытая первой майской пылью, буянила на деревьях.

У Дома Народов трамваи высаживали граждан и облегченно уносились дальше.

С трех сторон к Дому Народов подходили служащие и исчезали в трех подъездах. Дом стоял большим белым пятиэтажным квадратом, прорезанным тысячью окон. По этажам и коридорам топали ноги секретарей, машинисток, управделов, экспедиторов с нагрузкой, репортеров, курьерш и поэтов. Весь служебный люд неторопливо принимался вершить обычные и нужные дела, за исключением поэтов, которые разносили стихи по редакциям ведомственных журналов.

Дом Народов был богат учреждениями и служащими. Учреждений было больше, чем в уездном городе домов. На втором этаже версту коридора занимала редакция и контора большой ежедневной газеты «Станок»[228].

Окна редакции выходили на внутренний двор, где по кругу спортивной площадки носился стриженый физкультурник в голубых трусиках и мягких туфлях, тренируясь в беге. Еще не загоревшие белые ноги его мелькали между деревьями.

В редакционных комнатах происходили короткие стычки между сотрудниками. Выясняли очередность ухода в отпуск. С криками: «Бархатный сезон» — все поголовно сотрудники выражали желание взять отпуск исключительно в августе.

Когда председатель месткома был доведен претензиями до изнурения, репортер Персицкий с сожалением оторвался от телефона, по которому узнавал о достижениях акционерного общества «Меринос»[229]*, и заявил:*

— А я не поеду в августе. Запишите меня на июнь. В августе малярия.

— Ну вот и хорошо, — сказал председатель.

Но тут все сотрудники тоже перенесли свои симпатии на июнь.

Председатель в раздражении бросил список и ушел.

К Дому Народов подъехал на извозчике модный писатель Агафон Шахов[230]*. Стенной спиртовой термометр показывал 18 градусов тепла, на Шахове было мохнатое демисезонное пальто, белое кашне, каракулевая шапка с проседью и большие полуглубокие калоши — Агафон Шахов заботливо оберегал свое здоровье.*

Лучшим украшением лица Агафона Шахова была котлетообразная бородка. Полные щеки цвета лососиного мяса были прекрасны. Глаза смотрели почти мудро. Писателю было под сорок.

Писать и печататься он начал с 15 лет, но только в позапрошлом году к нему пришла большая слава. Это началось тогда, когда Агафон Шахов стал писать романы с психологией и выносить на суд читателя

разнообразные проблемы. Перед читателями, а главным образом, читательницами замелькали проблемы в красивых переплетах, с посвящениями на особой странице: «Советской молодежи», «Вузовцам московским посвящаю», «Молодым девушкам».

Проблемы были такие: пол и брак, брак и любовь, любовь и пол, пол и ревность, ревность и любовь, брак и ревность. Спрыснутые небольшой дозой советской идеологии, романы получили обширный сбыт. С тех пор Шахов стал часто говорить, что его любят студенты. Однако вечно питаться браком и ревностью оказалось затруднительным. Критика зашипела и стала обращать внимание писателя на узость его тем. Шахов испугался. И погрузился в газеты. В страхе он сел было за роман, трактующий о снижении накладных расходов, и даже написал восемьдесят страниц в три дня. Но в развернувшуюся любовную передрягу ответственного работника с тремя дамочками не смог вставить ни одного слова о снижении накладных расходов. Пришлось бросить. Однако восьмидесяти страниц было жалко, и Шахов быстро перешел на проблему растрат. Ответственный работник был обращен в кассира, а дамочки оставлены. Над характером кассира Шахов потрудился и наградил его страстями римского императора Нерона.

Роман был написан в две недели и через полтора месяца увидел свет.

Слезши с извозчика у Дома Народов, Шахов любовно ощупал в кармане новенькую книжку и пошел в подъезд. По дороге писатель все время посматривал на задники своих калош — не стерлись ли. Он подошел к клетке лифта и стал ждать. Подняться ему нужно было только на второй этаж, но он берег здоровье, да и лифт в Доме Народов полагался бесплатно.

Шахов вошел в отдел быта редакции «Станка», в котором часто печатался, и, ни с кем не поздоровавшись, спросил:

— Платят у вас сегодня? Ну и хорошо. А что, «милостивый государь» еще не растратился?

«Милостивым государем» в редакции и конторе звали кассира Асокина. С него Шахов писал своего героя, и вся редакция, включая самого кассира, знала это.

Сотрудники отрицательно замотали головами. Шахов пошел в кассу получать деньги за рассказ.

— Здравствуй, «милостивый государь», — сказал писатель, — ты, я слышал, деньги даешь сегодня.

— Даю, Агафон Васильевич.

Кассир просунул в окошечко ведомость и химический карандаш.

— Вы, я слышал, произведение новое написали? Ребята рассказывали.

— Написал.

— Меня, говорят, описали?

— Ты там самый главный.

Кассир обрадовался.

— Так вы хоть дайте почитать, раз все равно описали.

Шахов достал свежую книжку и тем же карандашом, которым он расписывался в ведомости, надписал на титульном листе: «Тов. Асокину, дружески. Агафон Шахов».

— На, читай. Тираж десять тысяч. Вся Россия тебя знать будет.

Кассир благоговейно принял книгу и положил ее в несгораемый шкаф на пачки червонцев.

Глава XVIII
Общежитие имени монаха Бертольда Шварца

Ипполит Матвеевич и Остап, напирая друг на друга, стояли у открытого окна жесткого вагона и внимательно смотрели на коров, медленно сходивших с насыпи, на хвою, на дощатые дачные платформы.

Все дорожные анекдоты были уже рассказаны. «Старгородская правда» от вторника прочитана до объявлений и покрыта масляными пятнами. Все цыплята, яйца и маслины были съедены.

Оставался самый томительный участок пути — последний час перед Москвой.

— Быково! — сказал Остап, оглянувшись на рванувшуюся назад станцию. — Сейчас пойдут дачи.

Из реденьких лесочков и рощ подскакивали к насыпи веселенькие дачки. Были среди них *целые* деревянные дворцы, блещущие стеклом своих веранд и *свежевыкрашенными* железными крышами. Были и простые деревянные срубы с крохотными квадратными оконцами — настоящие капканы для дачников.

Налетела Удельная, потом Малаховка, сгинуло куда-то Красково.

— Смотрите, Воробьянинов! — закричал Остап. — Видите — двухэтажная дача. Это дача Медикосантруда[231].

— Вижу. Хорошая дача.

— Я жил в ней прошлый сезон[232].

— Вы разве медик? — рассеянно спросил Воробьянинов.

— Я буду медиком.[233]

Ипполит Матвеевич удовлетворился этим странным объяснением. Он волновался. В то время как пассажиры с видом знатоков рассматривали горизонт и, перебирая сохранившиеся в памяти воспоминания о битве при Калке, рассказывали друг другу прошлое и настоящее Москвы,[234] Ипполит Матвеевич упорно старался представить себе *Государственный музей мебели.* Музей представлялся ему в виде многоверстного коридора, по стенам которого шпалерами стояли стулья. Воробьянинов видел себя быстро идущим между *стульями.*

— Как еще будет с музеем мебели, неизвестно. *Обойдется?*

— Вам, предводитель, пора уже лечиться электричеством. Не устраивайте преждевременной истерики. Если вы уже не можете не

переживать, то переживайте молча.

Не найдя поддержки, Ипполит Матвеевич принялся переживать молча.

Поезд прыгал на стрелках. Глядя на поезд, семафоры разевали рты. Пути учащались. Чувствовалось приближение огромного железнодорожного узла. Трава исчезла — ее заменил шлак. Свистали маневровые паровозы. Стрелочники трубили в рога. Внезапно грохот усилился. Поезд вкатился в коридор между порожними составами и, щелкая, как турникет, стал пересчитывать вагоны:

— *Белый изотермический, Ташкентская, срочный возврат, годен для рыбы и мяса, оборудован крючьями.*

— *Темный дуб, палубная обшивка, мягкие рессоры, спальный вагон прямого сообщения.*

— *Дюжина товарных Рязано-Уральской дороги. Измараны меловыми знаками.*

— *Срочный возврат в Баку, нефтяные цистерны.*

— *Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Вагон-клуб Дорпрофсожа*[235] *М-Казанской дороги.*

— *Раз, два, три… Восемь… Десять… Платформы, груженные лесом.*

И вдруг, в стороне, забытый ветеран — обтрепанный вагон-микст[236] *с надписью: «Деникинский фронт».*

Пути вздваивались.

Поезд выскочил из коридора. Ударило солнце. Низко, по самой земле, разбегались стрелочные фонари, похожие на топорики. Валил дым. Паровоз, отдуваясь, выпустил белоснежные бакенбарды. На поворотном кругу стоял крик. Деповцы загоняли паровоз в стойло.

От резкого торможения хрустнули поездные суставы. Все завизжало, и Ипполиту Матвеевичу показалось, что он попал в царство зубной боли. Поезд причалил к асфальтовому перрону.

Это была Москва. Это был Рязанский *вокзал* — самый свежий и новый из всех московских вокзалов.[237]

Ни на одном из восьми остальных *московских вокзалов* нет таких обширных и высоких *зал*, как на Рязанском. Весь Ярославский вокзал, с его псевдорусскими гребешками[238] и геральдическими курочками, легко может поместиться в *его* большом *зале для ожидания*.

Московские вокзалы — ворота города. Ежедневно *эти ворота* впускают и выпускают тридцать тысяч пассажиров. Через Александровский вокзал входит в Москву иностранец на каучуковых

подошвах, в костюме для гольфа — шаровары и толстые шерстяные чулки наружу. С Курского попадает в Москву кавказец в коричневой бараньей шапке с вентиляционными дырочками и рослый волгарь в пеньковой бороде. С Октябрьского[239] выскакивает полуответственный работник с портфелем из дивной свиной кожи. Он приехал из Ленинграда по делам увязки, согласования и конкретного охвата. Представители Киева и Одессы проникают в столицу через Брянский вокзал. Уже на станции Тихонова *Пустынь* киевляне начинают презрительно улыбаться. Им великолепно известно, что Крещатик — наилучшая улица на земле. Одесситы тащат с собой тяжелые корзины и плоские коробки с копченой скумбрией. Им тоже известна лучшая улица на земле. Но *это не* Крещатик — это улица Лассаля, бывшая Дерибасовская. Из Саратова, Аткарска, Тамбова, Ртищева и Козлова в Москву приезжают с Павелецкого вокзала. Самое незначительное число людей прибывает в Москву через Савеловский вокзал. Это — башмачники из Талдома, жители города Дмитрова, рабочие Яхромской мануфактуры или унылый дачник, живущий *зимою* и летом на станции Хлебниково. Ехать здесь в Москву недолго. Самое большое расстояние по этой линии — сто тридцать верст. *Но* с Ярославского вокзала попадают в столицу люди, приехавшие из Владивостока, Хабаровска и Читы — из городов дальних и больших.

Самые диковинные пассажиры — на Рязанском вокзале. Это узбеки в белых кисейных чалмах и цветочных халатах, краснобородые таджики, туркмены, хивинцы и бухарцы, над республиками которых сияет вечное солнце.

Концессионеры с трудом пробились к выходу и очутились на Каланчевской площади. Справа от них *были* геральдические курочки Ярославского вокзала.[240] Прямо против них — тускло поблескивал Октябрьский вокзал, выкрашенный масляной краской в два цвета. Часы на нем показывали пять минут одиннадцатого. На часах Ярославского вокзала было ровно десять. А посмотрев на темно-синий, украшенный знаками *зодиака*, циферблат Рязанского вокзала, путешественники заметили, что часы показывали без пяти десять.

— Очень удобно для свиданий! — сказал Остап. — Всегда есть десять минут форы.

— Мы куда теперь? В гостиницу? — спросил Воробьянинов, сходя с вокзальной паперти и трусливо озираясь.

— Здесь в гостиницах, — сообщил Остап, — живут только граждане, приезжающие по командировкам, а мы, дорогой товарищ,

частники. Мы не любим накладных расходов.

Остап подошел к извозчику, молча уселся и широким жестом пригласил Ипполита Матвеевича.

— На Сивцев Вражек! — сказал он. — Восемь гривен.

Извозчик обомлел. Завязался нудный спор, в котором часто упоминались цены на овес и ключ от квартиры, где деньги лежат.

Наконец извозчик издал губами звук поцелуя, проехали под мостом, и перед путниками развернулась величественная панорама столичного города.

Подле реставрированных тщанием Главнауки[241] *Красных ворот расположились заляпанные известкой маляры со своими саженными кистями, плотники с пилами, штукатуры и каменщики. Они плотно облепили угол Садово-Спасской.*

— Запасный дворец, — заметил Ипполит Матвеевич, глядя на длинное белое с зеленым здание по Новой Басманной.

— Работал я и в этом дворце, — сказал Остап, — он, кстати, не дворец, а НКПС[242]*. Там служащие, вероятно, до сих пор носят эмалевые нагрудные знаки, которые я изобрел и распространял. А вот и Мясницкая. Замечательная улица. Здесь можно подохнуть с голоду. Не будете же вы есть на первое шарикоподшипники, а на второе мельничные жернова*[243]*. Тут ничем другим не торгуют.*

— Тут и раньше так было. Хорошо помню. Я заказывал на Мясницкой громоотвод для своего старгородского дома.

Когда проезжали Лубянскую площадь, Ипполит Матвеевич забеспокоился.[244]

— Куда мы, однако, едем? — спросил *он*.

— К хорошим людям, — ответил Остап, — в Москве их масса. И все мои знакомые.

— И мы у них остановимся?

— Это общежитие. Если не у одного, то у другого место всегда найдется.

В сквере против Большого театра уже торчала пальмочка, объявляя, всем гражданам, что лето уже наступило и что желающие дышать свежим воздухом должны немедленно уехать не менее чем за две тысячи верст.

В академических театрах была еще зима. Зимний сезон был в разгаре. На афишных тумбах были налеплены афиши о первом представлении оперы «Любовь к трем апельсинам»[245]*, о последнем концерте перед*

отъездом за границу знаменитого тенора Дмитрия Смирнова[246] *и о всемирно известном капитане с его шестьюдесятью крокодилами в первом Госцирке.*

В Охотном ряду было смятение. Врассыпную, с лотками на головах, бежали, как гуси, беспатентные лоточники. За ними лениво трусил милиционер. Беспризорные сидели возле асфальтового чана и с наслаждением вдыхали запах кипящей смолы.

На углу Охотного и Тверской беготня экипажей, как механических, так и приводимых в движение конной тягой, была особенно бурной. Дворники поливали мостовые и тротуары из тонких, как краковская колбаса, шлангов. Со стороны Моховой выехал ломовик, груженный фанерными ящиками с папиросами «Наша марка».

— Уважаемый! — крикнул он дворнику. — Искупай лошадь!

Дворник любезно согласился и перевел струю на рыжего битюга. Битюг нехотя остановился и, плотно упершись передними ногами, позволил себя купать. Из рыжего он превратился в черного и сделался похожим на памятник некой лошади. Движение конных и механических экипажей остановилось. Купающийся битюг стоял на самом неудобном месте. По всей Тверской, Охотному ряду. Моховой и даже Театральной площади машины переменяли скорость и останавливались. Место происшествия со всех сторон окружали очереди автобусов. Шоферы дышали горячим бензином и гневом. Зеркальные дверцы их кабинок распахивались, и оттуда несся крик.

— Чего стал? — кричали с четырех сторон.

— Дай лошадь искупать! — огрызался возчик.

— Да проезжай ты, говорят тебе, ворона!

Собралась большущая толпа.

— Что случилось?

Образовалась такая большая пробка, что движение застопорилось даже на Лубянской площади. Дворник давно уже перестал поливать лошадь, и освежившийся битюг успел обсохнуть и покрыться пылью; но пробка все увеличивалась. Выбраться из всей этой каши возчик не мог, и битюг все еще стоял поперек улицы.

Посреди содома находились концессионеры. Остап, стоя в пролетке, как брандмейстер, мчащийся на пожар, отпускал сардонические замечания и нетерпеливо ерзая ногами.

Через полчаса движение было урегулировано, и путники через Воздвиженку выехали на Арбатскую площадь, проехали по Пречистенскому бульвару и, свернув направо, очутились на Сивцевом

Вражке.

— *Направо, к подъезду, — сказал Остап. — Вылезайте, Конрад Карлович, приехали!*

— Что это за дом? — спросил Ипполит Матвеевич.

Остап посмотрел на розовый домик с мезонином и ответил:

— Общежитие студентов-химиков, имени монаха Бертольда Шварца.

— Неужели монаха?

— Ну, пошутил, пошутил. Имени товарища Семашко.[247]

Как и полагается рядовому студенческому общежитию в Москве, *общежитие* студентов-химиков давно уже *было заселено* людьми, имеющими к химии довольно отдаленное отношение. Студенты расползлись. Часть из них окончила курс и разъехалась по назначениям, часть была исключена за академическую неуспешность, *и именно* эта часть, год из году возрастая, образовала в розовом домике нечто среднее между жилтовариществом и феодальным поселком. Тщетно пытались ряды новых студентов ворваться в общежитие. *Бывшие химики* были необыкновенно изобретательны и отражали все атаки. На домик махнули рукой. Он стал считаться диким и исчез со всех планов МУНИ.[248] Его как будто бы и не было. А между тем он был, и в нем жили люди.

— *Где же мы здесь будем жить? — с беспокойством спросил Ипполит Матвеевич, когда* концессионеры, *поднявшись* по лестнице *во* второй этаж, свернули в совершенно темный коридор.

— *В мезонине.* Свет и воздух, — *ответил* Остап.

Внезапно в темноте, у самого локтя Ипполита Матвеевича, кто-то *шумно* засопел. *Ипполит Матвеевич отшатнулся.*

— Не пугайтесь, — заметил Остап, — это не в коридоре. Это за стеной. Фанера, как известно из физики, лучший проводник звука… Осторожнее… Держитесь за меня… Тут где-то должен быть несгораемый шкаф.

Крик, который сейчас же издал Воробьянинов, ударившись грудью об острый железный угол, показал, что шкаф действительно где-то тут.

— Что, больно? — осведомился Остап. — Это еще ничего. Это физические мучения. Зато сколько здесь было моральных мучений — жутко вспомнить. Тут вот рядом стоял скелет *студента* Иванопуло. Он купил его на Сухаревке,[249] а держать в комнате боялся. Так что посетители сперва ударялись о кассу, а потом на них падал скелет. Беременные женщины были очень недовольны…

По лестнице, шедшей винтом, компаньоны поднялись в мезонин.

Большая комната мезонина была разрезана фанерными перегородками на длинные ломти, в два аршина ширины каждый. Комнаты были похожи на ученические пеналы, с тем только отличием, что, кроме карандашей и ручек, здесь были люди и примусы.

— Ты дома, Коля? — тихо спросил Остап, остановившись у центральной двери.

В ответ на это во всех пяти пеналах завозились и загалдели.

— Дома, — ответили за дверью.

— Опять к этому дураку гости спозаранку пришли! — зашептал женский голос из крайнего пенала слева.

— Да дайте же человеку поспать! — буркнул пенал № 2.

В третьем пенале радостно *зашептали:*

— К Кольке из милиции пришли. За вчерашнее стекло.

В пятом пенале молчали. Там ржал примус и целовались.

Остап толкнул ногою дверь. Все фанерное сооружение затряслось, и концессионеры проникли в *Колькино ущелье.* Картина, представившаяся взору Остапа, при внешней своей невинности, была ужасна. В комнате из мебели был только матрац в красную полоску, лежавший на *двух* кирпичах. Но не это обеспокоило Остапа. Колькина мебель была ему известна давно. Не удивил его и сам Колька, сидящий на матраце с ногами. Но рядом с Колькой сидело такое небесное создание, что Остап сразу омрачился. Такие *создания* никогда не бывают деловыми знакомыми — для этого у них слишком голубые глаза и чистая шея. Это любовницы или еще хуже — это жены, и жены любимые. И действительно, Коля называл создание Лизой, говорил ей «ты» и показывал ей рожки.

Ипполит Матвеевич снял свою касторовую шляпу.

Остап вызвал Колю в коридор. Там они долго шептались.

— Прекрасное утро, сударыня, — сказал Ипполит Матвеевич, *чувствуя себя очень стесненно.*

Голубоглазая сударыня засмеялась и без всякой видимой связи с замечанием Ипполита Матвеевича заговорила о том, какие дураки живут в соседнем пенале.

— Они нарочно заводят примус, чтобы не было слышно, как они целуются. Но, вы поймите, это же глупо. Мы все слышим. Вот они действительно ничего уже не слышат из-за своего примуса. Хотите, я вам сейчас покажу? Слушайте.

И *создание,* постигшее все тайны примуса, громко сказало:

— Зверевы дураки!

За стеной слышалось адское пение примуса и звуки поцелуев.

— Видите?.. Они ничего не слышат… Зверевы дураки, болваны и психопаты. Видите?

— Да, — сказал Ипполит Матвеевич.

— А мы примуса не держим. Зачем? Мы ходим обедать в вегетарианскую столовую, хотя я против вегетарианской столовой. Но когда мы с Колей *женились*, он мечтал о том, как мы вместе будем ходить в вегетарианку. Ну, вот мы и ходим. *А я* очень люблю мясо. А там котлеты из лапши. Только вы, пожалуйста, ничего не говорите Коле…

В это время вернулся Коля с Остапом.

— Ну что ж, раз у тебя решительно нельзя остановиться, мы пойдем к Пантелею.

— Верно, ребята, — закричал Коля, — *идите* к Иванопуло. Это свой парень.

— Приходите к нам в гости, — сказала Колина жена, — мы с мужем будем очень рады.

— Опять в гости зовут! — возмутились в крайнем пенале слева. — Мало им гостей!

— А вы дураки, болваны и психопаты, не ваше дело! — сказала Колина жена *нормальным голосом.*

— Ты слышишь, Иван *Андреич*, — заволновались в крайнем пенале, — твою жену оскорбляют, а ты молчишь.

Подали свой голос невидимые комментаторы из других пеналов. Словесная перепалка разрасталась. Компаньоны ушли вниз к Иванопуло.

Студента не было дама. Ипполит Матвеевич зажег спичку. На дверях висела записка: «Буду не раньше 9 ч. Пантелей».

— Не беда, — сказал Остап, — я знаю, где ключ.

Он пошарил под несгораемой кассой, достал ключ и открыл дверь.

Комната студента Иванопуло была точно такого же размера, как и Колина, но зато угловая. Одна стена ее была каменная, чем студент очень гордился. Ипполит Матвеевич с огорчением заметил, что у студента не было даже матраца.

— Отлично устроимся, — сказал Остап, — приличная кубатура для Москвы. Если мы уляжемся все втроем на пол, то даже останется немного места. А Пантелей — сукин сын! Куда он девал матрац, интересно знать?

Окно выходило в переулок. *Под окном* ходил милиционер. Напротив, в домике, построенном на манер готической башни, помещалось посольство крохотной державы. За железной решеткой играли в теннис. Летал белый мячик. Слышались короткие возгласы.

— Аут, — сказал Остап, — класс игры невысокий. Однако давайте

отдыхать.

Концессионеры разостлали по полу газеты. Ипполит Матвеевич вынул подушку-думку, которую возил с собой, *и они улеглись.*

Не успели они как следует улечься на телеграммах и хронике театральной жизни, как в соседней комнате послышался шум раскрываемого окна, и сосед Пантелея вызывающе крикнул теннисистам:

— Да здравствует Советская республика! Долой хи-щни-ков им-пе-риа-лиз-ма!

Крики эти повторялись минут десять. Остап удивился и поднялся с полу.

— Что это за коллекционер хищников?

Высунувшись за подоконник, он посмотрел вправо и увидел у соседнего окна двух молодых людей. Он сразу заметил, что молодые люди кричат о хищниках только тогда, когда мимо их окна проходит милиционер с поста у посольства. Он озабоченно поглядывал то на молодых людей, то за решетку, где играли в теннис. Положение его было тяжелым. Крики о хищниках все продолжались, и он не знал, что предпринять. С одной стороны, эти возгласы были вполне естественны и не заключали в себе ничего непристойного. А с другой стороны, хищники в белых штанах, игравшие за решеткой в теннис, могли принять это на свой счет и обидеться. Не будучи в состоянии разобраться в создавшейся конъюнктуре, милиционер умоляюще смотрел на молодых людей и кончил тем, что накинулся на обоз и велел ему заворачивать. Дипломатическое затруднение закончилось тем, что к молодым людям пришли гости, и они занялись громогласным решением шахматной задачи.

Остап *снова* повалился на телеграммы и заснул. Ипполит Матвеевич спал уже давно.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Глава XIX
Уважайте матрацы, граждане!

— Лиза, пойдем обедать?
— Мне не хочется. Я вчера уже обедала.
— Я тебя не понимаю.
— Не пойду я есть фальшивого зайца.
— *Ну*, и глупо.
— Я не могу питаться вегетарианскими сосисками.
— Ну, сегодня будешь есть шарлотку.
— Мне что-то не хочется.
— *Идем. Аппетит приходит во время еды.*
— *Приходит или проходит?*
— *Приходит.*
— *Нет, проходит.*
— *Что это все значит?*
— Говори тише. Все слышно.

И молодые супруги перешли на драматический шепот. Через две минуты Коля понял в первый раз за три месяца Супружеской жизни, что любимая женщина любит морковные, картофельные и гороховые сосиски гораздо меньше, чем он.

— Значит, ты предпочитаешь собачину диетическому питанию? — закричал Коля, в горячности не учтя подслушивающих соседей.

— Да говори тише! — громко закричала Лиза. — И потом ты ко мне плохо относишься. *Да, я люблю мясо.* Иногда. Что *ж* тут дурного?

Коля изумленно замолчал. Этот поворот был для него неожиданным. Мясо пробило бы в Колином бюджете огромную, незаполнимую брешь. Прогуливаясь вдоль матраца, на котором, свернувшись в узелок, сидела раскрасневшаяся Лиза, молодой супруг производил отчаянные вычисления.

Копирование на кальку в чертежном бюро «Техносила» давало Коле Калачеву даже в самые удачные месяцы никак не больше сорока рублей. За квартиру Коля не платил. В диком поселке не было управдома, и квартирная плата была там понятием абстрактным. Десять рублей уходило на обучение Лизы кройке и шитью на курсах с правами строительного

техникума. Обед на двоих (одно первое — борщ монастырский и одно второе — фальшивый заяц или настоящая лапша), съедаемый честно пополам в вегетарианской столовой «Не укради»,[250] — вырывал из бюджета пятнадцать рублей в месяц. Остальные деньги расплывались неизвестно куда. Это больше всего смущало Колю. «Куда идут деньги?» — задумывался он, вытягивая рейсфедером на небесного цвета кальке длинную и тонкую линию. При таких условиях перейти на мясоедение значило — гибель. Поэтому Коля пылко заговорил:

— Подумай только, пожирать трупы убитых животных! Людоедство под маской культуры! Все болезни происходят от мяса.

— Конечно, — с застенчивой иронией сказала Лиза, — например, ангина.

— Да, да, и ангина! А что ты думаешь? Организм, ослабленный вечным потреблением мяса, не в силах сопротивляться инфекции.

— Как это глупо.

— Не это глупо. Глуп тот, кто стремится набить свой желудок, не заботясь о количестве витаминов.

— Ты хочешь сказать, что я дура?

— Это глупо.

— Глупая дура?

— Оставь, пожалуйста. Что это такое, в самом деле?

Коля вдруг замолчал. Все больше и больше заслоняя фон из пресных и вялых лапшевников, каши и картофельной чепухи, перед Колиным внутренним оком предстала обширная свиная котлета. Она, как видно, только что соскочила со сковороды. Она еще шипела, булькала и выпускала пряный дым. Кость из котлеты торчала, как дуэльный пистолет.

— Ведь ты пойми! — закричал Коля. — Какая-нибудь свиная котлета отнимает у человека неделю жизни!

— Пусть отнимает, — сказала Лиза, — *фальшивый* заяц отнимает полгода. Вчера, когда мы съели морковное жаркое, я почувствовала, что умираю. Только я не хотела тебе говорить.

— Почему же ты не хотела говорить?

— У меня не было сил. Я боялась заплакать.

— А теперь ты не боишься?

— Теперь мне уже все равно.

Лиза всплакнула.

— Лев Толстой, — сказал Коля дрожащим голосом, — тоже не ел мяса.

— Да-а, — ответила Лиза, икая от слез, — граф ел спаржу.

— Спаржа — не мясо.

— А когда он писал «Войну и мир», он ел мясо! Ел, ел, ел! И когда «Анну Каренину» писал — лопал! лопал! лопал!

— Да замолчи!..

— Лопал! Лопал! Лопал!

— А когда «Крейцерову сонату» писал — тогда тоже лопал? — ядовито спросил Коля.

— «Крейцерова соната» маленькая. Попробовал бы он написать «Войну и мир», сидя на вегетарианских сосисках?

— Что ты, наконец, прицепилась ко мне со своим Толстым?

— Я к тебе прицепилась с Толстым? Я? Я к вам прицепилась с Толстым?

Коля тоже перешел «на вы». В пеналах громко ликовали. Лиза поспешно с затылка на лоб натягивала голубую вязанную шапочку.

— Куда ты идешь?

— Оставь меня в покое. Иду по делу.

И Лиза убежала.

«Куда она могла пойти?» — подумал Коля. Он прислушался.

— Много воли вашей сестре дано при советской власти, — сказали в крайнем слева пенале.

— Утопится! — решили в третьем пенале.

Пятый пенал развел примус и занялся обыденными поцелуями.

Лиза взволнованно бежала по улицам.

Был тот час воскресного дня, когда счастливцы везут по Арбату *со Смоленского* рынка матрацы *и комодики.*

Молодожены и советские середняки — главные покупатели пружинных матрацев. Они везут их стоймя и обнимают обеими руками. Да как им не обнимать голубую, в лоснящихся *мордастых* цветочках, основу своего счастья.

Граждане! Уважайте пружинный матрац в голубых цветочках! Это — семейный очаг, альфа и омега меблировки, общее и целое домашнего уюта, любовная база, отец примуса! Как сладко спать под демократический звон его пружин! Какие *сладкие* сны видит человек, засыпающий на его голубой дерюге! Каким уважением пользуется каждый матрацевладелец!

Человек, лишенный матраца, — жалок. Он не существует. Он не платит налогов, не имеет жены, знакомые *не занимают ему денег до среды,* шоферы такси посылают ему вдогонку оскорбительные слова, девушки смеются над ним — они не любят идеалистов.

Человек, лишенный матраца, большей частью пишет стихи:

Под мягкий звон часов Буре[251] приятно отдыхать в качалке.
Снежинки вьются на дворе, и, как мечты, летают галки.

Пишет он эти стихи за высокой конторкой телеграфа, задерживая деловых матрацевладельцев, пришедших отправлять телеграммы.

Матрац ломает жизнь человеческую. В его обивке и пружинах таится какая-то сила, притягательная и до сих пор не исследованная. На призывный звон его пружин стекаются люди и вещи. Приходит фининспектор и девушки. Они хотят дружить с матрацевладельцами. Фининспектор делает это в целях фискальных, преследующих государственную пользу, а девушки — бескорыстно, повинуясь законам природы. Начинается цветение молодости. Фининспектор, собравши налог, как пчела собирает весеннюю взятку, с радостным гудом улетает в свой участковый улей. А отхлынувших девушек заменяет жена и примус «Ювель № 1».

Матрац ненасытен. Он требует жертвоприношений. По ночам он издает звон падающего меча. Ему нужна этажерка. Ему нужен стол на глупых тумбах. Лязгая пружинами, он требует занавесей, портьер и кухонной посуды. Он толкает человека и говорит ему:

— Пойди и *купи* рубель[252] и *качалку!*

— Мне стыдно за тебя, человек! У тебя до сих пор нет ковра!

— Работай! Я скоро принесу тебе детей! Тебе нужны деньги на пеленки и колясочку!

Матрац все помнит и все делает по-своему.

Даже поэт не может избежать общей участи. Вот он везет с *Сухаревского* рынка матрац, с ужасом прижимаясь к его мягкому брюху.

— Я сломлю твое упорство, поэт! — говорит матрац. — Тебе уже не надо будет бегать на телеграф писать стихи. Да и вообще, стоит ли их писать? Служи! И сальдо будет всегда в твою пользу. Подумай о жене и детях.

— У меня нет жены, — кричит поэт, отшатываясь от пружинного учителя.

— Она будет. И я не поручусь, что это будет самая красивая девушка на земле. Я не знаю даже, будет ли она добра. Приготовься ко всему. У тебя родятся дети.

— Я не люблю детей!

— Ты полюбишь их!

— Вы пугаете меня, гражданин матрац!

— Молчи, дурак! Ты не знаешь всего! Ты еще возьмешь в Мосдреве

кредит на мебель.[253]

— Я убью тебя, матрац!

— Щенок. Если ты осмелишься это сделать, соседи донесут на тебя в домоуправление.

Так каждое воскресенье, под радостный звон матрацев, циркулируют по Москве счастливцы.

Но не этим одним, конечно, замечательно московское воскресенье.

Воскресенье — музейный день.

Есть в Москве особая категория людей. Она ничего не понимает в живописи, не интересуется архитектурой и *безразлична* к памятникам старины. Эта категория посещает музеи исключительно потому, что они расположены в прекрасных зданиях. Эти люди бродят по ослепительным залам, завистливо рассматривают расписные потолки, трогают руками то, что трогать воспрещено, и беспрерывно бормочут:

— Эх! Люди жили!

Им не важно, что стены расписаны французом Пюви де Шаванном.[254] Им важно узнать, сколько это стоило бывшему владельцу особняка. Они поднимаются по лестнице с мраморными изваяниями на площадках и представляют себе, сколько лакеев стояло здесь, сколько жалованья и чаевых получал каждый лакей. На камине стоит фарфор, но они, не обращая на него внимания, решают, что камин штука не выгодная — слишком много уходит дров. В *обшитой дубовой панелью* столовой они не *рассматривают* замечательную резьбу. Их мучит одна мысль: что ел здесь бывший хозяин-купец и сколько бы это стоило при теперешней дороговизне?

В любом музее можно найти таких людей. В то время как экскурсии бодро маршируют от одного шедевра к другому, такой человек стоит посреди зала и, не глядя ни на что, мычит, тоскуя:

— Эх! Люди жили!

Лиза бежала по улице, проглатывая слезы. Мысли подгоняли ее. Она думала о своей счастливой и бедной жизни.

«Вот если бы был еще стол и два стула, было бы совсем хорошо. И примус в конце концов нужно завести. Нужно как-то устроиться».

Она пошла медленнее, потому что внезапно вспомнила о ссоре с Колей. Кроме того, ей очень хотелось есть. Ненависть к мужу разгорелась в ней внезапно.

— Это просто безобразие! — сказала она вслух.

Есть захотелось еще сильней.

— Хорошо же, хорошо. Я сама знаю, что мне делать.

И Лиза, краснея, купила у торговки бутерброд с вареной колбасой. Как она ни была голодна — есть на улице показалось неудобным. Как-никак, а она все-таки была матрацевладелицей и тонко разбиралась в жизни. Она оглянулась и вошла в подъезд большого особняка. Там, испытывая большое наслаждение, *принялась* за бутерброд. *Вареная собачина* была обольстительна. Большая экскурсия вошла в подъезд. Проходя мимо стоявшей у стены Лизы, экскурсанты посматривали на нее.

«Пусть видят!» — решила озлобленная Лиза.

Глава XX
Музей мебели

Она вытерла платочком рот и смахнула с кофточки крошки. Ей стало веселее. Она стояла перед вывеской: «Музей мебельного мастерства». Возвращаться домой было неудобно. Идти было не к кому. В карманчике лежали двадцать копеек. И Лиза решила начать самостоятельную жизнь с *посещения «Музея мебельного мастерства»*. Проверив наличность, Лиза пошла в вестибюль.

В вестибюле Лиза сразу наткнулась на человека в подержанной бороде, который, упершись тягостным взглядом в малахитовую колонну, цедил сквозь усы:

— Богато жили люди!

Лиза с уважением посмотрела на колонну и прошла наверх.

В маленьких квадратных комнатах, с такими низкими потолками, что каждый входящий туда человек казался гигантом, — Лиза бродила минут десять.

Это были комнаты, обставленные павловским ампиром, императорским красным деревом и карельской березой — мебелью строгой, чудесной и воинственной. Два квадратных шкафа, стеклянные дверцы которых были крест-накрест пересечены копьями, стояли против письменного стола. Стол был безбрежен. Сесть за него было все равно, что сесть за Театральную площадь, причем Большой театр с колоннадой и четверкой бронзовых коняг, волокущих Апполона на премьеру «Красного мака»,[255] показался бы на столе чернильным прибором. Так, по крайней мере, чудилось Лизе, воспитываемой на морковке, как некий кролик. По углам стояли кресла с высокими спинками, верхушки которых были загнуты на манер бараньих рогов. Солнце лежало на персиковой обивке кресел. В такое кресло хотелось сейчас же сесть, но сидеть на нем воспрещалось.

Лиза мысленно сопоставила, как выглядело бы кресло бесценного павловского ампира рядом с ее матрацем в красную полоску. Выходило — ничего себе. *Лиза* прочла на стене табличку с научным и идеологическим обоснованием павловского ампира и, *огорчась* тому, что у нее с Колей нет комнаты в этом дворце, вышла в неожиданный коридор.

По левую руку от самого пола шли низенькие полукруглые окна.

Сквозь них, под ногами, Лиза увидела огромный белый двухсветный зал с колоннами. В зале тоже стояла мебель и блуждали посетители. Лиза остановилась. Никогда еще она не видела зала у себя под ногами. Дивясь и млея, она долго смотрела вниз. Вдруг она заметила, что там *быстро*, от кресел к бюро, переходят ее сегодняшние знакомые — товарищ Бендер и его спутник, бритоголовый представительный старик.

— Вот хорошо, — сказала Лиза, — будет не так скучно.

Она очень обрадовалась, побежала вниз и сразу же заблудилась. Она попала в красную гостиную, в которой стояло предметов сорок. Это была ореховая мебель на гнутых ножках. Из гостиной не было выхода. Пришлось бежать назад, через круглую комнату с верхним светом, меблированную, казалось, только цветочными подушками.

Она бежала мимо парчовых кресел итальянского Возрождения, мимо голландских шкафов, мимо большой готической кровати с балдахином на черных витых колоннах. Человек в этой постели казался бы не больше ореха. *Зал был где-то под ногами, может быть, справа, но попасть в него было невозможно.*

Наконец Лиза услышала гул экскурсантов, невнимательно слушавших руководителя, обличавшего империалистические замыслы Екатерины II в связи с любовью покойной императрицы к мебели стиля Луи-Сез.[256]

Это и был большой двухсветный зад с колоннами. Лиза прошла в противоположный его конец, где знакомый ей товарищ Бендер жарко беседовал со своим бритоголовым спутником.

Подходя, Лиза услышала звучный голос:

— Мебель в стиле шик-модерн. Но это, кажется, не то, что нам нужно.

— Да, но здесь, очевидно, есть еще и другие залы. Нам нужно систематически все осмотреть.

— Здравствуйте, — сказала Лиза.

Оба повернулись и сразу сморщились.

— Здравствуйте, товарищ Бендер. Хорошо, что я вас нашла. А то одной *очень* скучно. Давайте смотреть все вместе.

Концессионеры переглянулись. Ипполит Матвеевич приосанился, хотя ему было неприятно, что Лиза может их задержать в важном деле поисков *бриллиантовой* мебели.

— *Мы* типичные провинциалы, — сказал Бендер нетерпеливо, — но как попали сюда вы, москвичка?

— Совершенно случайно. Я поссорилась с Колей.

— Вот как? — заметил Ипполит Матвеевич.

— Ну, покинем этот зал, — сказал Остап.

— А я его еще не смотрела. Он такой красивенький.

— Начинается! — шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу. И, обращаясь к Лизе, добавил: — Смотреть здесь совершенно нечего. Упадочный стиль. Эпоха Керенского.

— Тут где-то, мне говорили, есть мебель мастера Гамбса, — сообщил Ипполит Матвеевич, — туда, пожалуй, отправимся.

Лиза согласилась и, взяв Воробьянинова *об* руку (он казался ей удивительно милым представителем науки), направилась к выходу. Несмотря на всю серьезность положения и наступивший решительный момент в поисках сокровищ, Бендер, идя позади парочки, игриво смеялся. Его смешил предводитель команчей в роли кавалера.

Лиза сильно стесняла концессионеров. В то время как они одним взглядом определяли, что в комнате нужной мебели нет, и невольно влеклись в следующую, — Лиза подолгу застревала в каждом отделе. Она прочитывала вслух все печатные *научно-идеологические* критики на мебель, отпускала острые замечания насчет посетителей и подолгу *застревала* у каждого экспоната. Невольно и совершенно незаметно для себя она приспосабливала виденную мебель к своей комнате и потребностям. Готическая кровать ей совсем не понравилась. Кровать была слишком велика. Если бы даже Коле удалось чудом получить комнату в три квадратных сажени, то и тогда средневековое ложе не поместилось бы в комнате. Однако Лиза долго обхаживала кровать, обмеривая шажками ее подлинную площадь. Лизе было очень весело. Она не замечала кислых физиономий своих спутников, рыцарские характеры которых не позволяли им сломя голову броситься в комнату мастера Гамбса.

— Потерпим, — шепнул Остап, — мебель не уйдет, а вы, предводитель, не жмите девочку. Я ревную.

Ипполит самодовольно улыбнулся.

Залы тянулись медленно. Им не было конца. Мебель александровской эпохи была представлена многочисленными комплектами. Сравнительно небольшие ее размеры привели Лизу в восторг.

— Смотрите, смотрите! — доверчиво кричала *Лиза*, хватая Воробьянинова за рукав. — Видите это бюро? Оно чудно подошло бы *для нашей комнаты*. Правда?

— Прелестная мебель! — гневно сказал Остап. — Упадочная только.

Мебель не произвела на Ипполита Матвеевича должного впечатления. Между тем она была прекрасна. Совершенство ее форм поражало глаз.

Лиза мечтательно сказала:

— На этом кресле, может быть, сидел Пушкин.

— Кто вы говорите, Пушкин? — спросил Остап. — Сейчас я узнаю.

Остап стал на колени и заглянул под сиденье.

— На нем сидел О'Генри, в бытность его в американской тюрьме Синг-Синг[257]*. Вы удовлетворены? А теперь мы смело можем перейти в другую комнату.*

Стада диванов, секретеров, горок, шкафов, все стили, все времена, все эпохи были осмотрены концессионерами, а залы, большие и маленькие, все еще тянулись.

— А здесь я уже была, — сказала Лиза, входя в красную гостиную, — здесь, я думаю, останавливаться не стоит.

К ее удивлению, равнодушные к мебели спутники *не только не рвались вперед, а* замерли у дверей, как часовые.

— Что ж вы стали? *Пойдем.* Я уже устала!

— Подождите, — сказал Ипполит Матвеевич, освобождаясь от ее руки, — одну минуточку.

Большая комната была перегружена мебелью. Гамбсовские стулья расположились вдоль стены и вокруг стола. Диван в углу тоже окружали стулья. Их гнутые ножки и удобные спинки были захватывающе знакомы Ипполиту Матвеевичу. Остап испытующе смотрел на него. Ипполит Матвеевич стал красным.

— Вы устали, барышня, — сказал он Лизе, — присядьте-ка сюда и отдохните, а мы с ним походим немного. Это, кажется, интересный зал.

Лизу усадили. Концессионеры отошли к окну.

— *Она?* — спросил Остап.

— Как будто *она. Только не та обивка.*

— *Великолепно, обивку могли переменить.*

— Нужно более тщательно осмотреть.

— Все стулья тут?

— Сейчас я посчитаю. Подождите, подождите…

Воробьянинов стал переводить глаза со стула на стул.

— Позвольте, — сказал он наконец, — двадцать стульев — этого не может быть. Их ведь должно быть всего десять.

— А вы присмотритесь хорошо. Может быть, это не те.

Они стали ходить между стульями.

— Ну? — торопил Остап.

— Спинка как будто не такая, как у моих.

— Значит, не те?

— Не те.

— *Мура*. Напрасно я с вами связался, кажется.

Ипполит Матвеевич был совершенно подавлен.

— Ладно, — сказал Остап, — заседание продолжается. Стул — не иголка. Найдется. Дайте ордера сюда. Придется вступить в неприятный контакт с администрацией музея. Садитесь рядом с девочкой и сидите. Я сейчас приду.

— *Что* вы такой грустный? — говорила Лиза. — Вы устали?

Ипполит Матвеевич отделывался молчанием.

— У вас голова болит?

— Да, немножко. Заботы, знаете ли. Отсутствие женской ласки сказывается на жизненном укладе.

Лиза сперва удивилась, а потом, посмотрев на своего бритоголового собеседника, и на самом деле его пожалела. Глаза у Воробьянинова были страдальческие. Пенсне не скрывало резко обозначавшихся мешочков. Быстрый переход от спокойной жизни делопроизводителя уездного загса к неудобному и хлопотливому быту охотника за *бриллиантами* и авантюриста даром не дался. Ипполит Матвеевич сильно похудел, и у него стала побаливать печень. Под суровым надзором Бендера Ипполит Матвеевич терял свою физиономию и быстро растворялся в могучем интеллекте сына турецко-подданного. Теперь, когда он на минуту остался вдвоем с очаровательной гражданкой *Калачевой*, ему захотелось рассказать ей обо всех горестях и волнениях, но он не посмел этого сделать.

— Да, — сказал он, нежно глядя на собеседницу. — Такие дела. Как же вы поживаете, Елизавета…

— Петровна. А вас как зовут?

Обменялись именами-отчествами.

«Сказка любви дорогой»,[258] — подумал Ипполит Матвеевич, вглядываясь в простенькое лицо Лизы. Так страстно, так неотвратимо захотелось старому предводителю женской ласки, отсутствие которой тяжело сказывается на жизненном укладе, что он немедленно взял Лизину лапку в свои морщинистые руки и горячо заговорил об *Эйфелевой башне*. Ему захотелось быть богатым, расточительным и неотразимым. Ему хотелось увлекать и под шум оркестров пить *некие* редереры[259] с красоткой из дамского оркестра в отдельном кабинете. О чем было говорить с этой девочкой, которая, безусловно, ничего не знает ни о редерерах, ни о дамских оркестрах и которая по своей природе даже не может постичь всей прелести этого жанра. А быть увлекательным так хотелось! И Ипполит Матвеевич обольщал Лизу *повестью о постройке*

Эйфелевой башни.

— Вы научный работник? — спросила Лиза.

— Да. Некоторым образом, — ответил Ипполит Матвеевич, чувствуя, что со времени знакомства с Бендером он приобрел несвойственное ему *раньше* нахальство.

— А сколько вам лет, простите за нескромность?

— К науке, которую я в настоящий момент представляю, это не имеет отношения.

Этим быстрым и метким ответом Лиза была покорена.

— Но все-таки? Тридцать? Сорок?

— Почти. Тридцать восемь.

— Ого! Вы выглядите значительно моложе.

Ипполит Матвеевич почувствовал себя счастливым.

— Когда вы доставите мне счастье увидеться с вами снова? — спросил Ипполит Матвеевич в нос.

— *А вам разве интересно со мной разговаривать? Я же глупенькая.*

— *Вы? — страстно сказал Ипполит Матвеевич. — Если б у меня было две жизни, я обе отдал бы вам.*

Лизе стало очень стыдно. Она заерзала в кресле и затосковала.

— Куда это товарищ Бендер запропастился? — сказала она тоненьким голосом.

— Так когда же? — спросил Воробьянинов нетерпеливо. — Когда и где мы увидимся?

— Ну, я не знаю. Когда хотите.

— Сегодня можно?

— Сегодня?

— Умоляю вас.

— Ну, хорошо. Пусть сегодня. Заходите к нам.

— Нет, давайте встретимся на воздухе. Теперь такие погоды замечательные. Знаете стихи: «Это май-баловник, это май-чародей веет свежим своим опахалом».[260]

— Это Жарова стихи?[261]

— М-м… Кажется. Так сегодня? Где же?

— Какой вы странный. Где хотите. Хотите у несгораемого шкафа? Знаете?

— *Знаю. В коридоре. В котором часу?*

— *У нас нет часов.* Когда стемнеет.

Едва Ипполит Матвеевич успел поцеловать Лизе руку, что он сделал

весьма *торжественно*, как вернулся Остап. Остап был очень деловит.

— Простите, *мадемуазель,* — сказал он быстро, — но мы с приятелем не сможем вас проводить. Открылось небольшое, но очень важное дельце. Нам надо срочно отправиться в одно место.

У Ипполита Матвеевича захватило дыханье.

— До свиданья, Елизавета Петровна, — сказал он поспешно, — простите, простите, простите, но мы страшно спешим.

И компаньоны убежали, оставив удивленную Лизу в комнате, обильно обставленной гамбсовской мебелью.

— Если бы не я, — сказал Остап, когда они спускались по лестнице, — ни черта бы не вышло. Молитесь за меня. Молитесь, молитесь, не бойтесь, голова не отвалится. Слушайте. Ваша мебель музейного значения не имеет. Ей место не в музее, а в казарме штрафного батальона. Вы удовлетворены этой ситуацией?

— Что за издевательство! — воскликнул Воробьянинов, начавший было освобождаться из-под ига могучего интеллекта сына турецко-подданного.

— Молчание, — холодно сказал Остап, — вы не знаете, что происходит. Если мы сейчас не захватим нашу мебель — кончено. Никогда нам ее не видать. Только что я имел в конторе тяжелый разговорчик с заведующим этой исторической свалкой.

— Ну и что же? — закричал Ипполит Матвеевич. Что же сказал вам заведующий?

— Сказал все, что надо. Не волнуйтесь. «Скажите, спросил я его, — чем объяснить, что направленная вам по ордеру мебель из Старгорода не имеется в наличности?» Спросил я это, конечно, любезно, в товарищеском порядке. «Какая это мебель? — спрашивает он. — У меня в музее таких фактов не наблюдается». Я ему сразу ордера *под нос* подсунул. Он полез в книги. Искал полчаса и наконец возвращается. Ну, как вы себе представляете? Где эта мебель?

— Пропала? — пискнул Воробьянинов.

— Представьте себе, нет. Представьте себе, что в таком кавардаке она уцелела. Как я вам уже говорил, музейной ценности она не имеет. Ее свалили в склад и только вчера, заметьте себе, вчера, через семь лет (она лежала на складе семь лет!), она была отправлена в аукцион на продажу. Аукцион Главнауки. И если ее не купили вчера или сегодня утром — она наша! Вы удовлетворены?

— Скорее! — закричал Ипполит Матвеевич.

— Извозчик! — завопил Остап.

Они сели, не торгуясь.

— Молитесь на меня, молитесь! Не бойтесь, гофмаршал! Вино, женщины и карты нам обеспечены. Тогда рассчитаемся и за голубой жилет.

В *Пассаж* на Петровке, где помещался аукционный зал, концессионеры вбежали бодрые, как жеребцы.

В первой же комнате аукциона они увидел то, что так долго искали. Все десять стульев Ипполита Матвеевича стояли вдоль стенки на своих гнутых ножках. Даже обивка на них не потемнела, не выгорела, не попортилась. Стулья были свежие и чистые, как будто *бы* только что вышли из-под надзора рачительной Клавдии Ивановны.

— Они? — спросил Остап.

— Боже, Боже, — твердил Ипполит Матвеевич, — они, они. Они самые. На этот раз сомнений никаких.

— На всякий случай проверим, — сказал Остап, стараясь быть спокойным.

Он подошел к продавцу.

— Скажите, эти стулья, кажется, из мебельного музея?

— Эти? Эти да.

— А они продаются?

— Продаются.

— Какая цена?

— Цены еще нет. Они у нас идут с аукциона.

— Ага. Сегодня?

— Нет. Сегодня торг уже кончился. Завтра с пяти часов.

— А сейчас они не продаются?

— Нет. Завтра с пяти часов.

Так, сразу же, уйти от стульев было невозможно.

— Разрешите, — пролепетал Ипполит Матвеевич, осмотреть. Можно?

Концессионеры долго рассматривали стулья, садились на них, смотрели для приличия и другие вещи. Воробьянинов сопел и все время подталкивал Остапа локтем.

— Молитесь на меня! — шептал Остап. — Молитесь, предводитель!

Ипполит Матвеевич был готов не только молиться на Остапа, но даже целовать подметки его малиновых штиблет.

— Завтра, — говорил он, — завтра, завтра, завтра.

Ему хотелось петь.

Глава XXI
Баллотировка по-европейски

В то время как друзья вели культурно-просветительный образ жизни — посещали музеи и делали авансы *дамочкам, затосковавшим по мясу,* — в Старгороде, на улице Плеханова, двойная вдова Грицацуева, женщина толстая и слабая, совещалась и конспирировала со своими соседками. Все скопом рассматривали оставленную Бендером записку и даже разглядывали ее на свет. Но водяных знаков на ней не было, а если бы они и были, то и тогда таинственные каракули великолепного Остапа не стали бы более ясными.

Прошло три дня. Горизонт оставался чистым. Ни Бендер, ни чайное ситечко, ни дутый браслетик, ни стул — не возвращались. Все эти одушевленные и неодушевленные предметы пропали самым загадочным образом.

Тогда вдова приняла радикальные меры. Она пошла в контору «Старгородской правды», и там ей живо состряпали объявление:

> Умоляю
> лиц, знающих местопребывание.
>
> Ушел из дому *тов.* Бендер, лет 25–30. Одет в зеленый костюм, желтые ботинки и голубой жилет. Брюнет.
>
> Указавш. *прош. сообщить* за приличн. вознагражд. Ул. Плеханова, 15, Грицацуевой.

— Это ваш сын? — участливо осведомлялись в конторе.

— Муж он мне! — ответила страдалица, закрывая лицо платком.

— Ах, муж!

— Законный. А что?

— Да ничего, ничего. Вы бы в милицию все-таки обратились.

Вдова испугалась. Милиции она страшилась. Провожаемая странными взглядами *конторщиков*, вдова удалилась.

Троекратно прозвучал призыв со страниц «Старгородской правды». Но великая страна молчала. Не нашлось лиц, знающих местопребывание брюнета в желтых ботинках. Никто не являлся за приличным вознаграждением. Соседки судачили.

Чело вдовы омрачалось с каждым днем все больше. И странное дело.

Муж мелькнул, как ракета, утащив с собой в черное небо хороший стул и семейное ситечко, а вдова все любила его. Кто может понять сердце женщины, особенно вдовой?

К трамваю в Старгороде уже привыкли и садились в него безбоязненно. Кондуктора кричали свежими голосами: «Местов нет», и все шло так, будто трамвай заведен в городе еще при Владимире Красное Солнышко. Инвалиды всех групп, женщины с детьми и Виктор Михайлович Полесов садились в вагоны с передней площадки. На крик *«получите* билеты» Полесов важно говорил — *«годовой»* — и оставался рядом с вагоновожатым. Годового билета у него не было и не могло быть.

Инженер Треухов руководил постройкой новых трамвайных линий и деятельно переписывался с заводоуправлением, поторапливая с высылкой вагонов.

Пребывание Воробьянинова и великого комбинатора оставило в городе глубокий след.

Заговорщики тщательно хранили доверенную им тайну. Молчал даже Виктор Михайлович, которого так и подмывало выложить волнующие его секреты первому встречному. Однако, вспоминая *оловянный взгляд и* могучие плечи Остапа, Полесов крепился. Душу он отводил только в разговорах с гадалкой.

— А как вы думаете, Елена Станиславовна, — говорил он, — чем объяснить отсутствие наших руководителей?

Елену Станиславовну это тоже весьма интересовало, но она не имела никаких сведений.

— А не думаете ли вы, Елена Станиславовна, — продолжал неугомонный слесарь, — что они выполняют сейчас особое задание?

Гадалка была убеждена, что это именно так. Того же мнения придерживался, видно, и попугай в красных подштанниках. Он смотрел на Полесова своим круглым разумным глазом, как бы говоря: «Дай семечек, и я тебе сейчас все расскажу. Виктор, ты будешь губернатором. Тебе будут подчинены все *слесари.* А дворник дома № 5 так и останется дворником, возомнившим о себе хамом».

— А не думаете ли вы, Елена Станиславовна, что нам нужно продолжать работу? Как-никак, нельзя сидеть сложа руки.

Гадалка согласилась и заметила:

— А ведь Ипполит Матвеевич герой.

— Герой, Елена Станиславовна. Ясно. А этот боевой офицер с ним? Деловой человек! Как хотите, Елена Станиславовна, а дело так стоять не может. Решительно не может.

И Полесов начал действовать. Он делал регулярные визиты всем членам тайного общества «Меча и орала», особенно допекая осторожного владельца «Одесской бубличной артели — „Московские баранки“ гражданина Кислярского. При виде Полесова *гражданин* Кислярский чернел. А слова о необходимости действовать доводили боязливого бараночника до умоисступления.

К концу недели все собрались у Елены Станиславовны в комнате с попугаем. Полесов кипел.

— Ты, Виктор, не болбочи, — говорил ему рассудительный Дядьев, — чего ты целыми днями по городу носишься?

— Надо действовать! — кричал Полесов.

— Действовать надо, а вот кричать совершенно не надо. Я, господа, вот как себе *это все* представляю. Раз Ипполит Матвеевич сказал — дело святое. И, надо полагать, ждать нам осталось недолго. Как все это будет происходить, нам и знать не надо. На то военные люди есть. А мы часть гражданская — представители городской интеллигенции и купечества. Нам что важно? Быть готовыми. Есть у нас что-нибудь? Центр у нас есть? Нету. Кто станет во главе города? Никого нет. А это, господа, самое главное. Англичане, господа, с большевиками, кажется, больше церемониться не будут. Это нам первый признак. Все переменится, господа, и очень быстро. Уверяю вас.

— Ну, в этом мы и не сомневаемся, — сказал Чарушников, надуваясь.

— И прекрасно, что не сомневаетесь. Как ваше мнение, господин Кислярский? И ваше, молодые люди?

Молодые люди всем своим видом выразили уверенность в быстрой перемене. А Кислярский, понявший со слов главы торговой фирмы «Быстроупак», что ему не придется принимать непосредственного участия в вооруженных столкновениях, обрадованно поддакнул.

— Что же нам сейчас делать? — нетерпеливо спросил Виктор Михайлович.

— Погодите, — сказал Дядьев, — берите пример со спутника господина Воробьянинова. Какая ловкость! Какая осторожность! Вы заметили, как он быстро перевел дело на помощь беспризорным? Так нужно действовать и нам. Мы только помогаем детям. Итак, господа, наметим кандидатуры.

— Ипполита Матвеевича Воробьянинова мы предлагаем в предводители дворянства! — воскликнули *молодые люди.*

Чарушников снисходительно закашлялся.

— Куда там! Он не меньше чем министром будет. А то и выше

подымай — в диктаторы!

— Да что вы, господа, — сказал Дядьев, — предводитель — дело десятое! О губернаторе нам надо думать, а не о предводителе. Давайте начнем с губернатора. Я думаю…

— Господина Дядьева! — восторженно закричал Полесов. — Кому же еще взять *власть* над всей губернией?

— Я очень польщен доверием, — начал Дядьев.

Но тут выступил внезапно покрасневший Чарушников.

— Этот вопрос, господа, — сказал он с надсадой в голосе, — следовало бы провентилировать.

На Дядьева он старался не смотреть.

Владелец «Быстроупака» гордо рассматривал свои сапоги, на которые налипли деревянные стружки.

— Я не возражаю, — вымолвил он, — давайте пробаллотируем. Закрытым голосованием или открытым?

— Нам по-советскому не надо, — обиженно сказал Чарушников, — давайте голосовать по-честному, по-европейски — закрыто.

Голосовали бумажками. За Дядьева было подано четыре записки. За Чарушникова — две. Кто-то воздержался. По лицу Кислярского было видно, что это он. Ему не хотелось портить отношений с будущим губернатором, кто бы он ни был.

Когда трепещущий Полесов огласил результаты честной европейской баллотировки, в комнате воцарилось тягостное молчание. На Чарушникова старались не смотреть. Неудачливый кандидат в губернаторы сидел как оплеванный.

Елене Станиславовне было очень его жалко. Это она голосовала за него. Другой голос Чарушников, искушенный в избирательных делах, подал за себя сам. Добрая Елена Станиславовна тут же сказала:

— А городским головой я предлагаю выбрать все-таки мосье Чарушникова.

— Почему же все-таки? — проговорил великодушный губернатор. — Не все-таки, а именно его и никого другого. Общественная деятельность господина Чарушникова нам хорошо известна.

— Просим, просим! — закричали все.

— Так считать избрание утвержденным?

Оплеванный Чарушников ожил и даже запротестовал:

— Нет, нет, господа, я прошу пробаллотировать. Городского голову даже скорее нужно баллотировать, чем губернатора. Если уж, господа, вы хотите оказать мне доверие, то, пожалуйста, очень прошу вас —

пробаллотируйте!

В пустую сахарницу посыпались бумажки.

— Шесть голосов — за, — сказал Полесов, — и один воздержался.

— Поздравляю вас, господин голова! — сказал Кислярский, по лицу которого было видно, что воздержался он и на этот раз. — Поздравляю вас!

Чарушников расцвел.

— Остается *выпить*, ваше высокопревосходительство, — сказал он Дядьеву. — Слетайте-ка, Полесов, в «Октябрь». Деньги есть?

Полесов сделал рукой таинственный жест и убежал. Выборы на время прервали и продолжали их уже за ужином.

Попечителем учебного округа[262] *наметился* бывший директор дворянской гимназии, ныне букинист. Распопов. Его очень хвалили. Только Владя, выпивший три рюмки водки, вдруг запротестовал:

— Его нельзя выбирать. Он мне на выпускном экзамене двойку по логике поставил.

На Владю набросились.

— В такой решительный час, — *кричали* ему, — нельзя помышлять о собственном благе. Подумайте об отечестве.

Владю так быстро сагитировали, что даже он сам голосовал за своего мучителя. Распопов был избран всеми голосами при одном воздержавшемся.

Кислярскому предложили пост председателя биржевого комитета.[263] Он против этого не возражал, но при голосовании на всякий случай воздержался.

Перебирая знакомых и родственников, выбрали полицмейстера, заведующего пробирной палатой,[264] акцизного, податного и фабричного инспекторов,[265] заполнили вакансии окружного прокурора, председателя, секретаря и членов суда, наметили председателей земской и купеческой управы, попечительства о детях и, наконец, мещанской управы.[266] Елену Станиславовну выбрали попечительницей обществ «Капля молока» и «Белый цветок».[267] *Владю и Никешу* назначили, за их молодостью, чиновниками для особых поручений при губернаторе.

— Паз-звольте! — воскликнул вдруг Чарушников. Губернатору целых два чиновника! А мне?

— Городскому голове, — мягко сказал губернатор, чиновников для особых поручений *по штату не полагается*.

— Ну, тогда секретаря.

Дядьев согласился. Оживилась и Елена Станиславовна.

— Нельзя ли, — сказала она робея, — тут у меня есть один молодой человек, очень милый и воспитанный мальчик. Сын мадам Черкесовой… Очень, очень милый, очень способный. Он безработный сейчас. На бирже труда состоит. У него есть даже билет. Его обещали на днях устроить в союз…[268] Не сможете ли вы взять его к себе? Мать будет очень благодарна.

— Пожалуй, можно будет, — милостиво сказал Чарушников, — как вы смотрите на это, господа? Ладно… В общем, я думаю, удастся.

— Что ж, — заметил Дядьев, — кажется, в общих чертах… все? Все как будто?

— А я? — раздался вдруг тонкий волнующийся голос.

Все обернулись. В углу, возле попугая, стоял вконец расстроенный Полесов. У Виктора Михайловича на черных веках закипали слезы. Всем стало очень совестно. Гости вспомнили вдруг, что пьют водку Полесова и что он вообще один из главных организаторов Старгородского отделения «Меча и орала». Елена Станиславовна схватилась за виски и испуганно вскрикнула.

— Виктор Михайлович! — застонали все. — Голубчик! Милый! Ну как вам не стыдно? Ну чего вы стали в углу? Идите сюда сейчас же!

Полесов приблизился. Он страдал. Он не ждал от товарищей по мечу и оралу такой черствости.

Елена Станиславовна не вытерпела.

— Господа! — сказала она. — Это ужасно! Как вы могли забыть дорогого всем нам Виктора Михайловича?

Она поднялась и поцеловала слесаря-аристократа в закопченный лоб.

— Неужели же, господа, Виктор Михайлович не сможет быть достойным попечителем учебного округа или полицмейстером?

— А, Виктор Михайлович? — спросил губернатор. — Хотите быть попечителем?

— Ну конечно же, он будет прекрасным, гуманным попечителем! — поддержал городской голова, глотая грибок и морщась.

— А Распо-опов? — обидчиво протянул Виктор Михайлович. — Вы же уже назначили Распопова?

— Да, в самом деле, куда девать Распопова?

— В брандмейстеры, что ли?..

— В брандмейстеры? — заволновался вдруг Виктор Михайлович.

Перед ним мгновенно возникли бесчисленные пожарные колесницы, блеск огней, звуки труб и барабанная дрожь. Засверкали топоры, закачались факелы, земля разверзлась, и вороные драконы понесли его на

пожар городского театра.

— Брандмейстером? Я хочу быть брандмейстером!

— Ну вот и отлично! Поздравляю вас, *вы — брандмейстер. Выпей, брандмейстер!*

— За процветание пожарной дружины! — иронически сказал председатель биржевого комитета.

На Кислярского набросились все.

— Вы всегда были левым! Знаем вас!

— Господа! Какой же я левый?

— Знаем, знаем!..

— Левый!

— Все евреи левые.

— Но, ей-богу, господа, этих шуток я не понимаю.

— Левый, левый, не скрывайте!

— Ночью спит и видит во сне Милюкова!

— Кадет! Кадет!

— Кадеты Финляндию продали,[269] — замычал вдруг Чарушников, — у японцев деньги брали![270] Армяшек разводили![271]

Кислярский не вынес потока неосновательных обвинений. Бледный, поблескивая глазками, председатель биржевого комитета ухватился за спинку стула и звенящим голосом сказал:

— Я всегда был октябристом[272] и останусь им.

Стали разбираться в том, кто какой партии сочувствует.

— Прежде всего, господа, — демократия, — сказал Чарушников, — наше городское самоуправление должно быть демократичным. Но без кадетишек. Они нам довольно нагадили в семнадцатом году!

— Надеюсь, — ядовито заинтересовался губернатор, — среди нас нет так называемых социал-демократов?

Левее октябристов, которых на заседании представлял Кислярский, — не было никого. Чарушников объявил себя «центром». На крайнем правом фланге стоял брандмейстер. Он был настолько правым, что даже не знал, к какой партии принадлежит.

Заговорили о войне.

— Не сегодня завтра, — сказал Дядьев.

— Будет война, будет.

— Советую запастись кое-чем, пока не поздно.

— Вы думаете? — встревожился Кислярский.

— А вы как полагаете? Вы думаете, что во время войны можно будет

что-нибудь достать? Сейчас же мука с рынка долой! Серебряные монетки, как сквозь землю, — бумажечки пойдут всякие, почтовые марки, имеющие хождение наравне,[273] и всякая такая штука.

— Война — дело решенное.

— *Мне один видный коммунист уже об этом говорил. Говорил, что будто бы СТО уже решительно повернуло в сторону войны.*[274]

— Вы как знаете, — сказал Дядьев, — а я все свободные средства бросаю на закупку предметов первой необходимости.

— А ваши дела с мануфактурой?

— Мануфактура *само* собой, а мука и сахар своим порядком. Так что советую и вам. Советую настоятельно.

Полесов усмехался.

— Как же большевики будут воевать? Чем? *Сормовские заводы делают не танки, а барахло!*[275] Чем они будут воевать? Старыми винтовками? А воздушный флот? Мне один видный коммунист говорил, что у них, ну как вы думаете, сколько аэропланов?

— Штук двести?

— Двести? Не двести, а тридцать два! А у Франции восемьдесят тысяч боевых самолетов.

— Да-а… Довели большевички до ручки…

Разошлись за полночь.

Губернатор пошел провожать городского голову. Оба шли преувеличенно ровно.

— Губернатор! — говорил Чарушников. — Какой же ты губернатор, когда ты не генерал?

— Я штатским генералом буду, а тебе завидно? Когда захочу, посажу тебя в тюремный замок. Насидишься у меня.

— Меня нельзя посадить. Я баллотированный, облеченный доверием.

— За баллотированного двух небаллотированных дают.

— Па-апрашу со мной не острить! — закричал вдруг Чарушников на всю улицу.

— Что же ты, дурак, кричишь? — спросил губернатор. — Хочешь в милиции ночевать?

— Мне нельзя в милиции ночевать, — ответил городской голова, — я советский служащий…

Сияла звезда. Ночь была волшебна. На Второй Советской продолжался спор губернатора с городским головой.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Глава XXII
От Севильи до Гренады

Позвольте, а где же отец Федор? Где стриженый священник церкви Фрола и Лавра? Он, кажется, собирался пойти на Виноградную улицу, в дом № 34, к гражданину Брунсу? Где же этот кладоискатель в образе ангела и заклятый враг Ипполита Матвеевича Воробьянинова, дежурящего ныне в темном коридоре у несгораемого шкафа?

Исчез отец Федор. Завертела его нелегкая. Говорят, что видели его на станции Попасная, Донецких дорог. Бежал он по перрону с чайником кипятку. Взалкал отец Федор. Захотелось ему богатства. Понесло его по России, за гарнитуром генеральши Поповой, в котором, надо признаться, ни черта нет.

Едет отец по России. Только письма жене пишет.

Письмо отца Федора,

писанное им в Харькове, на вокзале, своей жене, в уездный город N

Голубушка моя, Катерина Александровна!

Весьма пред тобою виноват. Бросил тебя, бедную, одну в такое время.

Должен тебе все рассказать. Ты меня поймешь и, можно надеяться, согласишься.

Ни в какие живоцерковцы я, конечно, не пошел и идти не думал, и Боже меня от этого упаси.

Теперь читай внимательно. Мы скоро заживем иначе. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик. Будет он у нас, и еще кое-что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеды варить, да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу.

Тут дело такое, но ты его держи в большом секрете, никому, даже Марье Ивановне, не говори. Я ищу клад. Помнишь покойную Клавдию Ивановну Петухову, воробьяниновскую

тещу? Перед смертью Клавдия Ивановна открылась мне, что в ее доме, в Старгороде, в одном из гостиных стульев (их всего двенадцать) запрятаны ее *бриллианты.* Ты, Катенька, не подумай, что я вор какой-нибудь. Эти бриллианты она завещала мне и велела их стеречь от Ипполита Матвеевича, ее давнишнего мучителя.

Вот почему я тебя, бедную, бросил так неожиданно.

Ты уж меня не виновать.

Приехал я в Старгород, и, представь себе, этот старый женолюб тоже там очутился. Узнал как-то. Видно, старуху перед смертью пытал. Ужасный человек! И с ним ездит какой-то уголовный преступник, нанял себе бандита. Они на меня прямо набросились, сжить со свету хотели. Да я не такой, мне пальца в рот не клади, не дался.

Сперва я попал на ложный путь. Один стул только нашел в воробьяниновском доме (там ныне богоугодное заведение), несу я мою мебель к себе в номера «Сорбонна» и вдруг из-за угла с рыканьем человек на меня лезет, как лев, набросился и схватился за стул. Чуть до драки не дошло. Осрамить меня хотели. Потом я пригляделся — смотрю — Воробьянинов. Побрился, представь себе, и голову оголил, аферист, позорится на старости лет.

Разломали мы стул — ничего там нету. Это потом я понял, что на ложный путь попал. А в то время очень огорчался.

Стало мне обидно, и я этому развратнику всю правду в лицо выложил.

— Какой, — говорю, — срам на старости лет. Какая, — говорю, — дикость в России теперь настала. Чтобы предводитель дворянства на священнослужителя, аки лев, бросался и за беспартийность *упрекал.* Вы, — говорю, — низкий человек, мучитель Клавдии Ивановны и охотник за чужим добром, которое теперь государственное, а не его.

Стыдно ему стало, и он ушел от меня прочь — в публичный дом, должно быть.

А я пошел к себе в номера «Сорбонна» и стал обдумывать дальнейший план. И сообразил я то, что дураку этому бритому никогда бы в голову и не пришло. Я решил найти человека, который распределял реквизированную мебель. Представь себе, Катенька, недаром я на юридическом факультете обучался — пошло на пользу. Нашел я этого человека. На другой же день

нашел. Варфоломеич — очень порядочный старичок. Живет себе со *старухой бабушкой* — тяжелым трудом хлеб добывает. Он мне все документы дал. Пришлось, правда, вознаградить за такую услугу. Остался без денег (но об этом после). Оказалось, что все двенадцать гостиных стульев из воробьянинского Лома попали к инженеру Брунсу на Виноградную улицу. Заметь, что все стулья попали к одному человеку, чего я никак не ожидал (боялся, что стулья попадут в разные места). Я очень этому обрадовался. Тут, как раз, в «Сорбонне» я снова встретился с мерзавцем Воробьяниновым. Я хорошенько отчитал его и его друга, бандита, не пожалел. Я очень боялся, что они проведают мой секрет, и затаился в гостинице до тех пор, покуда они не съехали.

Брунс, оказывается, из Старгорода выехал в 1923 году в Харьков, куда его назначили служить. От дворника я выведал, что он увез с собою всю мебель и очень ее сохраняет. Человек он, говорят, степенный.

Сижу теперь в Харькове на вокзале и пишу вот по какому случаю. Во-первых, очень тебя люблю и вспоминаю, а во-вторых, Брунса здесь уже нет. Но ты не огорчайся. Брунс служит теперь в Ростове, в «Новоросцементе», как я узнал. Денег у меня на дорогу в обрез. Выезжаю через час товаро-пассажирским. А ты, моя добрая, зайди, пожалуйста, к зятю, возьми у него пятьдесят рублей (он мне должен и обещался отдать) и вышли в Ростов — главный почтамт до востребования Федору Иоанновичу Вострикову. Перевод, в видах экономии, пошли почтой. Будет стоить тридцать копеек.

Что у нас слышно в городе? Что нового?

Приходила ли к тебе Кондратьевна? Отцу Кириллу скажи, что скоро вернусь, мол, к умирающей тетке в Воронеж поехал. Экономь средства. Обедает ли еще Евстигнеев? Кланяйся ему от меня. Скажи, что к тетке уехал.

Как погода? Здесь, в Харькове, совсем лето. Город шумный — центр Украинской республики. После провинции кажется, будто за границу попал.

Сделай:

1) Мою летнюю рясу в чистку отдай (лучше 3 р. за чистку отдать, чем на новую тратиться), 2) Здоровье береги, 3) Когда Гуленьке будешь писать, упомяни невзначай, что я к тетке уехал в Воронеж.

Кланяйся всем от меня. Скажи, что скоро приеду.

Нежно целую, обнимаю и благословляю.

Твой муж Федя.

Нотабене: Где-то теперь рыщет Воробьянинов?

Любовь сушит человека.[276] Бык мычит от страсти. Петух не находит себе места. Предводитель дворянства теряет аппетит.

Бросив Остапа и студента Иванопуло в трактире, Ипполит Матвеевич пробрался в розовый домик и занял позицию у несгораемой кассы. Он слышал шум отходящих в *Кастилью* поездов и плеск отплывающих пароходов.

Гаснут дальней Альпухары золотистые края.

Сердце шаталось, как маятник. В ушах тикало.

На призывный звон гитары выйди, милая моя.

Тревога носилась по коридору. Ничто не могло растопить холод несгораемого шкафа.

От Севильи до Гренады в тихом сумраке ночей.

В пеналах стонали граммофоны. Раздавался пчелиный гул примусов.

Раздаются серенады, раздается звон мечей.

Словом, Ипполит Матвеевич был влюблен до крайности в Лизу Калачову.

Многие люди проходили по коридору мимо Ипполита Матвеевича, но от них пахло табаком, или водкой, или аптекой, или суточными щами. Во мраке коридора людей можно было различать только по запаху или тяжести шагов. Лиза не проходила. В этом Ипполит Матвеевич был уверен. Она не курила, не пила водки и не носила сапог, подбитых железными дольками. Йодом или головизной пахнуть от нее не могло. От нее мог произойти только нежнейший запах рисовой кашицы или вкусно изготовленного сена, которым госпожа Нордман-Северова так долго кормила знаменитого художника Илью Репина.[277]

Но вот послышались легкие неуверенные шаги. Кто-то шел по коридору, натыкаясь на его эластичные стены и сладко бормоча.

— Это вы, Елизавета Петровна? — спросил Ипполит Матвеевич зефирным голоском.

В ответ пробасили:

— Скажите, пожалуйста, где здесь живут Пфеферкорны? Тут в

темноте ни черта не разберешь.

Ипполит Матвеевич испуганно замолчал. Искатель Пфеферкорнов недоуменно подождал ответа и, не дождавшись его, пополз дальше.

Только к девяти часам пришла Лиза! Они вышли на Улицу под карамельно-зеленое вечернее небо.

— Где же мы будем гулять? — спросила Лиза.

Ипполит Матвеевич поглядел на ее белое и милое светящееся лицо и, вместо того, чтобы прямо сказать: «Я здесь, Инезилья, стою под окном»,[278] — начал длинно и нудно говорить о том, что давно не был в Москве и что Париж не в пример лучше *белокаменной*, которая, как ни крути, остается бессистемно распланированной большой деревней.

— Помню я Москву, Елизавета Петровна, не такой. Сейчас во всем скаредность чувствуется. А мы в свое время денег не жалели. «В жизни живем мы только раз» — есть такая песенка.

Прошли весь Пречистенский бульвар и вышли на набережную, к храму Христа Спасителя.

За Москворецким мостом тянулись черно-бурые лисьи хвосты. Электрические станции Могэса[279] дымили, как эскадра. Трамваи перекатывались через мосты. По реке шли лодки. Грустно повествовала гармоника.

Ухватившие за руку Ипполита Матвеевича, Лиза рассказала ему обо всех своих огорчениях. Про ссору с мужем, про трудную жизнь среди подслушивающих соседей — бывших химиков — и об однообразии вегетарианского стола.

Ипполит Матвеевич слушал и соображал. Демоны просыпались в нем. Мнился ему замечательный ужин. Он пришел к заключению, что такую девушку нужно чем-нибудь оглушить.

— Пойдемте в театр, — предложил Ипполит Матвеевич.

— Лучше в кино, — сказала Лиза, — в кино дешевле.

— О! Причем тут деньги! Такая ночь и вдруг какие-то деньги.

Совершенно разошедшиеся демоны, не торгуясь, посадили парочку на извозчика и повезли в кино «Арс».[280] Ипполит Матвеевич был великолепен. Он взял самые дорогие билеты. Впрочем, до конца сеанса не *досидели*. Лиза привыкла сидеть на дешевых местах, вблизи, и плохо видела из дорогого *двадцать* четвертого ряда.

В кармане Ипполита Матвеевича лежала половина суммы, *вырученной* концессионерами *на старгородском заговоре*. Это были большие деньги для отвыкшего от роскоши Воробьянинова. Теперь, взволнованный

возможностью легкой любви, он собирался ослепить Лизу широтою размаха. Для этого он считал себя великолепно подготовленным. Он с гордостью вспомнил, как легко покорил когда-то сердце прекрасной Елены Боур. *Уменье* тратить деньги легко и помпезно было ему присуще. Воспитанностью и умением вести разговор с любой дамой он славился в Старгороде. Ему показалось смешным затратить весь свой старорежимный лоск на покорение маленькой советской девочки, которая ничего еще толком не видела и не знала.

После недолгих уговоров Ипполит Матвеевич повез Лизу в *образцовую столовую МСПО* «Прагу»[281] — лучшее место в Москве, как говорил ему Бендер.

Лучшее место в Москве поразило Лизу обилием зеркал, света и цветочных горшков. Лизе это было простительно — она никогда еще не посещала больших образцово-показательных ресторанов. Но зеркальный зал совсем неожиданно поразил и Ипполита Матвеевича. От отстал, забыл ресторанный уклад. Теперь ему было положительно стыдно за свои баронские сапоги с квадратными носами, штучные довоенные брюки и лунный жилет, осыпанный серебряной звездой.

Оба смутились и замерли на виду у всей, довольно разношерстной, публики.

— Пройдемте туда, в угол, — предложил Воробьянинов, хотя у самой эстрады, где оркестр выпиливал дежурное попурри из «Баядерки», были свободные столики.

Чувствуя, что на нее все смотрят, Лиза быстро согласилась. За нею смущенно последовал светский лев и покоритель женщин Воробьянинов. Потертые брюки светского льва свисали с худого зада мешочком. Покоритель женщин сгорбился и, чтобы преодолеть смущение, стал протирать пенсне.

Никто не подошел к столу, *как этого ожидал Ипполит Матвеевич, и* он, вместо того чтобы галантно беседовать со своей дамой, молчал, томился, несмело стучал пепельницей по столу и бесконечно откашливался. Лиза *любопытно* смотрела по сторонам, молчание становилось неестественным, но Ипполит Матвеевич не мог вымолвить ни слова. Он забыл, что именно он всегда говорил в таких случаях. *Его сковывало то, что никто не подходил к столику.*

— Будьте добры! — взывал он к пролетавшим мимо работникам нарпита.[282]

— Сию минуточку-с, — кричали *работники нарпита* на ходу.

Наконец карточка была принесена. Ипполит Матвеевич с чувством облегчения углубился в нее.

— Однако, — пробормотал он, — телячьи котлеты два двадцать пять, филе — два двадцать пять, водка — пять рублей.

— За пять рублей большой графин-с, — сообщил официант, нетерпеливо оглядываясь.

«Что со мной? — ужасался Ипполит Матвеевич. — Я становлюсь смешон».

— Вот, пожалуйста, — сказал он Лизе с запоздалой вежливостью, — не угодно ли выбрать? Что вы будете есть?

Лизе было совестно. Она видела, как гордо смотрел официант на ее спутника, и понимала, что он делает чтото не то.

— Я совсем не хочу есть, — сказала она дрогнувшим голосом, — или вот что… Скажите, товарищ, нет ли у вас чего-нибудь вегетарианского?

Официант стал топтаться, как конь.

— Вегетарианского не держим-с. Разве омлет с ветчиной?

— Тогда вот что, — сказал Ипполит Матвеевич, решившись. — Дайте нам сосисок. Вы ведь будете есть сосиски, Елизавета Петровна?

— Буду.

— Так вот. Сосиски. Вот эти, по рублю двадцать пять. И бутылку водки.

— В графинчике будет.

— Тогда большой графин.

Работник нарпита посмотрел на беззащитную Лизу прозрачными глазами.

— Водку чем будете закусывать? Икры свежей? Семги? Расстегайчиков?

В Ипполите Матвеевиче продолжал бушевать делопроизводитель загса.

— Не надо, — с неприятной грубостью сказал он. — Почем у вас огурцы соленые? Ну, хорошо, дайте два.

Официант убежал, и за столиком снова водворилось молчание. Первой заговорила Лиза:

— Я здесь никогда не была. Здесь очень мило.

— Да-а, — протянул Ипполит Матвеевич, высчитывая стоимость заказанного.

«Ничего, — думал он, — выпью водки — разойдусь. А то, в самом деле, неловко как-то».

Но когда выпил водки и закусил огурцом, то не разошелся, а

помрачнел еще больше. Лиза не пила. Натянутость не исчезала. А тут еще к столику подошел усатый человек и, ласкательно глядя на Лизу, предложил купить цветы.

Ипполит Матвеевич притворился, что не замечает усатого цветочника, но тот не уходил. Говорить при нем любезности было совершенно невозможно.

На время выручила концертная программа. На эстраду вышел сдобный мужчина в визитке и лаковых туфлях.

— Ну, вот мы снова увиделись с вами, — развязно сказал он в публику. — Следующим номером нашей консертной *программы*[283] выступит мировая исполнительница русских народных песен, хорошо известная в Марьиной Роще,[284] Варвара Ивановна Годлевская. Варвара Ивановна! Пожалуйте!

Ипполит Матвеевич пил водку и молчал. Так как Лиза не пила и все время порывалась уйти домой, надо было спешить, чтобы успеть выпить весь графин.

Когда на сцену вышел куплетист в рубчатой бархатной толстовке, сменивший певицу, известную в Марьиной Роще, и запел:

Ходите,
Вы всюду бродите,
Как будто ваш аппендицит
От хожденья будет сыт,
Ходите,
Та-ра-ра-ра, —

Ипполит Матвеевич уже порядочно захмелел и, вместе со всеми посетителями образцовой столовой, которых он еще полчаса тому назад считал грубиянами и скаредными советскими бандитами, захлопал в такт ладошами и стал подпевать:

Ходите,
Та-ра-ра-ра.

Он часто вскакивал и, не извинившись, уходил в уборную. Соседние столики его уже называли дядей и приваживали к себе на бокал пива. Но он не шел. Он стал вдруг гордым и подозрительным. Лиза решительно

встала из-за стола.

— Я пойду. А вы оставайтесь. Я сама дойду.

— Нет, зачем же? Как дворянин, не могу допустить! Сеньор! Счет! Ха-мы!..

На счет Ипполит Матвеевич смотрел долго, раскачиваясь на стуле.

— Девять рублей двадцать копеек? — бормотал он. — Может быть, вам еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат?

Кончилось тем, что Ипполита Матвеевича свели вниз, бережно держа под руки. Лиза не могла убежать, потому что номерок от гардероба был у великосветского льва.

В первом же переулке Ипполит Матвеевич навалился на Лизу плечом и стал хватать ее руками. Лиза молча отдиралась.

— Слушайте! — говорила она. — Слушайте! Слушайте!

— Поедем в номера! — убеждал Воробьянинов.

Лиза с силой высвободилась и, не примериваясь, ударила покорителя женщин кулачком в нос. Сейчас же свалилось пенсне с золотой дужкой и, попав под квадратный носок баронских сапог, с хрустом раскрошилось.

Ночной зефир *струил* эфир.[285]

Лиза, захлебываясь слезами, побежала по Серебряному переулку к себе домой.

Шумел, бежал Гвадалквивир.

Ослепленный Ипполит Матвеевич мелко затрусил в противоположную сторону, крича:

— Держи вора!

Потом он долго плакал и, еще плача, купил у старушки все ее баранки, вместе с корзиной. Он вышел на Смоленский рынок, пустой и темный, и долго расхаживал там взад и вперед, разбрасывая баранки, как сеятель бросает семена. При этом он немузыкально кричал:

Ходите,
Вы всюду бродите,
Та-ра-ра-ра.

Затем Ипполит Матвеевич подружился с лихачом, раскрыл ему всю душу и сбивчиво рассказал про *бриллианты.*

— Веселый барин! — воскликнул извозчик.

Ипполит Матвеевич действительно развеселился. Как видно, его веселье носило несколько предосудительный характер, потому что часам к одиннадцати утра он проснулся в отделении милиции. Из двухсот рублей, которыми он так позорно начал ночь наслаждений и утех, при нем оставалось только двенадцать.[286]

Ему казалось, что он умирает. Болел позвоночник, ныла печень, а на голову, он чувствовал, ему надели свинцовый котелок. Но ужаснее всего было то, что он решительно не помнил, где и как он мог истратить такие большие деньги.

Остап долго и с удивлением рассматривал измочаленную фигуру Ипполита Матвеевича, но ничего не сказал. Он был холоден и готов к борьбе.

Глава XXIII
Экзекуция

Аукционный торг открывался в пять часов. Доступ граждан для обозрения вещей начинался с четырех. Друзья явились в три и целый час рассматривали машиностроительную выставку, помещавшуюся тут же рядом.

— Похоже на то, — сказал Остап, — что завтра мы сможем уже при наличии доброй воли купить этот паровозик. Жалко, что цена не проставлена. Приятно все-таки иметь собственный паровоз.

Ипполит Матвеевич маялся. Только стулья могли его утешить. От них он отошел лишь в ту минуту, когда на кафедру взобрался аукционист в клетчатых брюках «столетье» и бороде, ниспадавшей на толстовку русского коверкота.[287]

Концессионеры заняли места в четвертом ряду справа. Ипполит Матвеевич начал сильно волноваться. Ему казалось, что стулья будут продаваться сейчас же. Но они стояли сорок третьим номером, и в продажу поступала сначала обычная аукционная гиль и дичь: разрозненные гербовые сервизы, соусник, серебряный подстаканник, пейзаж художника Петунина, бисерный ридикюль, совершенно новая горелка от примуса, бюстик Наполеона, полотняные бюстгальтеры, гобелен «Охотник, стреляющий диких уток» и прочая галиматья.

Приходилось терпеть и ждать. Ждать было очень трудно: все стулья *были* налицо, цель была близка, ее можно было достать рукой.

«А большой бы здесь начался *шухер,* — подумал Остап, оглядывая аукционную публику, — если бы они узнали, какой огурчик будет сегодня продаваться под видом этих стульев».

— Фигура, изображающая правосудие! — провозгласил аукционист. — Бронзовая. В полном порядке. Пять рублей. Кто больше? Шесть с полтиной справа, в конце — семь. Восемь рублей в первом ряду прямо. Второй раз восемь рублей прямо. Третий раз. В первом ряду прямо.

К гражданину из первого ряда сейчас же понеслась девица с квитанцией для получения денег.

Стучал молоточек аукциониста. Продавались пепельницы из дворца, стекло баккара, пудреница фарфоровая.

Время тянулось мучительно.

— Бронзовый бюстик Александра Третьего. Может служить пресс-папье. Больше, кажется, ни на что не годен. Идет с предложенной цены бюстик Александра Третьего.

Публика заржала.

— Купите, предводитель, — съязвил Остап, — вы, кажется, любите!

Ипполит Матвеевич не отводил глаз от стульев и молчал.

— Нет желающих? Снимается с торга бронзовый бюстик Александра Третьего. Фигура, изображающая правосудие. Кажется, парная к только что купленной. Василий, покажите публике «Правосудие». Пять рублей. Кто больше?

В первом ряду прямо послышалось сопенье. Как видно, гражданину хотелось иметь *правосудие* в полном составе.

— Пять рублей — бронзовое «Правосудие»!

— Шесть! — четко сказал гражданин.

— Шесть рублей прямо. Семь. Девять рублей в конце справа.

— Девять с полтиной, — тихо сказал любитель *правосудия, подымая* руку.

— С полтиной прямо. Второй раз, с полтиной прямо. Третий раз, с полтиной.

Молоточек опустился. На гражданина из первого ряда налетела барышня.

Он уплатил и поплелся в другую комнату *получить свои правосудия.*

— Десять стульев из дворца! — сказал вдруг аукционист.

— Почему из дворца? — тихо ахнул Ипполит Матвеевич.

Остап рассердился:

— Да идите вы к черту! Слушайте и не рыпайтесь!

— Десять стульев из дворца. Ореховые. Эпохи Александра Второго. В полном порядке. Работы мебельной мастерской Гамбса. Василий, подайте один стул под рефлектор.

Василий так грубо потащил стул, что Ипполит Матвеевич привскочил.

— Да сядьте вы, идиот проклятый, навязался на мою голову! — зашипел Остап. — Сядьте, я вам говорю!

У Ипполита Матвеевича заходила нижняя челюсть. Остап сделал стойку. Глаза его посветлели.

— Десять стульев ореховых. Восемьдесят рублей.

Зал оживился. Продавалась вещь, нужная в хозяйстве. Одна за другой выскакивали руки. Остап был спокоен.

— Чего же вы не торгуетесь? — набросился на него Воробьянинов.

— Пошел вон, — ответил Остап, стиснув зубы.

— Сто двадцать рублей позади. Сто тридцать пять там же. Сто сорок.

Остап спокойно повернулся спиной к кафедре и с усмешкой стал рассматривать своих конкурентов.

Был разгар аукциона. Свободных мест уже не было. Как раз позади Остапа дама, переговорив с мужем, польстилась на стулья (Чудные полукресла! Дивная работа! Саня! Из дворца же!) и подняла руку.

— Сто сорок пять в пятом ряду справа, раз.

Зал потух. Слишком дорого.

— Сто сорок пять, два.

Остап равнодушно рассматривал лепной карниз. Ипполит Матвеевич сидел, опустив голову, и вздрагивал.

— Сто сорок пять, три…

Но, прежде чем черный лакированный молоточек ударился о фанерную кафедру, Остап повернулся, выбросил вверх руку и негромко сказал:

— Двести!

Все головы повернулись в сторону концессионеров. Фуражки, кепки, картузы и шляпы пришли в движение. Аукционист поднял скучающее лицо и посмотрел на Остапа.

— Двести, раз, — сказал он, — двести — в четвертом ряду справа, два. Нет больше желающих торговаться? Двести рублей гарнитур ореховый дворцовый из десяти предметов. Двести рублей, три — в четвертом раду справа.

Рука с молоточком повисла над кафедрой.

— Мама! — сказал Ипполит Матвеевич громко.

Остап, розовый и спокойный, улыбался. Молоточек упал, издавая небесный звук.

— Продано, — сказал аукционист. — Барышня! В четвертом раду справа.

— Ну, председатель, эффектно? — спросил Остап. Что бы, интересно знать, вы делали без технического руководителя?

Ипполит Матвеевич счастливо ухнул. К ним рысью приближалась барышня.

— Вы купили стулья?

— Мы! — воскликнул долго сдерживавшийся Ипполит Матвеевич. — Мы, мы. Когда их можно будет взять?

— А когда хотите. Хоть сейчас!

Мотив «Ходите, вы всюду бродите» бешено запрыгал в голове Ипполита Матвеевича. Наши стулья, наши, наши, наши! Об этом кричал

весь его организм. «Наши!» — кричала печень. «Наши!» — подтверждала слепая кишка.

Он так обрадовался, что у него в самых неожиданных местах объявились пульсы. Все это вибрировало, раскачивалось и трещало под напором неслыханного счастья. Стал виден поезд, приближающийся к Сен-Готарду. На открытой площадке последнего вагона стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов в белых брюках и курил сигару. Эдельвейсы тихо падали на его голову, снова украшенную блестящей алюминиевой сединой. *Ипполит Матвеевич* катил в Эдем.

— А почему же двести тридцать, а не двести? — услышал Ипполит Матвеевич.

Это говорил Остап, вертя в руках квитанцию.

— Это включается пятнадцать процентов комиссионного сбора, — ответила барышня.

— Ну, что же делать. Берите.

Остап вытащил бумажник, отсчитал двести рублей и повернулся к главному директору предприятия.

— Гоните тридцать рублей, дражайший, да поживее, не видите — дамочка ждет. Ну?

Ипполит Матвеевич не сделал ни малейшей попытки достать деньги.

— Ну? Что же вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Обалдели от счастья?

— У меня нет денег, — пробормотал наконец Ипполит Матвеевич.

— У кого нет? — спросил Остап очень тихо.

— У меня.

— А двести рублей?!

— Я… м-м-м… п-потерял.

Остап посмотрел на Воробьянинова, быстро оценил помятость его лица, зелень щек и раздувшиеся мешки под глазами.

— Дайте деньги! — прошептал он с ненавистью. — Старая сволочь.

— Так вы будете платить? — спросила барышня.

— Одну минуточку, — сказал Остап, чарующе улыбаясь, — маленькая заминка.

Тут очнувшийся Ипполит Матвеевич,[288] разбрызгивая слюну, ворвался в разговор.

— Позвольте! — завопил он. — Почему комиссионный сбор? Мы ничего не знаем о таком сборе! Надо предупреждать. Я отказываюсь платить эти тридцать рублей!

— Хорошо, — сказала барышня кротко, — я сейчас все устрою.

Взяв квитанцию, она унеслась к аукционисту и сказала ему несколько слов. Аукционист сейчас же поднялся. Борода его сверкала под светом сильных электрических ламп.

— По правилам аукционного торга, — звонко заявил он, — лицо, отказывающееся уплатить полную сумму за купленный им предмет, должно покинуть зал! Торг на стулья отменяется.

Изумленные друзья сидели недвижимо.

— Папрашу вас! — сказал аукционист.

Эффект был велик. В публике злобно смеялись. Остап все-таки не вставал. Таких ударов он не испытывал давно.

— Па-апра-ашу вас!

Аукционист пел голосом, не допускающим возражения.

Смех в зале усилился.

И они ушли. Мало кто уходил из аукционного зала с таким горьким чувством. Первым шел Воробьянинов. Согнув прямые костистые плечи, в укоротившемся пиджачке и глупых баронских сапогах, он шел, как журавль, чувствуя за собой теплый дружественный взгляд великого комбинатора.

Концессионеры остановились в комнате, соседней с аукционным залом. Теперь они могли смотреть на торжище только через стеклянную дверь. Путь тут был уже прегражден. Остап дружественно молчал.

— Возмутительные порядки, — трусливо забормотал Ипполит Матвеевич, — форменное безобразие! В милицию на них нужно жаловаться.

Остап молчал.

— Нет, действительно, это ч-черт знает что такое! — продолжал горячиться Воробьянинов. — Дерут с трудящихся втридорога. Ей-Богу!.. За какие-то подержанные десять стульев двести тридцать рублей. С ума сойти…

— Да, — деревянно сказал Остап.

— Правда? — переспросил Воробьянинов. — С ума сойти можно!..

— Можно.

Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок.

— Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!

Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука.

Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой.

— Ну, теперь пошел вон!

Остап повернулся спиной к директору предприятия и стал смотреть в аукционный зал. Через минуту он *повернулся*. Ипполит Матвеевич все еще стоял позади, сложив руки по швам.

— Ах, вы еще здесь, душа общества? Пошел! Ну?

— Това-арищ Бендер, — взмолился Воробьянинов. — Това-арищ Бендер!

— Иди! Иди! И к Иванопуло не приходи! Выгоню!

— Това-арищ Бендер!

Остап больше не оборачивался. В зале произошло нечто, так сильно заинтересовавшее Бендера, что он приотворил дверь и стал прислушиваться.

— Все пропало! — пробормотал он.

— Что пропало? — угодливо спросил Воробьянинов.

— Стулья отдельно продают, вот что. Может быть, желаете приобрести? Пожалуйста. Я вас не держу. Только сомневаюсь, чтобы вас пустили. Да и денег у вас, кажется, не густо.

В это время в аукционном зале происходило следующее: аукционист, почувствовавший, что выколотить из публики двести рублей сразу не удастся (слишком крупная сумма для мелюзги, оставшейся в зале), решил выколотить эти двести рублей по кускам. Стулья снова поступили в торг, но уже по частям.

— Четыре стула из дворца. Ореховые. Мягкие. Работы Гамбса. Тридцать рублей. Кто больше?

К Остапу быстро вернулись *вся* его решительность и хладнокровие.

— Ну, вы, дамский любимец, стойте здесь и никуда не выходите. Я через пять минут приду. А вы тут смотрите, кто и что. Чтоб ни один стул не ушел.

В голове Бендера *созрел* план, единственно возможный при таких тяжелых условиях, в которых они очутились.

Он выбежал на Петровку и направился к ближайшему асфальтовому чану. *Еще саженей за десять он увидел молодого человека, расставлявшего треногу фотографического аппарата. В котле сидели беспризорные. Как только они увидели, что их тесную группу собираются сфотографировать, они стали защищаться. В фотохроникера полетели куски смолы. Он отскочил, таща за собой похожую на жертвенник треногу с клап-камерой*[289]*. Переправившись на другой тротуар,*

фотограф сделал попытку снять беспризорных издалека. Тогда юные оборвыши покинули котел и набросились на врага. Испуганный за целость своего аппарата, фотограф спасся Петровскими линиями.

Из гущи собравшейся толпы лениво вышел фотокорреспондент конкурирующего журнала. Беспризорные смотрели на него безо всякой приязни, но толпа волновала фотографа, как тореадора волнуют взгляды красавиц. К тому же он был тонкий психолог. Он подошел к детям, дал на всю компанию полтинник, и уже через минуту беспризорные чинно сидели в котле, а фотограф общелкивал их со всех сторон.

— Мерси, — сказал он по привычке, — готово.

Его проводил одобрительный смех расходившейся публики.

Тогда в деловой разговор с беспризорными вступил Остап.

Он, как и обещал, вернулся к Ипполиту Матвеевичу через пять минут. Беспризорные стояли наготове у входа в аукцион.

— Продают, продают, — зашептал Ипполит Матвеевич, — четыре и два уже продали.

— Это вы удружили, — сказал Остап, — радуйтесь. В руках все было, понимаете, в руках. Можете вы это понять?

В зале раздавался скрипучий голос, дарованный природой одним только аукционистам, крупье и стекольщикам.

— С полтиной, налево. Три. Еще один стул из дворца. Ореховый. В полной исправности… С полтиной — прямо. Раз — с полтиной прямо.

Три стула были проданы поодиночке. Аукционист объявил к продаже последний стул. Злость душила Остапа. Он снова набросился на Воробьянинова. Оскорбительные замечания его были полны горечи. Кто знает, до чего дошел бы Остап в своих сатирических упражнениях, если б его не прервал быстро подошедший мужчина в костюме лодзинских коричневатых цветов.[290] Он размахивал пухлыми руками, наклонялся, прыгал и отскакивал, словно играл в теннис.

— А скажите, — поспешно спросил он Остапа, — здесь в самом деле аукцион? Да? Аукцион? И здесь в самом деле продаются вещи? Замечательно!

Незнакомец отпрыгнул, и лицо его озарилось множеством улыбок.

— Вот здесь действительно продают вещи? И в самом деле можно дешево купить? Высокий класс! Очень, очень! Ах!..

Незнакомец, виляя толстенькими бедрами, пронесся в зал мимо ошеломленных концессионеров и так быстро купил последний стул, что Воробьянинов только крякнул. Незнакомец с квитанцией в руках подбежал к прилавку выдачи.

— А скажите, стул можно сейчас взять? Замечательно!.. Ах!.. Ах!..

Беспрерывно блея и все время находясь в движении, незнакомец погрузил стул на извозчика и укатил. По его следам бежал беспризорный.

Мало-помалу разошлись и разъехались все новые собственники стульев. За ними мчались несовершеннолетние агенты Остапа. Ушел и он сам. Ипполит Матвеевич боязливо следовал позади. Сегодняшний день казался ему сном. Все произошло быстро и совсем не так, как ожидалось.

На Сивцевом Вражке рояли, мандолины и гармоники праздновали весну. Окна были распахнуты. Цветники в глиняных горшочках заполняли подоконники. Толстый человек с раскрытой волосатой грудью в подтяжках стоял у окна и страстно пел. Вдоль стены медленно пробирался кот. В продуктовых палатках пылали керосиновые лампы.

У розового домика прогуливался Коля. Увидев Остапа, шедшего впереди, он вежливо с ним раскланялся и подошел к Воробьянинову. Ипполит Матвеевич сердечно его приветствовал. Коля, однако, не стал терять времени.

— Добрый вечер, — решительно сказал он и, не в силах сдержаться, ударил Ипполита Матвеевича в ухо.

Одновременно с этим Коля произнес довольно пошлую, по мнению наблюдавшего за этой сценой Остапа, фразу:

— Так будет со всеми, — сказал Коля детским голоском, — кто покусится…

На что именно покусится, Коля не договорил. Он поднялся на носках и, закрыв глаза, хлопнул Воробьянинова по щеке.

Ипполит Матвеевич приподнял локоть, но не посмел даже пикнуть.

— Правильно, — приговаривал Остап, — а теперь по шее и два раза. Так. Ничего не поделаешь. Иногда яйцам приходится учить зарвавшуюся курицу… Еще разок… Так. Не стесняйтесь. По голове больше не бейте. Это его самое слабое место.

Если бы старгородские заговорщики видели гиганта мысли и отца русской демократии в эту критическую для него минуту, то, надо думать, тайный союз *«Меча* и орала» прекратил бы свое существование.

— Ну, кажется, хватит, — сказал Коля, пряча руку в карман.

— Еще один разик, — умолял Остап.

— Ну его к черту. Будет знать другой раз!

Коля ушел. Остап поднялся к Иванопуло и посмотрел вниз. Ипполит Матвеевич стоял наискось от дома, прислонясь к чугунной посольской ограде.

— Гражданин Михельсон! — крикнул Остап. — Конрад Карлович!

Войдите в помещение! Я разрешаю!

В комнату Ипполит Матвеевич вошел уже слегка оживший.

— Неслыханная наглость! — сказал он гневно. — Я еле сдержал себя!

— Ай-яй-яй, — посочувствовал Остап, — какая теперь молодежь пошла. Ужасная молодежь! Преследует чужих жен! Растрачивает чужие деньги… Полная упадочность! — *И, вспомнив блеющего незнакомца, спросил:* — А скажите, когда бьют по голове, в самом деле больно?

— Я его вызову на дуэль.

— Чудно! Могу вам отрекомендовать моего хорошего знакомого. Знает дуэльный кодекс наизусть и обладает двумя вениками, вполне пригодными для борьбы не на жизнь, а на смерть. В секунданты можно взять Иванопуло и соседа справа. Он бывший почетный гражданин города Кологрива[291] и до сих пор кичится этим титулом. А то можно устроить дуэль на мясорубках — это элегантнее. Каждое ранение безусловно смертельно. Пораженный противник механически превращается в котлету. Вас это устраивает, предводитель?

В это время с улицы донесся свист, и Остап отправился получать агентурные сведения от беспризорных.

Беспризорные отлично справились с возложенным на них поручением. Четыре стула попали в театр Колумба. Беспризорный подробно рассказал, как эти стулья везли на тачке, как их выгрузили и втащили в здание через артистический ход. Местоположение театра Остапу было хорошо известно.

Два стула увезла на извозчике, как сказал другой юный следопыт, «шикарная чмара». Мальчишка, как видно, большими способностями не отличался. Переулок, в который привезли стулья — Варсонофьевский, — он знал, помнил даже, что номер квартиры семнадцатый, но номер дома никак не мог вспомнить.

— Очень шибко бежал, — сказал беспризорный, — из головы выскочило.

— Не получишь денег, — заявил наниматель.

— Дя-адя!.. Да я тебе покажу.

— Хорошо. Оставайся. Пойдем вместе.

Блеющий гражданин жил, оказывается, на Садовой-Спасской. Точный адрес его Остап записал в блокнот.

Восьмой стул поехал в Дом *Народов.* Мальчишка, преследовавший этот стул, оказался пронырой.

Преодолев заграждения в виде комендатуры и многочисленных курьеров, он проник в *Дом* и убедился, что стул был куплен завхозом редакции «Станка».

Двух мальчишек еще не было. Они прибежали почти одновременно, запыхавшиеся и утомленные.

— Казарменный переулок, у Чистых прудов.

— Номер?

— Девять. И квартира девять. Там татары рядом живут. Во дворе. Я ему и стул донес. Пешком шли.

Последний гонец принес печальные вести. Сперва все было хорошо, но потом все стало плохо. Покупатель вошел со стулом в товарный двор Октябрьского вокзала, и пролезть за ним было никак невозможно — у ворот стояли стрелки ОВО НКПС.[292]

— Наверно, уехал, — закончил беспризорный свой доклад.

Это очень встревожило Остапа. Наградив беспризорных по-царски — рубль на гонца, не считая вестника с Варсонофьевского переулка, забывшего номер дома (ему было велено явиться на другой день пораньше), — технический директор вернулся домой и, не отвечая на расспросы осрамившегося председателя правления, принялся комбинировать.

Ничего еще не потеряно. Адреса есть, а для того, чтобы добыть стулья, существует много старых испытанных приемов: 1) простое знакомство, 2) любовная интрига, 3) знакомство со взломом, 4) обмен, 5) деньги *и 6) деньги*.[293] Последнее — самое верное. Но денег мало. Остап иронически посмотрел на Ипполита Матвеевича. К великому комбинатору вернулись обычная свежесть мысли и душевное равновесие. Деньги, конечно, можно будет достать. В запасе еще имелись картина «Большевики пишут письмо Чемберлену», чайное ситечко и полная возможность продолжать карьеру многоженца.

Беспокоил только десятый стул. След, конечно, был, но какой след! — расплывчатый и туманный.

— Ну что ж! — сказал Остап громко. — На такие шансы ловить можно. Играю девять против одного. Заседание продолжается! Слышите? Вы! Присяжный заседатель!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Глава XXIV
Людоедка Эллочка

Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет *12.000* слов.[294] Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо»[295] составляет *300* слов.

Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью.

Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка:[296]

1. Хамите.

2. Хо-хо! (Выражает, в зависимости от обстоятельств, иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.)

3. Знаменито.

4. Мрачный. (По отношению ко всему. Например: «мрачный Петя пришел», «мрачная погода», «мрачный случай», «*мрачный* кот» и т. д.)

5. Мрак.

6. Жуть. (Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой: «*жуткая* встреча».)

7. Парниша. (По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения.)

8. Не учите меня жить.

9. Как ребенка. («Я *его бью*, как ребенка» — при игре в карты. «Я его срезала, как ребенка» — как видно, в разговоре с ответственным съемщиком.)

10. Кр-р-расота!

11. Толстый и красивый. (Употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов.)

12. Поедем на извозчике. (Говорится мужу.)

13. Поедем в таксо. (Знакомым *мужеского* пола.[297])

14. У вас вся спина белая *(шутка).*

15. Подумаешь!

16. Уля. (Ласкательное окончание имен. Например: Мишуля, Зинуля.)

17. Ого! (Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.)

Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили

передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов.

Если рассмотреть фотографии Эллочки Щукиной, висящие над постелью ее мужа — инженера Эрнеста Павловича Щукина (одна — анфас, другая в профиль), — то нетрудно заметить лоб приятной высоты и выпуклости, большие влажные глаза, милейший в Московской губернии носик с *легкой курносостью* и подбородок с маленьким, нарисованным тушью, пятнышком.

Рост Эллочки льстил мужчинам. Она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с нею выглядели большими и могучими мужами.

Что же касается особых примет, то их не было. Эллочка и не нуждалась в них. Она была красива.

Двести рублей, которые ежемесячно получал ее муж на заводе «Электролюстра»,[298] для Эллочки были оскорблением. Они никак не могли помочь той грандиозной борьбе, которую Эллочка вела уже четыре года, с тех пор как заняла общественное положение домашней хозяйки — *Щукинши,* жены Щукина. Борьба велась с полным напряжением сил. Она поглощала все ресурсы. Эрнест Павлович брал на дом вечернюю работу, отказался от прислуги, разводил примус, выносил мусор и даже жарил котлеты.

Но все было бесплодно. Опасный враг *разрушал* хозяйство с каждым годом все больше. *Как уже говорилось*, Эллочка четыре года тому назад заметила, что у нее есть соперница за океаном. Несчастье посетило Эллочку в тот радостный вечер, когда Эллочка примеряла очень миленькую крепдешиновую кофточку. В этом наряде она казалась почти богиней.

— Хо-хо, — воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие *ее существо.* Упрощенно чувства эти можно было бы выразить в *такой* фразе: «Увидев меня такой, мужчины взволнуются. Они задрожат. Они пойдут за мной на край света, заикаясь от любви. Но я буду холодна. Разве они стоят меня? Я — самая красивая. Такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре».

Но слов было всего тридцать, и Эллочка выбрала из них наиболее выразительное — «хо-хо».

В такой великий час к ней пришла Фима Собак. Она принесла с собой морозное дыхание января и французский журнал мод. На первой его странице Эллочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь

американского миллиардера Вандербильда[299] в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, *легкость покроя необыкновенная*[300] и умопомрачительная прическа.

Это решило все.

— Ого! — сказала Эллочка самой себе.

Это значило: «Или я, или она».

Утро другого дня застало Эллочку в парикмахерской. Здесь *Эллочка* потеряла прекрасную черную косу и перекрасила волосы в рыжий цвет. Затем удалось подняться еще на одну ступеньку той лестницы, которая приближала Эллочку к сияющему раю, где прогуливаются дочки миллиардеров, не годящиеся домашней хозяйке Щукиной даже в подметки: по рабкредиту[301] была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль. Она была употреблена на отделку вечернего туалета. Мистер Щукин, давно лелеявший мечту о покупке новой чертежной доски, несколько приуныл. Платье, отороченное собакой, нанесло заносчивой Вандербильдихе первый меткий удар. Потом гордой американке были нанесены три удара подряд. Эллочка приобрела у домашнего скорняка Фимочки Собак шиншилловый палантин (русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии), завела себе голубиную шляпу из аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в модный дамский жилет. Миллиардерша покачнулась, но ее, как видно, спас любвеобильный *papa* — Вандербильд. Очередной номер журнала мод заключал в себе портреты проклятой соперницы в четырех видах: 1) в черно-бурых лисах, 2) с бриллиантовой звездой на лбу, 3) в авиационном костюме — высокие *лаковые* сапожки, тончайшая зеленая куртка *испанской кожи* и перчатки, раструбы которых были инкрустированы изумрудами средней величины, и 4) в бальном туалете — каскады драгоценностей и немножко шелку.

Эллочка произвела мобилизацию. *Papa*- Щукин взял ссуду в кассе взаимопомощи. Больше тридцати рублей ему не дали. Новое мощное усилие в корне подрезало хозяйство. Приходилось бороться во всех областях жизни. Недавно были получены фотографии мисс в ее новом замке во Флориде. Пришлось и Эллочке обзавестись новой мебелью. *Эллочка* купила на аукционе два мягких стула. (Удачная покупка! Никак нельзя было пропустить!) Не спросясь мужа, Эллочка взяла деньги из обеденных сумм. До пятнадцатого оставалось десять дней и четыре рубля.

Эллочка с шиком провезла стулья по Варсонофьевскому переулку. Мужа дома не было. Впрочем, он скоро явился, таща с собой портфель-сундук.

— Мрачный муж пришел, — отчетливо сказала Эллочка.

Все слова произносились ею отчетливо и выскакивали бойко, как горошины.

— Здравствуй, Еленочка, а это что такое? Откуда стулья?

— Хо-хо!

— Нет, в самом деле?

— Кр-расота!

— Да. Стулья хорошие.

— Зна-ме-ни-тые!

— Подарил кто-нибудь?

— Ого!

— Как?! Неужели ты купила? На какие же средства? Неужели на хозяйственные? Ведь я тебе тысячу раз говорил…

— Эрнестуля! Хамишь!

— Ну, как же так можно делать?! Ведь нам же есть нечего будет!

— Подумаешь!..

— Но ведь это возмутительно! Ты живешь не по средствам!

— Шутите!

— Да, да. Вы живете не по средствам…

— Не учите меня жить!

— Нет, давай поговорим серьезно. Я получаю двести рублей…

— Мрак!

— Взяток не беру… Денег не краду и подделывать их не умею…

— Жуть!..

Эрнест Павлович замолчал.

— Вот что, — сказал он наконец, — так жить нельзя.

— Хо-хо, — возразила Эллочка, садясь на новый стул.

— Нам надо разойтись.

— Подумаешь!

— Мы не сходимся характерами. Я…

— Ты толстый и красивый парниша.

— Сколько раз я просил не называть меня парнишей!

— Шутите!

— И откуда у тебя этот идиотский жаргон?!

— Не учите меня жить!

— О черт! — крикнул инженер.

— Хамите, Эрнестуля.

— Давай разойдемся мирно.

— Ого!

— Ты мне ничего не докажешь! Этот спор…

— Я побью тебя, как ребенка…

— Нет, это совершенно невыносимо. Твои доводы не могут меня удержать от того шага, который я вынужден сделать. Я сейчас же иду за ломовиком.

— Шутите.

— Мебель мы делим поровну.

— Жуть!

— Ты будешь получать сто рублей в месяц. Даже сто двадцать. Комната останется у тебя. Живи, как тебе хочется, а я так не могу…

— Знаменито, — сказала Эллочка презрительно.

— А я перееду к Ивану Алексеевичу.

— Ого!

— Он уехал на дачу и оставил мне на лето всю свою квартиру. Ключ у меня… Только мебели нет.

— Кр-расота!

Эрнест Павлович через пять минут вернулся с дворником.

— Ну, гардероб я не возьму, он тебе нужнее, а вот письменный стол, уж будь так добра… И один этот стул возьмите, дворник. Я возьму один из этих двух стульев. Я думаю, что имею на это право?..

Эрнест Павлович связал свои вещи в большой узел, завернул сапоги в газету и повернулся к дверям.

— У тебя вся спина белая, — сказала Эллочка граммофонным голосом.

— До свиданья, Елена.

Он ждал, что жена хоть в этом случае воздержится от обычных металлических словечек. Эллочка также почувствовала всю важность минуты. Она напряглась и стала искать подходящие для разлуки слова. Они быстро нашлись.

— Поедешь в таксо? Кр-расота.

Инженер лавиной скатился по лестнице.

Вечер Эллочка провела с Фимой Собак. Они обсуждали необычайно важное событие, грозившее опрокинуть мировую экономику.

— Кажется, будут носить длинное и широкое, — говорила Фима, по-куриному окуная голову в плечи.

— Мрак!

И Эллочка с уважением посмотрела на Фиму Собак. Мадмуазель Собак слыла культурной девушкой — в ее словаре было около ста восьмидесяти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое

Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово — гомосексуализм.[302] Фима Собак, несомненно, была культурной девушкой.

Оживленная беседа затянулась далеко за полночь.

В десять часов утра великий комбинатор вошел в Варсонофьевский переулок. Впереди бежал давешний беспризорный мальчик. Мальчик указал дом.

— Не врешь?

— Что вы, дядя… Вот сюда, в парадное.

Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль.

— Прибавить надо, — сказал мальчик по-извозчичьи.

— От мертвого осла уши. Получишь у Пушкина. До свиданья, дефективный.[303]

Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение.

— Ого? — спросили из-за двери.

— По делу, — ответил Остап.

Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели открыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, переделанный из толстовки Эрнеста Павловича и отороченный загадочным мехом.

Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад.

— Прекрасный мех! — воскликнул он.

— Шутите! — сказала Эллочка нежно. — Это мексиканский тушкан.

— Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы.[304] Ну да! Барсы! Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд!

Эллочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна.

Не давая хозяйке опомниться, великий комбинатор вывалил все, что слышал когда-либо о мехах. После этого заговорили о шелке, и Остап обещал подарить очаровательной хозяйке несколько сот шелковых коконов, *привезенных* ему председателем ЦИК Узбекистана.

— Вы парниша что надо, — заметила Эллочка в результате первых

минут знакомства.

— Вас, конечно, *удивит* ранний визит *незнакомого* мужчины.

— Хо-хо.

— Но я к вам по одному деликатному делу.

— Шутите.

— Вы вчера были на аукционе и произвели на меня необыкновенное впечатление.

— Хамите!

— Помилуйте! Хамить такой очаровательной женщине бесчеловечно.

— Жуть!

Беседа продолжалась дальше в таком же, *дающем в некоторых случаях чудесные плоды,* направлении. Но комплименты Остапа раз от разу становились все водянистее и короче. Он заметил, что второго стула в комнате не было. Пришлось нащупывать след *исчезнувшего стула*. Перемежая свои расспросы цветистой восточной лестью, Остап узнал о событиях прошедшего вечера в Эллочкиной жизни.

«Новое дело, — подумал он, — стулья расползаются, как тараканы».

— Милая девушка, — неожиданно сказал Остап, — продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Продайте, девочка, я вам дам семь рублей.

— Хамите, парниша, — лукаво сказала Эллочка.

— Хо-хо, — втолковывал Остап.

«С ней нужно действовать на обмен», — решил он.

— Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду — разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно.

Эллочка насторожилась.

— *У меня* как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь.

— Должно быть, знаменито, — заинтересовалась Эллочка.

— Ого! Хо-хо! Давайте обменяемся. Вы мне стул, а я вам ситечко. Хотите?

И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко.

Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. Неожиданно осветился темный угол комнаты. На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из-под консервов на людоеда Мумбо-Юмбо. В таких случаях людоед кричит полным голосом, Эллочка же тихо застонала:

— Хо-хо!

Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и, узнав у очаровательной женщины адрес мужа, галантно раскланялся.

Глава XXV
Авессалом Владимирович Изнуренков

Для концессионеров началась страдная пора. Остап утверждал, что стулья нужно ковать, пока они горячи. Ипполит Матвеевич был амнистирован, хотя время от времени Остап допрашивал его:

— И какого черта я с вами связался? Зачем вы мне, собственно говоря? Поехали бы себе домой, в загс. Там вас покойники ждут, новорожденные. Не мучьте младенцев. Поезжайте.

Но в душе великий комбинатор привязался к одичавшему предводителю. «Без него не так смешно жить», — думал Остап. И он *смешливо* поглядывал на Воробьянинова, у которого на голове уже пророс серебряный газончик.

В плане работ инициативе Ипполита Матвеевича было отведено порядочное место. Как только тихий бывший студент Иванопуло уходил, Бендер вдалбливал компаньону кратчайшие пути к отысканию сокровищ.

Действовать смело. Никого не расспрашивать. Побольше цинизма. Людям это нравится. Через третьих лиц ничего не предпринимать. Дураков больше нет. Никто для вас не станет таскать *бриллианты* из чужого кармана. Но и без уголовщины. Кодекс мы должны чтить.[305]

И тем не менее розыски шли без особенного блеска. Мешали Уголовный кодекс и огромное количество буржуазных предрассудков, сохранившихся у обитателей столицы. Они, например, терпеть не могли ночных визитов через форточку. Приходилось работать только легально.

В комнате студента Иванопуло в день посещения Остапом Эллочки Щукиной появилась мебель. Это был стул, обмененный на чайное ситечко, — третий по счету трофей экспедиции. Давно уже прошло то время, когда охота за *бриллиантами* вызывала в компаньонах мощные эмоции, когда они рвали стулья когтями и грызли их пружины.

— Даже если в стульях ничего нет, — говорил Остап, — считайте, что мы заработали десять тысяч по крайней мере. Каждый вскрытый стул прибавляет нам шансы. Что из того, что в дамочкином стуле ничего нет? Из-за этого не надо его ломать. Пусть Иванопуло помеблируется. Нам *же* приятнее.

В тот же день концессионеры выпорхнули из розового домика и разошлись в разные стороны. Ипполиту Матвеевичу был поручен блеющий

незнакомец с *Садово-Спасской*, дано 25 рублей на расходы, велено в пивные не заходить и без стула не возвращаться. На себя великий комбинатор взял Эллочкиного мужа.

Ипполит Матвеевич пересек город на автобусе № 6. Трясясь на кожаной скамеечке и взлетая под самый лаковый потолок кареты, он думал о том, как узнать фамилию блеющего гражданина, под каким предлогом к нему войти, что сказать первой фразой и как приступить к самой сути.

Высадившись у Красных Ворот, он нашел по записанному Остапом адресу нужный дом и принялся ходить вокруг да около. Войти он не решался. Это была старая, грязная московская гостиница, превращенная в жилтоварищество, укомплектованное, судя по обшарпанному фасаду, злостными неплательщиками. Ипполит Матвеевич долго стоял против подъезда, подходил к нему, затвердил наизусть рукописное объявление с угрозами по адресу *злостных неплательщиков* и, ничего не надумав, поднялся на второй этаж. В коридор выходили отдельные комнаты. Медленно, словно бы он подходил к классной доске, чтобы доказать не выученную им теорему, Ипполит Матвеевич приблизился к комнате № 41. На дверях висела на одной кнопке, головой вниз, визитная карточка *цвета заношенного крахмального воротничка:*

«Авессалом Владимирович Изнуренков».

В полном затмении Ипполит Матвеевич забыл постучать и открыл дверь, *которая оказалась незапертой*, сделал три *шага лунатика* и очутился посреди комнаты.

— Простите, — сказал он придушенным голосом, — могу я видеть товарища Изнуренкова?

Авессалом Владимирович не отвечал. Воробьянинов поднял голову и только теперь увидел, что в комнате никого нет.

По внешнему виду *комнаты* никак нельзя было определить наклонности ее хозяина. Ясно было лишь то, что он холост и прислуги у него нет. На подоконнике лежала бумажка с колбасными шкурками. Тахта у стены была завалена газетами. На маленькой полочке стояло несколько пыльных книг. Со стен глядели цветные фотографии котов, котиков и кошечек. Посредине комнаты, рядом с грязными, повалившимися на бок ботинками, стоял ореховый стул. На всех предметах меблировки, в том числе и стуле из старгородского особняка, болтались малиновые сургучные печати. Но Ипполит Матвеевич не обратил на это внимания. Он сразу же забыл об *уголовном* кодексе, о наставлениях Остапа и подскочил к стулу.

В это время газеты на тахте зашевелились. Ипполит Матвеевич

испугался. Газеты поползли и свалились с тахты. Из-под них вышел спокойный котик. Он равнодушно посмотрел на Ипполита Матвеевича и стал умываться, захватывая лапкой ухо, щечку и ус.

— Фу, — сказал Ипполит Матвеевич.

И потащил стул к двери. Дверь раскрылась сама. На пороге появился хозяин комнаты — блеющий незнакомец. Он был в пальто, из-под которого виднелись лиловые кальсоны. В руке он держал брюки.

Об Авессаломе Владимировиче Изнуренкове можно было сказать, что другого такого человека нет во всей республике. Республика ценила его по заслугам. Он приносил ей большую пользу. И за всем тем он оставался неизвестным, хотя в своем искусстве он был таким же мастером, как Шаляпин — в пении, Горький — в литературе, Капабланка — в шахматах,[306] Мельников — в беге на коньках[307] и самый носатый, самый коричневый ассириец, занимающий лучшее место на углу Тверской и Камергерского, — в чистке сапог желтым кремом.

Шаляпин пел. Горький писал большой роман.[308] Капабланка готовился к матчу с Алехиным.[309] Мельников рвал рекорды. Ассириец доводил штиблеты граждан до солнечного блеска. Авессалом Изнуренков — острил.

Он никогда не острил бесцельно, ради красного словца. Он *острил* по заданиям юмористических журналов. На своих плечах он выносил ответственнейшие кампании. *Он* снабжал темами для рисунков и фельетонов большинство московских сатирических журналов.

Великие люди острят два раза в жизни. Эти остроты увеличивают их славу и попадают в историю. Изнуренков выпускал не меньше шестидесяти первоклассных острот в месяц, которые с улыбкой повторялись всеми, и все же оставался в неизвестности. Если остротой Изнуренкова подписывался рисунок, то слава доставалась художнику. Имя художника помещали над рисунком. Имени Изнуренкова не было.

— Это ужасно! — кричал он. — Невозможно подписаться. Под чем я подпишусь? Под двумя строчками?

И он продолжал с жаром бороться с врагами общества: плохими кооператорами, растратчиками, Чемберленом и бюрократами. Он уязвлял своими остротами подхалимов, управдомов, частников, завов, хулиганов, граждан, не желавших снижать цены,[310] и хозяйственников, отлынивавших от режима экономии.

После выхода журналов в свет остроты произносились с цирковой арены, перепечатывались вечерними газетами без указания источника и

преподносились публике с эстрады «авторами-куплетистами».

Изнуренков умудрялся острить в тех областях, где, казалось, уже ничего смешного нельзя было сказать. Из такой чахлой пустыни, как вздутые накидки на себестоимость, Изнуренков умудрялся выжать около сотни шедевров юмора. Гейне опустил бы руки, если бы ему предложили сказать что-нибудь смешное и вместе с тем общественно полезное по поводу неправильной тарификации грузов малой скорости; Марк Твен убежал бы от такой темы. Но Изнуренков оставался на своем посту.

Он бегал по редакционным комнатам, натыкаясь на урны для окурков и блея. Через десять минут тема была обработана, обдуман рисунок и приделан заголовок.

Увидев в своей комнате человека, уносящего опечатанный стул, Авессалом Владимирович взмахнул только что выглаженными у портного брюками, подпрыгнул и заклекотал:

— Вы с ума сошли! Я протестую! Вы не имеете права! Есть же, наконец, закон! Хотя дуракам он и не писан, но вам, может быть, понаслышке известно, что мебель может стоять еще две недели!.. Я пожалуюсь прокурору!.. Я *заплачу*, наконец!

Ипполит Матвеевич стоял на месте, а Изнуренков сбросил пальто и, не отходя от двери, натянул брюки на свои полные, как у Чичикова, ноги. Изнуренков был толстоват, но лицо имел худое.

Воробьянинов не сомневался, что его сейчас схватят и потащат в милицию. Поэтому он был крайне удивлен, когда хозяин комнаты, справившись со своим туалетом, неожиданно успокоился.

— Поймите же, — заговорил хозяин примирительным тоном, — ведь я не могу на это согласиться.

Ипполит Матвеевич на месте хозяина комнаты тоже в конце концов не мог бы согласиться, чтобы у него среди бела дня крали стулья. Но он не знал, что сказать, и поэтому молчал.

— Это не я виноват. Виноват сам Музпред.[311] Да, я сознаюсь. Я не платил за прокатное пианино восемь месяцев, но ведь я его не продал, хотя сделать это имел полную возможность. Я поступил честно, а они по-жульнически. Забрали инструмент, да еще подали в суд и описали мебель.[312] У меня ничего нельзя описать. Эта мебель — орудие производства.[313] И стул тоже орудие производства.

Ипполит Матвеевич начал кое-что соображать.

— Отпустите стул! — завизжал вдруг Авессалом Владимирович. — Слышите? Вы! Бюрократ!

Ипполит Матвеевич покорно отпустил стул и пролепетал:

— Простите, недоразумение, служба такая.

Тут Изнуренков страшно развеселился. Он забегал по комнате и запел: «А поутру она вновь улыбалась перед окошком своим, как всегда».[314] Он не знал, что делать со своими руками. Они у него летали. Он начал завязывать галстук и, не довязав, бросил, потом схватил газету и, ничего в ней не прочитав, кинул на пол.

— Так вы не возьмете сегодня мебель?.. Хорошо!.. Ах! Ах!

Ипполит Матвеевич, пользуясь благоприятно сложившимися обстоятельствами, двинулся к двери.

— Подождите! — крикнул вдруг Изнуренков. — Вы когда-нибудь видели такого кота? Скажите, он в самом деле пушист до чрезвычайности?

Котик очутился в дрожащих руках Ипполита Матвеевича.

— Высокий класс!.. — бормотал Авессалом Владимирович, не зная, что делать с излишком своей энергии. — Ах!.. Ах!..

Он кинулся к окну, всплеснул руками и стал часто и мелко кланяться двум девушкам, глядевшим на него из окна противоположного дома. Он топтался на месте и расточал томные ахи.

— Девушки из предместий! Лучший плод!.. Высокий класс!.. Ах!.. А по утру она вновь улыбалась перед окошком своим, как всегда.

— Так я пойду, гражданин, — глупо сказал *главный* директор концессии.

— Подождите, подождите! — заволновался вдруг Изнуренков. — Одну минуточку!.. Ах!.. А котик? Правда он пушист до чрезвычайности?.. Подождите!.. Я сейчас!..

Он смущенно порылся во всех карманах, убежал, вернулся, ахнул, выглянул из окна, снова убежал и снова вернулся.

— Простите, душечка, — сказал он Воробьянинову, который в продолжение всех этих манипуляций стоял, сложив руки по-солдатски.

С этими словами он дал предводителю полтинник.

— Нет, нет, не отказывайтесь, пожалуйста. Всякий труд должен быть оплачен.

— Премного благодарен, — сказал Ипполит Матвеевич, удивляясь своей изворотливости.

— Спасибо, дорогой, спасибо, душечка!..

Идя по коридору, Ипполит Матвеевич слышал доносившиеся из комнаты Изнуренкова блеяние, визг, пение и страстные крики.

На улице Воробьянинов вспомнил про Остапа и задрожал от страха.

Эрнест Павлович Щукин бродил по пустой квартире, любезно уступленной ему на лето приятелем, и решал вопрос: принять ванну или не принимать.

Трехкомнатная квартира помещалась под самой крышей девятиэтажного дома. В квартире, кроме письменного стола и воробьяниновского стула, было только трюмо. Солнце отражалось в зеркале и резало глаза. Инженер прилег на письменный стол, но сейчас же вскочил. Все было раскалено.

— Пойду умоюсь, — решил он.

Он разделся, остыл, посмотрел на себя в зеркало и пошел в ванную комнату. Прохлада схватила его. Он влез в ванну, облил себя водой из голубой эмалированной кружки и щедро намылился. Он весь покрылся хлопьями пены и стал похож на елочного деда.

— Хорошо! — сказал Эрнест Павлович.

Все было хорошо. Стало прохладно. Жены не было. Впереди была полная свобода. Инженер присел и отвернул кран, чтобы смыть мыло. Кран захлебнулся и стал медленно говорить что-то неразборчивое. *Воды не было.* Эрнест Павлович засунул скользкий мизинец в отверстие крана. Пролилась тонкая струйка, но больше не было ничего.

Эрнест Павлович поморщился, вышел из ванны, поочередно вынимая ноги, и пошел к кухонному крану, *но* там тоже ничего не удалось выдоить.

Эрнест Павлович зашлепал в комнаты и остановился перед зеркалом. Пена щипала глаза, спина чесалась, мыльные хлопья падали на паркет. Прислушавшись, не идет ли в ванной вода, Эрнест Павлович решил позвать дворника.

«Пусть хоть он воды принесет, — решил инженер, протирая глаза и медленно закипая, — а то черт знает что такое».

Он выглянул в окно. На самом дне дворовой шахты играли дети.

— Дворник! — закричал Эрнест Павлович. — Дворник!

Никто не отозвался.

Тогда Эрнест Павлович вспомнил, что дворник живет в парадном, под лестницей. Он вступил на холодные плитки и, придерживая дверь рукой, свесился вниз. На площадке была только одна квартира, и Эрнест Павлович не боялся, что его могут увидеть в странном наряде из мыльных хлопьев.

— Дворник! — крикнул он вниз.

Слово грянуло и с шумом покатилось по ступенькам.

— Гу-гу! — ответила лестница.

— Дворник! Дворник!

— Гум-гум! Гум-гум!

Тут нетерпеливо перебиравший босыми ногами инженер поскользнулся и, чтобы сохранить равновесие, выпустил из руки дверь. *Стена задрожала.* Дверь прищелкнула медным язычком американского замка и затворилась. Эрнест Павлович, еще не поняв непоправимости случившегося, потянул дверную ручку. Дверь не поддалась. Инженер ошеломленно подергал ее еще несколько раз и прислушался с бьющимся сердцем. Была сумеречная церковная тишина. Сквозь разноцветные стекла высоченного окна еле пробивался свет.

«Положение», — подумал Эрнест Павлович.

— Вот сволочь! — сказал он двери.

Внизу, как петарды, стали ухать и взрываться человеческие голоса. Потом, как громкоговоритель, залаяла комнатная собачка. По лестнице толкали вверх детскую колясочку.

Эрнест Павлович трусливо заходил по площадке.

— С ума можно сойти!

Ему показалось, что все это слишком дико, чтобы могло случиться на самом деле. Он снова подошел к двери и прислушался. Он услышал какие-то новые звуки. Сначала ему показалось, что в квартире кто-то ходит.

«Может быть, кто-нибудь пришел с черного хода?» — подумал он, хотя знал, что дверь черного хода закрыта и в квартиру никто не может войти.

Однообразный шум продолжался. Инженер задержал дыхание. Тогда он разобрал, что шум этот производит плещущая вода. Она, очевидно, бежала изо всех кранов квартиры. Эрнест Павлович чуть не заревел. Положение было ужасное.

В Москве, в центре города, на площадке девятого этажа стоял взрослый усатый человек с высшим образованием, абсолютно голый и покрытый шевелящейся еще мыльной пеной. Идти ему было некуда. Он скорее согласился бы сесть в тюрьму, чем показаться в таком виде. Оставалось одно — пропадать. Пена лопалась и жгла спину. На руках и на лице она уже застыла, стала похожа на паршу и стягивала кожу, как бритвенный камень.

Так прошло полчаса. Инженер терся об известковые стены, стонал и несколько раз безуспешно пытался выломать дверь. Он стал грязным и страшным.

Щукин решил спуститься вниз к дворнику, чего бы это ему ни стоило.

— Нету другого выхода, нету. Только спрятаться у дворника.

Задыхаясь и прикрывшись рукой так, как это делают мужчины, входя

в воду, Эрнест Павлович медленно стал красться вдоль перил. Он очутился на площадке между восьмым и девятым этажами.

Его фигура осветилась разноцветными ромбами и квадратами окна. Он стал похож на Арлекина, подслушивающего разговор Коломбины с Паяцем. Он уже повернул в новый пролет лестницы, как вдруг дверной замок нижней квартиры выпалил и из квартиры вышла барышня с балетным чемоданчиком. Не успела барышня сделать шагу, как Эрнест Павлович уже очутился на своей площадке. Он почти оглох от страшных ударов своего сердца.

Только через полчаса инженер оправился и смог предпринять новую вылазку. На этот раз он твердо решил стремительно кинуться вниз и, не обращая внимания ни на что, добежать до заветной дворницкой.

Так он и сделал. Неслышно прыгая через четыре ступеньки и подвывая, член бюро секции инженеров и техников поскакал вниз. На площадке шестого этажа он на секунду остановился. Это его погубило. Снизу кто-то *подымался.*

— Несносный мальчишка! — послышался женский голос, многократно усиленный лестничным репродуктором. — Сколько раз я ему говорила…

Эрнест Павлович, повинуясь уже не разуму, а инстинкту, как преследуемый собаками кот, взлетел на девятый этаж.

Очутившись на своей загаженной мокрыми следами площадке, он беззвучно заплакал, дергая себя за волосы и конвульсивно раскачиваясь. Кипящие слезы врезались в мыльную корку и прожгли в ней две *волнистых параллельных* борозды.

— Господи! — сказал инженер. — Боже мой! Боже мой!

Жизни не было. А между тем он явственно услышал шум пробежавшего по улице грузовика. Значит, где-то жили!

Он еще несколько раз побуждал себя спуститься вниз, но не смог — нервы сдали. Он попал в склеп.

— Наследили за собой, как свиньи! — услышал он старушечий голос с нижней площадки.

Инженер подбежал к стене и несколько раз боднул ее головой. Самым разумным было бы, конечно, кричать до тех пор, пока кто-нибудь не придет, и потом сдаться пришедшему в плен. Но Эрнест Павлович совершенно потерял способность соображать и, тяжело дыша, вертелся *по* площадке.

Выхода не было.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Глава XXVI
Клуб автомобилистов

«Милостивый государь» Асокин читал новую книгу Агафона Шахова три вечера подряд. С каждой новой страницей сердце кассира наполнялось воодушевлением. Герой книги — он, кассир. Сомнений не было никаких. Асокин узнавал себя во всем. Герой романа имел его привычки, рабски копировал прибаутки, носил один с ним костюм — военную гимнастерку горчичного цвета и брюки, ниспадающие на высокие каблуки ботинок. Кассовая клетка «милостивого государя» была описана фотографически. Агафон Шахов был лишен воображения. Даже фамилия была почти та же: Ажогин. Сперва «милостивый государь» восторгался. Он был описан правильно.

— Любой знакомый узнает, — говорил кассир с гордостью.

Но уже шестая глава, где автор спокойно приписал кассиру кражу из кассы пяти тысяч рублей, вызвала в «милостивом государе» тревожный смешок.

Главы седьмая, восьмая и девятая были посвящены описанию титанических кутежей «милостивого государя» со жрицами Венеры в обольстительнейших притонах города Калуги, куда, по воле автора, скрылся кассир. В этот вечер Асокин не ужинал. Он сидел в сквере на скамейке под самым электрическим фонарем и под его розовым светом читал о своей фантастической жизни. Сначала он испугался, что о его подвигах узнает начальство, но потом, вспомнив, что никаких подвигов не совершал, успокоился и даже почувствовал себя польщенным. Все-таки не кого другого, а именно его выбрал Агафон Шахов в герои нового сенсационного романа.

Асокин почувствовал себя намного выше и умнее того неудачливого растратчика, которого изобразил писатель. В конце концов он даже стал презирать беглого кассира. Во-первых, герой романа предпочел миленькой Наташке («высокая грудь, зеленые глаза и крепкая линия бедер») преступную кокаинистку Эсмеральду («плоская грудь, хищные зубы и горловой тембр голоса»). На месте героя романа Асокин в крайнем случае предпочел бы даже простоватую Феничку («пышная грудь, здоровый румянец и крепкая линия бедер»), но никак не сволочь Эсмеральду,

занимавшуюся хипесом[315]. Дальше «милостивый государь» еще больше возмутился. Его двойник глупо и бездарно проиграл на бегах две тысячи казенных рублей. Асокин, конечно, никогда бы этого не сделал. При мысли о такой ребяческой глупости Асокин досадливо сплюнул. Одним только писатель ублаготворил Асокина — описанием кабаков, ужинов и различного рода закусок. Хорошо были описаны кабаки — с тонким знанием дела, с пылом молодости, не знающей катара, с любовью, с энтузиазмом и приятными литературными подробностями. Семга, например, сравнивалась с лоном молодой девушки, родом с Киоса. Зернистая икорка, эта очаровательная спутница французских бульварных и русских полусерьезных романов, не была забыта. Ее было описано по меньшей мере полпуда. Ее ели все главные и второстепенные персонажи романа. Асокину стало больно. Он никому не дал бы икры — сам бы съел. Шампанские бутылки, мартеллевский коньяк (лучшие фирмы автору романа не были известны), фрукты, «шелковая выпуклость дамских ножек», метрдотели, крахмальные скатерти, автомобили и сигары — все это смешалось в роскошную груду, из-под которой растратчик выполз лишь в последней главе с тем, чтобы тотчас отправиться в уголовный розыск с повинной.

Дочитав роман, называвшийся «Бег волны», Асокин поежился от вечернего холодка и пошел домой спать.

Заснуть он не смог. Двойник давил на его воображение. На другой день, уходя из конторы, «милостивый государь» унес с собой пять тысяч рублей — ровно столько, сколько растратил его преступный двойник. «Милостивый государь» решил использовать деньги рационально: заимствовать все достижения Ажогина и, учтя его ошибки, избежать недочетов.

Вечером Асокин учитывал достижения и избегал недочетов в компании девиц с Петровских линий. Обмен опытом обошелся в сто рублей. На рассвете отрезвевший «милостивый государь» вышел на Тверской бульвар и побрел от памятника Пушкина к памятнику Тимирязева.[316]

В редакцию в этот день он не пришел. У кассы образовалась очередь Репортер Персицкий, выпросивший небольшой аванс и ждавший открытия кассовых операций уже полчаса, поднял страшный шум. Тогда за Асокиным послали курьера. Кассира не было и дома. Все остальное произошло очень быстро: распечатали и проверили кассу. Затем представитель администрации конторы поехал в МУУР[317], чтобы

заявить о пропаже кассира и денег. К своему крайнему удивлению, он встретился там с Асокиным, который уже сидел за барьерчиком в комендатуре и неумело, по-взрослому, плакал. Растрата ста рублей так его испугала, что он сейчас же побежал каяться. 4900 рублей были возвращены конторе в тот же день, репортер Персицкий получил следуемое, а Асокина, ввиду незначительности растраты, выпустили, сняв с него допрос и обязав подпиской о невыезде. Асокин пришел в редакцию и, уже не смея ни с кем говорить, мыкался по длиннейшему коридору Дома Народов. Мимо проштрафившегося кассира прошел завхоз, таща с собой купленный на аукционе для редактора мягкий стул. Мимо него бегали сотрудники с пачками заметок. Кто-то искал секцию конфетчиков и, видно, долго искал, потому что спрашивал о ней совсем уже слабым голосом. У Асокина узнавали, как ближе пройти к выходу и куда можно сдать публикацию об утере документов. Молодой человек с громоздким портфелем несколько раз выпытывал, не имеет ли «милостивый государь» желания подписаться на Большую Советскую энциклопедию в дерматиновых переплетах. Словом, ему задавали все те вопросы, которые задают граждане, бегущие но коридором советского учреждения, встречному и поперечному.

Асокин не отвечал. Сотрудники почуяли недоброе. По отделам пошли толки, нашедшие вскоре подтверждение. Асокин был отстранен от должности за непорядки в кассе. Позвонили Шахову. Шахов обрадовался.

— А?! — кричал он в телефон. — Не в бровь, а в глаз! Ну, кланяйтесь «милостивому государю»!.. Что? Незначительная сумма? Это неважно. Важен принцип!

Но приехать лично на место происшествия Шахов не смог. Под его пером трепетала очередная проблема — проблема самоубийства.

Между тем редакция спешно пекла материал к сдаче в набор.

Выбирались из загона (материал набранный, но не вошедший в прошлый номер) заметки и статьи, подсчитывалось число занимаемых ими строк, и начиналась ежедневная торговля из-за места.

Всего газета на своих четырех страницах (полосах) могла вместить 4400 строк. Сюда должно было войти все: телеграммы, статьи, хроника, письма рабкоров, объявления, один стихотворный фельетон и два в прозе, карикатуры, фотографии, специальные отделы: театр, спорт, шахматы, передовая и подпередовая, извещения советских, партийных и профессиональных организаций, печатающийся с продолжением роман, художественные оценки столичной жизни, мелочи под названием

«крупинки», научно-популярные статьи, радио и различный случайный материал. Всего по отделам набиралось материалу тысяч на десять строк. Поэтому распределение места на полосах обычно сопровождалось драматическими сценами.

Первым к секретарю редакции прибежал заведующий шахматным отделом маэстро Судейкин.[318] Он задал вежливый, но полный горечи вопрос:

— Как? Сегодня не будет шахмат?

— Не вмещаются, — ответил секретарь, — подвал большой. Триста строк.

— Но ведь сегодня же суббота. Читатель ждет воскресного отделах У меня ответы на задачи, у меня прелестный этюд Неунывако, у меня, наконец…

— Хорошо. Сколько вы хотите?

— Не меньше ста пятидесяти.

— Хорошо. Раз есть ответы на задачи, дадим шестьдесят строк.

Маэстро пытался было вымолить еще строк тридцать хотя бы на этюд Неунывако (замечательная индийская партия Тартаковер-Боголюбов[319] лежала у него уже больше месяца), но его оттеснили.

Вошел Персицкий.

— Нужно давать впечатления с пленума?[320] — спросил он очень тихо.

— Конечно! — закричал секретарь. — Ведь позавчера говорили.

— Пленум есть, — сказал Персицкий еще тише, — и две зарисовки, но они не дают мне места.

— Как не дают? С кем вы говорили? Что они, посходили с ума?!

Секретарь побежал ругаться. За ним, интригуя на ходу, следовал Персицкий, а еще позади бежали аяксы из отдела объявлений.

— У нас секаровская жидкость![321] — кричали *они грустными голосами.*

— Жидкость *завтра*. Сегодня публикуем наши приложения!

— Много вы будете иметь с ваших бесплатных объявлений, а за жидкость уже получены деньги.

— Хорошо, в *ночной* выясним. Сдайте объявление Паше. Она сейчас как раз едет в ночную.

Секретарь сел читать передовую. Его сейчас же оторвали от этого увлекательного занятия. Пришел художник.

— Ага, — сказал секретарь, — очень хорошо. Есть тема для

карикатуры, в связи с последними телеграммами из Германии.

— Я думаю так, — проговорил художник, — «Стальной шлем»[322] и общее положение Германии…

— Хорошо. Так вы как-нибудь скомбинируйте, а потом мне покажите.

Художник пошел *комбинировать* в свой отдел. Он взял квадратик ватманской бумаги и набросал карандашом худого пса. На псиную голову он надел германскую каску с пикой. А затем *взялся* делать надписи. На туловище животного он написал печатными буквами слово «Германия», на витом хвосте — «Данцигский коридор»,[323] на челюсти — *«Мечты* о реванше», на ошейнике — «План Дауэса»[324] и на высунутом языке — «Штреземан».[325] Перед собакой художник поставил Пуанкаре,[326] державшего в руке кусок мяса. На мясе художник замыслил тоже сделать надпись, но кусок был мал и надпись на нем не помещалась. Человек, менее сообразительный, чем газетный карикатурист, растерялся бы, но художник, не задумываясь, пририсовал к мясу подобие привязанного к шейке бутылки рецепта и уже на нем написал крохотными *буковками*: «Французские предложения о гарантиях безопасности».[327] Чтобы Пуанкаре не смешали с каким-либо другим государственным деятелем, художник на животе *премьера* написал — «Пуанкаре». Набросок был готов.

На столах художественного отдела лежали иностранные журналы, большие ножницы, баночки с тушью и белилами. На полу валялись обрезки фотографий — чье-то плечо, чьи-то ноги и кусочки пейзажа. Человек пять художников скребли фотографии бритвенными ножичками *«жиллет»*, подсветляя их, придавали снимкам резкость, подкрашивая их тушью и белилами, и ставили на обороте подпись и размер — 3 $^{3}/_{4}$ квадрата, 2 колонки, указания, потребные для цинкографии.

В комнате редактора сидела иностранная делегация. Редакционный переводчик смотрел в лицо говорящего иностранца и, обращаясь к редактору, говорил:

— Товарищ Арно желает узнать…

Шел разговор о структуре советской газеты. Пока переводчик объяснял редактору, что желал бы узнать *товарищ* Арно, сам товарищ Арно, в бархатных велосипедных брюках,[328] и все остальные иностранцы с любопытством смотрели на красную ручку с пером № 86,[329] которая была прислонена к углу комнаты. Перо почти касалось потолка, а ручка в своей широкой части была толщиною в туловище среднего человека. Этой

ручкой можно было бы писать — перо было самое настоящее, хотя превосходило по величине большую щуку.

— Ого-го! — смеялись иностранцы. — Колоссалль!

Это перо было поднесено редакции съездом рабкоров.

Редактор, сидя на воробьяниновском стуле, улыбался и, быстро кивая головой то на ручку, то на гостей, весело объяснял.

Крик в секретариате продолжался. *Проворный* Персицкий принес статью Семашко, и секретарь срочно вычеркивал из макета третьей полосы шахматный отдел. Маэстро Судейкин уже не боролся за прелестный этюд Неунывако. Он тщился сохранить хотя бы решения задач. После борьбы, более напряженной, чем борьба его с *Капабланкой* на *Сан-Себастианском* турнире,[330] маэстро отвоевал себе местечко за счет «Суда и быта».

Семашко послали в набор. Секретарь снова углубился в передовую. Прочесть ее секретарь решил во что бы то ни стало, из чисто спортивного интереса, — *он не мог взяться за нее в течение двух часов.*

Когда он дошел до места: «… Однако содержание последнего пакта таково, что если Лига Наций зарегистрирует его, то придется признать, что…», к нему подошел «Суд и быт», волосатый мужчина. Секретарь продолжал читать, нарочно не глядя в сторону «Суда и быта» и делая в передовой ненужные пометки. «Суд и быт» зашел с другой стороны *стола* и сказал обидчиво:

— Я не понимаю.

— Ну-ну, — пробормотал секретарь, стараясь оттянуть время, — в чем дело?

— Дело в том, что в среду «Суда и быта» не было, в пятницу «Суда и быта» не было, в четверг поместили из загона только алиментное дело, а в субботу снимают процесс, о котором давно пишут во всех газетах, и только мы…

— Где пишут? — закричал секретарь. — Я не читал.

— Завтра всюду появится, а мы опять опоздаем.

— А когда вам поручили *чубаровское* дело,[331] вы что писали? Строки от вас нельзя было получить. Я знаю. Вы писали о чубаровцах в вечерку.

— Откуда это вы знаете?

— Знаю. *Говорили.*

— В таком случае я знаю, кто вам говорил. Вам говорил Персицкий, тот Персицкий, который на глазах у всей Москвы пользуется аппаратом редакции, чтобы давать материал в Ленинград.

— Паша! — сказал секретарь тихо. — Позовите Персицкого.

«Суд и быт» индифферентно сидел на подоконнике. Позади него виднелся сад, в котором возились птицы и городошники.

Тяжбу *«Суда и быта» с Персицким, Персицкого с редакцией и редакции с «Судом и бытом» разбирали долго. Пришли сотрудники из разных отделов и образовали кружок. Теперь велась дуэль непосредственно между «Судом и бытом» и Персицким. Когда конфликт стал чрезмерно острым,* секретарь прекратил его ловким приемом: выкинул шахматы и вместо них поставил *реабилитировавшийся* «Суд и быт». Персицкому было сделано предупреждение.

Наступило самое горячее редакционное время — пять часов. Над разогревшимися пишущими машинками курился дымок. Сотрудники диктовали противными от спешки голосами. Старшая машинистка кричала на негодяев, незаметно подкидывавших свои материалы вне очереди. По коридору ходил редакционный поэт в стиле:

Слушай, земля,
Просыпаются реки,
Из шахт,
От пашен,
Станков,
От каждой
Маленькой
Библиотеки
Стоустый слышится рев…

Он ухаживал за машинисткой, скромные бедра которой развязывали его поэтические чувства. Он уводил ее в конец коридора и у окна, *между месткомом и женской уборной*, говорил слова любви, на которые девушка отвечала:

— У меня сегодня сверхурочная работа, и я очень занята.

Это значило, что она любит другого.

Тогда поэт уходил домой и писал стихи для души.

Меня манит твой взгляд туманный,
Кавказ сияет предо мной.
Твой рот, твой стан благоуханный…
О я, погубленный тобой…

Поэт путался под ногами и ко всем знакомым обращался с поразительно однообразной просьбой:

— Дайте десять копеек на трамвай.

За этой суммой он забрел в отдел рабкоров. Потолкавшись среди столов, за которыми работали *читчики,* и потрогав руками кипы корреспонденций, поэт возобновил свои попытки. Читчики, самые суровые в редакции люди (их сделала такими необходимость прочитывать по сто писем *в день,* вычерченных руками, знакомыми больше с топором, малярной кистью или тачкой, нежели с пером), — молчали.

Поэт побывал в экспедиции и в конце концов перекочевал в контору. Но там он не только не получил *восьми* копеек, а даже подвергся нападению со стороны комсомольца Авдотьева. Поэту было предложено вступить в кружок автомобилистов. *Предполагалось собрать деньги, купить старый автомобиль с «кладбища», отремонтировать его под руководством редакционного шофера и затем основательно, на практике изучить автомобильное дело.* Влюбленную душу поэта заволокло парами бензина. Он сделал два шага в сторону и, взяв третью скорость, скрылся с глаз.

Авдотьев нисколько не был обескуражен. Он верил в торжество автомобильной идеи. В секретариате он повел борьбу тихой сапой. Это и помешало секретарю докончить чтение передовой статьи.

— Слушай, Александр Иосифович. Ты подожди, дело серьезное, — сказал Авдотьев, садясь на секретарский стол, — у нас образовался автомобильный клуб. *Автомобиля еще нет, но мы хотим его купить.* Редакция не даст нам взаймы рублей пятьсот на восемь месяцев?

— Можешь не сомневаться.

— Что? Ты думаешь, мертвое дело?

— Не думаю, а знаю. Сколько уже у вас в кружке членов?

— Уже очень много.

Кружок пока что состоял из одного организатора, но Авдотьев *не распространялся об этом.*

— За пятьсот рублей мы покупаем на «кладбище» машину. Егоров уже высмотрел. Ремонт, он говорит, будет стоить не больше пятисот. Всего тысяча. Вот я и думаю набрать двадцать человек, по полсотни на каждого. Зато будет замечательно. Научимся управлять машиной. Егоров будет шефом. И через три месяца, к августу, мы все умеем ездить, есть машина, и каждый по очереди едет куда ему угодно. *Можно даже будет целое путешествие совершить!.. Да ты не кривись. Дело совершенно реальное.*

— А пятьсот рублей на покупку?

— Даст касса взаимопомощи под проценты. Выплатим. Так что ж, записывать тебя?

Но секретарь был уже лысоват, много работал, находился во власти семьи и квартиры, любил полежать после обеда на диване и почитать перед сном «Правду». Он подумал и отказался.

— Ты! — сказал Авдотьев. — Старик! *Я тебе покажу марку… Посмотришь, как мы с ребятами будем разъезжать в машине у тебя под окнами. Нарочно гудеть будем, чтобы не дать тебе заснуть!*

Авдотьев подходил к каждому столу и повторял свои зажигательные речи. В стариках, которыми он считал всех сотрудников старше двадцати лет, его слова вызывали сомнительный эффект. Они кисло отбрехивались, напирая на то, что они уже друзья детей и регулярно *платят* двадцать копеек в год на благое дело помощи бедным крошкам. Они, *собственно*, согласились бы вступить в новый клуб, но…

— Что «но»? — кричал Авдотьев. — *Если* бы автомобиль был сегодня? Да? Если бы вам положить на стол синий шестицилиндровый «Паккард» за пятнадцать копеек в год, а бензин и смазочные материалы за счет правительства?!

— Иди, иди! — говорили *«старички»*. — Сейчас последний посыл, мешаешь работать.

Казалось, предприятие Авдотьева терпело полное фиаско. Автомобильная идея гасла и начинала чадить. Наконец нашелся пионер нового предприятия. Персицкий с грохотом отскочил от телефона, выслушал Авдотьева и сказал:

— *Верное дело. Записываюсь. У тебя уже сколько народу?*

Персицкому Авдотьев не стал врать.

— Ты не так подходишь, — *сказал Персицкий*, — дай лист. Начнем сначала.

И Персицкий вместе с Авдотьевым начали новый обход.

— Ты, старый матрац, — говорил Персицкий голубоглазому юноше, — на это даже денег не нужно давать. У тебя есть заем двадцать седьмого года?[332] На сколько? На пятьдесят? Тем лучше. Ты даешь эти облигации в наш клуб. Из облигаций составляется капитал. К августу мы сможем реализовать все облигации и купить автомобиль?

— А если моя облигация выиграет? — защищался юноша.

— А сколько ты хочешь выиграть?

— Пятьдесят тысяч.

— На эти пятьдесят тысяч будут куплены автомобили. И если я выиграю — тоже. И если Авдотьев — тоже. Словом, чья бы облигация ни

выиграла, — деньги идут на машины. Теперь ты понял? Чудак! На собственной машине поедешь по Военно-Грузинской дороге! Горы! Дурак!.. А позади тебя на собственных машинах «Суд и быт» катит, хроника, отдел происшествий и эта дамочка, знаешь, которая дает кино!.. Ну? Ну? Ухаживать будешь!..

Каждый держатель облигации в глубине души не верит в возможность выигрыша. Зато он очень ревниво относится к облигациям своих соседей и знакомых. Он пуще огня боится того, что выиграют они, а он, всегдашний неудачник, снова останется на бобах. Поэтому надежды на выигрыш соседа по редакции неотвратимо толкали держателей облигаций в лоно нового клуба. Смущало только опасение, что ни одна облигация не выиграет. Но это почему-то казалось маловероятным, и, кроме того, автомобильный клуб ничего не терял: одна машина с «кладбища» была гарантирована на составленный из облигаций капитал.

Двадцать человек набралось за пять минут. Когда дело было увенчано, пришел секретарь, прослышавший о заманчивых перспективах автомобильного клуба.

— А что, ребятки, — сказал он, — не записаться ли также и мне?

— Запишись, старик, отчего же, — ответил Авдотьев, — только не к нам. У нас уже, к сожалению, полный комплект, и прием новых членов прекращен до 1929 года. А запишись ты лучше в друзья детей. Дешево и спокойно. Двадцать копеек в год, и ехать никуда не нужно.

Секретарь помялся, вспомнил, что он и впрямь уже староват, вздохнул и пошел дочитывать увлекательную передовую.

— Скажите, товарищ, — остановил его в коридоре красавец с черкесским лицом, — где здесь редакция газеты «Станок»?

Это был великий комбинатор.

Глава XXVII
Разговор с голым инженером

Появлению Остапа Бендера в редакции предшествовал ряд немаловажных событий.

Не застав Эрнеста Павловича днем (квартира была заперта, и хозяин, вероятно, был на службе), великий комбинатор решил зайти к нему попозже, а пока что расхаживал по городу. Томясь жаждой деятельности, он переходил улицы, останавливался на площадях, делал глазки милиционеру, подсаживая дам в автобусы и вообще имел такой вид, будто бы вся Москва, с ее памятниками, трамваями, моссельпромщиками,[333] церковками, вокзалами и афишными тумбами, — собралась к нему на раут. Он ходил между гостей, мило беседовал с ними и для каждого находил теплое словечко. Прием такого огромного количества *гостей* несколько утомил великого комбинатора. К тому же был уже шестой час, и надо было отправляться к инженеру Щукину.

Но судьба судила так, что, прежде чем свидеться с Эрнестом Павловичем, Остапу пришлось задержаться часа на два для подписания небольшого протокола.

На Театральной площади великий комбинатор попал под лошадь. Совершенно неожиданно на него налетело робкое животное белого цвета и толкнуло его костистой грудью. Бендер упал, обливаясь потом. Было очень жарко. Белая лошадь громко просила извинения. Остап живо поднялся. Его могучее тело не получило никакого повреждения. Тем больше было причин и возможностей для скандала.

Гостеприимного и любезного хозяина Москвы нельзя было узнать. Он вразвалку подошел к смущенному *старичку-извозчику* и треснул его кулаком по ватной спине. Старичок терпеливо перенес наказание. Прибежал милиционер.

— Требую протокола! — с пафосом закричал Остап.

В его голосе послышались металлические нотки человека, оскорбленного в самых святых своих чувствах. И, стоя у стены Малого театра, на том самом месте, где впоследствии *будет* сооружен памятник великому русскому драматургу Островскому,[334] Остап подписал протокол, *стараясь не смотреть на своего врага-извозчика*, и дал небольшое интервью набежавшему Персицкому. Персицкий не брезговал

черной работой. Он аккуратно записал в блокнот фамилию и имя потерпевшего и помчался далее.

Остап горделиво двинулся в дальнейший путь. Все еще переживая нападение белой лошади и чувствуя запоздалое сожаление, что не успел дать извозчику и по шее, Остап, шагая через две ступеньки, поднялся до седьмого этажа щукинского дома. Здесь на голову ему упала тяжелая капля. *Он поднял голову*. Прямо в глаза ему хлынул с верхней площадки небольшой водопадик грязной воды.

— За такие штуки надо морду бить! — решил Остап.

Он бросился наверх. У двери щукинской квартиры, спиной к нему, сидел голый человек, покрытый белыми лишаями. Он сидел прямо на кафельных плитках, держась за голову и раскачиваясь. Вокруг голого была вода, *выливавшаяся* в щель квартирной двери.

— О-о-о, — стонал голый, — о-о-о…

— Скажите, это вы здесь льете воду? — спросил Остап раздраженно. — Что это за место для купанья? Вы с ума сошли?

Инженер тускло посмотрел на Остапа и всхлипнул.

— Слушайте, гражданин, вместо того, чтобы плакать, вы, может быть, пошли бы в баню. Посмотрите, на что вы похожи. Прямо какой-то пикадор!

— Ключ! — замычал инженер, *клацая зубами*.

— Что ключ? — спросил Остап.

— От кв-в-варти-ыры.

— Где деньги лежат?

Голый человек икал с поразительной быстрой.

Ничто не могло смутить Остапа. Он начинал соображать. И когда наконец сообразил, чуть не свалился за перила от хохота, бороться с которым было бы все равно бесполезно.

— Так вы не можете войти в квартиру? Но это же так просто!

Стараясь не запачкаться о голого, Остап подошел к двери, сунул в щель американского замка длинный желтый ноготь большого пальца и осторожно стал поворачивать его справа налево и сверху вниз.

Дверь бесшумно отворилась,[335] и голый с радостным воем вбежал в затопленную квартиру. Шумели краны. Вода в столовой образовала водоворот. В спальне она стояла спокойным прудом, по которому тихо, лебединым ходом, плыли ночные туфли. Сонной рыбьей стайкой сбились в угол окурки.

Воробьяниновский стул стоял в столовой, где было наиболее сильное течение воды. Белые бурунчики образовались у всех его четырех ножек.

Стул слегка подрагивал и, казалось, собирался немедленно уплыть от своего преследователя. Остап сел на него и поджал под себя ноги.

Пришедший в себя Эрнест Павлович, с криками «пардон! пардон!», закрыл краны, умылся и предстал перед Бендером голый до пояса и в закатанных до колен мокрых брюках.

— Вы меня просто спасли! — возбужденно кричал он. — Извиняюсь, не могу подать вам руки, я весь мокрый. Вы знаете, я чуть с ума не сошел.

— К тому, видно, и шло.

— Я очутился в ужасном положении.

И Эрнест Павлович, переживая вновь страшное происшествие, то омрачаясь, то нервно смеясь, рассказал великому комбинатору подробности постигшего его несчастья.

— Если бы не вы, я бы погиб, — закончил инженер.

— Да, — сказал Остап, — со мной тоже был такой случай. Даже похуже немного.

Инженера настолько сейчас интересовало все, что касалось подобных историй, что он даже бросил ведро, которым собирал воду, и стал напряженно слушать.

— Совсем так, как с вами, — начал Бендер, — только было это зимою, и не в Москве, а в Миргороде, в один из веселеньких промежутков между Махно и Тютюнником[336] в девятнадцатом году. Жил я в семействе одном. Хохлы отчаянные. Типичные собственники: одноэтажный домик и много разного барахла. Надо вам заметить, что насчет канализации и прочих удобств в Миргороде есть только выгребные ямы. Ну, и выскочил я однажды ночью в одном белье прямо на снег — простуды я не боялся — дело минутное. Выскочил и машинально захлопнул за собой дверь. Мороз градусов двадцать. Я стучу — не открывают. На месте нельзя стоять — замерзнешь! Стучу и бегаю, стучу и бегаю — не открывают. И, главное, в доме ни одна сатана не спит. Ночь страшная. Собаки воют. Стреляют где-то. А я бегаю по сугробам в летних кальсонах. Целый час стучал. Чуть не подох. И почему, вы думаете, они не открывали? Имущество прятали, зашивали керенки в подушку. Думали, что с обыском. Я их чуть не поубивал потом.

Инженеру все это было очень близко.

— Да, — сказал Остап, — так это вы инженер Щукин?

— Я. Только уж вы, пожалуйста, никому не говорите. Неудобно, право…

— О, пожалуйста! Антр-ну, тет-а-тет. В четыре глаза, как говорят французы. А я к вам по делу, товарищ Щукин.

— Чрезвычайно буду рад вам услужить.

— Гранд мерси. Дело пустяковое. Ваша супруга просила меня к вам зайти и взять у вас этот стул. Она говорила, что он ей нужен для пары. А вам она собирается прислать кресло.

— Да пожалуйста! — воскликнул Эрнест Павлович. — Я очень рад! И зачем вам утруждать себя? Я могу сам принести. Сегодня же.

— Нет, зачем же! Для меня это — сущие пустяки. Живу я недалеко, для меня это нетрудно.

Инженер засуетился и проводил великого комбинатора до самой двери, переступить которую он страшился, хотя ключ был уже предусмотрительно положен в карман мокрых штанов.

Бывшему студенту Иванопуло был подарен еще один стул. Обшивка его была, правда, немного повреждена, но все же это был прекрасный стул и к тому же точь-в-точь, как первый.

Остапа не тревожила неудача с этим стулом, четвертым по счету. Он знал все штучки судьбы.

«Счастье, — рассуждал он, — всегда приходит в последнюю минуту. Если вам у Смоленского рынка нужно сесть в трамвай номер 4, а там, кроме четвертого, проходят еще пятый, семнадцатый, пятнадцатый, тридцатый, тридцать первый, Б, Г и две автобусных линии, то уж будьте уверены, что сначала пройдет Г, потом два пятнадцатых подряд, что вообще противоестественно, затем семнадцатый, тридцатый, много Б, снова Г, тридцать первый, пятый, снова семнадцатый и снова Б. И вот, когда вам начнет казаться, что четвертого номера уже не существует в природе, он медленно придет со стороны Брянского вокзала, увешанный людьми. Но пробраться в вагон для умелого трамвайного пассажира совсем не трудно. Нужно только, чтоб трамвай пришел. Если же вам нужно сесть в пятнадцатый номер, то не сомневайтесь: сначала пройдет множество вагонов всех прочих номеров, проклятый четвертый пройдет восемь раз подряд, а пятнадцатый, который еще так недавно ходил через каждые пять минут, станет появляться не чаще одного раза в сутки. Нужно лишь терпение, и вы дождетесь».

В *эту* стройную систему умозаключений, *в основу которых был положен случай*, темной громадой врезывался стул, уплывший в глубину товарного двора Октябрьского вокзала. Мысли об этом стуле были неприятны и навевали тягостное сомнение.

Великий комбинатор находился в положении рулеточного игрока, ставящего исключительно на номера, одного из той породы людей,

которые желают выиграть сразу в тридцать шесть раз больше своей ставки. Положение было даже хуже: концессионеры играли в такую рулетку, где зеро приходилось на одиннадцать номеров из двенадцати. Да и сам двенадцатый номер вышел из поля зрения, находился черт знает где и, возможно, хранил в себе чудесный выигрыш.

Цепь этих горестных размышлений была прервана приходом главного директора. Уже один его вид возбудил в Остапе нехорошие чувства.

— Ого! — сказал технический руководитель. — Я вижу, что вы делаете успехи. Только не шутите со мной. Зачем вы оставили стул за дверью? Чтобы позабавиться надо мной?

— Товарищ Бендер, — пробормотал предводитель.

— Ах, зачем вы играете на моих нервах! Несите его сюда скорее, несите. Вы видите, что новый стул, на котором я сижу, увеличил ценность вашего приобретения во много раз.

Остап склонил голову набок и сощурил глаза.

— Не мучьте дитю, — забасил он наконец, — где стул? Почему вы его не принесли?

Сбивчивый доклад Ипполита Матвеевича прерывался криками с места, ироническими аплодисментами и каверзными вопросами. Воробьянинов закончил свой доклад под единодушный смех аудитории.

— А мои инструкции? — спросил Остап грозно. — Сколько раз я вам говорил, что красть грешно! Еще тогда, когда вы в Старгороде хотели обокрасть мою жену — мадам Грицацуеву, — еще тогда я понял, что у вас *мелкоуголовный* характер. *Вас никогда не шлепнут, будьте уверены.* Самое большое, к чему смогут привести вас способности, — это шесть месяцев без строгой изоляции. Для гиганта мысли и отца русской демократии масштаб как будто небольшой. И вот результаты. Стул, который был у вас в руках, выскользнул. Мало того — вы испортили легкое место! Попробуйте нанести туда второй визит. Вам этот Авессалом *Мочеизнуренков*[337] голову оторвет. Счастье ваше, что вам помог идиотский случай, не то сидели бы вы за решеткой и напрасно ждали бы от меня передачи. Я вам передачи носить не буду. Имейте это в виду. Что мне Гекуба?[338] Вы мне, в конце концов, не мать, не сестра и не любовница.[339]

Ипполит Матвеевич, сознававший все свое ничтожество, стоял понурясь.

— Вот что, дорогуша, я вижу полную бесцельность нашей совместной работы. Во всяком случае, работать с таким малокультурным

компаньоном, как вы, из пя-ти-де-ся-ти процентов — представляется мне абсурдным. Воленс-неволенс,[340] но я должен поставить новые условия.

Ипполит Матвеевич задышал. До этих пор он старался не дышать.

— Да, мой старый друг, вы больны организационным бессилием и бледной немочью. Соответственно этому уменьшаются ваши паи. Честно, хотите двадцать процентов?

Ипполит Матвеевич решительно замотал головой.

— Почему же вы не хотите? Вам мало?

— М-мало.

— Но ведь это же тридцать тысяч рублей! Сколько же вы хотите?

— Согласен на сорок.

— Грабеж среди бела дня! — сказал Остап, подражая интонациям предводителя во время исторического торга в дворницкой. — Вам мало тридцати тысяч? Вам нужен еще ключ от квартиры?!

— Это вам нужен ключ от квартиры, — пролепетал Ипполит Матвеевич.

— Берите двадцать, пока не поздно, а то я могу раздумать. Пользуйтесь тем, что у меня хорошее настроение.

Воробьянинов давно уже потерял тот самодовольный вид, с которым некогда начинал поиски *бриллиантов.* Он согласился.

Лед, который тронулся еще в дворницкой, лед, гремевший, трескавшийся и ударявшийся о гранит набережной, давно уже измельчал и стаял. Льда уже не было. Была широко разлившаяся вода, которая небрежно несла на себе Ипполита Матвеевича, швыряя его из стороны в сторону, то ударяя его о бревно, то сталкивая его со стульями, то унося от этих стульев. Невыразимую боязнь чувствовал Ипполит Матвеевич. Все пугало его. По реке *плыли* мусор, нефтяные остатки, пробитые курятники, дохлая рыба, чья-то ужасная шляпа. Может быть, это была шляпа отца Федора — утиный картузик, сорванный с него ветром в Ростове? Кто знает? Конца пути не было видно. К берегу не прибивало, а плыть против течения бывший предводитель дворянства не имел ни сил, ни желания.

Его несло в открытое море приключений.

Глава XXVIII
Два визита

Подобно распеленутому малютке, который, не останавливаясь ни на секунду, разжимает и сжимает восковые кулачки, двигает ножонками, вертит головой величиной в крупное антоновское яблоко, одетое в чепчик, и выдувает изо рта пузыри, — Авессалом Изнуренков находился в состоянии вечного беспокойства. Он двигал полными ножками, вертел выбритым подбородочком, издавал ахи и производил волосатыми руками такие жесты, будто делал гимнастику на *резиновых кольцах*.

Он вел очень хлопотливую жизнь *мелкого агента по страхованию от огня, хотя агентом не был,* — всюду появлялся и что-то предлагал, несясь по улице, как испуганная курица, быстро говорил вслух, словно высчитывал страховку каменного, крытого железом строения. Сущность его жизни и деятельности заключалась в том, что он органически не мог заняться каким-нибудь делом, предметом или мыслью больше чем на минуту.

Если острота не нравилась и не вызывала мгновенного смеха, Изнуренков не убеждал редактора, как другие, что острота хороша и требует для полной оценки лишь небольшого размышления. Он сейчас же предлагал новую остроту.

— Что плохо — то плохо, — говорил он, — кончено.

В магазинах Авсессалом Владимирович производил такой сумбур, так быстро появлялся и исчезал на глазах пораженных приказчиков, так экспансивно покупал коробку шоколаду, что кассирша ожидала получить с него, по крайней мере, рублей тридцать. Но Изнуренков, пританцовывая у кассы и хватаясь за галстук, как будто его душили, бросал на стеклянную *досочку* измятую трехрублевку и, благодарно блея, убегал.

Если бы этот человек мог остановить себя хотя бы на два часа, — произошли бы самые неожиданные вещи: может быть, Изнуренков присел к столу и написал бы прекрасную повесть, а может быть, и заявление в кассу взаимопомощи о выдаче безвозвратной ссуды, или новый пункт к закону о пользовании жилплощадью, или книгу «Уменье хорошо одеваться и вести себя в обществе». Но сделать этого он не мог. Бешено работающие ноги уносили его, из двигающихся рук карандаш вылетал, как стрела, мысли прыгали.

Изнуренков бегал по комнате, и печати на мебели тряслись, как серьги

у танцующей цыганки. На стуле сидела смешливая девушка из предместья.

— Ах, ах, — вскрикивал Авессалом Владимирович, — божественно, божественно!.. «Царица голосом и взором свой пышный оживляет пир»…[341] Ах, ах!.. Высокий класс!.. Вы — королева Марго.

Ничего этого не *разобравшая* королева из предместий с уважением смеялась.

— Ну, ешьте шоколад, ну, я вас прошу!.. Ах, ах!.. Очаровательно!..

Он поминутно целовал королеве руки, восторгался ее скромным туалетом, совал ей кота и заискивающе спрашивал:

— Правда, он похож на попугая?.. Лев! Лев! Настоящий лев! Скажите, он действительно пушист до чрезвычайности?.. А хвост! Хвост! Скажите, это действительно большой хвост?.. Ах!

Потом кот полетел в угол, и Авессалом Владимирович, прижав руки к пухлой молочной груди, стал с кем-то раскланиваться в окошко. Вдруг в его бедовой голове щелкнул какой-то клапан, и он начал вызывающе острить по поводу физических и душевных качеств своей гостьи.

— Скажите, а эта брошка действительно из стекла? Ах! Ах! Какой блеск!.. Вы меня ослепили, честное слово!.. А скажите, Париж действительно большой город? Там действительно Эйфелева башня?.. Ах! Ах!.. Какие руки!.. Какой нос!.. Ах!..

Он не обнимал девушку. Ему было достаточно *говорить* комплименты. И он говорил *их* без умолку. Поток их был прерван *посещением* Остапа.

Великий комбинатор вертел в руках клочок бумаги и сурово допрашивал:

— Изнуренков здесь живет? Это вы и есть?

Авессалом Владимирович тревожно вглядывался в каменное лицо посетителя. В его глазах он старался прочесть, какие именно претензии будут сейчас предъявлены: штраф ли это за разбитое при разговоре в трамвае стекло, повестка ли в нарсуд за неплатеж квартирных денег или прием подписки на журнал для слепых.

— Что же это, товарищ, — жестко сказал Бендер, — это совсем не дело — прогонять казенного курьера.

— Какого курьера? — ужаснулся Изнуренков.

— Сами знаете какого. Сейчас мебель буду вывозить. Попрошу вас, гражданка, очистить стул.

Гражданка, над которой только что читали стихи самых лирических поэтов, поднялась с места.

— Нет! Сидите! — закричал Изнуренков, закрывая стул своим

телом. — Они не имеют права!

— Насчет прав молчали бы, гражданин. Сознательным надо быть. Освободите мебель! Закон надо соблюдать!

С этими словами Остап схватил стул и потряс им в воздухе.

— Вывожу мебель! — решительно заявил Бендер.

— Нет, не вывозите!

— Как же не вывожу, — усмехнулся Остап, выходя со стулом в коридор.

Авессалом поцеловал у королевы руку и, наклонив голову, побежал за строгим судьей. Тот уже спускался по лестнице.

— А я вам говорю, что не имеете права. По закону мебель может стоять две недели, а она стояла только три дня! Может быть, я уплачу!

Изнуренков вился вокруг Остапа, как пчела. Таким манером оба очутились на улице. Авессалом Владимирович бежал за стулом до самого угла. Здесь он увидел воробьев, прыгавших вокруг навозной кучки. Он посмотрел на них просветленными глазами, забормотал, всплеснул руками и, заливаясь смехом, произнес:

— Высокий класс! Ах!.. Ах!..

Увлеченный разработкой темы, Изнуренков весело повернул назад и, подскакивая, побежал домой. О стуле он вспомнил только дома, застав девушку из предместий стоящей посреди комнаты.

Остап отвез стул на извозчике.

— Учитесь, — сказал он Ипполиту Матвеевичу. Стул взят голыми руками. Даром. Вы понимаете?

Меблировка комнаты Иванопуло увеличилась еще на один стул. После вскрытия стула Ипполит Матвеевич загрустил.

— Шансы все увеличиваются, — сказал Остап, — а денег ни копейки. Скажите, а покойная ваша теща не любила шутить?

— А что такое?

— Может быть, никаких *бриллиантов* нет?

Ипполит Матвеевич так замахал руками, что на нем поднялся пиджачок.

— В таком случае все прекрасно. Будем надеяться, что достояние Иванопуло увеличится еще только на один стул.

— О вас, товарищ Бендер, сегодня в газетах писали, заискивающе сказал Ипполит Матвеевич.

Остап нахмурился. Он не любил, когда пресса поднимала вой вокруг его имени.

— Что вы мелете? В какой газете?

Ипполит Матвеевич с торжеством развернул «Станок».

— Вот здесь. В отделе «Что случилось за день».

Остап несколько успокоился, потому что боялся заметок только в разоблачительных отделах «Наши шпильки» и «Злоупотребителей — под суд».

Действительно, в отделе «Что случилось за день» нонпарелью было напечатано:

> Попал под лошадь
>
> Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом.

— Это извозчик отделался легким испугом, а не я, ворчливо заметил О. Бендер. — Идиоты. Пишут, пишут — и сами не знают, что пишут. Ах! Это «Станок». Очень, очень приятно, вы знаете, Воробьянинов, что эту заметку, может быть, писали, сидя на нашем стуле. Забавная история.

Великий комбинатор задумался.

Повод для визита в редакцию был найден.

Осведомившись у секретаря о том, что все комнаты справа и слева во всю длину коридора заняты редакцией, Остап напустил на себя простецкий вид и предпринял обход редакционных помещений: ему нужно было узнать, в какой комнате находится стул. Он влез в местком, где уже шло заседание молодых автомобилистов, и так как сразу увидел, что стула там нет, перекочевал в соседнее помещение. В конторе он делал вид, что ожидает резолюции, в отделе рабкоров узнавал, где здесь, согласно объявлению, продается макулатура. *В* секретариате *узнавал* условия подписки, а в комнате фельетонистов спросил, где принимают объявления об утере документов. Таким *манером* он добрался до комнаты редактора, который, сидя на концессионном стуле, трубил в телефонную трубку.

Остапу нужно было время, чтобы внимательно изучить местность.

— Тут, товарищ редактор, на меня помещена форменная клевета, — сказал Бендер.

При этом он заметил, что окно комнаты выходит во внутренний двор.

— Какая клевета? — спросил редактор.

Остап долго разворачивал экземпляр «Станка». Оглядываясь на дверь, он увидел на ней американский замок. Если вырезать кусочек стекла в двери, то легко можно было бы просунуть руку и открыть замок изнутри.

Редактор прочел указанную Остапом заметку.

— В чем же вы, товарищ, видите клевету?

— Как же! А вот это: «Пострадавший отделался легким испугом».

— Не понимаю.

Остап ласково смотрел на редактора и на стул.

— Стану я пугаться какого-то там извозчика. Опозорили перед всем миром. Опровержение нужно.

— Вот что, гражданин, — сказал редактор, — никто вас не позорил, и по таким пустяковым вопросам мы опровержений не даем.

— Ну, все равно, я так этого дела не оставлю, — говорил Остап, покидая кабинет.

Он уже увидел все, что ему было нужно.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Глава XXIX
Замечательная допровская корзинка

Старгородское отделение эфемерного «Меча и орала» вместе с молодцами из «Быстроупака» выстроилось в длиннейшую очередь у мучного лабаза «Хлебопродукта». Прохожие останавливались.

— Куда очередь стоит? — спрашивали граждане.

В нудной очереди, стоящей у магазина, всегда есть один человек, словоохотливость которого тем больше, чем дальше он стоит от магазинных дверей. А дальше всех стоял Полесов.

— *Дожились,* — говорил брандмейстер, — скоро все на жмых перейдем. В *двадцатом* году и то лучше было. Муки в городе на четыре дня.

Граждане недоверчиво подкручивали усы, вступали с Полесовым в спор и ссылались на «Старгородскую правду». Доказав Полесову, как дважды два — четыре, что муки в городе сколько угодно и что нечего устраивать панику, граждане бежали домой, брали все наличные деньги и присоединялись к мучной очереди.

Молодцы из «Быстроупака», закупив всю муку в лабазе, перешли на бакалею и образовали чайно-сахарную очередь.

В *два* дня Старгород был охвачен продовольственным и товарным кризисом.

Госмагазины и кооперативы, распродав дневной запас товаров в два часа, требовали подкреплений. Очереди стояли уже повсюду. Не хватало круп, подсолнечного масла, керосину, дрожжей, печеного хлеба и молока.

На экстренном заседании в губисполкоме выяснилось, что распроданы уже двухнедельные запасы. Представители кооперации и госторговли предложили, до прибытия находящегося в пути продовольствия, ограничить отпуск товаров в одни руки — по фунту сахара и по пять фунтов муки.

На другой день было изобретено противоядие.

Первым в очереди за сахаром стоял Альхен. За ним — его жена Сашхен, Паша Эмильевич, четыре Яковлевича и все пятнадцать призреваемых старушек в туальденоровых нарядах. Выкачав из магазина Старгико полпуда сахару, Альхен увел свою очередь в другой кооператив,

кляня по дороге Пашу Эмильевича, который успел слопать отпущенный на его долю фунт сахарного песку. Паша сыпал сахар горкой на ладонь и отправлял в свою широкую пасть. Альхен хлопотал целый день. Во избежание усушки и раструски он изъял Пашу Эмильевича из очереди и приспособил его для перетаскивания скупленного на привозный рынок. Там Альхен застенчиво перепродавал в частные лавочки добытые сахар, муку, чай и маркизет.[342]

Полесов стоял в очередях, главным образом, из принципа. Денег у него не было, и купить он все равно ничего не мог. Он кочевал из очереди в очередь, прислушивался к разговорам, делал едкие замечания, многозначительно задирал брови и пророчествовал. Следствием его недомолвок было то, что город наполнили слухи о приезде с Мечи и Урала подпольной организации.

Губернатор Дядьев заработал в один день десять тысяч. Сколько заработал председатель биржевого комитета Кислярский, не знала даже его жена. Мысль о том, что он принадлежит к тайному обществу, не давала ему покоя. Шедшие по городу слухи испугали его вконец. Проведя бессонную ночь, председатель биржевого комитета решил, что только чистосердечное признание может сократить ему срок пребывания в тюрьме.

— Слушай, Генриетта, — сказал он жене, — пора уже переносить мануфактуру к шурину.

— А что, разве придут? — спросила Генриетта Кислярская.

— Могут прийти. Раз в стране нет свободы торговли, то должен же я когда-нибудь сесть?

— Так что, уже приготовить белье? Несчастная моя жизнь. Вечно носить передачу. И почему ты не пойдешь в советские служащие? Ведь шурин состоит членом профсоюза, и ничего! А этому обязательно нужно быть красным купцом!

Генриетта не знала, что судьба возвела ее мужа в председатели биржевого комитета. Поэтому она была спокойна.

— Может быть, я не приду ночевать, — сказал Кислярский, — тогда ты завтра приходи с передачей. Только, пожалуйста, не приноси вареников. Что мне за удовольствие есть холодные вареники?!

— Может быть, возьмешь с собой примус?

— Так тебе и разрешат держать в камере примус! Дай мне мою корзинку.

У Кислярского была специальная допровская корзина. Сделанная по *специальному* заказу, она была вполне универсальна. В развернутом виде

она представляла кровать, в полуразвернутом — столик, кроме того, она заменяла шкаф — в ней были полочки, крючки и ящики. Жена положила в универсальную корзину холодный ужин и свежее белье.

— Можешь меня не провожать, — сказал опытный муж, — если придет Рубенс за деньгами, скажи, что денег нет. До свидания. Рубенс может подождать.

И Кислярский степенно вышел на улицу, держа за ручку допровскую корзинку.

— Куда вы, гражданин Кислярский? — окликнул Полесов.

Он стоял у телеграфного столба и криками подбадривал рабочего связи, который, цепляясь железными когтями за дерево, подбирался к изоляторам.

— Иду сознаваться, — ответил Кислярский.

— В чем?

— В мече и орале.

Виктор Михайлович лишился языка. А Кислярский, выставив вперед свой яйцевидный животик, опоясанный широким дачным поясом с накладным карманчиком для часов, неторопливо пошел в губпрокуратуру.

Виктор Михайлович захлопал крыльями и улетел к Дядьеву.

— Кислярский — провокатор! — закричал брандмейстер. — Только что пошел доносить. Его еще видно.

— Как? И корзинка при нем? — ужаснулся старгородский губернатор.

— При нем.

Дядьев поцеловал жену, крикнул, что если придет Рубенс, денег ему не давать, и стремглав выбежал на улицу.

Виктор Михайлович завертелся, застонал, словно курица, снесшая яйцо, и побежал к Владе с Никешей.

Между тем гражданин Кислярский, медленно прогуливаясь, приближался к губпрокуратуре. По дороге он встретил Рубенса и долго с ним говорил.

— А как же деньги? — спросил Рубене.

— За деньгами придете к жене.

— А почему, вы с корзинкой? — подозрительно осведомился Рубенс.

— Иду в баню.

— Ну, желаю вам легкого пара.

Потом Кислярский зашел в кондитерскую ССПО,[343] бывшую «Бонбон де Варсови»,[344] выкушал стакан кофе и съел слоеный пирожок. Пора было идти каяться. Председатель биржевого комитета вступил в

приемную губпрокуратуры. Там было пусто. Кислярский подошел к двери, на которой было написано: «Губернский прокурор», и вежливо постучал.

— Можно! — ответил хорошо знакомый Кислярскому голос *прокурора.*

Кислярский вошел и в изумлении остановился. Его яйцевидный животик сразу же опал и сморщился, как финик. То, что он увидел, было полной для него неожиданностью.

Письменный стол, за которым сидел прокурор, окружали члены могучей организации «Меча и орала». Судя по их жестам и плаксивым голосам, они сознавались во всем.

— Вот он, — воскликнул Дядьев, — самый главный, октябрист.

— Во-первых, — сказал Кислярский, ставя на пол допровскую корзинку и приближаясь к столу, — во-первых, я не октябрист. Затем я всегда сочувствовал советской власти, а в-третьих — главный это не я, а товарищ Чарушников, адрес которого…

— Красноармейская! — закричал Дядьев.

— Номер три! — хором сообщили Владя и Никеша.

— Во двор и налево, — добавил Виктор Михайлович, — я могу показать.

Через двадцать минут привезли Чарушникова, который прежде всего заявил, что никого из присутствующих в кабинете никогда в жизни не видел. Вслед за этим, не сделав никакого перерыва, Чарушников донес на Елену Станиславовну, *Ипполита Матвеевича и его загадочного спутника.*

Только в камере, переменив белье и растянувшись на допровской корзинке, председатель биржевого комитета почувствовал себя легко и спокойно.

По делу пустой, как видно, организации «Меча и орала» шло следствие. Единственно важным лицом прокурор считал скрывшегося Воробьянинова, который несомненно имел связи с парижской эмиграцией.

Мадам Грицацуева-Бендер за время кризиса успела запастись пищевыми продуктами и товаром для своей лавчонки, по меньшей мере, на четыре месяца. Успокоившись, она снова загрустила о молодом супруге, томящемся на заседаниях Малого Совнаркома. Визит к гадалке не внес успокоения. Елена Станиславовна, встревоженная исчезновением всего старгородского ареопага, метала карты с возмутительной небрежностью. Карты возвещали то конец мира, то прибавку к жалованью, то свидание с мужем в казенном доме и в присутствии недоброжелателя — пикового короля. Да и само гадание кончилось как-то странно. Пришли агенты —

пиковые короли — и увели прорицательницу в казенный дом — к прокурору.

Оставшись наедине с попугаем, вдовица в смятении собралась было уходить, как вдруг попугай ударил клювом о клетку и первый раз в жизни заговорил человечьим голосом.

— Дожились! — сказал он сардонически и выдернул из *подмышки* перышко.

Мадам Грицацуева-Бендер в страхе кинулась к дверям. Вдогонку ей полилась горячая сбивчивая речь. Древняя птица была так поражена визитом агентов и уводом хозяйки в казенный дом, что начала выкрикивать все знакомые ей слова. Наибольшее место в ее репертуаре занимал Виктор Михайлович Полесов.

— При наличии отсутствия, — раздраженно сказала птица.

И, перевернувшись на жердочке вниз головой, подмигнула глазом застывшей у двери вдове, как бы говоря: «Ну, как вам это понравится, вдовица?»

— Мать моя! — простонала *вдовица*.

— В каком полку служили? — спросил попугай голосом Бендера. — Кр-р-р-р-рах!.. Европа нам поможет.

После бегства вдовы попугай оправил на себе манишку и сказал те слова, которые у него безуспешно пытались вырвать люди в течение тридцати лет:

— Попка дурак.

Вдова бежала по улице и голосила. А дома ее ждал вертлявый старичок. Это был Варфоломеич, *похудевший после смерти бабушки.*

— По объявлению, — сказал Варфоломеич, — два часа жду, барышня.

Тяжелое копыто предчувствия ударило Грицацуеву в сердце.

— Ох! — запела вдова. — Истомилась душенька.

— От вас, кажется, ушел гражданин Бендер? Вы объявление давали?

Вдова упала на мешки с мукой.

— Какие у вас организмы слабые, — сладко сказал Варфоломеич, — я бы хотел спервоначалу насчет вознаграждения уяснить себе…

— Ох!.. Все берите! Ничего мне теперь не жалко! — причитала чувствительная вдова.

— Так вот-с. Мне известно пребывание сыночка вашего О. Бендера. Какое же вознаграждение будет?

— Все берите! — повторила вдова.

— Двадцать рублей, — сухо сказал Варфоломеич.

Вдова поднялась с мешков. Она была замарана мукой. Запорошенные

ресницы усиленно моргали.

— Сколько? — переспросила она.

— Пятнадцать рублей, — спустил цену Варфоломеич.

Он чуял, что и три рубля вырвать у несчастной женщины будет трудно.

Попирая ногами кули, вдова наступала на старичка, призывала в свидетели небесную силу и с ее помощью добилась твердой цены.

— Ну что ж, бог с вами, пусть пять рублей будет. Только деньги попрошу вперед. У меня такое правило.

Варфоломеич достал из записной книжечки две газетных вырезки и, не выпуская их из рук, стал читать:

— Вот, извольте посмотреть, по порядку. Вы писали, значит: «Умоляю… ушел из дому товарищ Бендер… зеленый костюм, желтые ботинки, голубой жилет»… Правильно ведь? Это «Старгородская правда», значит. А вот что пишут про сыночка вашего в столичных газетах. Вот… «Попал под лошадь»… Да вы не убивайтесь, мадамочка, дальше слушайте… «Попал под лошадь»… Да жив, жив! Говорю вам, жив. Нешто б я за покойника деньги брал бы?.. Так вот. «Попал под лошадь. Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гражданин О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом»… Так вот, эти документики я вам предоставлю, а вы мне денежки вперед. У меня ух такое правило.

Вдова с плачем отдала деньги. Муж, ее милый муж в желтых ботинках лежал на далекой московской земле, и огнедышащая извозчичья лошадь била копытом *в его голубую гарусную грудь.*

Чуткая душа Варфоломеича удовлетворилась приличным вознаграждением. Он ушел, объяснив вдове, что дополнительные следы ее мужа безусловно найдутся в редакции газеты «Станок», где уж, конечно, все на свете известно.

После ошеломительного удара, который нанес ему бесславный конец его бабушки, Варфоломеич стал промышлять собачками. Он комбинировал объявления в «Старгородской правде». Прочтя объявление:

Проп. пойнтер нем. коричнев.
масти, грудь, лапы, ошейн. серые.
Утайку преслед. Дост. ул.
Кооперативную 17, 2.

а рядом с ним замаскированное:

Прист. сука неизв. породы
темно-желт. Через три дня счит. своей.
Перелеш. пер. 6.

Варфоломеич обходил объявителей и, убедившись, что сука одна и та же, еще до истечения трехдневного срока доносил владельцу о местопребывании пропавшей собаки. Это приносило нерегулярный и неверный доход, но после крушения грандиозных планов могла пригодиться и веревочка.[345]

Письмо отца Федора,

писанное им в Ростове, в водогрейне «Млечный путь», жене своей в уездный город N.

Милая моя Катя!

Новое огорчение постигло меня, но об этом после. Деньги получил вполне своевременно, за что тебя сердечно благодарю. По приезде в Ростов сейчас же побежал по адресу. «Новоросцемент» — весьма большое учреждение, никто там инженера Брунса и не знал. Я уже было совсем отчаялся, но меня надоумили. Идите, говорят, в личный стол, *пусть в списках посмотрят.* Пошел *я в личный стол. Попросил. Да,* сказали мне, служил у нас такой, ответственную работу исполнял, только, говорят, в прошлом году он от нас ушел. Переманили его в Баку, на службу в Азнефть,[346] по делу техники безопасности.

Ну, голубушка моя, не так кратко мое путешествие, как мы думали. Ты пишешь, что деньги на исходе. Ничего не поделаешь, Катерина Александровна. Конца ждать недолго. Вооружись терпением и, помолясь *Богу,* продай мой диагоналевый студенческий мундир.[347] И не такие еще придется нести расходы. Будь готова ко всему.

Дороговизна в Ростове ужасная. За *нумер* в гостинице уплатил 2р. 25 коп. До Баку денег хватит. Оттуда, в случае удачи, телеграфирую.

Погоды здесь жаркие. Пальто ношу на руке. В номере боюсь оставить — того и гляди украдут. Народ здесь бедовый.

Не нравится мне город Ростов. По количеству

народонаселения и по своему географическому положению он значительно уступает Харькову. Но ничего, матушка. *Бог* даст, и в Москву вместе съездим. Посмотришь тогда — совсем *западно-европейский* город. А потом заживем в Самаре — возле своего заводика.

Не приехал ли назад Воробьянинов? Где-то он теперь рыщет? Столуется ли еще Евстигнеев? Как моя ряса после чистки? Во всех знакомых поддерживай уверенность, будто я нахожусь в Воронеже у одра тетеньки. Гуленьке напиши то же.

Да! Совсем было позабыл рассказать тебе про страшный случай, происшедший со мной сегодня.

Любуясь тихим Доном, стоял я у моста и возмечтал о нашем будущем достатке. Тут поднялся ветер и унес в реку картузик брата твоего, булочника. Только я его и видел. Пришлось пойти на новый расход — купить английский кепи за 2 руб. 30 коп. Брату твоему, булочнику, ничего о случившемся не рассказывай. Убеди его, что я в Воронеже.

Плохо вот с бельем приходится. Вечером стираю, а если не *высыхает*, утром надеваю влажное. При теперешней жаре это даже приятно.

Целую тебя и обнимаю.

Твой вечно муж Федя.

Глава XXX
Курочка и тихоокеанский петушок

Репортер Персицкий деятельно готовился к двухсотлетнему юбилею великого математика Исаака Ньютона.

— Ньютона я беру на себя. Дайте только место, — заявил он.

— Так вы, Персицкий, смотрите, — предостерегал секретарь, — обслужите Ньютона по-человечески.

— Не беспокойтесь. Все будет в порядке.

— Чтоб не случилось, как с Ломоносовым. В «Красном лекаре» была помещена ломоносовская праправнучка-пионерка, а у нас…

— Я тут ни при чем. Надо было вам поручать такое ответственное дело рыжему Иванову! Пеняйте сами на себя.

— Что же вы принесете?

— Как что? Статья из Главнауки, у меня там связи не такие, как у Иванова. Биографию возьмем из Брокгауза. Но портрет будет замечательный. Все кинутся за портретом в тот же Брокгауз, а у меня будет нечто пооригинальнее. В «Международной книге» я высмотрел такую гравюрку!.. Только нужен аванс!.. Ну, иду за Ньютоном!

— А снимать Ньютона не будем? — спросил фотограф, появившийся к концу разговора.

Персицкий сделал знак предостережения, означавший: спокойствие, смотрите все, что я сейчас сделаю. Весь секретариат насторожился.

— Как? Вы до сих пор еще не сняли Ньютона?! — накинулся Персицкий на фотографа.

Фотограф на всякий случай стал отбрехиваться.

— Попробуйте вы его поймать, — гордо сказал он.

— Хороший фотограф поймал бы! — закричал Персицкий.

— Так что же, надо снимать или не надо?

— Конечно, надо! Поспешите! Там, наверное, сидят уже из всех редакций!

Фотограф взвалил на плечи аппарат и гремящий штатив.

— Он сейчас в «Госшвеймашине»[348]*. Не забудьте — Ньютон, Исаак, отчества не помню. Снимите к юбилею. И пожалуйста — не за работой. Все у вас сидят за столом и читают бумажки. На ходу снимайте. Или в кругу семьи.*

— Когда мне дадут заграничные пластинки, тогда и на ходу буду снимать. Ну, я пошел.

— Спешите! Уже шестой час!

Фотограф ушел снимать великого математика к его двухсотлетнему юбилею, а сотрудники стали заливаться на разные голоса.

В разгар *веселья* вошел Степа из «Науки и жизни». За ним плелась тучная гражданка.

— Слушайте, Персицкий! — сказал Степа. — К вам вот гражданка по делу пришла. Идите сюда, гражданка, этот товарищ вам все объяснит.

Степа, посмеиваясь, убежал.

— Ну? — спросил Персицкий. — Что скажете?

Мадам Грицацуева возвела на репортера томные глаза и молча *сунула* ему бумажку.

— Так, — сказал Персицкий, — … попал под лошадь… отделался легким испугом… В чем же дело?

— Адрес, — просительно молвила вдова, — нельзя ли адрес узнать?

— Чей адрес?

— О. Бендера.

— Откуда же я знаю?

— А вот товарищ говорил, что вы знаете.

— Ничего я не знаю. Обратитесь в адресный стол.

— А может, вы вспомните, товарищ? В желтых ботинках.

— Я сам в желтых ботинках. В Москве еще двести тысяч человек в желтых ботинках ходят. Может быть, вам нужно узнать их адреса? Тогда пожалуйста. Я брошу всякую работу и займусь этим делом. Через полгода вы будете знать все *адреса*. Я занят, гражданка.

Но вдова, которая почувствовала к Персицкому большое уважение, шла за ним по коридору и, стуча накрахмаленной нижней юбкой, повторяла свои просьбы.

«Сволочь Степа, — подумал Персицкий, — *ну* ничего, я на него напущу изобретателя вечного движения, он у меня попрыгает».

— Ну что я могу сделать? — раздраженно спросил Персицкий, останавливаясь перед вдовой. — Откуда я могу знать адрес гражданина О. Бендера? Что я, лошадь, которая на него наехала? Или извозчик, которого он на моих глазах ударил по спине?..

Вдова отвечала смутным рокотом, в котором можно было разобрать только «товарищ» и «очень вас».

Занятия в Доме *Народов* уже кончились. Канцелярии и коридоры опустели. Где-то только дошлепывала страницу пишущая машинка.

— Пардон, мадам, вы видите, что я занят!

С этими словами Персицкий скрылся в уборной. Погуляв там десять минут, он весело вышел. Грицацуева терпеливо трясла юбками на углу двух коридоров. При приближении Персицкого она снова заговорила.

Репортер осатанел.

— Вот что, тетка, — сказал он, — так и быть, я вам скажу, где ваш О. Бендер. Идите прямо по коридору, потом поверните направо и идите опять прямо. Там будет дверь. Спросите Черепенникова. Он должен знать.

И Персицкий так быстро исчез, что дополнительных сведений крахмальная вдовушка получить не успела.

Расправив юбки, мадам Грицацуева пошла по коридору.

Коридоры Дома *Народов* были так длинны и узки, что идущие по ним невольно ускоряли ход. По любому прохожему можно было узнать, сколько он прошел. Если он шел чуть убыстренным шагом, это значило, что поход его только начат. Прошедшие два или три коридора развивали среднюю рысь. А иногда можно было увидеть человека, бегущего во весь дух, — он находился в стадии пятого коридора. Гражданин же, отмахавший восемь коридоров, легко мог соперничать в быстроте с птицей, беговой лошадью и чемпионом мира, бегуном Нурми.[349]

Повернув направо, мадам Грицацуева побежала. Трещал паркет.

Навстречу ей быстро шел брюнет в голубом жилете и малиновых башмачках. По лицу Остапа было видно, что посещение Дома *Народов* в столь поздний час вызвано чрезвычайными делами концессии. Очевидно, в планы технического руководителя не входила встреча с любимой. При виде вдовушки Бендер повернулся и, не оглядываясь, пошел вдоль стены назад.

— Товарищ Бендер! — закричала вдова в восторге. — Куда же вы?!

Великий комбинатор усилил ход. Наддала и вдова.

— Подождите, что я скажу, — просила она.

Но слова ее не долетали до слуха Остапа. В его ушах уже пел и свистел ветер. Он мчался четвертым коридором, проскакивал пролеты внутренних железных лестниц. Своей любимой он оставил только эхо, которое долго повторяло ей лестничные шумы.

«Ну, спасибо, — бурчал Остап, сидя на пятом этаже, — нашла время для рандеву. Кто прислал сюда эту знойную дамочку? Пора уже ликвидировать московское отделение концессии, а то еще чего доброго ко мне приедет гусар-одиночка с мотором».

В это время мадам Грицацуева, отделенная от Остапа тремя этажами, тысячью дверей и дюжиной коридоров, вытерла подолом нижней юбки

разгоряченное лицо и начала поиски. Сперва она хотела поскорее найти мужа и объясниться с ним. В коридорах зажглись несветлые лампы. Все лампы, все коридоры и все двери были одинаковы. Вдове стало страшно. Ей захотелось уйти. Подчиняясь коридорной прогрессии, она неслась со все усиливающейся быстротой. Через полчаса *ей* невозможно было остановиться. Двери президиумов, секретариатов, месткомов, орготделов и редакций *пролетали* по обе стороны ее громоздкого тела. На ходу железными своими юбками она опрокидывала урны для окурков. С кастрюльным шумом урны катились по ее следам. В углах коридоров образовывались вихри и водовороты. Хлопали растворившиеся форточки. Указующие персты, намалеванные трафаретом на стенах, втыкались в бедную путницу.

Наконец, Грицацуева попала на площадку внутренней лестницы. Там было темно, но вдова преодолела страх, сбежала вниз и дернула стеклянную дверь. Дверь была заперта. Вдова бросилась назад. Но дверь, через которую она только что прошла, была тоже закрыта чьей-то заботливой рукой.

В Москве любят запирать двери.

Тысячи парадных подъездов заколочены изнутри досками, и сотни тысяч граждан пробираются в свои квартиры с черного хода. Давно прошел восемнадцатый год, давно уже стало смутным понятие — «налет на квартиру», сгинула подомовая охрана,[350] организованная жильцами в целях безопасности, разрешается проблема уличного движения, строятся огромные электростанции, делаются величайшие научные открытия, но нет человека, который посвятил бы свою жизнь разрешению проблемы закрытых дверей.

Кто тот человек, который разрешит загадку кинематографов, театров и цирков?

Три тысячи человек должны за десять минут войти в цирк через одни-единственные, открытые только в одной своей половине двери. Остальные десять дверей, специально приспособленных для пропуска больших толп народа, — закрыты. Кто знает, почему они закрыты! Возможно, что лет двадцать тому назад из цирковой конюшни украли ученого ослика, и с тех пор дирекция в страхе замуровывает удобные входы и выходы. А может быть, когда-то сквозняком прохватило знаменитого короля воздуха, и закрытые двери есть только отголосок учиненного королем скандала…

В театрах и кино публику выпускают небольшими партиями, якобы во избежание затора. Избежать заторов очень легко — стоит только открыть имеющиеся в изобилии выходы. Но вместо того администрация действует, применяя силу. Капельдинеры, сцепившись руками, образуют живой барьер и таким образом держат публику в осаде не меньше получаса. А двери, заветные двери, закрытые еще при Павле Первом, закрыты и поныне.

Пятнадцать тысяч любителей футбола, возбужденные молодецкой игрой сборной Москвы, принуждены продираться к трамваю сквозь щель, такую узкую, что один легко вооруженный воин[351] мог бы задержать здесь сорок тысяч варваров, подкрепленных двумя осадными башнями.

Спортивный стадион не имеет крыши, но ворот есть несколько. Все они закрыты. Открыта только калиточка. Выйти можно, только проломив ворота. После каждого большого состязания их ломают. Но в заботах об исполнении святой традиции их каждый раз аккуратно восстанавливают и плотно запирают.

Если уже нет никакой возможности привесить дверь (это бывает тогда, когда ее не к чему привесить), пускаются в ход скрытые двери всех видов:

1. Барьеры.
2. Рогатки.
3. Перевернутые скамейки.
4. Заградительные надписи.
5. Веревки.

Барьеры в большом ходу в учреждениях.

Ими преграждается доступ к нужному сотруднику. Посетитель, как тигр, ходит вдоль барьера, стараясь знаками обратить на себя внимание. Это удается не всегда. А может быть, посетитель принес полезное изобретение. А может быть, и просто хочет уплатить подоходный налог. Но барьер помешал — осталось неизвестным изобретение, и налог остался неуплаченным.

Рогатка применяется на улице.

Ставят ее весною на шумной улице, якобы для ограждения производящегося ремонта тротуара. И мгновенно шумная улица делается пустынной. Прохожие просачиваются в нужные им места по другим улицам. Им ежедневно приходится делать лишний километр, но легкокрылая надежда их не покидает. Лето проходит. Вянет лист.[352] А рогатка все стоит. Ремонт не сделан. И улица пустынна.[353]

Перевернутыми садовыми скамейками преграждают входы в московские скверы, которые по возмутительной небрежности строителей не снабжены крепкими воротами.

О заградительных надписях можно было бы написать целую книгу, но это в планы авторов сейчас не входит.

Надписи эти бывают двух родов: прямые и косвенные.

К прямым можно отнести: «Вход воспрещается», «Посторонним лицам вход воспрещается» и «Хода нет». Такие надписи иной раз вывешиваются на дверях учреждений, особенно усиленно посещаемых публикой.

Косвенные надписи наиболее губительны. Они не запрещают вход, но редкий смельчак рискнет все-таки воспользоваться правом входа. Вот они, эти позорные надписи: «Без доклада не входить», «Приема нет», «Своим посещением ты мешаешь занятому человеку» и *«Береги чужое время».*

Там, где нельзя поставить барьера или рогатки, перевернуть *скамейку* или вывесить заградительную надпись, — там протягиваются веревки. Протягиваются они по вдохновению, в самых неожиданных местах. Если они протянуты на высоте человеческой груди, дело ограничивается легким испугом и несколько нервным смехом. Протянутая же на высоте лодыжки, веревка может искалечить человека.

К черту двери! К черту очереди у театральных подъездов! Разрешите войти без доклада! Разрешите выйти с футбольного поля с целым позвоночником! Умоляю снять рогатку, поставленную нерадивым управдомом у своей развороченной панели! Вон перевернутые скамейки! Поставьте их на место! В сквере приятно сидеть именно ночью. Воздух чист, и в голову лезут умные мысли!

Не об этом думала мадам Грицацуева, сидя на лестнице у запертой стеклянной двери в самой середине Дома *Народов. Она* думала о своей вдовьей судьбе, изредка вздремывала и ждала утра. Из освещенного коридора, через стеклянную дверь, на вдову лился желтый свет электрических плафонов. *Пепельный утренний свет* проникал сквозь окна лестничной клетки.

Был тихий час, когда утро еще молодо и чисто. В этот час Грицацуева услышала шаги в коридоре. Вдова живо поднялась и *прилипла* к стеклу. В конце коридора сверкнул голубой жилет. Малиновые башмаки были запорошены штукатуркой. Ветреный сын турецко-подданного, стряхивая с пиджака пылинку, приближался к стеклянной двери.

— Суслик! — позвала вдова. — Су-у-услик!

Она дышала на стекло с невыразимой нежностью. Стекло затуманилось, пошло радужными пятнами. В тумане и радугах сияли голубые и малиновые призраки.

Остап не *услышал* кукования вдовы. Он почесывал спину и озабоченно крутил головой. Еще секунда, и он пропал бы за поворотом.

Со стоном «товарищ *Бендер*» бедная супруга забарабанила по стеклу. Великий комбинатор обернулся.

— А, — сказал он, видя, что отделен от вдовы закрытой дверью, — вы тоже здесь?

— Здесь, здесь, — твердила вдова радостно.

— Обними же меня, моя радость, мы так долго не виделись, — пригласил технический директор.

Вдова засуетилась. Она подскакивала за дверью, как чижик в клетке. Притихшие за ночь юбки *снова* загремели. Остап раскрыл объятия.

— Что же ты не идешь, моя гвинейская курочка.[354] Твой тихоокеанский петушок так устал на заседании Малого Совнаркома.[355]

Вдова была лишена фантазии.

— Суслик, — сказала она в пятый раз. — Откройте мне дверь, товарищ Бендер.

— Тише, девушка! Женщину украшает скромность. К чему эти прыжки?

Вдова мучилась.

— Ну, чего вы терзаетесь? — спрашивал Остап. — Что вам мешает жить?

— Сам уехал, а сам спрашивает!

И вдова заплакала.

— Утрите ваши глазки, гражданка. Каждая ваша слезинка — это молекула в космосе.

— А я ждала, ждала, торговлю закрыла. За вами поехала, товарищ Бендер…

— Ну, и как вам теперь живется на лестнице? Не дует?

Вдова стала медленно закипать, как большой монастырский самовар.

— Изменщик! — выговорила она, вздрогнув.

У Остапа было еще немного свободного времени. Он защелкал пальцами и, ритмично покачиваясь, тихо пропел:

— Частица черта в нас заключена подчас! И сила женских чар родит в груди пожар!..[356]

— Чтоб тебе лопнуть! — пожелала вдова по окончании танца. —

Браслет украл, мужнин подарок. А *стуло* зачем забрал?!

— Вы, кажется, переходите на личности? — заметил Остап холодно.

— Украл, украл! — твердила вдова.

— Вот что, девушка, зарубите на своем носике, что Остап Бендер никогда ничего не крал.

— А ситечко кто взял?

— Ах, ситечко! Из вашего неликвидного фонда? И это вы считаете кражей? В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны.

— Унес, — куковала вдова.

— Значит, если молодой, здоровый человек позаимствовал у провинциальной бабушки ненужную ей, по слабости здоровья, кухонную принадлежность, то, значит, он вор? Так вас прикажете понимать?

— Вор, вор.

— В таком случае нам придется расстаться. Я согласен на развод.

Вдова кинулась на дверь. Стекла задрожали. Остап понял, что пора уходить.

— Обниматься некогда, — сказал он, — прощай, любимая! Мы разошлись, как в море корабли.[357]

— *Каррраул!* — завопила вдова.

Но Остап уже был в конце коридора. Он встал на подоконник, тяжело спрыгнул на влажную после ночного дождя землю и скрылся в блистающих физкультурных садах.

На крики вдовы набрел проснувшийся сторож. Он выпустил узницу, пригрозив штрафом.

Глава XXXI
Автор гаврилиады

Когда мадам Грицацуева покидала негостеприимный стан канцелярий, к Дому Народов уже стекались служащие самых скромных рангов: курьеры, входящие и исходящие барышни,[358] сменные телефонистки, юные помощники счетоводов и бронеподростки.[359]

Среди них двигался Никифор Ляпис, молодой человек с бараньей прической и *неустрашимым* взглядом. Невежды, упрямцы и первичные посетители входили в Дом *Народов* с главного подъезда. Никифор Ляпис проник в здание через амбулаторию. В Доме Народов он был своим человеком и знал кратчайшие пути к оазисам, где брызжут светлые ключи гонорара под широколиственной сенью ведомственных журналов.[360]

Прежде всего Никифор Ляпис пошел в буфет. Никелированная касса сыграла матчиш и выбросила три чека. Никифор съел варенец, вскрыв запечатанный бумагой стакан, кремовое пирожное, похожее на клумбочку. Все это он запил чаем. Потом Ляпис неторопливо стал обходить свои владения.[361]

Первый визит он сделал в редакцию ежемесячного охотничьего журнала «Герасим и Муму». Товарища Наперникова еще не было, и Никифор Ляпис двинулся в «Гигроскопический вестник», еженедельный рупор, посредством которого работники фармации общались с внешним миром.

— Доброе утро» — сказал Никифор. — Написал замечательные стихи.

— О чем? — спросил начальник литстранички. — На какую тему? Ведь вы же знаете, Трубецкой,[362] что у нас журнал…

Начальник для более тонкого определения сущности «Гигроскопического вестника» пошевелил пальцами.

Трубецкой-Ляпис посмотрел на свои брюки из белой рогожки,[363] отклонил корпус назад и певуче сказал:

— «Баллада о гангрене».

— Это интересно, — заметила гигроскопическая персона, — давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики.

Ляпис немедленно задекламировал:

Страдал Гаврила от гангрены,

Гаврила от гангрены слег…[364]

Дальше тем же молодецким четырехстопным ямбом рассказывалось о Гавриле, который по темноте своей не пошел вовремя в аптеку и погиб из-за того, что не смазал ранку йодом.

— Вы делаете успехи, Трубецкой, — одобрил редактор, — но хотелось бы еще больше… Вы понимаете?

Он задвигал пальцами, но страшную балладу взял, обещав уплатить во вторник.

В журнале «Будни морзиста» Ляписа встретили гостеприимно.

— Хорошо, что вы пришли, Трубецкой. Нам как раз нужны стихи. Только быт, быт, быт. Никакой лирики. Слышите, Трубецкой? Что-нибудь из жизни потельработников[365] и вместе с тем, вы понимаете?..

— Вчера я именно задумался над бытом потельработников. И у меня вылилась такая поэма. Называется «Последнее письмо». Вот…

Служил Гаврила почтальоном,
Гаврила письма разносил…

История о Гавриле была заключена в семьдесят две строки. В конце стихотворения письмоносец Гаврила, сраженный пулей фашиста, все же доставляет письмо по адресу.

— Где же происходило дело? — спросили Ляписа.

Вопрос был законный. В СССР нет фашистов, а за границей нет Гаврил, членов союза работников связи.

— В чем дело? — сказал Ляпис. — Дело происходит, конечно, у нас, а фашист переодетый.

— Знаете, Трубецкой, напишите лучше нам о радиостанции.[366]

— А почему вы не хотите почтальона?

— Пусть полежит. Мы его берем условно.

Погрустневший Никифор Ляпис-Трубецкой пошел снова в «Герасим и Муму». Наперников уже сидел за своей конторкой. На стене висел сильно увеличенный портрет Тургенева в пенсне, болотных сапогах и двустволкой наперевес. Рядом с Наперниковым стоял конкурент Ляписа — стихотворец из пригорода.

Началась старая песня о Гавриле, но уже с охотничьим уклоном. Творение шло под названием — «Молитва браконьера».

Гаврила ждал в засаде зайца,
Гаврила зайца подстрелил.

— Очень хорошо! — сказал добрый Наперников. — Вы, Трубецкой, в этом стихотворении превзошли самого Энтиха.[367] Только нужно кое-что исправить. Первое — выкиньте с корнем «молитву».

— И зайца, — сказал конкурент.

— Почему же зайца? — удивился Наперников.

— Потому что не сезон.

— Слышите, Трубецкой, измените и зайца.

Поэма в преображенном виде носила название «Урок браконьеру», а зайцы были заменены бекасами. Потом оказалось, что бекасов *тоже не стреляют летом.* В окончательной форме стихи читались: «Гаврила ждал в засаде птицу, Гаврила птицу подстрелил»… *и так далее.*

После завтрака в столовой Ляпис снова принялся за работу. Белые *его* брюки мелькали в темноте коридоров. Он входил в редакции и продавал многоликого Гаврилу.

В «Кооперативную флейту» Гаврила был сдан под названием «Эолова флейта».

Служил Гаврила за прилавком,
Гаврила флейтой торговал…

Простаки из толстого журнала «Лес, как он есть» купили у Ляписа небольшую поэму «На опушке». Начиналась она так:

Гаврила шел кудрявым лесом,
Бамбук Гаврила *порубал.*

Последний за этот день Гаврила занимался хлебопечением. Ему нашлось место в редакции «Работника булки». Поэма носила длинное и грустное название: «О хлебе, качестве продукции и о любимой».[368] Поэма посвящалась загадочной Хине Члек.[369] Начало было по-прежнему эпическим:

Служил Гаврила хлебопеком,

Гаврила булку испекал…

Посвящение, после деликатной борьбы, выкинули.

Самое печальное было то, что Ляпису денег нигде не дали. Одни обещали дать во вторник, *другие* в четверг или пятницу, *третьи* через две недели. Пришлось идти занимать деньги в стан врагов — туда, где Ляписа никогда не печатали.

Ляпис спустился с пятого этажа на второй и вошел в секретариат «Станка». На его несчастье, он сразу же столкнулся с работягой Персицким.

— А! — воскликнул Персицкий. — Ляпсус!

— Слушайте, — сказал Никифор Ляпис, понижая голос, — дайте три рубля. Мне «Герасим и Муму» должен кучу денег.

— Полтинник я вам дам. Подождите. Я сейчас приду.

И Персицкий вернулся, приведя с собой десяток сотрудников «Станка».

Завязался общий разговор.

— Ну, как торговля? — спрашивал Персицкий.

— Написал замечательные стихи!

— Про Гаврилу? Что-нибудь крестьянское? Пахал Гаврила спозаранку, Гаврила плуг свой обожал?

— Что Гаврила? Ведь это же халтура! — защищался Ляпис. — Я написал о Кавказе.

— А вы были на Кавказе?

— Через две недели поеду.

— А вы не боитесь, Ляпсус? Там же шакалы!

— Очень меня это пугает! Они же на Кавказе не ядовитые!

После этого ответа все насторожились.

— Скажите, Ляпсус, — спросил Персицкий, — какие, по-вашему, шакалы?

— Да знаю я, отстаньте!

— Ну, скажите, если знаете!

— Ну, такие… В форме змеи.

— Да, да, вы правы, как всегда. По-вашему, ведь седло дикой козы подается к столу вместе со стременами.

— Никогда я этого не говорил! — закричал Трубецкой.

— Вы не говорили. Вы писали. Мне Наперников говорил, что вы пытались ему всучить такие стишата в «Герасим и Муму», якобы из быта

охотников. Скажите по совести, Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении «Кантон» пеньюар — это бальное платье? Почему?!

— Вы — мещанин, — сказал Ляпис хвастливо.

— Почему в стихотворении «*Скачки* на приз Буденного» жокей у вас затягивает на лошади супонь и после этого садится на облучок? Вы видели когда-нибудь супонь?

— Видел.

— Ну, скажите, какая она?

— Оставьте меня в покое. Вы псих.

— А облучок видели? На скачках были?

— Не обязательно всюду быть, — кричал Ляпис, — Пушкин писал турецкие стихи и никогда не был в Турции.

— О, да, Эрзерум ведь находится в Тульской губернии.

Ляпис не понял сарказма. Он горячо продолжал:

— Пушкин писал по материалам. Он прочел историю *пугачевского* бунта,[370] а потом написал. А мне про скачки все рассказал Энтих.[371]

После этой виртуозной защиты Персицкий потащил упирающегося Ляписа в соседнюю комнату. Зрители последовали за ними. Там на стене висела большая газетная вырезка, обведенная траурной каймой.[372]

— Вы писали этот очерк в «Капитанском мостике»?

— Я писал.

— Это, кажется, ваш первый опыт в прозе? Поздравляю вас! «Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом»…[373] Ну, и удружили же вы «Капитанскому мостику». *Мостик* теперь долго вас не забудет, Ляпис!

— В чем дело?

— Дело в том, что… Вы знаете, что такое домкрат?

— Ну, конечно, знаю, оставьте меня в покое…

— Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами.

— Такой… Падает, одним словом.

— Домкрат падает. Заметьте все. Домкрат стремительно падает. Подождите, Ляпсус, я вас сейчас принесу полтинник. Не пускайте его.

Но и на этот раз полтинник выдан не был. Персицкий притащил из справочного бюро двадцать первый том Брокгауза от Домиции до Евреинова. Между Домицием, крепостью в великом герцогстве Мекленбург-Шверинском, и Доммелем, рекой в Бельгии и Нидерландах, было найдено искомое слово.

— Слушайте! «Домкрат (нем. Daumkraft) — одна из машин для поднятия значительных тяжестей. Обыкновенный простой Д., употребляемый для поднятия экипажей и т. п., состоит из подвижной зубчатой полосы, которую захватывает шестерня, вращаемая с помощью рукоятки». *И так далее и далее.* «Джон Диксон в 1879 г. установил на место обелиск, известный под названием „Иглы Клеопатры“, при помощи четырех рабочих, действовавших четырьмя гидравлическими Д.». И этот прибор, по-вашему, обладает способностью стремительно падать? Значит, *усидчивые* Брокгауз с *Ефроном* обманывали человечество в течение пятидесяти лет? Почему вы халтурите, вместо того чтобы учиться? Ответьте!

— Мне нужны деньги.

— Но у вас же их никогда нет. Вы ведь вечно рыщете за полтинником.

— Я купил много мебели и вышел из бюджета.

— И много вы купили мебели? Вам за вашу халтуру платят столько, сколько она стоит, — грош.

— Хороший грош! Я такой стул купил на аукционе…

— В форме змеи?

— Нет. Из дворца. Но меня постигло несчастье. Вчера я вернулся ночью домой…

— От Хины Члек? — закричали присутствующие в один голос.

— Хина!.. С Хиной я сколько времени уже не живу. Возвращался я с диспута Маяковского.[374] Прихожу. Окно открыто. *Ни Хунтова, ни Ибрагима дома нет. И* я сразу почувствовал, что что-то случилось.

— *Уй-юй-юй!* — сказал Персицкий, закрывая лицо руками. — Я чувствую, товарищи, что у Ляпсуса украли его лучший «шедевр» — Гаврила дворником служил, Гаврила в дворники нанялся.

— Дайте мне договорить. Удивительное хулиганство! Ко мне в комнату залезли какие-то негодяи и распороли всю обшивку стула. Может быть, кто-нибудь займет пятерку на ремонт?

— Для ремонта сочините нового Гаврилу. Я вам даже начало могу сказать. Подождите, подождите… Сейчас… Вот! Гаврила стул купил на рынке, был у Гаврилы стул плохой. Скорее запишите. Это можно с прибылью продать в «Голос комода»… Эх, Трубецкой, Трубецкой!..[375] Да, кстати, Ляпсус, почему вы Трубецкой? Никифор Трубецкой? Почему вам не взять псевдоним еще получше? Например, Долгорукий! Никифор Долгорукий! Или Никифор Валуа?[376] Или еще лучше — гражданин Никифор Сумароков-Эльстон? Если у вас случится хорошая кормушка,

сразу три стишка в «Гермуму», то выход из положения у вас блестящий. Один бред подписывается Сумароковым, другая макулатура — Эльстоном, а третья — Юсуповым…[377] Эх вы, халтурщик!.. *Держите его, товарищи! Я расскажу ему замечательную историю. Вы, Ляпсус, слушайте! При вашей профессии это полезно.*

По коридору разгуливали сотрудники, поедая большие, как лапти, бутерброды. Был перерыв для завтрака. Бронеподростки гуляли парочками. Из комнаты в комнату бегал Авдотьев, собирая друзей автомобиля на экстренное совещание. Но почти все друзья автомобиля сидели в секретариате и слушали Персицкого, который рассказывал историю, услышанную им в обществе художников.

Вот эта история.

Рассказ о несчастной любви

В Ленинграде, на Васильевском острове, на Второй линии, жила бедная девушка с большими голубыми глазами. Звали ее Клотильдой.

Девушка любила читать Шиллера в подлиннике, мечтать, сидя на парапете невской набережной, и есть за обедом непрожаренный бифштекс.

Но девушка была бедна. Шиллера было очень много, а мяса совсем не было. Поэтому, а еще и потому, что ночи были белые, Клотильда влюбилась. Человек, поразивший ее своей красотой, был скульптором. Мастерская его помещалась у Новой Голландии[378].

Сидя на подоконнике, молодые люди смотрели в черный канал и целовались. В канале плавали звезды, а может быть, и гондолы. Так, по крайней мере, казалось Клотильде.

— Посмотри, Вася, — говорила девушка, — это Венеция! Зеленая заря светит позади черно-мраморного замка.

Вася не снимал своей руки с плеча девушки. Зеленое небо розовело, потом желтело, а влюбленные все не покидали подоконника.

— Скажи, Вася, — говорила Клотильда, — искусство вечно?

— Вечно, — отвечал Вася, — человек умирает, меняется климат, появляются новые планеты, гибнут династии, но искусство неколебимо. Оно вечно.

— Да, — говорила девушка, — Микель-Анджело…

— Да, — повторял Вася, вдыхая запах ее волос, — Пракситель!..

— Канова!..

— Бенвенуто Челлини!..

И опять кочевали по небу звезды, тонули в воде канала и туберкулезно светили к утру.

Влюбленные не покидали подоконника. Мяса было совсем мало. Но сердца их были согреты именами гениев.

Днем скульптор работал. Он ваял бюсты. Но великой тайной были покрыты его труды. В часы работы Клотильда не входила в мастерскую. Напрасно она умоляла:

— Вася, дай посмотреть мне, как ты творишь!

Но он был непреклонен. Показывая на бюст, покрытый мокрым холстом, он говорил ей:

— Еще не время, Клотильда, еще не время. Счастье, слава и деньги ожидают нас в передней. Пусть подождут.

Плыли звезды…

Однажды счастливой девушке подарили контрамарку в кино. Шла картина под названием «Когда сердце должно замолчать». В первом ряду, перед самым экраном, сидела Клотильда. Воспитанная на Шиллере и любительской колбасе, девушка была необычайно взволнована всем виденным.

«Скульптор Ганс ваял бюсты. Слава шла к нему большими шагами. Жена его была прекрасна. Но они поссорились. В гневе прекрасная женщина разбила молотком бюст — великое творение скульптора Ганса, над которым он трудился три года. Слава и богатство погибли под ударом молотка. Горе Ганса было безысходным. Он повесился, но раскаявшаяся жена вовремя вынула его из петли. Затем она быстро сбросила свои одежды.

— Лепи меня! — воскликнула она. — Нет на свете тела, прекраснее моего.

— О! — возразил Ганс. — Как я был слеп!

И он, охваченный вдохновением, изваял статую жены. И это была такая статуя, что мир задрожал от радости. Ганс и его прекрасная жена прославились и были счастливы до гроба».

Клотильда шла в Васину мастерскую. Все смешалось в ее душе. Шиллер и Ганс, звезды и мрамор, бархат и лохмотья[379]…

— Вася! — окликнула она.

Он был в мастерской. Он лепил свой дивный бюст — человека с длинными усами и в толстовке. Лепил он его с фотографической карточки.

— И вся-то наша жизнь есть борьба![380] — напевая, скульптор придавал скульптуре последний лоск.

И в эту же секунду бюст с грохотом разлетелся на куски от страшного удара молотком. Клотильда сделала свое дело. Протягивая Васе руку, запачканную в гипсе, она гордо сказала:

— Почистите мне ногти!

И она удалилась. До слуха ее донеслись странные звуки. Она поняла, в чем дело: великий скульптор плакал над разбитым творением.

Наутро Клотильда пришла, чтобы продолжить свое дело: вынуть потрясенного Васю из петли, сбросить перед ним свои одежды и сказать:

— Лепи меня! Нет на свете тела, прекраснее моего!

Она вошла и увидела.

Вася в петле не висел. Он сидел на высокой табуреточке спиною к вошедшей Клотильде и что-то делал.

Но девушка не смутилась. Она сбросила все одежды, покрылась от холода гусиной кожей и вскричала, лязгая зубами:

— Лепи меня, Вася, нет на свете тела, прекраснее моего!

Вася обернулся. Слова песенки застыли на его устах.

И тут Клотильда увидела, что он делал.

Он лепил дивный бюст — человека с длинными усами и в толстовке. Фотографическая карточка стояла на столике. Вася придавал скульптуре последний лоск.

— Что ты делаешь? — спросила Клотильда.

— Я леплю бюст заведующего кооплавкой № 28.

— Но ведь я же вчера его разбила! — пролепетала Клотильда. — Почему ты не повесился? Ведь ты же говорил, что искусство вечно. Я уничтожила твое вечное искусство. Почему же ты жив, человек?

— Вечное-то оно — вечное, — ответил Вася, — но заказ-то нужно сдать. Ты как думаешь?

Вася был нормальным халтурщиком-середнячком.

А Клотильда слишком много читала Шиллера.

— Так вот, Ляпсус, не пугайте Хиночку Члек своим мастерством. Она нежная женщина. Она верит в ваш талант. Больше, кажется, в это никто не верит. Но если вы еще месяц будете бегать по «Гигроскопическим вестникам», то и Хина Члек отвернется от вас. Кстати, полтинника я вам не дам. Уходите, Ляпсус!..

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Глава XXXII
Могучая кучка или золотоискатели

Как и следовало ожидать, рассказ о Клотильде не вызвал в бараньей душе Ляписа никаких эмоций.

С криками: «Жертва громил», «Налетчики скрылись» и «Тайна редакторского кабинета» — в комнату вбежал Степа.

— Персицкий, — сказал он, — иди скорее на место происшествия и пиши в «Что случилось за день». Сенсационный случай на пять строчек петита!..

Оказалось, что пришедший в свою комнату редактор нашел огромную ручку с пером № 86 лежащей на полу. Перо воткнулось в ножку дивана. А новый, купленный на аукционе, редакторский стул имел такой вид, будто бы его клевали вороны. Вся обшивка была прорвана, набивка выброшена на пол, и пружины высовывались, как готовящиеся к укусу змеи.

— Мелкая кража, — сказал Персицкий, — если подберутся еще три кражи — дадим заметку в три строки.

— В том-то и дело, что не кража. Ничего не украли. Даже на столе три рубля лежали, и тех не тронули. Только стул исковеркали.

— Совсем как у Ляпсуса, — заметил Персицкий, — похоже на то, что Ляпсус не врал.

— Вот видите, — гордо сказал Ляпсус, — дайте полтинник.

Принесли вечернюю газету. Персицкий стал ее проглядывать.

Обычный читатель газету читает. Журналист сначала рассматривает ее, как картину. Его интересует композиция.

— Я бы все-таки так не верстал, — сказал Персицкий, — наш читатель не подготовлен к американской верстке… Карикатура, конечно, на Чемберлена… Очерк о Сухаревой башне… Ляпсус, писанули бы и вы что-нибудь о Сухаревском рынке — свежая тема — всего только сорок очерков за год печатается… Дальше…

Персицкий с легким презрением начал читать отдел происшествий, делавшийся, по его пристрастному мнению, бездарно.

— Столетний материал!.. Этот растратчик у нас уже был… Неудавшаяся кража в театре Колумба! Э-э-э, товарищи, это что-то

новое… Слушайте!

И Персицкий прочел вслух:

Неудавшаяся кража в театре Колумба

Двумя неизвестными злоумышленниками, проникшими в реквизитную театра Колумба, были унесены четыре старинных стула. Во дворе злоумышленники были замечены ночным сторожем и, преследуемые им, скрылись, бросив стулья. Любопытно отметить, что стулья были специально приобретены для новой постановки гоголевской «Женитьбы».

— Нет, тут что-то есть. Это какая-то секта похитителей стульев.

— Маньяки!

— Ну, не так просто. Действуют они довольно здраво. Побывали у Ляпсуса, у нас, в театре.

— Да!.. Охотники за табуретками!..

— Что-то они ищут, товарищи.

Тут Никифор Ляпис внезапно переменился в лице. Он неслышно вышел из комнаты и побежал по коридору. Через пять минут раскачивающийся трамвай уносил его к Покровским воротам.

Ляпис обитал в доме № 9 по Казарменному переулку совместно с двумя молодыми людьми, носившими мягкие шляпы. Ляпис носил капитанскую фуражку с гербом Нептуна — властителя вод. Комната Ляписа была проходной. Рядом жила большая семья татар.

Когда Ляпис вошел в свою ободранную комнату, Хунтов сидел на подоконнике и перелистывал театральный справочник.

Это был человек, созвучный эпохе. Он делал все то, что требовала эпоха.

Эпоха требовала стихи, и Хунтов писал их во множестве.

Менялись вкусы. Менялись требования. Эпоха и современники нуждались в героическом романе на темы гражданской войны. И Хунтов писал героические романы.

Потом требовались бытовые повести. Созвучный эпохе Хунтов принимался за повести.

Эпоха требовала многого, но у Хунтова почему-то не брала ничего.

Теперь эпоха требовала пьесу. Поэтому Хунтов сидел на подоконнике и перелистывал театральный справочник. От человека, собирающегося писать пьесу, можно ждать, что он начнет изучать нравы того социального слоя людей, которых он собирается вывести на сцену. Можно

ждать, что автор предполагаемой к написанию пьесы примется обдумывать сюжет, мысленно очерчивать характеры действующих лиц, придумывать сценические квипрокво[381]. Но Хунтов начал с другого конца — с арифметических выкладок. Он, руководствуясь планом зрительного зала, высчитывал средний валовой сбор со спектакля в каждом театре. Его полное приятное лицо морщилось от напряжения, брови подымались и опадали.

Хунтов быстро прочеркивал в записной книжке колонки цифр — он умножал число мест на среднюю стоимость билета, причем производил вычисления по два раза: один раз, учитывая повышенные цены, а другой раз — обыкновенные.

В голове московских зрелищных предприятий по количеству мест и расценкам на них шел Большой Академический театр. Хунтов расстался с ним с великим сожалением. Для того чтобы попасть в Большой театр, нужно было бы написать оперу или балет. Но эпоха в данный отрезок времени требовала драму. И Хунтов выбрал самый выгодный театр — Московский Художественный Академический. Качалов, думалось ему, Москвин, под руководством Станиславского сбор сделают. Хунтов подсчитал авторские проценты. По его расчетам, пьеса должна была пройти в сезоне не меньше ста раз. Шли же «Дни Турбиных»[382], думалось ему. Гонорару набегало много. Еще никогда судьба не сулила Хунтову таких барышей.

Оставалось написать пьесу. Но это беспокоило Хунтова меньше всего. Зритель дурак, думалось ему.

— Мировой сюжет! — возгласил Ляпис, подходя к человеку, непрерывно звучащему в унисон с эпохой.

Хунтову сюжет был нужен, и он живо спросил:

— Какой сюжет?

— Классный, — ответил Ляпис.

Эпохальный мужчина приготовился уже записать слова Ляписа, но подозрительный по природе своей автор многоликого Гаврилы замолчал.

— Ну! Говори же!

— Ты украдешь!

— Я у тебя часто крал сюжеты?

— А повесть о комсомольце, который выиграл сто тысяч рублей?[383]

— Да, но ее же не взяли.

— Что у тебя вообще брали! Я могу написать замечательную поэму.

— Ну, не валяй дурака! Расскажи!

— А ты не украдешь?

— Честное слово.

— Сюжет классный. Понимаешь, такая история. Советский изобретатель изобрел луч смерти и запрятал чертежи в стул. И умер. Жена ничего не знала и распродала стулья. А фашисты узнали и стали разыскивать стулья. А комсомолец узнал про стулья и началась борьба. [384] *Тут можно такое накрутить…*

Хунтов забегал по комнате, описывая дуги вокруг опустошенного воробьяниновского стула.

— Ты дашь этот сюжет мне.

— Положим.

— Ляпис! Ты не чувствуешь сюжета! Это не сюжет для поэмы. Это сюжет для пьесы.

— Все равно. Это не твое дело. Сюжет мой.

— В таком случае я напишу пьесу раньше, чем ты успеешь написать заглавие своей поэмы.

Спор, разгоревшийся между молодыми людьми, был прерван приходом Ибрагима.

Это был человек легкий в обхождении, подвижный и веселый. Он был тучен. Воротнички душили его. На лице, шее и руках сверкали веснушки. Волосы были цвета сбитой яичницы. Изо рта шел густой дым. Ибрагим курил сигары «Фигаро»: 2 штуки — 25 копеек. На нем было парусиновое подобие визитки, из карманов которого высовывались нотные свертки. Матерчатая панама сидела на его темени корзиночкой. Ибрагим обливался грязным потом.

— Об чем спор? — спросил он пронзительным голосом.

Композитор Ибрагим существовал милостями своей сестры. Из Варшавы она присылала ему новые фокстроты. Ибрагим переписывал их на нотную бумагу, менял название[385] *«Любовь в океане» на «Амброзию» или «Флирт в метро» на «Сингапурские ночи» и, снабдив ноты стихами Хунтова, сплавлял их в музыкальный сектор.*

— Об чем спор? — повторил он.

Соперники воззвали к беспристрастию Ибрагима. История о фашистах была рассказана во второй раз.

— Поэму нужно писать, — твердил Ляпис-Трубецкой.

— Пьесу! — кричал Хунтов.

Но Ибрагим поступил, как библейский присяжный заседатель. Он мигом разрешил тяжбу.

— Опера, — сказал Ибрагим, отдуваясь. — Из этого выйдет настоящая опера с балетом, хорами и великолепными партиями.

Его поддержал Хунтов. Он сейчас же вспомнил величину сборов Большого театра. Упиравшегося Ляписа соблазнили рассказами о грядущих выгодах. Хунтов ударял ладонью по справочнику и выкрикивал цифры, сбивавшие все представления Ляписа о богатстве.

Началось распределение творческих обязанностей. Сценарий и прозаическую обработку взял на себя Хунтов. Стихи достались Ляпису. Музыку должен был написать Ибрагим. Писать решили здесь и сейчас же.

Хунтов сел на искалеченный стул и разборчиво написал сверху листа: «Акт первый».

— Вот что, други, — сказал Ибрагим, — вы пока там нацарапаете, опишите мне главных действующих лиц. Я подготовлю кой-какие лейтмотивы. Это совершенно необходимо.

Золотоискатели принялись вырабатывать характеры действующих лиц.[386] *Наметились, приблизительно, такие лица:*

Уголино — гроссмейстер ордена фашистов (бас).

Альфонсина — его дочь (колоратурное сопрано).

т. Митин — советский изобретатель (баритон).

Сфорца — фашистский принц[387] *(тенор).*

Гаврила — советский комсомолец (переодетое меццо-сопрано).

Нина — комсомолка, дочь попа (лирич. сопрано).

(Фашисты, самогонщики, капелланы, солдаты, мажордомы, техники, сицилийцы, лаборанты, тень Митина, пионеры и др.)

— Я, — сказал Ибрагим, которому открылись благодарные перспективы, — пока что напишу хор капелланов и сицилийские пляски. А вы пишите первый акт. Побольше арий и дуэтов.

— А как мы назовем оперу? — спросил Ляпис.

Но тут в передней послышались стук копыт о гнилой паркет, тихое ржание и квартирная перебранка. Дверь в комнату золотоискателей отворилась, и гражданин Шаринов, сосед, ввел в комнату худую, тощую лошадь с длинным хвостом и седеющей мордой.

— Гоу! — закричал Шаринов на лошадь. — Ну-о, штоб тебя…

Лошадь испугалась, повернулась и толкнула Ляписа крупом.

Золотоискатели были настолько поражены, что в страхе прижались к стене. Шаринов потянул лошадь в свою комнату, из которой повыскакивало множество зеленоватых татарчат. Лошадь заупрямилась и ударила копытом. Квадратик паркета выскочил из гнезда и, крутясь,

полетел в раскрытое окно.

— Фатыма! — закричал Шаринов страшным голосом. — Толкай сзади!

Со всего дома в комнату золотоискателей мчались жильцы. Ляпис вопил не своим голосом. Ибрагим иронически насвистывал «Амброзию». Хунтов размахивал списком действующих лиц. Лошадь тревожно косила глазами и не шла.

— Гоу! — сказал Шаринов вяло. — О-о-о, ч-черт!..

Но тут золотоискатели опомнились и потребовали объяснений. Пришел управдом с дворником.

— Что вы делаете? — спросил управдом. — Где это видано? Как можно вводить лошадь в жилую квартиру?

Шаринов вдруг рассердился.

— Какое тебе дело? Купил лошадь. Где поставить? Во дворе украдут!

— Сейчас же уведите лошадь! — истерически кричал управдом. — Если вам нужна конина — покупайте в мусульманской мясной.

— В мясной дорого, — сказал Шаринов. — Гоу! Ты!.. Проклятая!.. Фатыма!..

Лошадь двинулась задом и согласилась наконец идти туда, куда ее вели.

— Я вам этого не разрешаю, — говорил управдом, — вы ответите по суду.

Тем не менее злополучный Шаринов увел лошадь в свою комнату и, непрерывно тпрукая, привязал животное к оконной ручке. Через минуту пробежала Фатыма с большой и легкой охапкой сена.

— Как же мы будем жить, когда рядом лошадь? Мы пишем оперу, нам это неудобно! — завопил Ляпис.

— Не беспокойтесь, — сказал управдом, уходя, — работайте.

Золотоискатели, прислушиваясь к стуку копыт, снова засели за работу.

— Так как же мы назовем оперу? — спросил Ляпис.

— Предлагаю назвать «Железная роза».

— А роза тут при чем?

— Тогда можно иначе. Например, «Меч Уголино».

— Тоже несовременно.

— Как же назвать?

И они остановились на отличном интригующем названии — «Лучи смерти». Под словами «акт первый» Хунтов недрогнувшей рукой написал:

«Раннее утро. Сцена изображает московскую улицу, непрерывный поток автомобилей, автобусов и трамваев. На перекрестке — Уголино в поддевке. С ним — Сфорца…»

— Сфорца в пижаме, — вставил Ляпис.

— Не мешай, дурак! Пиши лучше стишки для ариозо Митина. На улице в пижаме не ходят!

И Хунтов продолжал писать: «С ним — Сфорца в костюме комсомольца…»

Дальше писать не удалось. Управдом с двумя милиционерами стали выводить лошадь из шариновской комнаты.

— Фатьма! — кричал Шаринов. — Держи, Фатьма!

Ляпис схватил со стола батон и трусливо шлепнул им по костлявому крупу лошади.

— Тащи! — вопил управдом.

Лошадь крестила хвостом направо и налево. Милиционеры пыхтели. Фатима с братьями-татарчатами обнимала худые колени лошади. Гражданин Шаринов безнадежно кричал: «Гоу!»

Золотоискатели пришли на помощь представителям закона, и живописная группа с шумом вывалилась в переднюю.

В опустевшей комнате пахло цирковой конюшней. Внезапный ветер сорвал со стола оперные листочки и вместе с соломой закружил по комнате. Ариозо товарища Митина взлетело под самый потолок. Хор капелланов и зачатки сицилийской пляски пританцовывали на подоконнике.

С лестницы доносились крик и брезгливое ржание. Золотоискатели, милиционеры и представители домовой администрации напрягали последние силы. Осилив упорное животное, соавторы собрали развеянные листочки и продолжали писать без помарок.

Глава XXXIII
В театре Колумба

Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом. Когда он смотрел на Остапа, глаза его приобретали голубой жандармский оттенок. [388]

В комнате Иванопуло было так жарко, что высохшие воробьяниновские стулья потрескивали, как дрова в камине. Великий комбинатор отдыхал, подложив под голову голубой жилет.

Ипполит Матвеевич смотрел в окно. Там, за окном, по кривым переулкам, мимо крошечных московских садов, проносилась гербовая карета. В черном ее лаке попеременно отражались кланяющиеся прохожие, кавалергард с медной головой, городские дамы и пухлые белые облачка. Громя мостовую подковами, лошади пронесли карету мимо Ипполита Матвеевича. Он отвернулся с разочарованием.

Карета несла на себе герб МКХ, предназначалась для перевозки мусора, и ее дощатые стенки ничего не отражали. На козлах сидел бравый старик с пушистой седой бородой. Если бы Ипполит Матвеевич знал, что кучер не кто иной, как граф Алексей Буланов, знаменитый гусар-схимник, он, вероятно, окликнул бы старика, чтобы поговорить о прелестных прошедших временах. Но он не знал, кто проезжает перед ним в образе кучера, да и кучер вряд ли захотел бы говорить с ним о прелестных временах. Граф Алексей Буланов был сильно озабочен. Нахлестывая лошадей, он грустно размышлял о бюрократизме, разъедающем ассенизационный подотдел, из-за которого графу вот уже полгода как не выдавали *положенный* по гендоговору[389] *спецфартук.*

— Послушайте, — сказал вдруг великий комбинатор, — как вас звали в детстве?

— А зачем вам?

— Да так! Не знаю; как вас называть. Воробьяниновым звать вас надоело, а Ипполитом Матвеевичем слишком кисло. Как же вас звали? Ипа?

— Киса, — ответил Ипполит Матвеевич, усмехаясь.

— Конгениально! Так вот что, Киса, посмотрите, пожалуйста, что у меня на спине. Болит между лопатками.

Остап стянул через голову рубашку «ковбой». Перед Кисой Воробьяниновым открылась обширная спина захолустного Антиноя —

спина очаровательной формы, но несколько грязноватая.

— Ого, — сказал Ипполит Матвеевич, — краснота какая-то.

Между лопатками великого комбинатора лиловели и переливались нефтяной радугой синяки странных очертаний.

— Честное слово, цифра восемь! — воскликнул Воробьянинов. — Первый раз вижу такой синяк.

— А другой цифры нет? — спокойно спросил Остап.

— Как будто бы буква Р.

— Вопросов больше не имею. Все понятно. Проклятая ручка! Видите, Киса, как я страдаю, каким опасностям я подвергаюсь из-за ваших стульев. Эти арифметические знаки нанесены мне большой самопадающей ручкой с пером № 86. Нужно вам заметить, что проклятая ручка упала на мою спину в ту самую минуту, когда я погрузил руки во внутренность редакторского стула.

— А я тоже… Я тоже пострадал! — поспешно вставил Киса.

— Это когда же? Когда вы кобелировали за чужой женой? Насколько мне помнится, этот запоздалый кобеляж закончился для вас не совсем удачно! Или, может быть, во время дуэли с оскорбленным Колей?

— Нет-с, простите, повреждения я получил на работе-с!

— Ах! Это когда мы по стратегическим соображениям отступали из театра Колумба?

— Да, да… Когда за нами гнался сторож…

— Значит, вы считаете героизмом свое падение с забора?

— Я ударился коленной чашечкой о мостовую.

— Не беспокойтесь! При теперешнем строительном размахе ее скоро отремонтируют.

Ипполит Матвеевич проворно завернул левую штанину и в недоумении остановился. На желтом колене не было никаких повреждений.

— Как нехорошо лгать в таком юном возрасте, — с грустью сказал Остап, — придется, Киса, поставить вам четверку за поведение и вызвать родителей!.. И ничего-то вы толком не умеете. Почему нам пришлось бежать из театра? Из-за вас! Черт вас дернул стоять на цинке[390]*, как часовой, не двигаясь с места. Это, конечно, вы делали для того, чтобы привлечь всеобщее внимание.* А изнуренковский стул кто изгадил так, что мне пришлось потом за вас отдуваться? Об аукционе я уж и не говорю. Нашли время для кобеляжа! В вашем возрасте кобелировать просто вредно! Берегите свое здоровье!.. То ли дело я! За мною — стул вдовицы! За мною — два щукинских! Изнуренковский стул в конечном

итоге сделал я! В редакцию и к Ляпису я ходил! И только один-единственный стул вы довели до победного конца, да и то при помощи нашего священного врага — архиепископа!..

Ипполит Матвеевич виновато спустил штанину на место. Великий комбинатор принялся развивать дальнейшие планы.

Неслышно ступая по комнате босыми ногами, технический директор вразумлял покорного Кису.

Стул, исчезнувший в товарном дворе Октябрьского вокзала, по-прежнему оставался темным пятном на сверкающем плане концессионных работ. Четыре стула в театре Колумба представляли верную добычу. Но театр уезжал в поездку по Волге с тиражным пароходом «Скрябин»[391] и сегодня показывал премьеру «Женитьбы» последним спектаклем сезона. Нужно было решить — оставаться ли в Москве для розысков пропавшего в просторах Каланчевской площади стула или выехать вместе с труппой в гастрольное турне. Остап склонялся к последнему.

— А то, может быть, разделимся? — спросил Остап. — Я поеду с театром, а вы оставайтесь и проследите за стулом в товарном дворе.

Но Киса так трусливо моргал седыми ресницами, что Остап не стал продолжать.

— Из двух зайцев, — сказал он, — выбирают того, который пожирнее. Поедем вместе. Но расходы будут велики. Нужны будут деньги. У меня осталось шестьдесят рублей. У вас сколько? Ах, я и забыл! В ваши годы девичья любовь так дорого стоит!.. Постановляю: сегодня мы идем в театр на премьеру «Женитьбы». Не забудьте надеть фрак. Если стулья еще на месте и их не продали за долги соцстраху, завтра же мы выезжаем. Помните, Воробьянинов, наступает последний акт комедии «Сокровище моей тещи». Приближается *финита-ла* — комедия, Воробьянинов! Не дышите, мой старый друг! Равнение на рампу! О, моя молодость! О, запах кулис! Сколько воспоминаний! Сколько интриг! Сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета![392].. Одним словом — заседание продолжается.

Из экономии шли в театр пешком. Еще было совсем светло, но фонари уже сияли лимонным светом. На глазах у всех погибала весна. Пыль гнала ее с площадей, жаркий ветерок оттеснял ее в переулки. Там старушки приголубливали красавицу и пили с ней чай во двориках, за круглыми столами. Но жизнь весны кончилась — в люди ее не пускали. А ей так хотелось к памятнику Пушкина, *где уже шел вечерний кобеляж*, *где уже котовали* молодые люди в пестреньких кепках, брюках-дудочках,[393]

галстуках «собачья радость»[394] и ботиночках «*Джимми*».[395]

Девушки, осыпанные лиловой пудрой, циркулировали между храмом МСПО и кооперативом «Коммунар» (между б. Филипповым и б. Елисеевым[396]). Девушки внятно ругались. В этот час прохожие замедляли шаги, *потому* что Тверская становилась тесна. Московские лошади были не лучше старгородских — они так же нарочно постукивали копытами по торцам мостовой. Велосипедисты бесшумно летели со стадиона *Томского*,[397] с первого большого *междугороднего* матча. Мороженщик катил свой зеленый сундук, *боязливо* косясь на милиционера, но милиционер, скованный светящимся семафором, которым регулировал уличное движение, был не опасен.

Во всей этой сутолоке двигались два друга. Соблазны возникали на каждом шагу. В крохотных обжорочках *дикие горцы* на виду у всей улицы жарили шашлыки карские, кавказские и филейные. Горячий и пронзительный дым восходил к светленькому небу. Из пивных, ресторанчиков и кино «Великий Немой»[398] неслась струнная музыка. У трамвайной остановки горячился громкоговоритель:

— … *Молодой помещик и поэт Ленский влюблен в дочь помещика Ольгу Ларину. Евгений Онегин, чтобы досадить другу, притворно ухаживает за молодой Ольгой. Прослушайте увертюру. Даю зрительный зал…*

Громкоговоритель быстро закончил настройку инструментов, звонко постучал палочкой дирижера о пюпитр и высыпал в толпу, ожидающую трамвая, первые такты увертюры. С мучительным стоном подошел трамвай номер 6. Уже взвился занавес, и старуха Ларина, покорю глядя на палочку дирижера и напевая: «Привычка свыше нам дана», колдовала над вареньем, а трамвай еще никак не мог оторваться от штурмующей толпы. Ушел он с ревом и плачем только под звуки дуэта «Слыхали ль вы».

Было уже поздно. Нужно было торопиться. Друзья вступили в гулкий вестибюль театра Колумба. Воробьянинов бросился к кассе и прочел расценку на места.

— Все-таки, — сказал он, — очень дорого. Шестнадцатый ряд — три рубля.

— Как я не люблю, — заметил Остап, — этих мещан, провинциальных простофиль! Куда вы полезли? Разве вы не видите, что это касса?

— Ну а куда же, ведь без билета не пустят!

— Киса, вы пошляк. В каждом благоустроенном театре есть два окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые

наследники. Остальные граждане (их, как можете заметить, подавляющее большинство) обращаются непосредственно в окошечко администратора.

И действительно, перед окошечком кассы стояло человек пять скромно одетых людей. Возможно, это были богатые наследники или влюбленные. Зато у окошечка администратора господствовало оживление. Там стояла цветная очередь. Молодые люди в фасонных пиджаках и брюках того покроя, который провинциалу может только присниться, уверенно размахивали записочками от знакомых им режиссеров, артистов, редакций, театрального костюмера, начальника района милиции и прочих, тесно связанных с театром лиц,[399] как-то: членов ассоциации *теа и кинокритиков,* общества «Слезы бедных матерей», школьного совета *«Мастерской* циркового эксперимента»[400] и какого-то «ФОРТИНБРАСА при УМСЛОПОГАСЕ».[401] Человек восемь стояли с записками от Эспера Эклеровича.

Остап врезался в очередь, растолкал фортинбрасовцев и, крича — «мне только справку, вы же видите, что я даже калош не снял», — пробился к окошечку и заглянул внутрь.

Администратор трудился, как грузчик. Светлый *бриллиантовый* пот орошал его жирное лицо. Телефон тревожил его поминутно и звонил с упорством трамвайного вагона, пробирающегося через Смоленский рынок.

— Да! — кричал он. — Да! Да! В восемь тридцать!

Он с лязгом вешал трубку, чтобы снова ее схватить.

— Да! Театр Колумба! Ах, это вы, Сегидилья Марковна? Есть, есть, конечно, есть. Бенуар!.. А Бука не придет? Почему? Грипп? Что вы говорите? Ну, хорошо!.. Да, да, до свиданья, Сегидилья Марковна…

— Театр Колумба!!! Нет! Сегодня никакие пропуска не действительны! Да, но что я могу сделать? Моссовет запретил!..

— Театр Колумба!!! Ка-ак? Михаил Григорьевич? Скажите Михаилу Григорьевичу, что днем и ночью в театре Колумба его ждет третий ряд, место у прохода…

Рядом с Остапом бурлил и содрогался мужчина с полным лицом, брови которого беспрерывно поднимались и опадали.

— Какое мне дело! — говорил ему администратор.

Хунтов (это был человек, созвучный эпохе) негордой скороговоркой просил контрамарку.

— Никак! — сказал администратор. — Сами понимаете — Моссовет!

— Да, — мямлил Хунтов, — но Московское отделение Ленинградского

общества драматических писателей и оперных композиторов[402] *согласовало с Павлом Федоровичем…*

— Не могу и не могу… Следующий!

— Позвольте, Яков Менелаевич, мне же в Московском отделении Ленинградского общества драматических писателей и оперных композиторов…

— Ну, что я с вами сделаю?.. Нет, не дам! Вам что, товарищ?

Хунтов, почувствовав, что администратор дрогнул, снова залопотал:

— Поймите же, Яков Менелаевич, Московское отделение Ленинградского общества драматических писателей и оперных компози…

Этого администратор не перенес. Всему есть предел. Ломая карандаши и хватаясь за телефонную трубку, Менелаевич нашел для Хунтова место у самой люстры.

— Скорее, — крикнул он Остапу, — вашу бумажку.

— Два места, — сказал Остап очень тихо, — в партере.

— Кому?

— Мне.

— А кто вы такой, чтоб я *вам давал* места?

— А я все-таки думаю, что вы меня знаете.

— Не узнаю.

Но взгляд незнакомца был так чист, так ясен, что рука администратора сама отвела Остапу два места в одиннадцатом ряду.

— Ходят всякие, — сказал администратор, пожимая плечами, *очередному умслопогасу,* — кто их знает, кто они такие… Может быть, он из Наркомпроса?.. Кажется, я его видел в Наркомпросе… Где я его видел?

И, машинально выдавал пропуска счастливым *теа и кинокритикам,* притихший Яков Менелаевич продолжал вспоминать, где он видел эти чистые глаза.

Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу.[403]

Театр Колумба помещался в особняке. Поэтому зрительный зал его был невелик, фойе непропорционально огромны, курительная ютилась под лестницей. На потолке была изображена мифологическая охота. Театр был молод и занимался дерзаниями в такой мере, что был лишен субсидии. Существовал он второй год и жил, главным образом, летними гастролями.

Из одиннадцатого ряда, где сидели концессионеры, послышался смех.

Остапу понравилось музыкальное вступление, исполненное оркестрантами на бутылках, кружках Эсмарха,[404] саксофонах и больших полковых барабанах. Свистнула флейта, и занавес, навевая прохладу, расступился.

К удивлению Воробьянинова, привыкшего к классической интерпретации «Женитьбы»,[405] Подколесина на сцене не было. Порыскав глазами, Ипполит Матвеевич увидел свисающие с потолка фанерные прямоугольники, выкрашенные в основные цвета солнечного спектра. Ни дверей, ни синих кисейных окон не было. Под разноцветными прямоугольниками танцевали дамочки в больших, вырезанных из черного картона шляпах. Бутылочные стоны вызвали на сцену Подколесина, который резался в толпу *дамочек* верхом на Степане. Подколесин был наряжен в камергерский мундир. Разогнав дамочек словами, которые в пьесе не значились, Подколесин возопил:

— Степа-ан!

Одновременно с этим он прыгнул в сторону и замер в трудной позе. Кружки Эсмарха загремели.

— Степа-а-ан! — повторил Подколесин, делая новый прыжок.

Но так как Степан, стоящий тут же и одетый в *барсовую* шкуру, не откликался, Подколесин трагически спросил:

— Что же ты молчишь, как Лига *Наций?*

— *Оченно* я Чемберлена испужался, — ответил Степан, почесывая *барсовую* шкуру.

Чувствовалось, что Степан оттеснит Подколесина и станет главным персонажем осовремененной пьесы.

— Ну что, шьет портной сюртук?

Прыжок. Удар по кружкам Эсмарха. Степан с усильем сделал стойку на руках и в таком положении ответил:

— Шьет.

Оркестр сыграл попурри из *«Чио-чио-сан»*. Все это время Степан стоял на руках. Лицо его залилось краской.

— А что, — спросил Подколесин, — не спрашивал ли портной, на что, мол, барину такое хорошее сукно?

Степан, который к тому времени сидел уже в оркестре и обнимал дирижера, ответил:

— Нет, не спрашивал. Разве он депутат английского парламента?

— А не спрашивал ли портной, не хочет ли, мол, барин жениться?

— Портной спрашивал, не хочет ли, мол, барин платить алименты!

После этого свет погас, и публика затопала ногами. Топала она до тех

пор, покуда со сцены не послышался голос Подколесина:

— Граждане! Не волнуйтесь! Свет потушили нарочно, по ходу *действа.* Этого требует вещественное оформление.

Публика покорилась. Свет так и не зажигался до конца акта. В полной темноте гремели барабаны. С фонарями прошел отряд военных в форме гостиничных швейцаров. Потом, как видно, на верблюде, приехал Кочкарев. Судить обо всем этом можно было из следующего диалога:

— Фу, как ты меня испугал! А еще на верблюде приехал!

— Ах, ты заметил, несмотря на темноту?! А я хотел преподнести тебе сладкое вер-блюдо!

В антракте концессионеры прочли афишу.

> ЖЕНИТЬБА
> *текст* — Н. В. Гоголя
> *стихи* — М. Шершеляфамова
> *литмонтаж* — И. Антиохийского
> *музыкальное* сопровождение — Х. Иванова
> Автор спектакля — Ник. Сестрин
>
> Вещественное оформление — Симбиевич-Синдиевич. Свет — Платон Плащук. Звуковое оформление — Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина и Залкинда. Грим — мастерской *КРУЛТ.* Парики — Фома Кочура. Мебель — древесных мастерских *ФОРТИНБРАСА* при *УМСЛОПОГАСЕ* им. *Валтаспра.* Инструктор акробатики — Жоржетта Тираспольских. Гидравлический пресс под управлением монтера Мечникова.
>
> Афиша набрана, сверстана и отпечатана в школе ФЗУ КРУЛТ.[406]

— Вам нравится? — робко спросил Ипполит Матвеевич.

— А вам?

Ипполит Матвеевич побоялся и сказал:

— Очень интересно, только Степан какой-то странный.

— А мне не понравилось, — сказал Остап, — в особенности то, что мебель у них каких-то мастерских *ВОГОПАСА.*[407] Не приспособили ли они наши стулья на новый лад?

Эти опасения оказались напрасными. В начале же второго акта все четыре стула были вынесены на сцену неграми в цилиндрах.

Сцена сватовства вызвала наибольший интерес *зрительного* зала. В ту минуту, когда на протянутой через весь зал проволоке начала спускаться

Агафья Тихоновна, страшный оркестр X. Иванова произвел такой шум, что от него одного Агафья Тихоновна должна была бы упасть *на* публику. *Но* Агафья держалась на сцене прекрасно. Она была в трико телесного цвета и в мужском котелке. Балансируя зеленым зонтиком с надписью: «Я хочу Подколесина», она переступала по проволоке, и снизу всем были видны ее грязные *пятки.* С проволоки она спрыгнула прямо на стул. Одновременно с этим все негры, Подколесин, Кочкарев в балетных пачках и сваха в костюме вагоновожатого сделали обратное сальто. Затем все отдыхали пять минут, для сокрытия чего был снова погашен свет.

Женихи были очень смешны — в особенности Яичница. Вместо него выносили большую яичницу на сковороде. На моряке была мачта с парусом.

Напрасно купец Стариков кричал, что его душат патент и уравнительные. Он не понравился Агафье Тихоновне. Она вышла замуж за Степана. Оба принялись уписывать яичницу, которую подал им обратившийся в лакея Подколесин. Кочкарев с Феклой спели куплеты про Чемберлена и про алименты, которые британский министр взимает у Германии. На кружках Эсмарха сыграли отходную. И занавес, навевая прохладу, захлопнулся.

— Я доволен спектаклем, — сказал Остап, — стулья в целости. Но нам медлить нечего. Если Агафья Тихоновна будет ежедневно на *него* гукаться, то *он* недолго *проживет.*

Молодые люди в фасонных пиджаках, толкаясь и смеясь, вникали в тонкости вещественного и звукового оформления.

На лестнице раздавался снисходительный голос Хунтова.

— Да. Я пишу оперу. В Московском отделении Ленинградского общества драматических писателей и оперных композиторов мне говорили…

И долго еще расходившаяся публика слышала барабанную дробь человека, созвучного эпохе:

— *Согласитесь с тем, что Московское отделение Ленинградского общества драматических писателей и оперных композиторов…*

— Ну, — сказал Остап, — вам, Кисочка, надо бай-бай. Завтра с утра нужно за билетами становиться. Театр в семь вечера выезжает ускоренным в Нижний. Так что вы берите два жестких места для сидения до Нижнего, Курской дороги. Не беда — посидим. Всего одна ночь.

На другой день весь театр Колумба сидел в буфете Курского вокзала. Симбиевич-Синдиевич, приняв меры к тому, чтобы вещественное оформление пошло этим же поездом, закусывал за столиком. Вымочив в

пиве усы, он тревожно спрашивал монтера:

— Что, гидравлический пресс не сломают в дороге?

— Беда с этим прессом, — отвечал Мечников, — работает он у нас пять минут, а возить его целое лето придется.

— А с «прожектором времен» тебе легче было, из пьесы «Порошок идеологии»?

— Конечно, легче. Прожектор хоть и больше был, но зато не такой ломкий.

За соседним столиком сидела Агафья Тихоновна — молоденькая девушка с ногами твердыми и блестящими, как кегли. Вокруг нее хлопотало звуковое оформление — Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд.

— Вы вчера мне не в ногу подавали, — жаловалась Агафья Тихоновна, — я так свалиться могу.

Звуковое оформление загалдело.

— Что ж делать! Две кружки лопнули!

— Разве теперь достанешь заграничную кружку Эсмарха? — кричал Галкин.

— Зайдите в Госмедторг.[408] Не то что кружки Эсмарха — термометра купить нельзя! — поддержал Палкин.

— А вы разве и на термометрах играете?[409] — ужаснулась девушка.

— На термометрах мы не играем, — заметил Залкинд, — но из-за этих проклятых кружек прямо-таки заболеваешь — приходится мерить температуру.

Автор спектакля и главный режиссер Ник. Сестрин прогуливался с женою по перрону. Подколесин с Кочкаревым хлопнули по три рюмки и наперебой ухаживали за Жоржеттой Тираспольских.

Концессионеры, пришедшие за два часа до отхода поезда, *совершали* уже пятый рейс вокруг сквера, разбитого перед вокзалом.

Голова у Ипполита Матвеевича кружилась. Погоня за стульями входила в решающую стадию. Удлиненные тени лежали на раскаленной мостовой. Пыль садилась на мокрые потные лица. Подкатывали пролетки, пахло бензином, наемные машины высаживали пассажиров. Навстречу им выбегали Ермаки Тимофеевичи, уносили чемоданы, и овальные их бляхи сияли на солнце. Муза дальних странствий хватала за горло.

— Ну, пойдем и мы, — сказал Остап.

Ипполит Матвеевич покорно *повернулся*. Тут он столкнулся лицом к лицу с гробовых дел мастером Безенчуком.

— Безенчук! — сказал он в крайнем удивлении. — Ты как сюда попал?

Безенчук снял шапку и радостно остолбенел.

— Господин Воробьянинов! — закричал он. — Почет дорогому гостю!

— Ну, как дела?

— Плохи дела, — ответил гробовых дел мастер.

— Что же так?

— Клиента ищу. Не идет клиент.

— «Нимфа» перебивает?

— Куды ей! Она меня разве перебьет? Случаев нет. После вашей тещеньки один только *Пьер и Константин* перекинулся.

— Да что ты говоришь? Неужели умер?

— Умер, Ипполит Матвеевич. На посту своем *умер.* Брил аптекаря нашего Леопольда и *умер.* Люди говорили, разрыв внутренности произошел, а я так думаю, что покойник от этого аптекаря лекарством надышался и не выдержал.

— Ай-яй-яй, — бормотал Ипполит Матвеевич, — ай-яй-яй. Ну что ж, значит, ты его и похоронил?

— Я и похоронил. Кому ж другому? Разве «Нимфа», туды ее в качель, кисть дает?

— Одолел, значит?

— Одолел. Только били меня потом. Чуть сердце у меня не выбили. Милиция отняла. Два дня лежал. Спиртом лечился.

— Растирался?

— Нам растираться не к чему.

— А сюда тебя зачем принесло?

— Товар привез.

— Какой же товар?

— Свой товар. Проводник знакомый помог провезти задаром в почтовом вагоне. По знакомству.

Ипполит Матвеевич только сейчас заметил, что поодаль от Безенчука на земле стоял штабель гробов. Один из них Ипполит Матвеевич быстро опознал. Это был большой дубовый и пыльный гроб с безенчуковской витрины.

— Восемь штук, — сказал Безенчук самодовольно, — один к одному. Как огурчики.

— А кому тут твой товар нужен? Тут своих мастеров довольно.

— А гриб?

— Какой гриб?

— Эпидемия. Мне Прусис сказал, что в Москве гриб свирепствует, что хоронить людей не в чем. Весь материал перевели. Вот я и решил дела поправить.

Остап, прослушавший весь этот разговор с любопытством, вмешался.

— Слушай, ты, папаша. Это в Париже грипп свирепствует.

— В Париже?

— Ну да. Поезжай в Париж. Там подмолотишь! Правда, будут некоторые затруднения с визой, но ты, папаша, не грусти. Если Бриан тебя полюбит, ты заживешь недурно — устроишься лейб-гробовщиком при парижском муниципалитете. А здесь и своих гробовщиков хватит.

Безенчук дико огляделся. Действительно. На площади, несмотря на уверения Прусиса, трупы не валялись, люди бодро держались на ногах, и некоторые из них даже смеялись.

Поезд давно уже унес и концессионеров, и театр Колумба, и прочую публику, а Безенчук все еще стоял ошалело над своими гробами.

В наступившей темноте его глаза горели желтым неугасимым огнем.

Часть третья
«Сокровища мадам Петуховой»

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Глава XXXIV
Волшебная ночь на Волге

Влево от пассажирских дебаркадеров Волжского *Государственного* речного пароходства, под надписью «Чаль за кольцы, решетку береги, стены не касайся», стоял великий комбинатор со своим другом и ближайшим помощником Кисой Воробьяниновым.

Страдальческие крики пароходов пугали предводителя. В последнее время он стал пуглив, как кролик. Ночь, проведенная без сна в жестком вагоне почтового поезда Москва — Нижний Новгород, оставила на лице Ипполита Матвеевича тени, пятна и пыльные морщины.

Над пристанями хлопали флаги. Дым, курчавый, как цветная капуста, валил из пароходных труб. Шла погрузка парохода «Антон Рубинштейн», стоявшего у дебаркадера № 2. Грузчики вонзали железные когти[410] в тюки хлопка. На пристани выстроились в каре чугунные горшки, лежали мокросоленые кожи, бунты проволоки, ящики с листовым стеклом, клубки сноповязального шпагата, жернова, двухцветные костистые сельскохозяйственные машины, деревянные вилы, обшитые дерюгой корзинки с молодой черешней и сельдяные бочки.

У дебаркадера № 4 стоял теплоход «Парижская коммуна». Вниз по реке он должен был уйти по расписанию только в шесть часов вечера, но уже и теперь, в одиннадцатом часу, по его белым опрятным палубам прогуливались пассажиры, приехавшие утром из Москвы.

«Скрябина» не было. Это очень беспокоило Ипполита Матвеевича.

— Что вы переживаете? — спросил Остап. — Вообразите себе, что «Скрябин» здесь. Ну, как вы на него попадете? Если бы у нас даже были деньги на покупку билета, то и тогда бы ничего не вышло. Пароход этот пассажиров не берет.

Остап еще в поезде успел побеседовать с завгидропрессом, монтером Мечниковым, и узнал от него все. Пароход «Скрябин», заарендованный Наркомфином, должен был *совершить* рейс от Нижнего до Царицына, останавливаясь у каждой пристани и производя тираж выигрышного займа. Для этого из Москвы выехало целое учреждение — тиражная комиссия, канцелярия, духовой оркестр, *виртуоз-балалаечник*, *радиоинженер*, кинооператор, корреспонденты центральных газет и театр Колумба. Театру

предстояло в пути показывать пьесы, в которых популяризовалась идея госзаймов. До Царицына театр поступал на полное довольствие тиражной комиссии, а затем собирался на свой страх и риск совершить большую гастрольную поездку по Кавказу со своей «Женитьбой».

«Скрябин» опоздал. Обещали, что он придет из затона, где делались последние приготовления, только к вечеру. Поэтому весь аппарат, прибывший из Москвы, в ожидании погрузки устроил бивак на пристани.

Нежные девушки с чемоданчиками и портпледами сидели на бунтах проволоки, сторожа свои ундервуды и с опасением поглядывая на крючников. На жернове примостился гражданин с фиолетовой эспаньолкой. На коленях у него лежала стопка эмалированных дощечек. На верхней из них любопытный мог бы прочесть: «Отдел взаимных расчетов». Письменные столы на тумбах и другие столы, более скромные, стояли друг на друге. У запечатанного несгораемого шкафа прогуливался часовой. *Корреспондент ТАСС уже устроился на краю пристани и, свесив ноги за борт, удил рыбу. Рыба не шла, и корреспондент досадливо крякал, меняя наживку*. Представитель «Станка» Персицкий смотрел в цейсовский бинокль с восьмикратным увеличением на территорию ярмарки, *потом потоптался, выяснил, что до прихода «Скрябина» остается еще часов пять, и на Кремлевском «элеваторе» поднялся в город*[411]. *За пять часов можно было набрать уйму материалов — дать очерк о городе, о радиолаборатории Бонч-Бруевича*[412] *и о последствиях наводнения*[413]…

Под сенью гидравлического пресса на воробьяниновском стуле сидела Агафья Тихоновна и флиртовала с виртуозом-балалаечником, корректным молодым человеком с европейской выправкой. Виртуоз чувствовал себя в родственной среде прекрасно. Он грациозно уселся на один из воробьяниновских стульев, совершенно не обращая внимания на то, что Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд вынуждены были все впятером довольствоваться только двумя стульями.

Вокруг стульев, как шакалы, расхаживали концессионеры. Остапа особенно возмущал виртуоз-балалаечник.

— Что это за чижик? — шептал он Ипполиту Матвеевичу. — Всякий дурак сидит на ваших стульях. Все это плоды вашего пошлого кобелирования.

— Что вы ко мне пристали? — захныкал Воробьянинов. — Я даже такого слова не знаю — кобелировать.

— Напрасно. Кобелировать — это значит ухаживать за молодыми девушками с нечистыми намерениями. Отпирательства ваши

безнадежны. Лиза мне все рассказала. Вся Москва покатывается со смеху. Все знают о вашем кобеляже.

Компаньоны, тихо переругиваясь, кружили вокруг стульев.

Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд делали прогнозы в будущее. Малкин не верил в доброкачественность тиражных обедов.

— В контракте, — говорил он, — надо было указать число блюд и количество калорий. По правилу, мы должны приравниваться к металлистам — не меньше 4000 калорий в обед.

Галкин и Палкин держались более оптимистических взглядов.

— Зато здесь икра дешева, — сообщили они, — и рыба.

— А воздух какой! — закричал Чалкин. — Морской воздух!

— Тем более, — сказал тонкий, как кнут, Залкинд. — При таком воздухе беспрерывно хочется есть. Мне уже сейчас хочется.

— До Царицына мы не пропадем. Кормить будут.

— А на Кавказе что будет? Если Сестрин сейчас уже заграбастал себе двадцать марок[414].

— А нам по полторы марки на каждого. Если еще пьеса провалится…

— Да. Копеек по пятнадцать в день будем зарабатывать.

Виртуоз-балалаечник пригласил Агафью Тихоновну обедать на «Парижскую коммуну».

— А нас пустят?

— Конечно, пустят. На стоянках кухня этим живет. Тут очень хорошие и дешевые обеды.

Звуковое оформление завздыхало и поплелось в трактир «Плот». Концессионеры оживились.

— Может быть, рискнем? — сказал вдруг Остап, невольно приближаясь к стульям. — Вы — два, и я — два, и — ходу! А? Хорошо бы было, черт возьми!

Он осмотрелся. Бежать надо было бы по насыпи до Рождественской улицы, забитой обозами. Да и сквозь толпу крючников продраться было бы нелегко. Кроме того, Кочкарев с Подколесиным маячили поблизости. Они, конечно, подняли бы страшный рев, заметив покушение на мебель, якобы изготовленную в древесных мастерских ФОРТИНБРАСА при УМСЛОПОГАСЕ имени Валтасара. Остап скис.

— Придется ехать! Но как? В крайнем случае, можно было бы сесть на «Парижскую коммуну», доехать до Царицына и там ждать труппу, но деньги, деньги! Ах, Киса, Киса, что б вас черт забрал! Осознали ли вы уже свою пошлость?

Компаньоны решили хотя бы посидеть на стульях. Они подпрыгивали

на пружинах и пересаживались со стула на стул. Ипполит Матвеевич ерзал.

— Ирония судьбы! — говорил Остап. — Нищие миллионеры! Вы еще ничего не нащупали?

Подколесин с Кочкаревым подошли к учрежденскому курьеру и, мотая головами в сторону концессионеров, справились, кто такие осмелились сесть на их вещественное оформление.

— Ну, сейчас погонят! — заключил Остап.

Подошел сторож.

— Вы, товарищи, из какого отдела будете?

— Из отдела взаимных расчетов, — сказал наблюдательный Остап.

Но и это не помогло. Курьер ушел и сейчас же вернулся с товарищем Людвигом. Товарищ Людвиг отогнал концессионеров от стульев и побежал на дебаркадер, к которому уже приближался, разворачиваясь против течения, пароход «Скрябин». На бортах своих он нес фанерные щиты, *на которых радужными красками были изображены гигантские облигации.* Пароход заревел, подражая крику мамонта, а может быть, и другого животного, заменявшего в доисторические времена пароходную сирену. Финансово-театральный бивак оживился. По городским спускам бежали тиражные служащие. В облаке пыли катился к пароходу толстенький Платон Плащук. Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд выбежали из трактира «Плот». Над несгораемой кассой уже трудились крючники. Инструктор акробатики Жоржетта Тираспольских гимнастическим шагом взбежала по сходням. Симбиевич-Синдиевич, в заботах о вещественном оформлении, простирал руки то к кремлевским высотам, то к капитану, стоявшему на мостике. Кинооператор пронес свой аппарат высоко над головами толпы и еще на ходу требовал отвода четырехместной каюты для устройства в ней лаборатории.

В общей свалке Ипполит Матвеевич пробрался к стульям и, будучи вне себя, поволок было один стул в сторонку.

— Бросьте стул! — завопил Бендер. — Вы что, с ума спятили? Один стул возьмем, а остальные пропадут для нас навсегда! Подумали бы лучше о том, как попасть на пароход!

По дебаркадеру прошли музыканты, опоясанные медными трубами. Они с отвращением смотрели на саксофоны, флексатоны,[415] пивные бутылки и кружки Эсмарха, которыми было вооружено звуковое оформление.

— Клистирная шайка! — сказал кларнет, поравнявшись с могучей пятеркой.

Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд ничего не ответили, но затаили в груди месть.

Тиражные колеса были привезены на фордовском фургончике. Это была сложная конструкция, составленная из шести вращающихся цилиндров, сверкающая медью и стеклом. Установка ее на нижней палубе заняла много времени.

Топот и перебранка продолжались до позднего вечера. *Колумбовцы, обиженные тем, что их поместили во втором классе, экспансивно набросились на автора спектакля и режиссера Ник. Сестрина.*

— Ну стоит ли волноваться, — мычал Ник. Сестрин, — прекрасные каюты, товарищи. Я считаю, что все хорошо.

— Это вы потому считаете, — запальчиво выкрикнул Галкин, — что сами устроились в первом классе.

— Галкин! — зловеще сказал режиссер.

— Что «Галкин»?

— Вы уже начинаете разлагать!

— Я? А Палкин? А Малкин? А Чалкин и Залкинд разве вам не скажут то же самое? Наконец, где мы будем репетировать?

И вся могучая кучка в один голос потребовала отдельную каюту для репетиций, а кстати, хотя бы немного денег вперед.

— Идите к черту! — завопил Ник. Сестрин. — В такой момент они пристают со своими претензиями!

Не объяснив, какой такой момент, автор спектакля перегнулся через борт и воззвал:

— Симбие-эвич!

— Синдие-эвич!

— Симбие-эвич!

— Мура! Вы не видели Симбиевича-Синдиевича?

В тиражном зале устраивали эстраду, приколачивали к стенам плакаты и лозунги, расставляли деревянные скамьи для посетителей и сращивали электропровода с тиражными колесами. Письменные столы разместили на корме, а из каюты машинисток, вперемежку со смехом, слышалось цоканье пишущих машинок. Бледный человек с фиолетовой эспаньолкой ходил по всему пароходу и навешивал на соответствующие двери свои эмалированные таблицы: «Отдел взаимных расчетов», «Личный стол», «Общая канцелярия», «Отдел печати», «Инструкторский подотдел», «Председатель комиссии», «Машинное отделение». К большим табличкам человек с эспаньолкой присобачивал таблички поменьше: «Без дела не входить», «Приема нет», «Посторонним лицам вход воспрещается», «Все

справки в регистратуре».

Салон первого класса был оборудован под выставку денежных знаков и бон.[416] Это вызвало новый взрыв негодования у Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина и Залкинда.

— Где же мы будем обедать? — волновались они. — А если дождь?

— Ой, — сказал Ник. Сестрин своему помощнику, — не могу!.. Как ты думаешь, Сережа, мы не сможем обойтись без звукового оформления?

— Что вы, Николай Константинович! Артисты к ритму привыкли!

Тут поднялся новый галдеж. *Могучая кучка* пронюхала, что все четыре стула автор спектакля утащил в свою каюту.

— Так, так, — говорила *кучка* с иронией, — а мы должны будем репетировать, сидя на койках, а на четырех стульях будет сидеть Николай Константинович со своей женой Густой, которая никакого отношения к нашему коллективу не имеет.[417] Может, мы тоже хотим иметь в поездке своих жен.

С берега на тиражный пароход зло смотрел великий комбинатор. *Представительная фигура Ипполита Матвеевича могла бы сойти за скульптуру «Отчаяние идола».*

Новый взрыв кликов достиг ушей концессионеров.

— Почему же вы мне раньше не сказали?! — кричал член комиссии.

— Откуда же я мог знать, что он заболеет.

— Это черт знает что! Тогда поезжайте в *Рабис*[418] и требуйте, чтобы нам экстренно командировали художника.

— Куда же я поеду? Сейчас шесть часов. Рабис давно закрыт. Да и пароход через полчаса уходит.

— Тогда сами будете рисовать. Раз вы взяли на себя ответственность за украшение парохода, извольте отдуваться, как хотите.

Остап уже бежал по сходням, расталкивая локтями крючников, барышень и просто любопытных. При входе его задержали.

— Пропуск!

— Да мне к этому гражданину.

— Все равно. Пропуск надо.

— Товарищ! — заорал Бендер. — Вы! Вы! Толстенький! Которому художник нужен!

Через пять минут великий комбинатор сидел в белой каюте толстенького заведующего хозяйством плавучего тиража и договаривался об условиях работы.

— Значит, товарищ, — говорил толстячок, — нам от вас потребуется

следующее: исполнение художественных плакатов, надписей и окончание транспаранта. Наш художник начал его делать и заболел. Мы его оставили здесь в больнице. Ну и, конечно, общее наблюдение за художественной частью. Можете вы это взять на себя? Причем предупреждаю — работы много.

— Да, я могу *это взять* на себя. Мне приходилось выполнять такую работу.

— И вы можете сейчас же *с нами ехать*?

— Это будет трудновато, но я постараюсь.

Большая и тяжелая гора свалилась с плеч заведующего хозяйством. Испытывая детскую легкость, толстячок смотрел на нового художника лучезарным взглядом.

— Ваши условия? — спросил Остап дерзко. — Имейте в виду, я не похоронная контора.

— Условия сдельные. По расценкам Рабиса.

Остап поморщился, что стоило ему большого труда.

— Но, кроме того, еще бесплатный стол, — поспешно добавил толстунчик, — и отдельная каюта.

— *В каком же классе?*

— *Во втором. Впрочем, можно и в первом. Я вам это устрою.*

— *А обратный проезд?*

— *На ваши средства. Не имеем кредитов.*

— Ну, ладно, — сказал Остап со вздохом, — соглашаюсь. Но со мною еще *мальчик-ассистент.*

— Насчет мальчика вот я не знаю. На мальчика кредита не отпущено. На свой счет — пожалуйста. Пусть живет в вашей каюте.

— Ну, пускай по-вашему. Мальчишка у меня шустрый. Привык к спартанской обстановке. *Кормить вы его будете?*

— *Пусть приходит на кухню. Там посмотрим.*

Остап получил пропуск на себя и на шустрого мальчика, положил в карман ключ от каюты и вышел на горячую палубу. *Остап* чувствовал немалое удовлетворение при прикосновении к ключу. Это было первый раз в его бурной жизни. Ключ и квартира были. Не было только денег. Но они находились тут же, рядом, в стульях. Великий комбинатор, заложив руки в карманы, гулял вдоль борта, *якобы* не замечая оставшегося на берегу Воробьянинова.

Ипполит Матвеевич сперва делал знаки молча, а потом даже осмелился попискивать. Но Бендер был глух. Повернувшись спиною к председателю концессии, он внимательно следил за процедурой опускания

гидравлического пресса в трюм.

Делались последние приготовления к отвалу. Агафья Тихоновна, она же Мура, постукивая *кегельными* ножками, бегала из своей каюты на корму, смотрела в воду, громко делилась своими восторгами с виртуозом-балалаечником и всем этим вносила смущение в ряды почтенных деятелей тиражного предприятия.

Пароход дал второй гудок. От страшных звуков сдвинулись облака. Солнце побагровело и свалилось за горизонт. В верхнем городе зажглись лампы и фонари. С рынка в Почаевском овраге донеслись хрипы граммофонов, состязавшихся перед последними покупателями. Оглушенный и одинокий Ипполит Матвеевич что-то кричал, но его не было слышно. Лязг лебедки губил все остальные звуки.

Остап Бендер любил эффекты. Только перед третьим гудком, когда Ипполит Матвеевич уже не сомневался в том, что брошен на произвол судьбы, Остап заметил его.

— Что же вы стоите, как засватанный.[419] Я думал, что вы уже давно на пароходе! Сейчас сходни снимают! Бегите скорей! Пропустите этого гражданина! Вот пропуск!

Ипполит Матвеевич, почти плача, взбежал на пароход.

— Вот это ваш мальчик? — спросил завхоз подозрительно.

— Мальчик, — сказал Остап, — разве плох? *Типичный мальчик.* Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень!

Толстяк угрюмо отошел.

— Ну, Киса, — заметил Остап, — придется с утра сесть за работу. Надеюсь, что вы сможете разводить краски. А потом вот что: я художник, окончил ВХУТЕМАС,[420] а вы мой помощник. Если вы думаете, что это не так, то скорее бегите назад, на берег.

Черно-зеленая пена вырвалась из-под кормы. Пароход дрогнул, всплеснули медные тарелки, флейты, корнеты, тромбоны и басы затрубили чудный марш, и город, поворачиваясь и балансируя, перекочевал на левый борт. Продолжая дрожать, пароход стал по течению и быстро побежал в темноту. Позади качались звезды, лампы и портовые разноцветные знаки. Через минуту пароход отошел настолько, что городские огни стали казаться застывшим на месте ракетным порошком.

Еще слышался ропот работающих *«ундервудов»*, а природа и Волга брали свое. Нега охватила всех *плавающих* на пароходе «Скрябин». Члены тиражной комиссии томно прихлебывали чай. На первом заседании месткома, происходившем на носу, царила нежность. Так шумно дышал

теплый ветер, так мягко полоскалась у бортов водичка, так быстро пролетали по бокам парохода черные очертания берегов, что председатель месткома, человек вполне положительный, открывший рот для произнесения речи об условиях труда в необычной обстановке, неожиданно для всех и для самого себя запел:

Пароход по Волге плавал,
Волга русская река…

А остальные суровые участники заседания пророкотали припев:

Сире-энь цвяте-от…[421]

Резолюция по докладу председателя месткома так и не была *вынесена*. Раздавались звуки пианино. Заведующий музыкальным сопровождением X. Иванов, *чувствуя нежность ко всем*, извлекал из инструмента самые лирические ноты. *Виртуоз* плелся за Мурочкой и, не находя собственных слов для выражения любви, бормотал слова романса:

— Не уходи. Твои лобзанья жгучи, я лаской страстною еще не утомлен. В ущельях гор не просыпались тучи, звездой жемчужною не гаснул небосклон…[422]

Симбиевич-Синдиевич, уцепившись за поручни, созерцал небесную бездну. По сравнению с ней вещественное оформление «Женитьбы» казалось ему возмутительным свинством. Он с гадливостью посмотрел на свои руки, принимавшие ярое участие в вещественном оформлении классической комедии.

В момент наивысшего томления расположившиеся на корме Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд ударили в свои аптекарские и пивные принадлежности. Они репетировали. Мираж рассеялся сразу. Агафья Тихоновна зевнула и, не обращая внимания на виртуоза-вздыхателя, пошла спать. В душах месткомовцев снова зазвучал гендоговор, и они взялись за резолюцию. Симбиевич-Синдиевич после зрелого размышления пришел к *тому*, что оформление «Женитьбы» не так уж плохо. Раздраженный голос из темноты звал Жоржетту Тираспольских на совещание к режиссеру. В деревнях лаяли собаки. Стало свежо.

В каюте первого класса Остап, лежа с *башмаками* на кожаном диване и задумчиво глядя на пробочный пояс, обтянутый зеленой парусиной,

допрашивал Ипполита Матвеевича:

— Вы умеете рисовать? Очень жалко. Я, к сожалению, тоже не умею.

Он подумал и продолжал:

— А буквы вы умеете *рисовать*? Тоже не умеете? Совсем нехорошо! Ведь мы-то *попали сюда как* художники. Ну, дня два можно будет мотать, а потом выкинут. За эти два дня мы должны успеть сделать все, что нам нужно. Положение несколько затруднилось. Я узнал, что стулья находятся в каюте режиссера. Но и это, в конце концов, не страшно. Важно то, что мы на пароходе. Пока нас не выкинули, все стулья должны быть осмотрены. Сегодня уже поздно. Режиссер спит в своей каюте.

Глава XXXV
Нечистая пара

Наутро первым на палубе оказался репортер Персицкий. Он успел уже принять душ и посвятить десять минут гимнастическим экзерсисам. Люди еще спали, но река жила, как днем. Шли плоты — огромные поля бревен с избами на них. Маленький злой буксир, на колесном кожухе которого дугой было выписано его имя — «Повелитель бурь», тащил за собой три нефтяные баржи, связанные в ряд. Пробежал снизу быстрый почтовик «Красная Латвия». «Скрябин» обогнал землечерпательный караван и, промеряя глубину полосатеньким шестом, стал описывать дугу, заворачивая против течения.

Персицкий приложился к биноклю и стал обозревать пристань.

— Бармино, — прочел он пристанскую вывеску.

На пароходе стали просыпаться. На пристань полетела гирька со шпагатом. На этой леске пристанские *ребята* потащили к себе толстый конец причального каната. Винты завертелись в обратную сторону. Полреки *рябилось* шевелящейся пеной. «Скрябин» задрожал от резких ударов винта и всем боком пристал к дебаркадеру. Было еще рано. Поэтому тираж решили начать в десять часов.

Служба на «Скрябине» начиналась, словно бы и на суше, аккуратно в девять. Никто не изменил своих привычек. Тот, кто на суше опаздывал на службу, опаздывал и здесь, хотя спал в самом же учреждении. К новому укладу походные штаты Наркомфина привыкли довольно быстро. Курьеры подметали каюты с тем же равнодушием, с каким подметали канцелярии в Москве. Уборщицы разносили чай, бегали с бумажками из регистратуры в личный стол, ничуть не удивляясь тому, что личный стол помещается на корме, а регистратура на носу. Из каюты взаимных расчетов несся кастаньетный звук счетов и скрежетанье арифмометра. *Под* капитанской рубкой кого-то распекали.

Великий комбинатор, обжигая босые ступни о верхнюю палубу, ходил вокруг длинной узкой полосы кумача, малюя на ней лозунг, с текстом которого он поминутно сверялся по бумажке:

«Все — на тираж. Каждый трудящийся должен иметь в кармане облигацию госзайма».

Великий комбинатор *старался,* но отсутствие способностей все-таки сказывалось. Надпись поползла вниз, и кусок кумача, казалось, был

испорчен безнадежно. Тогда Остап, с помощью мальчика Кисы, перевернул дорожку наизнанку и снова принялся малевать. Теперь он стал осторожнее. Прежде чем наляпывать буквы, он отбил вымеленной веревочкой две параллельных линии и, тихо ругая неповинного Воробьянинова, приступил к изображению слов.

Ипполит Матвеевич добросовестно выполнял обязанности мальчика. Он сбегал вниз за горячей водой, растапливал клей, чихая, сыпал в ведерко краски и угодливо заглядывал в глаза взыскательного художника.[423] Готовый и высушенный лозунг концессионеры снесли вниз и прикрепили к борту. *Проходивший мимо капитан, человек спокойный, с обвислыми запорожскими усами, остановился и покрутил головой.*

— А это уже не дело, — сказал он, — зачем гвоздями к перилам прибивать? На какие средства после вас пароход ремонтировать?

Капитан был удручен. Еще никогда на его пароходе не висели таблички «Без дела не входить» и «Приема нет», никогда на палубе не стояли пишущие машинки, никогда не играли на кружках Эсмарха, один вид которых приводил застенчивого капитана в состояние холодного негодования.

Из кают вышел заспанный кинооператор Полкан. Он долго пристраивал свой аппарат, оглядывая горизонты и, отвернувшись от толпы, уже собравшейся у пристани, накрутил метров десять с заведующего личным столом. Заведующий, для пущей натуральности, пытался непринужденно прогуливаться перед аппаратом, но Полкан этому воспротивился.

— Вы, товарищ, не выходите за рамку. Стойте на месте. И руками не шевелите, пожалуйста.

Заведующий сложил руки на груди и в таком монументальном виде был заснят. После этого Полкан удалился в свою лабораторию.

Толстячок, нанявший Остапа, сбежал на берег и оттуда *осмотрел* работу нового художника. Буквы лозунга были разной толщины и несколько скошены в *разные* стороны. *Толстяк подумал, что новый художник, при его самоуверенности, мог бы приложить больше стараний, но* выхода не было — приходилось довольствоваться и этим.

В половине десятого на берег сошел духовой оркестр и принялся выдувать горячительные марши. На звуки музыки со всего Бармина сбежались дети, а за ними из яблоневых садов двинули мужики и бабы. Оркестр гремел до тех пор, покуда на берег не сошли члены тиражной комиссии. *На берегу* начался митинг. С крыльца чайной Коробкова[424]

полились первые звуки доклада о международном положении.

Колумбовцы глазели на собрание с парохода. Оттуда видны были белые платочки баб, опасливо стоявших поодаль от крыльца, недвижимая толпа мужиков, слушавших оратора, и сам оратор, время от времени взмахивавший руками. Потом заиграла музыка. Оркестр повернулся и, не переставая играть, двинулся к сходням. За ним повалила толпа.

— Одну минуту! — закричал с борта толстячок. — Сейчас, товарищи, мы будем производить тираж выигрышного займа. Присутствовать могут все. Поэтому просим всех на пароход. По окончании тиража состоится концерт. А потому просьба по окончании тиража не расходиться, а собраться на берегу и оттуда смотреть. Артисты будут играть на палубе!

Оркестр заиграл снова и, толкая друг друга, все побежали на пароход и спустились в прохладный тиражный зал. Тиражная комиссия и включенные в нее представители села Бармина разместились на эстраде. Члены комиссии сделали это с достоинством, выработанным привычкой к подобного рода церемониям. Представители же села (их было двое), в лаптях и полосатых синих рубашках, серьезно, с таким видом, как будто бы они шли молотить, направились к столу и сели с краю.

— Прошу представителя РКИ[425]*, — сказал председатель комиссии, — осмотреть печати, наложенные на тиражную машину.*

Представитель РКИ нагнулся, осторожно потрогал печати рукой и заявил:

— Печати в полном порядке!

— Желающие могут удостовериться в целости печатей.

После осмотра из публики был затребован ребенок.

— И вот, товарищи, ребенок на глазах у всех будет вынимать из этих шести цилиндров по одному билету. На каждом из них есть одна цифра. Все шесть цифр вместе составят цифру той облигации, которая выиграла. Сейчас, товарищи, будет производиться розыгрыш двадцатирублевых выигрышей. Имеющие облигации — пускай следят. Не имеющие — могут приобрести их тут же на пароходе.

Касса завертелась, моргая стеклянными своими окошечками. Потом остановилась. Босой мальчик с каменным лицом опускал руку поочередно в каждый цилиндр, вынимал оттуда похожие на папиросы билетные трубочки и отдавал их членам комиссии.

— Выиграла облигация номер 0703418 во всех пяти сериях.

И тиражный аппарат методически выбрасывал комбинации цифр. *Касса оборачивалась, медленно останавливалась. Мальчик запускал руку,*

оглашались номера выигравших облигаций, барминцы внимательно смотрели и слушали, *о звуковое оформление, возбужденное процессом розыгрыша, обзавелось вскладчину одной облигацией и после каждого возглашения облегченно вздыхало.*

— Слава богу, не наш номер!

— Чему же вы радуетесь? — удивился Ник. Сестрин. — Ведь вы же не выиграли!

— Охота получать двадцать рублей! — кричала могучая пятерка. — На эту же облигацию можно выиграть пятьдесят тысяч. Прямой расчет.

— Вы вот что, друзья мои, — сказал режиссер, — до крупных выигрышей еще далеко, и делать вам здесь нечего. Идите готовиться к выступлению.

Прибежал на минуту Остап, убедился в том, что все обитатели парохода сидят в тиражном зале и, *сказав: «Электричество плюс детская невинность*[426] *— полная гарантия добропорядочности фирмы»,* — снова убежал на палубу.

— Воробьянинов! — шепнул он. — Для вас срочное дело по художественной части. *Станьте* у выхода из коридора первого класса и стойте. Если кто будет подходить — пойте погромче.

Старик опешил.

— Что же мне петь?

— Уж во всяком случае не «Боже, царя храни». Что-нибудь страстное — «Яблочко» или «Сердце красавицы». Но предупреждаю, если вы вовремя не вступите со своей арией!.. Это вам не Экспериментальный театр! Голову оторву.

Великий комбинатор, пришлепывая босыми пятками, вбежал в коридор, обшитый вишневыми панелями. На секунду большое зеркало в конце коридора отразило фигуру *Бендера.* Он читал табличку на двери: «Ник. Сестрин. Режиссер театра *Колумба*». *Вслед за тем* зеркало очистилось. Затем *в зеркале* снова *появился* великий комбинатор. В руке он держал стул с гнутыми ножками. Он промчался по коридору, *замедлив шаги,* вышел на палубу и, переглянувшись с Ипполитом Матвеевичем, понес стул наверх к рубке рулевого. В стеклянной *будочке* рулевого не было никого. Остап отнес стул на корму и наставительно сказал:

— Стул будет стоять здесь до ночи. Я все обдумал. Здесь почти никто не бывает, кроме нас. Давайте прикроем стул плакатами, а когда стемнеет — спокойно ознакомимся с его *содержимым.*

Через минуту стул, заваленный фанерными листами и лоскутьями

кумача, перестал быть виден.

Ипполита Матвеевича снова охватила золотая лихорадка.

— А почему бы не отнести его в нашу каюту? — спросил он нетерпеливо. — Мы б его вскрыли сейчас же. И если бы нашли *бриллианты,* то сейчас же на берег…

— А если бы не нашли? Тогда что? Куда его девать? Или, может быть, отнести его назад к гражданину Сестрину и вежливо сказать: *извините,* мол, мы у вас стульчик украли, но, к сожалению, ничего в нем не нашли, так что, мол, получите назад в несколько испорченном виде! Так бы вы поступили?

Великий комбинатор был прав, как всегда. Ипполит Матвеевич оправился от смущения только в ту минуту, когда с палубы понеслись звуки увертюры, исполняемой на кружках Эсмарха и пивных батареях.

Тиражные операции на этот день были закончены. Зрители разместились на береговых склонах и, сверх всякого ожидания, шумно выражали свое одобрение аптечно-негритянскому ансамблю. Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд гордо поглядывали, как бы говоря: «Вот видите! А вы утверждали, что широкие массы не поймут. Искусство *всегда* доходит!»

Затем на импровизированной сцене колумбовцами был разыгран легкий водевиль с пеньем и танцами, содержание которого сводилось к тому, как Вавила выиграл пятьдесят тысяч рублей и что из этого вышло. Артисты, сбросившие с себя путы никсестринского конструктивизма, играли весело, танцевали энергично и пели милыми голосами. Берег был вполне удовлетворен.

Вторым номером выступил виртуоз-балалаечник. *Его визитка и пробор, рассекающий волосы на две жирные половины, вызвали в зрителях недоумение и иронические возгласы. Аудитории не верилось, что франтик сумеет справиться с таким уважаемым инструментом, как балалайка.*

Виртуоз сел на скамейку, расправил фалды и медленно начал венгерскую рапсодию Листа. Постепенно ускоряя ритм, виртуоз-балалаечник достиг вершин балалаечной техники. Скептики были сражены, но энтузиазма не чувствовалось. Тогда виртуоз заиграл «Барыню»[427]. Берег покрылся улыбками.

«Барыня, барыня, — вырабатывал виртуоз, — сударыня-барыня».

Балалайка пришла в движение. Она *перелетела* за спину артиста, и из-за спины слышалось: «Если барин при цепочке, значит, барин без часов». Она взлетала на воздух и за короткий свой полет выпускала немало труднейших вариаций.

Балалаечник бисировал до тех пор, пока у него не полопались струны.

Наступил черед Жоржетты Тираспольских. Она вывела с собой табунчик девушек в сарафанах. Концерт закончился русскими плясками.

Пока «Скрябин» готовился к дальнейшему плаванью, пока капитан переговаривался в *трубу* с машинным отделением и пароходные топки пылали, грея воду, духовой оркестр снова сошел на берег и к общему удовольствию стал играть танцы. Образовались живописные группы, полные движения. Закатывающееся солнце посылало мягкий абрикосовый свет. Наступил идеальный час для киносъемки. И действительно, оператор Полкан, позевывая, вышел из каюты. Воробьянинов, который уже свыкся с амплуа всеобщего мальчика, осторожно нес за Полканом съемочный аппарат. Полкан подошел к борту и воззрился на берег. Там на траве танцевали солдатскую польку. Парни топали босыми ногами так, будто хотели расколоть нашу планету. Девушки плыли. На террасах и съездах берега расположились зрители. Французский кинооператор из группы «Авангард»[428] нашел бы здесь работы на трое суток. Но Полкан, скользнув по берегу крысиными глазками, сейчас же отвернулся, рысью подбежал к председателю комиссии, поставил его к белой стенке, сунул в его руку книгу и, попросив не шевелиться, долго вертел ручку аппарата. Потом он увел *стесненного* председателя на корму и снял его на фоне заката.

Закончив *киносъемку*, Полкан важно удалился в свою каюту и заперся.

Снова заревел гудок, и снова солнце в испуге убежало. *Наступала* вторая ночь. Пароход был готов к отходу.

По коридорам и лесенкам бегал Персицкий, разыскивая исчезнувшего корреспондента ТАСС. Корреспондента нигде не было. Только тогда, когда уже убирали сходни, корреспондент объявился. Он бежал вдоль берега, спотыкаясь, гремя баночками и размахивая удочкой.

— Человека забыли! — кричал он протяжно. — Человека забыли![429]

Пришлось подождать.

— Чтоб вас черт побрал! — сказал Персицкий, когда истомленный корреспондент прибыл. — Рыбу ловили?

— Ловил.

— Где же ваши осетры, налимы и раки?

— Нет, это черт знает что! — заволновался корреспондент. — Распугали всю рыбу своими оркестрами! И даже наконец, когда одна рыба уже клюнула, заревел этот ужасный гудок, и рыба тоже убежала. Нет, товарищи, в таких условиях работать совершенно невозможно!..

Совершенно!..

Разгневанный корреспондент пошел к капитану справляться о ближайшей остановке.

— Сначала Юрино, — сказал капитан, — потом Козьмодемьянск, потом Васюки, Марианский посад, Козловка. Потом Казань. Идем по расписанию тиражной комиссии.

Узнав то, что узнают все: сколько, приблизительно, такой пароход может стоить и как он назывался до революции, — корреспондент перешел на не менее тривиальные расспросы о волжских перекатах и мелях.

— Ну, это дело темное, — вздохнул капитан, — когда как. Каждый день дно может перемениться. На это обстановка есть.

— Какая обстановка? — удивился корреспондент.

— Маяки, буи, семафоры на берегах. Это и называется обстановкой. А главное — практика. Вот сынишка мой…

Капитан показал на двенадцатилетнего мальчугана, сидевшего у поручней и глядевшего на проплывающие берега.

— Настоящий волгарь будет. Лучше меня фарватер знает. С шести лет его с собой вожу.

Разговор с корреспондентом прервал заведующий хозяйством. За ним шел несколько растерянный директор бриллиантовой концессии.

— Это наш художник, — сказал завхоз, — мы тут делаем транспарант. Так вот, нельзя ли будет прикрепить его к капитанскому мостику? Оттуда его будет видно со всех сторон.

Капитан категорически отказался от украшения мостика.

— Ну, тогда рядом!

— Рядом — пожалуйста!

Завхоз обратился к Остапу.

— А вам, товарищ художник, удобно будет сбоку от капитанского мостика?

— Удобно, — со вздохом сказал Бендер.

— Так смотрите же! С утра приступайте к работе.

Остап со страхом помышлял о завтрашнем утре. Ему предстояло вырезать в картоне фигуру сеятеля, разбрасывающего облигации. Этот художественный искус был не по плечу великому комбинатору. Если с буквами Остап кое-как справлялся, то для художественного изображения сеятеля уже не оставалось никаких ресурсов.

— Так имейте в виду, — предостерегал толстяк, — с Васюков мы начинаем вечерние тиражи, и нам без транспаранта никак нельзя.

— Пожалуйста, не беспокойтесь, — заявил Остап, надеясь больше не на завтрашнее утро, а на сегодняшний вечер, — транспарант будет.

После ужина, на качество которого не могли пожаловаться даже такие гурманы, как Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд, после таких разговоров на корме:

— *А как будет со сверхурочными?*

— *Вам хорошо известно, что без разрешения инспекции труда мы не можем допустить сверхурочных.*

— *Простите, дорогой товарищ, наша работа протекает в условиях ударной кампании…*

— *А почему же вы не запаслись разрешением в Москве?*[430]

— *Москва разрешит постфактум.*

— *Пусть тогда постфактум и работают.*

— *В таком случае я не отвечаю за работу комиссии.*

После всех этих и иных разговоров наступила звездная ветреная ночь. Население тиражного ковчега уснуло. Львы из тиражной комиссии спали. Спали ягнята из личного стола, козлы из бухгалтерии, кролики из отдела взаимных расчетов, гиены и шакалы звукового оформления и голубицы из машинного бюро.

Не спала только одна нечистая пара. Великий комбинатор вышел из своей каюты в первом часу ночи. За ним следовала бесшумная тень верного Кисы.

— *Одно из двух, — сказал Остап, — или — или.*

Они поднялись на верхнюю палубу и неслышно приблизились к стулу, укрытому листами фанеры. Осторожно разобрав прикрытие, Остап поставил стул на ножки, сжав челюсти, вспорол плоскогубцами обшивку и залез рукой под сиденье.

Ветер бегал по верхней палубе. В небе легонько пошевеливались звезды. Под ногами глубоко внизу плескалась черная вода. Берегов не было видно. Ипполита Матвеевича трясло.

— Есть! — сказал Остап придушенным голосом.

Письмо отца Федора,

писанное им в Баку из меблированных комнат «Стоимость» жене своей в уездный город N.

Дорогая и бесценная моя Катя!

С каждым часом приближаемся мы к нашему счастью. Пишу

я тебе из меблированных комнат «Стоимость», после того как побывал по всем делам. Город Баку очень большой. Здесь, говорят, добывается керосин, но туда нужно ехать на электрическом поезде, а у меня нет денег. Живописный город омывается Каспийским морем. Оно действительно очень велико по размерам. Жара здесь страшная. На одной руке ношу пальто, на другой пиджак — и то жарко. Руки преют. То и дело балуюсь чайком. А денег почти что нет. Но не беда, голубушка Катерина Александровна, скоро денег у нас будет во множестве. Побываем всюду, а потом осядем по-хорошему в Самаре подле своего заводика и наливочку будем распивать. Впрочем, ближе к делу.

По своему географическому положению и по количеству народонаселения город Баку значительно превышает город Ростов. Однако уступает городу Харькову по своему движению. Инородцев здесь множество. А особенно много здесь армяшек и персиян. Здесь, матушка моя, до Тюрции недалеко. Был я и на базаре. Очень живительное зрелище, хотя базар грязнее, чем в городе Ростове, где я так же был на базаре. И видел я много тюрецких вещей и шалей. Захотел тебе в подарок купить мусульманское покрывало, только денег не было. И подумал я, что когда мы разбогатеем (а до этого днями нужно считать), тогда и мусульманское покрывало купить можно будет.

Ох, матушка, забыл тебе написать про два страшных случая, происшедших со мною в городе Баку: 1) *Уронил* пиджак брата твоего булочника в Каспийское море и 2) В меня на базаре плюнул одногорбый верблюд. Эти оба происшествия меня крайне удивили. Почему власти допускают такое бесчинство над проезжими пассажирами, тем более что верблюда я не тронул, а даже сделал ему приятное — пощекотал хворостинкой в ноздре. А пиджак ловили всем обществом, еле выловили, а он возьми и окажись весь в керосине. Уж я и не знаю, что скажу брату твоему булочнику. Ты, голубка, пока что держи язык за зубами. Обедает ли еще Евстигнеев, *а если нет, то почему?*

Перечел письмо и увидел, что о деле ничего не успел тебе рассказать. Инженер Брунс действительно работает в Азнефти. Только в городе Баку его сейчас нету. Он уехал в *двухнедельный декретный* отпуск в город Батум. Семья его имеет в Батуме постоянное местожительство. Я говорил тут с людьми, и они говорят, что действительно в Батуме у Брунса вся меблировка.

Живет он там на даче, на Зеленом мысу, такое там есть дачное место (дорогое, говорят). Пути отсюда до Батума — на 15 рублей с копейками. Вышли двадцать сюда телеграфом, а из Батума все тебе протелеграфирую. Распространяй по городу слухи, что я все еще нахожусь у одра тетеньки в Воронеже.

Твой вечно муж Федя.

Постскриптум: Относя письмо в почтовый ящик, у меня украли в номерах «Стоимость» пальто брата твоего булочника. Я в таком горе! Хорошо, что теперь лето. Ты брату ничего не говори.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Глава XXXVI
Изгнание из рая

Между тем как одни герои романа были убеждены в том, что время терпит, а другие полагали, что время не ждет,[431] время шло обычным своим порядком. За пыльным московским маем пришел пыльный июнь, в уездном городе N автомобиль *Г-1*, повредившись на ухабе, стоял уже две недели на углу Старопанской площади и улицы имени тов. Губернского, время от времени заволакивая окрестность отчаянным дымом. Из *Старгородского* допра выходили поодиночке сконфуженные участники заговора «Меча и орала» — у них была взята подписка о невыезде. Вдова Грицацуева (знойная женщина, мечта поэта) возвратилась к своему бакалейному делу и была оштрафована на пятнадцать рублей за то, что не вывесила на видном месте прейскурант цен на мыло, перец, синьку и прочие мелочные то вары. Забывчивость, простительная женщине с большим сердцем!

За день до суда, назначенного на двадцать первое июня, кассир Асокин пришел к Агафону Шахову, сел на диван и заплакал. Писатель в купальном халате полулежал в кресле и курил самокрутку.

— Пропал я, Агафон Васильевич, — сказал кассир, — засудят меня теперь.

— Как же это тебя угораздило? — наставительно спросил Шахов.

— Из-за вас пропал, Агафон Васильевич.

— А я тут при чем, интересно знать?

— Смутили меня, товарищ Шахов. Клеветы про меня написали. Никогда я таким не был.

— Чего же тебе, дура, надо от меня?

— Ничего не надо. Только через вашу книгу я пропал. Завтра судить будут. А главное — место потерял. Куда теперь приткнешься?

— Неужели же моя книга так подействовала?

— Подействовала, Агафон Васильевич. Прямо так подействовала, что и сам не знаю, как случилось все.

— Замечательно! — воскликнул писатель.

Он был польщен. Никогда еще не видел он так ясно воздействия художественного слова на интеллект читателя. Жалко было лишь, что

этот показательный случай останется неизвестным критике и читательской массе. Агафон запустил пальцы в свою котлетообразную бородку и задумался. Асокин выбирал слезу из глаза темным носовым платком.

— Вот что, братец, — вымолвил писатель задушевным голосом, — в чем, собственно, твое дело? Чего ты боишься? Украл? Да, украл. Украл сто рублей, поддавшись неотразимому влиянию романа Агафона Шахова «Бег волны», издательство «Васильевские четверги»[432]*, тираж 10000 экземпляров, Москва 1927 год, страниц 269, цена в папке 2 рубля 25 копеек.*

— Очень понимаю-с. Так оно и было. Полагаете, Агафон Васильевич, что условно дадут?

— Ну, это уж обязательно. Только ты все как есть выкладывай. Так и так, скажи, писатель Агафон Шахов, мол, моральный мой убийца…

— Да разве ж я посмею, Агафон Васильевич, осрамить автора!..

— Срами!

— Да разве ж я вас выдам?!

— Выдавай, голубчик. Моя вина.

— Ни в жизнь на вас тень я не брошу!

— Бросай, милый, большую широколиственную тень брось! Да не забудь про порнографию рассказать, про голых девочек, про Феничку не забудь. Помнишь, как там сказано?

— Как же, Агафон Васильевич! «Пышная грудь, здоровый румянец и крепкая линия бедер»…

— Вот, вот, вот. И Эсмеральдочка. Хищные зубы, какая-то там линия бедер…

— Наташка у вас красивенькая получилась… Раз меня уволили, я вашу книжку каждый день читаю.

— И тем лучше. Почитай ее еще сегодня вечером, а завтра все выкладывай. Про меня скажи, что я деморализатор общества, скажи, что взрослому мужчине после моей книжки прямо удержу нет. Захватывающая, скажи, книжка и описаны, мал, в ней сцены невыразимой половой распущенности.

— Так и говорить?

— Так и говори. Роман Агафона Шахова «Бег волны», не забудешь? Издательство «Васильевские четверги», тираж 10 000 экземпляров, Москва 1927 год, страниц 269, цена в папке 2 рубля 25 копеек. Скажи, что, мол, во всех магазинах, киосках и на станциях железных дорог продается.

— Вы мне, Агафон Васильевич, лучше запишите, а то забуду.

Писатель опустился в кресло и набросал полную исповедь

растратчика. Тут были, главным образом, бедра, несколько раз указывалась цена книги, несомненно, невысокая для такого большого количества страниц, размер тиража и адрес склада изд-ва «Васильевские четверги» — Кошков пер., дом № 21, кв. 17а.

Обнадеженный кассир выпросил на прощание новую книгу Шахова под названием «Повесть о потерянной невинности или в борьбе с халатностью».

— Так ты иди, братец, — сказал Шахов, — и не греши больше. Нечистоплотно это.

— Так я пойду, Агафон Васильевич. Значит, вы думаете, дадут условно?

— Это от тебя зависит. Ты больше на книгу вали. Тогда и выкрутишься.

Выпроводив кассира, Шахов сделал по комнате несколько танцевальных движений и промурлыкал:

— Бейте в бубны, пусть звенят гитары…[433]

Потом он позвонил в издательство «Васильевские четверги».

— Печатайте четвертое издание «Бега волны», печатайте, печатайте, не бойтесь!.. Это говорит вам Агафон Шахов!

— Есть! — повторил Остап сорвавшимся голосом. — Держите!

Ипполит Матвеевич принял в свои трепещущие руки плоский деревянный ящичек. Остап в темноте продолжал рыться в стуле. Блеснул береговой маячок. На воду лег золотой столбик и поплыл за пароходом.

— Что за черт, — сказал Остап. — Больше ничего нет!

— Н-н-не может быть! — пролепетал Ипполит Матвеевич.

— Ну, вы тоже посмотрите!

Воробьянинов, не дыша, пал на колени и по локоть всунул руку под сиденье. Между пальцами он ощутил основание пружины. Больше ничего твердого не было. От стула шел сухой мерзкий запах потревоженной пыли.

— Нету? — спросил Остап.

— Нет.

Тогда Остап приподнял стул и выбросил его далеко за борт. Послышался тяжелый всплеск. Вздрагивая от ночной сырости, концессионеры в сомнении вернулись к себе в каюту.

— Так, — сказал Бендер. — Что-то мы во всяком случае нашли.

Ипполит Матвеевич достал из кармана ящичек. *Воробьянинов* осовело посмотрел на него.

— Давайте, давайте! Чего глаза пялите?

Ящичек открыли. На дне его лежала медная позеленевшая пластинка с

надписью:

Мастеръ Гамбсъ этимъ полукресломъ

начинаетъ новую партiю мебели.

1865 г.

Санктъ-Петербургъ.

Надпись эту Остап прочел вслух.

— А где же *бриллианты*? — спросил Ипполит Матвеевич.

— Вы поразительно догадливы, дорогой охотник за табуретками, бриллиантов, как видите, нет.

— *Я не могу больше! — воскликнул Воробьянинов в отчаянии. — Это выше моих сил!*

На *него* было жалко смотреть. Отросшие слегка усы двигались, стекла пенсне были туманны. Казалось, что в отчаянии он бьет себя ушами по щекам.

— *Чего вы не можете? — спросил Остап.*

Холодный, рассудительный голос великого комбинатора оказал свое обычное магическое действие. Воробьянинов вытянул руки по вытертым швам и замолчал.

— Молчи, грусть, молчи, Киса! Когда-нибудь мы посмеемся над дурацким восьмым стулом, в котором нашлась глупая дощечка. Держитесь. Тут есть еще три стула — девяносто девять шансов из ста!..

За ночь на щеке огорченного до крайности Ипполита Матвеевича выскочил вулканический прыщ. Все страдания, все неудачи, вся мука погони за *бриллиантами* — все это, казалось, ушло в прыщ и отливало теперь перламутром, закатной вишней и синькой.

— Это вы нарочно? — спросил Остап.

Ипполит Матвеевич конвульсивно вздохнул и, высокий, чуть согнутый, как удочка, пошел за красками. Началось изготовление транспаранта. Концессионеры трудились на верхней палубе.

И начался третий день плаванья. Начался он короткой стычкой духового оркестра со звуковым оформлением из-за места для репетиций.

После завтрака к корме, одновременно с двух сторон, направились

здоровяки с медными трубами и худые рыцари эсмарховских кружек. Первым на кормовую скамью успел усесться Галкин. Вторым прибежал кларнет из духового оркестра.

— Место занято, — хмуро сказал Галкин.

— Кем занято? — зловеще спросил кларнет.

— Мною, Галкиным.

— А еще кем?

— Палкиным, Малкиным, Чалкиным и Залкиндом.

— А Елкина у вас нет? Это наше место.

С обеих сторон приблизились подкрепления. Справа сверкала медь и высились рослые духовики. Трижды опоясанный медным змеем-горынычем, стоял геликон — самая мощная машина в оркестре. Покачивалась, похожая на ухо, валторна. Тромбоны стояли в полной боевой готовности. Солнце тысячу раз отразилось в боевых доспехах.

Темно и мелко выглядело звуковое оформление. Там мигало бутылочное стекло, бледно светились клистирные кружки, и *саксофон* — возмутительная пародия на духовой инструмент, семенная вытяжка из настоящей духовой трубы — был жалок и походил на носогрейку.

— Клистирный батальон, — сказал *задира-кларнет,* — претендует на место.

— *Сифончатые молодые люди,*[434] *— презрительно заметил первый бас.*

— Вы, — сказал Залкинд, стараясь подыскать наиболее обидное выражение, — вы, консерваторы от музыки!..

— Не мешайте нам репетировать!

— Это вы нам мешаете.

— *Вам помешаешь!* На ваших ночных посудинах чем меньше репетируешь, тем красивше выходит.

— А на ваших самоварах репетируй не репетируй, ни черта не получится.

Не придя ни к какому соглашению, обе стороны остались на месте и упрямо заиграли — каждая свое. Вниз по реке *понеслись* звуки, какие мог бы издать только трамвай, медленно проползающий по *стеклу*. Духовики исполняли *военный* марш Кексгольмского лейб-гвардии полка, а звуковое оформление — негрскую пляску «Антилопа у истоков Замбези». Скандал был прекращен личным вмешательством председателя тиражной комиссии.

В этот день пароход останавливался два раза. У Козьмодемьянска простояли до сумерек. Обычные операции были произведены: вступительный митинг, тираж выигрышей, выступление театра

Колумба, балалаечник и танцы на берегу. Все это время концессионеры работали в поте лица. Несколько раз прибегал завхоз и, получая заверения в том, что к вечеру все будет готово, успокоенно возвращался к исполнению прямых своих обязанностей.

В одиннадцатом часу великий труд был закончен. Пятясь задом, Остап и Воробьянинов потащили транспарант к капитанскому мостику. Перед ними, воздев руки к звездам, бежал толстячок — заведующий хозяйством. Общими усилиями транспарант был привязан к поручням. Он высился над пассажирской палубой, как экран. В полчаса электротехник подвел к спине транспаранта провода и приладил внутри его три лампочки. Оставалось повернуть выключатель.

Впереди, вправо по носу, уже сквозили огоньки города Васюки.

На торжество освещения транспаранта заведующий хозяйством созвал все население парохода. Ипполит Матвеевич и великий комбинатор смотрели на собравшихся сверху, стоя по бокам темной еще скрижали.

Всякое событие на пароходе принималось плавучим учреждением близко к сердцу. Машинистки, курьеры, ответственные работники, колумбовцы и пароходная команда столпились, задрав головы, на пассажирской палубе.

— *Свет!* — скомандовал толстячок.

Транспарант осветился.

Остап посмотрел вниз на толпу. Розоватый свет лег на лица. Зрители смеялись. Потом наступило молчание. И суровый голос снизу сказал:

— Где завхоз?

Голос был настолько ответственный, что завхоз, не считая ступенек, кинулся вниз.

— Посмотрите, — сказал голос, — полюбуйтесь на вашу работу!

— Сейчас вытурят! — шепнул Остап Ипполиту Матвеевичу.

Остап, как и всегда, был прав. На верхнюю палубу, как ястреб, вылетел толстячок.

— Ну, как транспарантик? — нахально спросил Остап. — Доходит?

— Собирайте вещи! — закричал завхоз.

— К чему такая спешка?

— Со-би-рай-те вещи! *Чтоб духу вашего здесь не было!*

— И как это у вас, толстячок, хорошо выходит.

— Вон!

— Что? А выходное пособие?

— Вы под суд пойдете! Наш начальник не любит шутить!

— Гоните его! — донесся снизу ответственный голос.

— Нет, серьезно, вам не нравится транспарант? Это в самом деле неважный транспарант?

Продолжать игру не имело смысла. «Скрябин» уже пристал к Васюкам, и с парохода можно было видеть ошеломленные лица васюкинцев, столпившихся на пристани. В деньгах категорически было отказано. На сборы было дано пять минут. *Две из них отравил только теперь спохватившийся Ник. Сестрин. Он искал пропавший стул.*

— Сучья лапа! — сказал Симбиевич-Синдиевич, когда компаньоны сходили на пристань. — Поручили бы оформление транспаранта мне. Я б его так сделал, что никакой Мейерхольд за мной бы не угнался.

На пристани концессионеры остановились и посмотрели вверх. В черных небесах сиял транспарант.

— М-да, — сказал Остап, — транспарантик довольно дикий. Мизерное исполнение!

Искусство сумасшедших, пещерная живопись или рисунок, сделанный хвостом непокорного мула, по сравнению с транспарантом Остапа *казались* музейными ценностями. Вместо сеятеля, разбрасывающего облигации, шкодливая рука Остапа изобразила некий обрубок с сахарной головой и тонкими плетьми вместо рук.

Позади концессионеров пылал светом и гремел музыкой пароход, а впереди, на высоком берегу, был мрак уездной полночи, собачий лай и далекая гармошка.

— Резюмирую положение, — сказал Остап жизнерадостно, — пассив: ни гроша денег, три стула уезжают вниз по реке, ночевать негде и ни одного значка деткомиссии.[435] Актив: путеводитель по Волге, *издания 1926 года,*[436] пришлось позаимствовать у мосье Симбиевича в каюте. Бездефицитный баланс подвести очень трудно. Ночевать придется на пристани.

Концессионеры устроились на пристанских лавках. При свете дрянного керосинового фонаря Остап прочел из путеводителя:

«На правом высоком берегу город Васюки.[437] Отсюда отправляются лесные материалы, смола, лыко, рогожи, а сюда привозятся предметы широкого потребления для края, отстоящего на 50 километров от железной дороги. В городе *8000* жителей, государственная картонная фабрика с 320 рабочими, маленький чугунолитейный, пивоваренный и кожевенный заводы. Из учебных заведений, кроме общеобразовательных, лесной техникум».

— Положение гораздо серьезнее, чем я предполагал, — сказал

Остап. — Выколотить из васюковцев деньги представляется мне пока что неразрешимой задачей. А денег нам нужно не менее тридцати рублей. Во-первых, нам нужно питаться, и, во-вторых — *нам нужно* обогнать тиражную лоханку и встретиться с колумбовцами на суше — *в Сталинграде.*

Ипполит Матвеевич свернулся, как старый худой кот после стычки с молодым соперником — кипучим владетелем крыш, чердаков и слуховых окон.

Остап разгуливал вдоль лавок, соображая и комбинируя. К часу ночи великолепный план был готов. Бендер улегся рядом с компаньоном и заснул.

Глава XXXVII
Междупланетный шахматный конгресс

С утра по Васюкам ходил высокий худой старик в золотом пенсне и в коротких, очень грязных, испачканных клеевыми красками сапогах. Он наклеивал на стены рукописные афиши:

22 июня 1927 г.
В помещении клуба «Картонажник»
состоится
лекция на тему:

«Плодотворная дебютная идея»

и

Сеанс одновременной игры в шахматы

на 160 досках
гроссмейстера (старший мастер)[438] О. Бендера.
Все приходят со своими досками.
Плата за игру — 50 коп. Плата за вход — 20 коп.
Начало ровно в 6 час. веч.

Администратор К. Михельсон.

Сам гроссмейстер тоже не терял времени. Заарендовав клуб за три рубля, он перебросился в шахсекцию, которая почему-то помещалась в коридоре управления коннозаводством.

В шахсекции сидел одноглазый человек и читал роман Шпильгагена в пантелеевском издании.[439]

— Гроссмейстер О. Бендер! — заявил Остап, присаживаясь на стол. — Устраиваю у вас сеанс одновременной игры.

Единственный глаз васюкинского шахматиста раскрылся до пределов, дозволенных природой.

— Сию минуточку, товарищ гроссмейстер! — крикнул одноглазый. — Присядьте, пожалуйста. Я сейчас.

И одноглазый убежал. Остап осмотрел помещение шахматной секции. На стенах висели фотографии беговых лошадей, а на столе лежала запыленная конторская книга с заголовком: «Достижения Васюкинской шахсекции за 1925 год».

Одноглазый вернулся с дюжиной граждан разного возраста. Все они по очереди подходили знакомиться, называли фамилии и почтительно жали руку гроссмейстера.

— Проездом в Казань, — говорил Остап отрывисто, — да, да, сеанс сегодня вечером, приходите. А сейчас, простите, не в форме, устал после *Карлсбадского* турнира.[440]

Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа *несло*. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.

— Вы не поверите, — говорил он, — как далеко двинулась шахматная мысль. Вы знаете, Ласкер[441] дошел до пошлых вещей, с ним стало невозможно играть. Он обкуривает своих противников сигарами. И нарочно курит дешевые, чтобы дым противней был. Шахматный мир в беспокойстве.

Гроссмейстер перешел на местные темы.

— Почему в провинции нет никакой игры мысли! Например, вот ваша шахсекция. Так она и называется — шахсекция. Скучно, девушки! Почему бы вам, в самом деле, не назвать ее как-нибудь красиво, истинно по-шахматному. Это вовлекло бы в секцию союзную массу. Назвали бы, например, вашу секцию — «Шахматный клуб четырех коней», или «Красный эндшпиль», или «Потеря качества при выигрыше темпа». Хорошо было бы! Звучно!

Идея имела успех.

— И в самом деле, — сказали васюкинцы, — почему бы не переименовать нашу секцию *в клуб четырех коней?*

Так как бюро шахсекции было тут же, Остап организовал под своим почетным председательством минутное заседание, на котором секцию единогласно переименовали в *шахклуб четырех коней*. Гроссмейстер собственноручно, пользуясь уроками «Скрябина», художественно выполнил на листе картона вывеску с четырьмя конями и соответствующей надписью.

Это важное мероприятие сулило расцвет шахматной мысли в Васюках.

— Шахматы! — говорил Остап. — Знаете ли вы, что такое шахматы?

Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что *шахматный клуб четырех коней* при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки?

Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно.

— Да! — кричал он. — Шахматы обогащают страну! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам! Васюки станут центром десяти губерний! Что вы раньше слышали о городе Земмеринге?[442] Ничего! А теперь этот городишко богат и знаменит только потому, что там был организован международный турнир. Поэтому я говорю: в Васюках надо устроить международный шахматный турнир!

— Как? — закричали все.

— Вполне реальная вещь, — ответил гроссмейстер, — мои личные связи и ваша самодеятельность — вот все необходимое и достаточное для организации международного *Васюкинского* турнира. Подумайте над тем, как красиво будет звучать — «Международный Васюкинский турнир 1927 года». Приезд Хозе-Рауля Капабланки, Эммануила Ласкера, Алехина, Нимцовича, Рети, Рубинштейна, Мароци, Тарраша, Видмара и доктора Григорьева[443] — обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие!

— Но деньги! — застонали васюкинцы. — Им же всем деньги нужно платить! Много тысяч денег! Где же их взять?

— Все учтено могучим ураганом![444] — сказал О. Бендер. — Деньги дадут сборы!

— Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы…

— Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва — Васюки. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — *это* поднятие сельского хозяйства в радиусе на *тысячу* километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные *конфекты.* Дворец, в котором будет происходить турнир, — четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это

— в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва — Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» — регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн.

Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы *действительно* ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах — приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие васюкинцам, — москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей. Но вот — все остановилось. Из фешенебельной гостиницы «Проходная пешка» вышел чемпион мира Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера. Его окружали дамы. Милиционер, одетый в специальную шахматную форму (галифе в клетку и слоны на петлицах), вежливо откозырял. К чемпиону с достоинством подошел одноглазый председатель васюкинского *клуба четырех коней.* Беседа двух светил, ведшаяся на английском языке, была прервана прилетом доктора Григорьева и будущего чемпиона мира Алехина. Приветственные клики потрясли город. Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера поморщился. По мановению руки одноглазого к аэроплану была подана мраморная лестница. Доктор Григорьев сбежал по ней, приветственно размахивая новой шляпой и комментируя на ходу возможную ошибку Капабланки в предстоящем *матче* с Алехиным.

Вдруг на горизонте была усмотрена черная точка. Она быстро приближалась и росла, превратившись в большой изумрудный парашют. Как большая редька, висел на парашютном кольце человек с чемоданчиком.

— Это он! — закричал одноглазый. — Ура! Ура! Ура! Я узнаю великого философа-шахматиста, *старичину* Ласкера. Только он один во всем мире носит такие зеленые носочки.

Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера снова поморщился.

Ласкеру проворно подставили мраморную лестницу, и бодрый экс-чемпион, сдувая с левого рукава пылинку, севшую на него во время полета над Силезией, упал в объятия одноглазого. Одноглазый взял Ласкера за талию, подвел его к чемпиону и сказал:

— Помиритесь! Прошу вас об этом от имени широких васюкинских масс! Помиритесь!

Хозе-Рауль шумно вздохнул и, потрясая руку старого ветерана, сказал:

— Я всегда преклонялся перед вашей идеей перевода слона в испанской партии с b5 на c4!

— Ура! — воскликнул одноглазый. — Просто и убедительно, в стиле чемпиона!

И вся необозримая толпа подхватила:

— Ура! Виват! Банзай! Просто и убедительно, в стиле чемпиона!!!

Энтузиазм дошел до апогея. Завидя маэстро Дуза-Хотимирского[445] *и маэстро Перекатова*[446]*, плывших над городом в яйцевидном оранжевом дирижабле, одноглазый взмахнул рукой. Два с половиной миллиона человек в одном воодушевленном порыве запели:*

Чудесен шахматный закон и непреложен:
Кто перевес хотя б ничтожный получил
В пространстве, массе, времени, напоре сил
Лишь для того прямой к победе путь возможен.

Экспрессы подкатывали к двенадцати васюкинским вокзалам, высаживая все новые и новые толпы шахматных любителей.

К одноглазому подбежал скороход.

— Смятение на сверхмощной радиостанции. Требуется ваша помощь.

На радиостанции инженеры встретили одноглазого криками:

— Сигналы о бедствии! Сигналы о бедствии!

Одноглазый нахлобучил радионаушники и прислушался.

— Уау! Уау, уау! — неслись отчаянные крики в эфире. — SOS! SOS! SOS! Спасите наши души!

— Кто ты, умоляющий о спасении? — сурово крикнул в эфир одноглазый.

— Я молодой мексиканец! — сообщили воздушные волны. — Спасите мою душу!

— Что вы имеете к шахматному клубу четырех коней?

— Нижайшая просьба!..

— А в чем дело?

— Я молодой мексиканец Торре! Я только что выписался из сумасшедшего дома. Пустите меня на турнир! Пустите меня!

— Ах! Мне так некогда! — ответил одноглазый.

— SOS! SOS! SOS! — заверещал эфир.

— Ну хорошо! Прилетайте уже!

— У меня нет де-е-нег! — донеслось с берегов Мексиканского залива.

— Ох! Уж эти мне молодые шахматисты! — вздохнул одноглазый. — Пошлите за ним уже мотовоздушную дрезину.[447] *Пусть едет!*

Уже небо запылало от светящихся реклам, когда по улицам города провели белую лошадь. Это была единственная лошадь, уцелевшая после механизации васюкинского транспорта. Особым постановлением она была переименована в коня, хотя и считалась всю жизнь кобылой. Почитатели шахмат приветствовали ее, размахивая пальмовыми ветвями и шахматными досками…

— Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.

— Всего мира!!! — застонали оглушенные васюкинцы.

— Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный *турнир!*

Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня.

— Да-а, — выдавил из себя одноглазый, обводя пыльное помещение сумасшедшим взором, — но как же практически провести мероприятие в жизнь, подвести, так сказать, базу?..

Присутствующие напряженно смотрели на гроссмейстера.

— Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы.

Одноглазый подталкивал своих соратников.

— Ну? — спрашивал он. — Что вы скажете?

— Устроим! Устроим! — *галдели* васюкинцы.

— Сколько же нужно денег на… это… телеграммы?

— Смешная цифра, — сказал Остап, — сто рублей.

— У нас в кассе только двадцать один рубль шестнадцать копеек. Этого, конечно, мы понимаем, далеко не достаточно…

Но гроссмейстер оказался покладистым организатором.

— Ладно, — сказал он, — давайте ваши двадцать рублей.

— А хватит? — спросил одноглазый.

— На первичные телеграммы хватит. А потом начнется приток пожертвований, и денег некуда будет девать!..

Упрятав деньги в зеленый походный пиджак, гроссмейстер напомнил собравшимся о своей лекции и сеансе одновременной игры на 160 досках, любезно распрощался до вечера и отправился в клуб «Картонажник» на свидание с Ипполитом Матвеевичем.

— Я голодаю! — сказал Воробьянинов трескучим голосом.

Он уже сидел за кассовым окошечком, но не собрал еще ни одной копейки и не мог купить даже фунта хлеба. Перед ним лежала проволочная зеленая корзиночка, предназначенная для сбора. В такие корзиночки в домах средней руки кладут ножи и вилки.

— Слушайте, Воробьянинов, — закричал Остап, — прекратите часа на полтора кассовые операции. Идем обедать в *Нарпит*. По дороге обрисую ситуацию. Кстати, вам нужно побриться и почиститься. У вас просто босяцкий вид. У гроссмейстера не может быть таких подозрительных знакомых.

— Ни одного билета не продал, — сообщил Ипполит Матвеевич.

— Не беда. К вечеру набегут. Город мне уже пожертвовал двадцать рублей на организацию международного шахматного турнира.

— Так зачем же нам сеанс одновременной игры? — зашептал администратор. — Ведь побить могут. А с двадцатью рублями мы сейчас же можем сесть на пароход, как раз «Карл Либкнехт» сверху пришел, спокойно ехать в Сталинград и ждать там приезда театра. Авось в *Сталинграде* удастся вскрыть стулья. Тогда мы — богачи, и все принадлежит нам.

— На голодный желудок нельзя говорить такие глупые вещи. Это

отрицательно влияет на мозг. За двадцать рублей мы, может быть, до Сталинграда и доедем. А питаться на какие деньги? Витамины, дорогой *товарищ предводитель,* даром никому не даются. Зато с экспансивных васюкинцев можно будет сорвать за лекцию и сеанс рублей тридцать.

— Побьют! — горько сказал Воробьянинов.

— Конечно, риск есть. Могут баки набить. Впрочем, у меня есть одна мыслишка, которая вас-то обезопасит, во всяком случае. Но об этом после. Пока что идем вкусить от местных блюд.

К шести часам вечера сытый, выбритый и пахнущий одеколоном гроссмейстер вошел в кассу клуба «Картонажник». Сытый и выбритый Воробьянинов бойко торговал билетами.

— Ну, как? — тихо спросил гроссмейстер.

— Входных тридцать и для игры — двадцать, — ответил администратор.

— Шестнадцать рублей. Слабо, слабо!

— Что вы, Бендер, смотрите, какая очередь стоит! Неминуемо побьют!

— Об этом не думайте. Когда будут бить — будете плакать, а пока что не задерживайтесь! Учитесь торговать![448]

Через час в кассе было тридцать пять рублей. Публика волновалась в зале.

— Закрывайте окошечко! Давайте деньги! — сказал Остап. — Теперь вот что. Нате вам пять рублей, идите на пристань, наймите лодку часа на два и ждите меня на берегу пониже амбара. Мы с вами совершим вечернюю прогулку. Обо мне не беспокойтесь. Я сегодня в форме.

Гроссмейстер вошел в зал. Он чувствовал себя бодрым и твердо знал, что первый ход е2 — е4 не грозит ему никакими осложнениями. Остальные ходы, правда, рисовались в совершенном уже тумане, но это нисколько не смущало великого комбинатора. У него был приготовлен совершенно неожиданный выход для спасения даже самой безнадежной партии.

Гроссмейстер был встречен рукоплесканиями. Небольшой клубный зал был увешан разноцветными *бумажными* флажками. Неделю тому назад *был* вечер «Общества спасания на водах», о чем свидетельствовал также лозунг на стене: «Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих».[449]

Остап поклонился, протянул вперед руки, как бы отвергая не заслуженные им аплодисменты, и взошел на эстраду.

— Товарищи! — сказал он прекрасным голосом. — Товарищи и братья по шахматам, предметом моей сегодняшней лекции служит то, о

чем я читал и, должен признаться, не без успеха в Нижнем Новгороде неделю тому назад. Предмет моей лекции — плодотворная дебютная идея. Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея?[450] Дебют, товарищи, это *quasi una fantasia*. А что такое, товарищи, значит идея? Идея, товарищи, — это человеческая мысль, облеченная в логическую шахматную форму. Даже с ничтожными силами можно овладеть всей доской. Все зависит от каждого индивидуума в отдельности. Например, вон тот блондинчик в третьем ряду. Положим, он играет хорошо…

Блондин в третьем ряду зарделся.

— А вон тот брюнет, допустим, хуже.

Все повернулись и осмотрели также брюнета.

— Что же мы видим, товарищи? Мы видим, что блондин играет хорошо, а брюнет играет плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил, если каждый индивидуум в отдельности не будет постоянно тренироваться в шашк… то есть я хотел сказать — в шахматы… А теперь, товарищи, я расскажу вам несколько поучительных историй из практики наших уважаемых гипермодернистов Капабланки, Ласкера и доктора Григорьева.[451]

Остап рассказал аудитории несколько ветхозаветных анекдотов, почерпнутых еще в детстве из «Синего журнала», и этим закончил интермедию.

Краткостью лекции все были слегка удивлены. И одноглазый не сводил своего единственного ока с гроссмейстеровой обуви.[452]

Однако начавшийся сеанс одновременной игры задержал растущее подозрение одноглазого шахматиста. Вместе со всеми он расставлял столы покоем. Всего против гроссмейстера сели играть тридцать любителей. Многие из них были совершенно растеряны и поминутно глядели в шахматные учебники, освежая в памяти сложные варианты, при помощи которых надеялись сдаться гроссмейстеру хотя бы после двадцать второго хода.

Остап скользнул взглядом по шеренгам «черных», которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу. Он подошел к одноглазому, сидевшему за первой доской, и передвинул королевскую пешку с клетки е2 на клетку е4.

Одноглазый сейчас же схватил свои уши руками и стал напряженно думать. По рядам любителей прошелестело:

— Гроссмейстер сыграл е2 — е4.

Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. На

остальных двадцати девяти досках он проделал ту же операцию: перетащил королевскую пешку с е2 на е4. Один за другим любители хватались за волосы и погружались в лихорадочные рассуждения. Неиграющие переводили взоры за гроссмейстером. Единственный в городе *фотограф-любитель* уже взгромоздился было на стул и собирался поджечь магний, но Остап сердито замахал руками и, прервав свое течение вдоль досок, громко закричал:

— Уберите фотографа! Он мешает моей шахматной мысли!

«С какой стати оставлять свою фотографию в этом жалком городишке. Я не люблю иметь дело с милицией», — решил он про себя.

Негодующее шиканье любителей заставило фотографа отказаться от своей попытки. Возмущение было так велико, что фотографа даже выперли из помещения.

На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет восемнадцать испанских партий. В остальных двенадцати черные применили хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора.[453] Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни.

Сперва любители, и первый среди них — одноглазый, пришли в ужас. Коварство гроссмейстера было несомненно. С необычайной легкостью и, безусловно, ехидничая в душе над отсталыми любителями города Васюки, гроссмейстер жертвовал пешки, тяжелые и легкие фигуры направо и налево. Обхаянному на лекции брюнету он пожертвовал даже ферзя. Брюнет пришел в ужас и хотел было немедленно сдаться, но только страшным усилием воли заставил себя продолжать игру.

Гром среди ясного неба раздался через пять минут.

— Мат! — пролепетал насмерть перепуганный брюнет. — Вам мат, товарищ гроссмейстер!

Остап проанализировал положение, позорно назвал «ферзя» «королевой» и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей.

«Пора *рвать когти!*» — подумал Остап, спокойно расхаживая среди столов и небрежно переставляя фигуры.

— Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер, — залебезил одноглазый. — Конь так не ходит.

— Пардон, пардон, извиняюсь, — ответил гроссмейстер, — после лекции я несколько устал!

В течение ближайших десяти минут гроссмейстер проиграл еще

десять партий.

Удивленные крики раздавались в помещении клуба «Картонажник». Назревал конфликт. Остап проиграл подряд пятнадцать партий, а вскоре еще три. Оставался один одноглазый. В начале партии он от страха наделал множество ошибок и теперь с трудом вел игру к победному концу. Остап, незаметно для окружающих, украл с доски черную ладью и спрятал ее в карман.

Толпа тесно сомкнулась вокруг играющих.

— Только что на этом месте стояла моя ладья! — закричал одноглазый, осмотревшись. — А теперь ее уже нет.

— Нет, значит, и не было! — грубовато сказал Остап.

— Как же не было? Я ясно помню!

— Конечно, не было.

— Куда же она девалась? Вы ее выиграли?

— Выиграл.

— Когда? На каком ходу?

— Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!

— Позвольте, товарищ, у меня все ходы записаны.

— Контора пишет![454] — сказал Остап.

— Это возмутительно! — заорал одноглазый. — Отдайте мою ладью!

— Сдавайтесь, сдавайтесь, что это за кошки-мышки такие!

— Отдайте ладью!

— *Дать вам ладью? Может быть, вам дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?*

С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника.

— Товарищи! — заверещал одноглазый. — Смотрите все! Любителя бьют.

Шахматисты города Васюки опешили.

Не теряя драгоценного времени, Остап швырнул *шахматную доску в керосиновую* лампу и, ударяя в наступившей темноте по чьим-то челюстям и лбам, выбежал на улицу. Васюкинские любители, падая друг на друга, ринулись за ним.

Был лунный вечер. Остап несся по серебряной улице легко, как ангел, отталкиваясь от грешной земли. Ввиду несостоявшегося превращения Васюков в центр мироздания бежать пришлось не среди дворцов, а среди бревенчатых домиков с наружными ставнями. Сзади неслись шахматные

любители.

— Держите гроссмейстера! — ревел одноглазый.

— Жулье! — поддерживали остальные.

— Пижоны! — огрызался гроссмейстер, увеличивая скорость.

— Караул! — кричали изобиженные шахматисты.

Остап запрыгал по лестнице, ведущей на пристань. Ему предстояло пробежать четыреста ступенек. На шестой площадке его уже поджидали два любителя, пробравшиеся сюда окольной тропинкой прямо по склону. Остап оглянулся. Сверху катилась собачьей стаей тесная группа разъяренных поклонников защиты Филидора. Отступления не было. Поэтому Остап побежал вперед.

— Вот я вас сейчас, сволочей! — гаркнул он храбрецам-разведчикам, бросаясь с пятой площадки.

Испуганные пластуны ухнули, переваливаясь за перила, и покатились куда-то в темноту[455] бугров и склонов. Путь был свободен.

— Держите гроссмейстера! — катилось сверху.

Преследователи бежали, стуча по деревянной лестнице, как падающие кегельные шары.

Выбежав на берег, Остап уклонился вправо, ища глазами лодку с верным ему администратором.

Ипполит Матвеевич идиллически сидел в лодочке. Остап бухнулся на скамейку и яростно стал выгребать от берега. Через минуту в лодку полетели камни. Одним из них был подбит Ипполит Матвеевич. Немного повыше вулканического прыща у него вырос темный желвак. Ипполит Матвеевич упрятал голову в плечи и захныкал.

— Вот еще, шляпа! Мне чуть голову не оторвали. И я — ничего. Бодр и весел. А если принять во внимание еще пятьдесят рублей чистой прибыли, то за одну гулю на вашей голове — гонорар довольно приличный.

Между тем преследователи, которые только сейчас поняли, что план превращения Васюков в Нью-Москву рухнул и что гроссмейстер увозит из города пятьдесят кровных васюкинских рублей, погрузились в большую лодку и с криками *выгребли* на середину реки. В лодку набилось человек тридцать. Всем хотелось принять личное участие в расправе с гроссмейстером. Экспедицией командовал одноглазый. Единственное его око сверкало в ночи, как маяк.

— Держи гроссмейстера! — вопили в перегруженной барке.

— Ходу, Киса! — сказал Остап. — Если они нас догонят, я не смогу поручиться за целость вашего пенсне.

Обе лодки шли вниз по течению. Расстояние между ними все уменьшалось. Остап выбивался из сил.

— Не уйдете, сволочи! — кричали из барки.

Остап не отвечал. Было некогда. Весла вырывались из воды. Вода потоками вылетала из-под беснующихся весел и попадала в лодку.

— Валяй! — шептал Остап самому себе.

Ипполит Матвеевич маялся. Барка торжествовала. Высокий ее корпус уже обходил лодочку концессионеров с левой руки, чтобы прижать гроссмейстера к берегу. Концессионеров ждала плачевная участь. Радость на барке была так велика, что все шахматисты перешли на правый борт, чтобы, поравнявшись с лодочкой, превосходными силами обрушиться на злодея-гроссмейстера.

— Берегите пенсне, Киса, — в отчаянии крикнул Остап, бросая весла, — сейчас начнется!

— Господа! — воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. — Неужели вы будете нас бить?!

— Еще как! — загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку.

Но в это время произошло крайне обидное для честных шахматистов всего мира происшествие. Барка *накренилась* и правым бортом зачерпнула воду.

— Осторожней, — пискнул одноглазый капитан.

Но было уже поздно. Слишком много любителей скопилось на правом борту васюкинского дредноута. Переменив центр тяжести, барка не стала колебаться и в полном соответствии с законами физики перевернулась.

Общий вопль нарушил спокойствие реки.

— Уау! — протяжно стонали шахматисты.

Целых тридцать любителей очутились в воде. Они быстро выплывали на поверхность и один за другим цеплялись за перевернутую барку. Последним причалил одноглазый.

— Пижоны! — в восторге кричал Остап. — Что же вы не бьете вашего гроссмейстера? Вы, если не ошибаюсь, хотели меня бить?

Остап описал вокруг потерпевших крушение круг.

— Вы же понимаете, васюкинские индивидуумы, что я мог бы вас поодиночке утопить, но я дарую вам жизнь. Живите, граждане! Только, ради создателя, не играйте в шахматы! Вы же просто не умеете играть! Эх вы, пижоны, пижоны!.. Едем, Ипполит Матвеевич, дальше! Прощайте, одноглазые любители! Боюсь, что Васюки центром мироздания не станут! Я не думаю, чтобы мастера шахмат приехали бы к таким дуракам, как вы,

даже если бы я их об этом просил! Прощайте, любители сильных шахматных ощущений! Да здравствует *клуб четырех лошадей!*

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Глава XXXVIII
И др

Утро застало концессионеров на виду Чебоксар. Остап дремал у руля. Ипполит Матвеевич сонно водил веслами по воде. От холодной ночи обоих подирала цыганская дрожь. На востоке распускались розовые бутоны. Пенсне Ипполита Матвеевича все *светлело*. Овальные стекла их *заиграли*. В них попеременно отразились оба берега. Семафор с левого берега изогнулся в двояковогнутом стекле *так, будто бы у него болел живот*. Синие купола Чебоксар плыли *в стеклах Воробьянинова*, словно корабли. Сад на востоке разрастался. Бутоны превратились в вулканы и принялись извергать лаву наилучших кондитерских *окрасок*. Птички на левом берегу учинили большой и громкий скандал. Золотая дужка пенсне вспыхнула и ослепила гроссмейстера. Взошло солнце.

Остап раскрыл глаза и вытянулся, накреняя лодку и треща костями.

— С добрым утром, Киса, — сказал он, давясь зевотой, — я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по *чем-то* там затрепетало…[456]

— Пристань, — доложил Ипполит Матвеевич.

Остап вытащил путеводитель и справился.

— Судя по всему — Чебоксары. Так, так… «Обращаем внимание на очень красиво расположенный г. Чебоксары»… Киса, он в самом деле красиво расположен?.. «В настоящее время в Чебоксарах 7702 жителя»… Киса! Давайте бросим погоню за *бриллиантами* и увеличим население Чебоксар до *7704* человек. А? Это будет очень эффектно… Откроем «Пти шво»[457] и с этого «Пти шво» будем иметь верный гран-кусок хлеба… Ну-с, дальше… «Основанный в 1555 году, город сохранил несколько весьма интересных церквей. Помимо административных учреждений Чувашской республики, здесь имеются: рабочий факультет, партийная школа, педагогический техникум, две школы второй ступени, музей, научное общество и библиотека… На *Чебоксарской* пристани и на базаре можно видеть чувашей и черемис, выделяющихся своим внешним видом»…

Но еще прежде, чем друзья приблизились к пристани, где можно было видеть чувашей и черемис, их внимание было привлечено к предмету, плывшему по течению впереди лодки.

— Стул! — закричал Остап. — Администратор! Наш стул плывет.

Компаньоны подплыли к стулу. Он покачивался, вращался, погружался в воду, снова выплывал, удаляясь от лодки концессионеров. Вода свободно вливалась в его распоротое брюхо.

Это был стул, вскрытый на «Скрябине» и теперь медленно *направлявшийся* в Каспийское море.

— Здорово, приятель! — крикнул Остап. — Давненько не виделись! Знаете, Воробьянинов, этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению. Нас топят, мы выплываем, хотя, кажется, никого этим не радуем. Нас никто не любит, если не считать *уголовного* розыска, который тоже нас не любит. Никому до нас нет дела. Если бы вчера шахматным любителям удалось нас утопить, от нас остался бы только один протокол осмотра трупов: «Оба тела лежат ногами к юго-востоку, а головами к северо-западу. На теле рваные раны, нанесенные, по-видимому, каким-то тупым орудием»… Любители били бы нас, очевидно, шахматными досками. Орудие, что и говорить, туповатое… «Труп первый принадлежит мужчине лет пятидесяти пяти, одет в рваный люстриновый пиджак, старые брюки и старые сапоги. В кармане пиджака удостоверение на имя Конрада Карловича гр. Михельсона»… Вот, Киса, все, что о вас написали бы.

— А о вас бы что написали? — сердито спросил Воробьянинов.

— О! Обо мне написали бы совсем другое. Обо мне написали бы так: «Труп второй принадлежит мужчине двадцати семи лет. Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка. Голова его с высоким лбом, обрамленным иссиня-черными кудрями, обращена к солнцу. Его изящные ноги, сорок второй номер ботинок, направлены к северному сиянию. Тело облачено в незапятнанные белые одежды, на груди золотая арфа[458] с инкрустацией из перламутра и ноты романса «Прощай, ты, Новая Деревня».[459] Покойный юноша занимался выжиганием по дереву,[460] что видно из обнаруженного в кармане фрака удостоверения, выданного 23/VIII — 24 г. кустарной артелью «Пегас и Парнас» за № 86/1562». И меня похоронят, Киса, пышно, с оркестром, с речами, и на памятнике моем будет высечено: «Здесь лежит известный теплотехник и истребитель[461] Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-*бей*, отец которого был турецко-подданный и умер, не оставив сыну своему *Остап*-Сулейману ни малейшего наследства. Мать покойного была графиней и жила нетрудовыми доходами».[462]

Разговаривая подобным образом, концессионеры приткнулись к

чебоксарскому берегу.

Вечером, увеличив капитал на пять рублей продажей васюкинской лодки, друзья погрузились на теплоход «Урицкий» и поплыли в Сталинград, рассчитывая обогнать по дороге медлительный тиражный пароход и встретиться с труппой колумбовцев в Сталинграде.

Светящийся гигант понес компаньонов вниз по реке. Миновали Мариинский посад, Казань, Тетюши, Ульяновск, Сенгилей, село Новодевичье и перед вечером второго дня пути подошли к Жигулям.

Сто раз в этом романе наступал вечер, падало солнце и сияла звезда, но ни разу еще в этом романе вечер не был наполнен такой кротостью и предчувствием великих событий, как этот.

Палубы «Урицкого» наполнились оранжевой под заходящим солнцем толпой пассажиров. Невысокие Жигулевские горы мощно зеленели с правой стороны. Волнение охватило души пассажиров.

Остап, чудом пробившийся из своего третьего класса к носу парохода, извлек путеводитель и узнал из него, что путь вдоль Жигулей представляет исключительное удовольствие.

— «Пароход, — прочел Остап вслух, — проходит близ самого берега, разрезая падающие в реку тени береговых вершин. Густой ковер зеленой в различных оттенках растительности манит путника углубиться в девственную толщу лесов, чтобы насладиться прекрасным воздухом, полюбоваться открывающимися далями и мощной здесь красавицей Волгой и вспомнить далекое прошлое, когда неорганизованные бунтарские элементы…»

Пассажиры сгрудились вокруг Остапа.

— «неорганизованные бунтарские элементы, бессильные переустроить сложившийся общественный уклад, „гуляли“ тут, наводя страх на купцов и чиновников, неизбежно стремившихся к Волге как важному торговому пути. Недаром народная память до сих пор сохранила немало легенд, песен и сказок, связанных с бывавшими в Жигулях Ермаком Тимофеевичем, Иваном Кольцом[463]*, Степаном Разиным и др.»*

— И др! — повторил Остап, очарованный вечером.

— И др! — застонала толпа, вглядываясь в сумеречные очертания Молодецкого кургана.

— И др-р! — загудела пароходная сирена, взывая к пространству, к легендам, песням и сказкам, покоящимся на вершинах Жигулей.

Луна поднялась, как детский воздушный шар. Девья гора осветилась.

Это было свыше сил человеческих.

Из недр парохода послышалось желудочное урчание гитары, и

страстный женский голос запел:

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны,
Выплывают расписные
Стеньки Разина челны…[464]

Сочувствующие голоса подхватили песню. Энтузиазм овладевал пароходом. Все вспоминали «далекое прошлое, когда неорганизованные бунтарские элементы гуляли тут, наводя страх»…

Луна и Жигули производили обычное и неотразимое душой человеческой впечатление.

Когда «Урицкий» проходил мимо Двух братьев, пели уже все. Гитары давно не было слышно. Все покрывалось громовыми раскатами:

Свадьбу но-о-о-овую справля-а-а-а…

На глазах чувствительных пассажиров первого класса стояли слезы лунного цвета. Из машинного отделения, заглушая стук машин, неслось:

Он весе-о-о-олый и хмельно-о-о-ой.

Второй класс, мечтательно разместившийся на корме, подпускал душевности:

Позади их слышен ропот:
Нас на бабу променял.
Только ночь с ней провозжа-а-ался…

— Провозжался, провозжался, провозжался! — с недоумением загудела Лысая гора.

— «Провозжался! — пели и в третьем классе. — Сам наутро бабой стал».

К этому времени «Урицкий» нагнал тиражный пароход. Издали можно было подумать, что на пароходе происходит матросский бунт — раздавались стоны, проклятия и предсмертные хрипы. Казалось, что на

«Скрябине» уже разбиты бочки с ромом, повешены на реях гр. пассажиры первого и второго классов, а капитан с пробитым черепом валяется у двери с табличкой «Отдел взаимных расчетов».

На самом же деле и матросы и пассажиры первого, второго и третьего классов с необыкновенным грохотом и выразительностью выводили последний куплет:

Что ж вы, черти, приуныли?
Эй ты, Филька, черт, пляши!
Грянем, бра-а-а-атцы, удалу-у-ую…

И даже капитан, стоя на мостике и не отводя взора с Царева кургана, вопил в лунные просторы:

Грянем, бра-а-атцы, удалу-у-ую
На помин ее души!

— Ее души! — пел кинооператор Полкан, тряся гривой и вцепившись в поручни.

— Ее души! — ворковали Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд.

— Ее души! — взывал Симбиевич-Синдиевич.

— Ее души! — заливались служащие, резвость которых в этот благоуханный вечер не была заключена в рамки служебных отношений.

И капитан, старый речной волк, зарыдал, как дитя. Тридцать лет он водил пароходы мимо Жигулей и каждый раз рыдал, как дитя. Так как в навигацию он совершал не менее двадцати рейсов, то за тридцать лет, таким образом, ему удалось всплакнуть шестьсот раз.

Нужно ли еще какое-нибудь доказательство неотразимости грустной красоты Жигулей?

Поравнявшийся со «Скрябиным» «Урицкий» находился в центре песенного циклона. Пассажиры скопом бросали персидскую княжну за борт.

Набежали пароходы местного сообщения, наполненные здешними жителями, выросшими на виду Жигулей. Тем не менее местные жители тоже пели «Стеньку Разина».

Не вида-а-али вы пода-арка

От донско-ого ка-а-зака-а-а…

Светились буи, отражались в воде четырехугольные окна пароходных салонов, мигали фонарики пароходов местного сообщения. Гремели песни, и казалось, что на реке дают бал.

«Урицкий» легко обошел тиражный пароход. Концессионеры смотрели на свое первое плавучее пристанище с надеждой. Там, в огнях, среди запретительных надписей и служебной суеты, в каюте режиссера стояли три стула. «Скрябин» медленно отдалялся и до самой Самары были видны его огни.

В Сталинграде концессионеры ждали театр Колумба две недели. За это время они несколько раз доходили до самого бедственного положения. Если бы не бюро любовных писем, учрежденное великим комбинатором на базаре, концессионерам пришлось бы умереть с голоду.

Бюро ко времени приезда театра завело уже обширную клиентуру среди домработниц, и Остап начинал опасаться визита милиции. Жить, однако, пришлось скромно, прикапливая деньги на возможные расходы по изъятию стульев.

«Скрябин» пришел *под звуки оркестра* в начале июля. Друзья встретили его, прячась за *ящики* на пристани. Перед разгрузкой на пароходе состоялся последний тираж. Разыграли крупные выигрыши.

Стульев пришлось ждать часа четыре. Сначала с парохода повалили колумбовцы и тиражные служащие. Среди них выделялось сияющее лицо Персицкого.

Сидя в засаде, концессионеры слышали его крики:

— Да! Моментально еду в Москву! Телеграмму уже послал! И знаете какую? «Ликую с вами». Пусть догадываются!

Потом Персицкий сел в прокатный автомобиль, предварительно осмотрев его со всех сторон и пощупав радиатор, и уехал, провожаемый почему-то криками *«Ура!»*.

После того, как с парохода был выгружен гидравлический пресс, стали выносить колумбовское вещественное оформление. Стулья вынесли, когда уже стемнело. Колумбовцы погрузились в пять пароконных фургонов и, весело крича, покатили прямо на вокзал.

— Кажется, в Сталинграде они играть не будут, — сказал Ипполит Матвеевич.

Это озадачило Остапа.

— Придется ехать, — решил он, — а на какие деньги ехать? Впрочем, идем на вокзал, а там будет видно.

На вокзале выяснилось, что театр едет в Пятигорск через *Ростов* — Минеральные *Воды*. Денег у концессионеров *хватало* только на один билет.

— Вы умеете ездить зайцем? — спросил Остап Воробьянинова.

— Я попробую, — робко сказал Ипполит Матвеевич.

— Черт с вами! Лучше уж не пробуйте! Прощаю вам еще раз. Так и быть — зайцем поеду я.

Для Ипполита Матвеевича был куплен билет в бесплацкартном жестком вагоне, в котором бывший предводитель и прибыл на уставленную олеандрами в зеленых кадках станцию «Минеральные воды» Северо-Кавказских железных дорог. Воробьянинов ступил на каменистую платформу станции и, стараясь не попадаться на глаза выгружавшимся из поезда колумбовцам, стал искать Остапа.

Давно уже театр уехал в Пятигорск, разместясь в новеньких дачных вагончиках, а Остапа все не было. Он приехал только вечером и нашел Воробьянинова в полном расстройстве.

— Где вы были? — простонал предводитель. — Я так измучился.

— Это вы-то измучились, разъезжая с билетом в кармане? А я, значит, не измучился? Это не меня, следовательно, согнали с буферов вашего поезда в Тихорецкой? Это, значит, не я сидел там три часа, как дурак, ожидая товарного поезда с пустыми нарзанными бутылками? Вы — свинья, гражданин предводитель! Где театр?

— В Пятигорске.

— Едем! Я кое-что накропал по дороге. Чистый доход выражается в трех рублях. Это, конечно, немного, но на первое обзаведение нарзаном и железнодорожными билетами хватит.

Дачный поезд, бренча, как телега, в пятьдесят минут дотащил путешественников до Пятигорска. Мимо *Змейки* и *Бештау* концессионеры прибыли к подножию Машука.

Глава XXXIX
Вид на малахитовую лужу

Был воскресный вечер. Все было чисто и умыто. Даже Машук, поросший кустами и рощицами, казалось, был тщательно расчесан и струил запах горного вежеталя.

Белые штаны самого разнообразного свойства мелькали по игрушечному перрону: штаны из рогожки, чертовой кожи, коломянки,[465] парусины и нежной фланели. Здесь ходили в сандалиях и рубашечках «апаш».[466] Концессионеры в тяжелых грязных сапожищах, тяжелых пыльных брюках, горячих жилетах и раскаленных пиджаках чувствовали себя чужими. Среди всего многообразия веселеньких ситчиков, которыми щеголяли курортные девицы, самым светлейшим и самым элегантным был костюм начальницы станции. На удивление всем приезжим, начальником станции была женщина. Рыжие кудри вырывались из-под красной фуражки с двумя серебряными галунами на околыше. Она носила белый форменный китель и белую юбку.

Налюбовавшись начальницей, прочитав свеженаклеенную афишу о гастролях в Пятигорске театра Колумба и выпив два пятикопеечных стакана нарзану, путешественники проникли в город на трамвае линии «Вокзал — Цветник». За вход в «Цветник» *с них* взяли десять копеек.

В «Цветнике» было много музыки, много веселых людей и очень мало цветов. *В белой раковине* симфонический оркестр исполнял «Пляску комаров». В Лермонтовской галерее продавали нарзан. Нарзаном торговали в киосках и в разнос.

Никому не было дела до двух грязных искателей *бриллиантов.*

— Эх, Киса, — сказал Остап, — мы чужие на этом празднике жизни.[467]

Первую ночь на курорте концессионеры провели у нарзанного источника.

Только здесь, в Пятигорске, когда театр Колумба ставил третий раз перед изумленными горожанами свою «Женитьбу», компаньоны поняли всю трудность погони за сокровищами. Проникнуть в театр, как они *предполагали,* было невозможно. За кулисами ночевали Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд, марочная диета которых не позволяла им жить в гостинице. Так проходили дни, и друзья выбивались из сил, ночуя у

места дуэли Лермонтова и прокармливаясь переноской багажа туристов-середнячков.

На шестой день Остапу удалось свести знакомство с монтером Мечниковым, заведующим гидропрессом. К этому времени Мечников, из-за отсутствия денег каждодневно *похмелявшийся* нарзаном из источника, пришел в ужасное состояние и, по наблюдению Остапа, продавал на рынке кое-какие предметы из театрального реквизита. Окончательная договоренность была достигнута на утреннем возлиянии у источника. Монтер Мечников называл Остапа дусей и соглашался.

— Можно, — говорил он, — это всегда можно, дуся. С нашим удовольствием, дуся.

Остап сразу же понял, что монтер великий дока.

Договорные стороны заглядывали друг другу в глаза, обнимались, хлопали друг друга по спине и вежливо смеялись.

— Ну! — сказал Остап. — *За* все дело десятку!

— Дуся? — удивился монтер. — Вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.

— Сколько же вы *хотели?*

— Положите полста. Ведь имущество-то казенное. Я человек измученный.

— Хорошо! Берите двадцать! Согласны? Ну, по глазам вижу, что согласны.

— Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.

— Хорошо излагает, собака,[468] — шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу. — Учитесь.

— Когда же вы стулья принесете?

— Стулья против денег.

— Это можно, — сказал Остап, не думая.

— Деньги вперед, — заявил монтер, — утром деньги вечером стулья, или вечером деньги, а на другой день утром — стулья.

— А может быть, сегодня стулья, а завтра деньги? — пытал Остап.

— Я же, дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает!

— Но ведь я, — сказал Остап, — только завтра получу деньги по телеграфу.

— Тогда и разговаривать будем, — заключил упрямый монтер, — а пока, дуся, счастливо оставаться у источника. А я пошел. У меня с прессом работы много. Симбиевич за глотку берет. Сил не хватает. А одним нарзаном разве проживешь?

И Мечников, великолепно освещенный солнцем, удалился.

Остап строго посмотрел на Ипполита Матвеевича.

— Время, — сказал он, — которое мы имеем, — это деньги, которых мы не имеем. Киса, мы должны делать карьеру. Сто пятьдесят тысяч рублей и ноль ноль копеек лежат перед нами. Нужно только двадцать рублей, чтобы сокровище стало нашим. Тут не надо брезговать никакими средствами. Пан или пропал. Я выбираю пана, хотя он и явный поляк.

Остап задумчиво обошел кругом Ипполита Матвеевича.

— Снимите пиджак, предводитель, поживее, — сказал он неожиданно.

Остап принял из рук удивленного Ипполита Матвеевича пиджак, бросил его наземь и принялся топтать пыльными штиблетами.

— Что вы делаете? — завопил Воробьянинов. — Этот пиджак я ношу уже пятнадцать лет, и он все как новый!

— Не волнуйтесь! Он скоро не будет как новый! Дайте шляпу! Теперь посыпьте брюки пылью и оросите их нарзаном. Живо!

Ипполит Матвеевич через несколько минут стал грязным до отвращения.

— Теперь вы дозрели и приобрели полную возможность зарабатывать деньги честным трудом.

— Что же я должен делать? — слезливо спросил Воробьянинов.

— Французский язык знаете, надеюсь?

— Очень плохо. В пределах гимназического курса.

— Гм… Придется орудовать в этих пределах. Сможете ли вы сказать по-французски следующую фразу: «Господа, я не ел шесть дней»?

— Мосье, — начал Ипполит Матвеевич, запинаясь, — мосье, гм, гм… же не, что ли, же не манж па… шесть, как оно, ен, де, труа, катр, сенк, сис… сис… жур. Значит — же не манж па сис жур![469]

— Ну и произношение у вас. Киса! Впрочем, что от нищего требовать. Конечно, нищий в *европейской* России говорит по-французски хуже, чем Мильеран.[470] Ну, Кисуля, а в каких пределах вы знаете немецкий язык?

— Зачем мне это все? — воскликнул Ипполит Матвеевич.

— Затем, — сказал Остап веско, — что вы сейчас пойдете к «Цветнику», станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяние, упирая на то, что вы бывший член Государственной думы от кадетской фракции. Весь чистый сбор поступит монтеру Мечникову. Поняли?

Ипполит Матвеевич *мигом* преобразился. Грудь его выгнулась, как Дворцовый мост в Ленинграде, глаза метнули огонь, и из ноздрей, как

показалось Остапу, повалил густой дым. Усы медленно стали приподниматься.

— Ай-яй-яй, — сказал великий комбинатор, ничуть не испугавшись. — Посмотрите на него. Не человек, а какой-то конек-горбунок.[471]

— Никогда, — принялся вдруг чревовещать Ипполит Матвеевич, — никогда Воробьянинов не протягивал руку…

— Так протянете ноги, старый дуралей! — закричал Остап. — Вы не протягивали руки?

— Не протягивал.

— Как вам понравится этот альфонсизм? Три месяца живет на мой счет! Три месяца я кормлю его, пою и воспитываю, и этот альфонс становится теперь в третью позицию[472] и заявляет, что он… Ну! Довольно, товарищ! Одно из двух: или вы сейчас же отправитесь к «Цветнику» и приносите к вечеру десять рублей, или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. Считаю до пяти. Да или нет? Раз…

— Да, — пробормотал предводитель.

— В таком случае повторите заклинание.

— Месье, же не манж па сис жур. Гебен *мир зи* битте этвас копек ауф дем штюк брод.[473] Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы.

— Еще раз. Жалостнее.

Ипполит Матвеевич повторил.

— Ну, хорошо. У вас талант к нищенству заложен с детства. Идите. Свидание у источника в полночь. Это, имейте в виду, не для романтики, а просто вечером больше подают.

— А вы, — спросил Ипполит Матвеевич, — куда пойдете?

— Обо мне не беспокойтесь. Я действую, как всегда, в самом трудном месте.

Друзья разошлись.

Остап сбегал в писчебумажную лавчонку, купил там на последний гривенник квитанционную книжку и около часу сидел на каменной тумбе, перенумеровывая квитанции и расписываясь на каждой из них.

— Прежде всего — система, — бормотал он, — каждая общественная копейка должна быть учтена.[474]

Великий комбинатор двинулся стрелковым шагом[475] по горной дороге, ведущей вокруг Машука к месту дуэли Лермонтова с Мартыновым.

Мимо санаториев и домов отдыха, обгоняемый автобусами и пароконными экипажами, Остап вышел к Провалу.

Небольшая, высеченная в скале галерея вела в конусообразный *(конусом кверху)* провал. Галерея кончалась балкончиком, стоя на котором можно было увидеть на дне *провала* небольшую лужицу малахитовой зловонной жидкости. Этот Провал считается достопримечательностью Пятигорска, и поэтому за день его посещает немалое число экскурсий и туристов-одиночек.

Остап сразу же выяснил, что Провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей.

«Удивительное дело, — размышлял Остап, — как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал. Это, кажется, *единственное,* куда *пятигорцы* пускают туристов без денег. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение».

И Остап поступил так, как подсказывали ему разум, здоровый инстинкт и создавшаяся ситуация.

Он остановился у входа в Провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал:

— Приобретайте билеты, граждане. Десять копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам — пять копеек! Не членам профсоюза — тридцать копеек.

Остап бил наверняка. Пятигорцы в Провал не ходили, а с советского туриста содрать десять копеек за вход «куда-то» не представляло ни малейшего труда. Часам к пяти набралось уже рублей шесть. Помогли не члены союза, которых в Пятигорске было множество. Все доверчиво отдавали свои гривенники, и один румяный турист, завидя Остапа, сказал жене торжествующе:

— Видишь, Танюша, что я тебе вчера говорил? А ты говорила, что за вход в Провал платить не нужно. Не может *этого* быть! Правда, товарищ?

— Совершеннейшая правда, — подтвердил Остап, — этого быть не может, чтоб не брать за вход. Членам *союза* — десять копеек. *Дети и красноармейцы бесплатно. Студентам — пять копеек* и не членам профсоюза — тридцать копеек.

Перед вечером к Провалу подъехала на двух линейках экскурсия харьковских милиционеров. Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристом, но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора, что пути к отступлению не было. Поэтому Остап закричал довольно твердым голосом:

— Членам *союза* — десять копеек, но так как представители милиции

могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по пять копеек.

Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.

— С целью капитального ремонта Провала, — дерзко ответил Остап, — чтоб не слишком *проваливался.*

В то время как великий комбинатор ловко торговал видом на малахитовую лужу, Ипполит Матвеевич, сгорбясь и погрязая в стыде, стоял под акацией и, не глядя на гуляющих, жевал три врученные ему фразы:

— *Месье,* же не манж… Гебен зи мир битте… Подайте что-нибудь депутату Государственной думы…

Подавали не то *чтоб* мало, но как-то невесело. Однако, играя на чисто парижском произношении слова «манж» и волнуя души бедственным положением бывшего члена *Госдумы,* удалось нахватать медяков рубля на три.

Под ногами гуляющих трещал гравий. Оркестр с небольшими перерывами исполнял Штрауса, Брамса и Грига. Светлая толпа, лепеча, катилась мимо старого предводителя и возвращалась вспять. Тень Лермонтова незримо витала над гражданами, вкушавшими *на веранде буфета мацони.* Пахло одеколоном и нарзанными газами.

— Подайте бывшему члену Государственной думы! — бормотал предводитель.

— Скажите, вы в самом деле были членом Государственной думы? — раздалось над ухом Ипполита Матвеевича. — И вы действительно ходили на заседания? Ах! Ах! Высокий класс!

Ипполит Матвеевич поднял лицо и обмер. Перед ним прыгал, как воробушек, толстенький Авессалом Владимирович Изнуренков. Он сменил коричневатый лодзинский костюм на белый пиджак и серые панталоны с игривой искоркой. Он был необычайно оживлен и иной раз подскакивал вершков на пять от земли. Ипполита Матвеевича Изнуренков не узнал и продолжал засыпать его вопросами.

— Скажите, вы в самом деле видели Родзянко?[476] Пуришкевич в самом деле был лысый?[477] Ах! Ах! Какая тема! Высокий класс!

Продолжая вертеться, Изнуренков сунул растерявшемуся предводителю три рубля и убежал. Но долго еще в «Цветнике» мелькали его толстенькие ляжки и чуть ли не с деревьев сыпалось:

— Ах! Ах! Не пой, красавица, при мне ты песни Грузии печальной! Ах! Ах! Напоминают мне оне иную жизнь и берег дальний!..[478] Ах! Ах! А

по утру она вновь улыбалась!.. Высокий класс!..

Ипполит Матвеевич продолжал стоять, обратив глаза к земле. И напрасно так стоял он. Он не видел многого.

В чудном мраке пятигорской ночи по аллеям парка гуляла Эллочка Щукина, волоча за собой покорного, примирившегося с нею Эрнеста Павловича. Поездка на Кислые *воды* была последним аккордом в тяжелой борьбе с дочкой Вандербильда. Гордая американка недавно с развлекательной целью выехала в собственной яхте на Сандвичевы острова.

— Хо-хо! — раздавалось в ночной тиши. — Знаменито, Эрнестуля! Кр-р-расота!

В буфете, освещенном многими лампами, сидел голубой воришка Альхен со своей супругой Сашхен. Щеки ее по-прежнему были украшены николаевскими полубакенбардами. Альхен застенчиво ел шашлык по-карски, запивая его кахетинским № 2, а Сашхен, поглаживая бакенбарды, ждала заказанной осетрины.

После ликвидации второго дома *Собеса* (было продано все, включая даже туальденоровый колпак повара и лозунг: «Тщательно прожевывая пищу, ты помогаешь обществу») Альхен решил отдохнуть и поразвлечься. Сама судьба хранила этого сытого жулика.[479] Он собирался в этот день поехать в Провал, но не успел. Это спасло его. Остап выдоил бы из робкого завхоза никак не меньше тридцати рублей.

Ипполит Матвеевич побрел к источнику только тогда, когда музыканты складывали свои пюпитры, праздничная публика расходилась и только влюбленные парочки усиленно *дышали* в тощих *аллейках «Цветника»*.

— Сколько насобирали? — спросил Остап, когда согбенная фигура предводителя появилась у источника.

— Семь рублей двадцать девять копеек. Три рубля бумажкой. Остальные — медь и немного серебра.

— Для первой гастроли дивно! Ставка ответственного работника! Вы меня умиляете. Киса! Но какой дурак дал вам три рубля, хотел бы я знать? Может быть, вы сдачи давали?

— Изнуренков дал.

— Да не может быть! Авессалом? Ишь ты — шарик! Куда закатился! Вы с ним говорили? Ах, он вас не узнал!..

— Расспрашивал о Государственной думе! Смеялся!

— Вот видите, предводитель, нищим быть не так-то уж плохо, особенно при умеренном образовании и слабой постановке голоса!.. А вы

еще кобенились, лорда-хранителя печати ломали! Ну, Кисочка, и я провел время не даром. Пятнадцать рублей, как одна копейка. Итого — хватит!

На другое утро монтер получил деньги и вечером притащил два стула. Третий ступ, по его словам, взять было никак невозможно. На нем звуковое оформление играло в карты.

Для большей безопасности вскрытия друзья забрались почти на самую вершину Машука.

Внизу прочными недвижимыми огнями светился Пятигорск. Пониже Пятигорска плохонькие огоньки обозначали станицу Горячеводскую. На горизонте двумя параллельными пунктирными линиями высовывался из-за горы Кисловодск.

Остап глянул в звездное небо и вынул из кармана известные уже плоскогубцы.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Глава XL
Зеленый мыс

Инженер Брунс сидел на каменной веранде дачи на Зеленом Мысу под большой пальмой, накрахмаленные листья которой бросали острые и узкие тени на бритый затылок инженера, на белую его рубашку и на гамбсовский стул из гарнитура генеральши Поповой, на котором томился инженер, дожидаясь обеда.

Брунс вытянул толстые наливные губы трубочкой и голосом шаловливого карапуза протянул:

— Му-у-усик!

Дача молчала.

Тропическая флора ластилась к инженеру. Кактусы протягивали к нему свои ежовые рукавицы. Драцены гремели листьями. Бананы и саговые пальмы отгоняли мух с лысины инженера, розы, обвивающие веранду, падали к его сандалиям.

Но все было тщетно. Брунс хотел обедать. Он раздраженно смотрел на перламутровую бухту и далекий мысик Батума и певуче призывал:

— Му-у-усик! Му-у-у-сик!

Во влажном субтропическом воздухе звук быстро замирал. Ответа не было. Брунс представил себе большого коричневого гуся с шипящей жирной кожей и, не в силах сдержать себя, завопил:

— Мусик!!! Готов гусик?!

— Андрей Михайлович! — закричал женский голос из комнаты. — Не морочь мне голову!

Инженер, свернувший уже привычные губы в трубочку, немедленно ответил:

— Мусик! Ты не жалеешь своего маленького мужика!

— Пошел вон, обжора! — ответили из комнаты.

Но инженер не покорился. Он собрался было *продолжить* вызовы гусика, которые он безуспешно вел уже два часа, но неожиданный шорох заставил его обернуться.

Из черно-зеленых бамбуковых зарослей вышел человек в рваной синей косоворотке, опоясанный потертым витым шнурком с густыми кистями и в затертых полосатых брюках. На добром лице незнакомца

топорщилась лохматая бородка. В руках он держал пиджак.

Человек приблизился и спросил приятным голосом:

— Где здесь находится инженер Брунс?

— Я инженер Брунс, — сказал заклинатель гусика неожиданным басом, — чем могу?

Человек молча повалился на колени. Это был отец Федор.

— Вы с ума сошли! — воскликнул инженер, вскакивая. — Встаньте, пожалуйста!

— Не встану, — ответил отец Федор, водя годовой за инженером и глядя на него ясными глазами.

— Встаньте!

— Не встану!

И отец Федор осторожно, чтобы не было больно, стал постукивать головой о гравий.

— Мусик! Иди сюда! — закричал испуганный инженер. — Смотри, что делается. Встаньте, я вас прошу! Ну, умоляю вас!

— Не встану! — повторил отец Федор.

На веранду выбежала Мусик, тонко разбиравшаяся в интонациях мужа.

Завидев даму, отец Федор, не подымаясь с колен, проворно переполз поближе к ней, поклонился в ноги и зачастил:

— На вас, матушка, на вас, голубушка, на вас уповаю!

Тогда инженер Брунс покраснел, схватил просителя под мышки и, натужась, поднял его, чтобы поставить на ноги, но отец Федор схитрил и поджал ноги. Возмущенный Брунс потащил странного гостя в угол и насильно посадил его в полукресло (гамбсовское, отнюдь не из воробьяниновского особняка, но из гостиной генеральши Поповой).

— Не смею, — забормотал отец Федор, кладя на колени попахивающий керосином пиджак булочника, — не осмеливаюсь сидеть в присутствии высокопоставленных особ.

И отец Федор сделал попытку снова пасть на колени.

Инженер с печальным криком придержал отца Федора за плечи.

— Мусик! — сказал он, тяжело дыша. — Поговори с этим гражданином. Тут какое-то недоразумение.

Мусик сразу взяла деловой тон.

— В моем доме, — сказала она грозно, — пожалуйста, не становитесь ни на какие колени!..

— Голубушка!.. — умилился отец Федор. — Матушка!..

— Никакая я вам не матушка. Что вам угодно?

Поп залопотал что-то непонятное, но, видно, умилительное. Только после долгих расспросов удалось понять, что он, как особой милости, просит продать ему гарнитур из двенадцати стульев, на одном из которых он в настоящий момент сидит.

Инженер от удивления выпустил из рук плечи отца Федора, который немедленно бухнулся на колени и стал по-черепашьи гоняться за инженером.

— Почему, — кричал инженер, увертываясь от длинных рук отца Федора, — почему я должен продать свои стулья? Сколько вы ни бухайтесь на колени, я ничего не могу понять!

— Да ведь это мои стулья! — простонал отец Федор.

— То есть как это ваши? Откуда ваши? С ума вы спятили? Мусик! Теперь для меня все ясно! Это явный псих!

— Мои, — униженно твердил отец Федор.

— Что ж, по-вашему, я у вас их украл? — вскипел инженер. — Украл? Слышишь, Мусик? Это какой-то шантаж!

— Ни боже мой, — шепнул отец Федор.

— Если я их у вас украл, то требуйте судом и не устраивайте в моем доме пандемониума![480] Слышишь, Мусик! До чего доходит нахальство! Пообедать не дадут по-человечески!

Нет, отец Федор не хотел требовать «свои» стулья судом. Отнюдь. Он знал, что инженер Брунс не крал у него стульев. О, нет. У него и в мыслях этого не было. Но эти стулья все-таки до революции принадлежали ему, отцу Федору, и они бесконечно дороги его жене, умирающей сейчас в Воронеже. Исполняя ее волю, а никак не по собственной дерзости, он позволил себе узнать местонахождение стульев и явиться к гражданину Брунсу. Отец Федор не просит подаяния. О, нет! Он достаточно обеспечен (небольшой свечной заводик в Самаре), чтобы усладить последние минуты жены покупкой старых стульев. Он готов не поскупиться и уплатить за весь гарнитур рублей двадцать.

— Что? — крикнул инженер, багровея. — Двадцать рублей? За прекрасный гостиный гарнитур? Мусик! Ты слышишь? Это все-таки псих! Ей-богу, псих!

— Я не псих. А единственно выполняя волю пославшей мя жены…

— О, ч-черт, — сказал инженер, — опять ползать начал. Мусик! Он опять ползает!

— Назначьте же цену! — стенал отец Федор, осмотрительно биясь головой о ствол араукарии.

— Не портите дерева, чудак вы человек! Мусик, он, кажется, не псих.

Просто, как видно, расстроен человек болезнью жены. Продать ему разве стулья? А? Отвяжется? А? А то он лоб разобьет.

— А мы на чем сидеть будем? — спросила Мусик.

— Купим другие.

— Это за двадцагь-то рублей?

— За двадцать я, положим, не продам. Положим, не продам я и за двести… А за двести пятьдесят продам.

Ответом послужил страшный удар головой о драцену.

— Ну, Мусик, это мне уже надоело.

Инженер решительно подошел к отцу Федору и стал диктовать ультиматум.

— Во-первых, отойдите от пальмы не менее чем на три шага. Во-вторых, немедленно встаньте. В-третьих, мебель я продам за двести пятьдесят рублей, не меньше. Такую и за триста не купишь.

— Не корысти ради, — затянул отец Федор, поднявшись и отойдя на три шага от драцены. — А токмо во исполнение воли больной жены.

— Ну, милый, моя жена тоже больна. Правда, Мусик, у тебя легкие не в порядке. Но я не требую на этом основании, чтобы вы… ну… продали мне, положим, ваш пиджак за тридцать копеек…

— Возьмите даром, — *пропел* отец Федор.

Инженер раздраженно махнул рукой и холодно сказал:

— Вы ваши шутки бросьте. Ни в какие рассуждения я больше не пускаюсь. Стулья оценены мною в двести пятьдесят рублей, и я не уступлю ни копейки.

— Пятьдесят! — предложил отец Федор.

— Мусик! — сказал инженер. — Позови Багратиона. Пусть проводит гражданина!

— Не корысти ради…

— Багратион!

Отец Федор в страхе бежал, а инженер пошел в столовую и сел за гусика. Любимая птица произвела на Брунса благотворное действие. Он начал успокаиваться.

В тот момент, когда инженер, обмотав косточку папиросной бумагой, поднес гусиную ножку к розовому рту, в окне появилось умоляющее лицо отца Федора.

— Не корысти ради, — сказал мягкий голос. — Пятьдесят пять рублей.

Инженер, не оглядываясь, зарычал. Отец Федор исчез.

Весь день потом фигура отца Федора мелькала во всех концах дачи.

То выбегала она из тени криптомерий, то возникала она в мандариновой роще, то перелетала через черный двор и, трепеща, уносилась к Ботаническому саду.

Инженер весь день призывал Мусика, жаловался на психа и на головную боль. В наступившей тьме время от времени раздавался голос отца Федора.

— Сто тридцать восемь! — кричал он откуда-то с неба.

А через минуту голос его приходил со стороны дачи Думбасова.

— Сто сорок один, — предлагал отец, — не корысти ради, господин Брунс, а токмо…

Наконец инженер не выдержал, вышел на середину веранды и, вглядываясь в темноту, начал размеренно кричать:

— Черт с вами! Двести рублей! Только отвяжитесь.

Послышался шорох потревоженных бамбуков, тихий стон и удаляющиеся шаги. Потом все смолкло.

В заливе барахтались звезды. Светляки догоняли отца Федора, кружились вокруг головы, обливая лицо его зеленоватым, медицинским светом.

— Ну и гусики теперь пошли! — пробормотал инженер, входя в комнаты.

Между тем отец Федор летел в последнем автобусе вдоль морского берега к Батуму. Под самым боком, со звуком перелистываемой книги, набегал легкий прибой, ветер ударял по лицу, и автомобильной сирене отвечало мяуканье шакалов.

В этот же вечер отец Федор отправил в город N жене своей Катерине Александровне такую телеграмму:

> «Товар нашел вышли двести тридцать телеграфом продай что хочешь Федя».

Два дня он восторженно слонялся у Брунсовой дачи, издали раскланивался с Мусиком и даже время от времени оглашал тропические дали криками:

— Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя супруги!

На третий день деньги были получены с отчаянной телеграммой:

> «Продала все осталась без одной копейки целую и жду Евстигнеев все обедает Катя».

Отец Федор пересчитал деньги, истово перекрестился, нанял фургон и поехал на Зеленый Мыс.

Погода была сумрачная. С турецкой границы ветер нагонял тучи. *Чорох* курился. Голубая прослойка в небе все уменьшалась. Шторм доходил до *шести* баллов. Было запрещено купаться и выходить в море на лодках. Гул и гром стояли над Батумом. Шторм тряс берега.

Достигши дачи инженера Брунса, отец Федор велел вознице-аджарцу в башлыке подождать и отправился за мебелью.

— Принес деньги я, — сказал отец Федор, — уступили бы малость.

— Мусик, — застонал инженер. — Я не могу больше.

— Да нет, я деньги принес, — заторопился отец Федор, — двести рублей. Как вы говорили.

— Мусик! Возьми у него деньги! Дай ему стулья! И пусть сделает все это поскорее. У меня мигрень!..

Цель всей жизни была достигнута. Свечной заводик в Самаре сам лез в руки. *Бриллианты* сыпались в карманы, как семечки.

Двенадцать стульев один за другим были погружены в фургон. Они очень походили на воробьяниновские, с тою только разницей, что обивка их была не ситцевая, в цветочках, а *репсовая*, синяя, в розовую полосочку. [481]

Нетерпение охватывало отца Федора. Под полою у него за витой шнурок был заткнут топорик. Отец Федор сел рядом с кучером и, поминутно оглядываясь на стулья, выехал к Батуму. Бодрые кони свезли отца Федора и его сокровища вниз на шоссейную дорогу, мимо ресторанчика *«Финал»*, по бамбуковым столам и беседкам которого гулял ветер, мимо туннеля, проглатывавшего последние цистерны нефтяного маршрута, мимо фотографа, лишенного в этот хмурый денек обычной своей клиентуры, мимо вывески «Батумский ботанический сад» — и повлекли, не слишком быстро, над самой линией прибоя. В том месте, где дорога соприкасалась с массивами, отца Федора обдавало солеными брызгами. Отбитые массивами от берега, волны оборачивались гейзерами, *подымались* к небу и медленно опадали.

Толчки и взрывы прибоя накаляли смятенный дух отца Федора. Лошади, борясь с ветром, медленно приближались к Махинджаури. Куда хватал глаз, свистали и пучились мутные зеленые воды. До самого Батума трепалась белая пена прибоя, словно подол нижней юбки, выбившейся из-под платья неряшливой дамочки.

— Стой! — закричал вдруг отец Федор вознице. — Стой, мусульманин!

И он, дрожа и спотыкаясь, стал выгружать стулья на пустынный берег. Равнодушный аджарец получил свою пятерку, хлестнул по лошадям и уехал. А отец Федор, убедившись, что вокруг никого нет, стащил стулья с обрыва на небольшой, сухой еще кусочек пляжа и вынул топорик.

Минуту он находился в сомнении — не знал, с какого стула начинать. Потом, словно лунатик, подошел к третьему стулу и зверски ударил топориком по спинке. Стул опрокинулся, не повредившись.

— Ага! — крикнул отец Федор. — Я т-тебе покажу!

И он бросился на стул, как на живую тварь. Вмиг стул был изрублен в капусту. Отец Федор не слышал ударов топора о дерево, о репс и о пружины. В могучем реве шторма глохли, как в войлоке, все посторонние звуки.

— Ага! Ага! Ага! — приговаривал отец Федор, рубя с плеча.

Стулья выходили из строя один за другим. Ярость отца Федора все увеличивалась. Увеличивался и шторм. Иные волны добирались до самых ног отца Федора.

От Батума до Синопа стоял великий шум. Море бесилось и срывало свое бешенство на каждом суденышке. Пароход «Ленин», чадя двумя своими трубами и тяжело оседая на корму, подходил к Новороссийску. Шторм вертелся в Черном море, выбрасывая тысячетонные валы на берега *Трапезонта*, Ялты, Одессы и Констанцы. За тишиной Босфора и Дарданелл гремело Средиземное море. За Гибралтарским проливом бился о Европу Атлантический океан. Сердитая вода опоясывала земной шар.

А на батумском берегу стоял *крохотный алчный человечек* и, обливаясь потом, разрубал последний стул. Через минуту все было кончено. Отчаяние охватило отца Федора. Бросив остолбенелый взгляд на навороченную им гору ножек, спинок и *пружин, отец Федор попятился назад. Волна схватила его за ноги. Отец Федор завизжал и*, вымокший, бросился на шоссе. Большая волна грянулась о то место, где только что стоял отец Федор, и, катясь назад, увлекла с собою весь искалеченный гарнитур генеральши Поповой. Отец Федор уже не видел этого. Он брел по шоссе, согнувшись и прижимая к груди мокрый кулак.

Он вошел в Батум, сослепу ничего не видя вокруг. Положение его было самое ужасное. За пять тысяч километров от дома, с двадцатью рублями в кармане доехать в родной город — было положительно невозможно.

Отец Федор миновал турецкий базар, на котором ему идеальным шепотом советовали купить пудру Коти,[482] шелковые чулки и

необандероленный сухумский табак,[483] потащился к вокзалу и затерялся в толпе носильщиков.

Глава XLI
Под облаками

Через три дня после сделки концессионеров с монтером Мечниковым театр Колумба выехал в Тифлис по железной дороге через Махачкалу и Баку. Все эти три дня концессионеры, не удовлетворившиеся содержимым вскрытых на Машуке двух стульев, ждали от Мечникова третьего, последнего из колумбовских стульев. Но монтер, измученный нарзаном, обратил все двадцать рублей на покупку простой водки и дошел до такого состояния, что содержался взаперти — в бутафорской.

— Вот вам и Кислые воды! — заявил Остап, узнав об отъезде театра. — Сучья лапа этот монтер. Имей после этого дело с теаработниками!

Остап стал гораздо суетливее, чем прежде. Шансы на отыскание сокровищ увеличились безмерно.

— *В Тифлисе, — сказал Остап, — нам нечего лениться*. Нужны деньги на поездку во Владикавказ. Оттуда мы поедем в Тифлис на автомобиле по Военно-Грузинской дороге. Очаровательные виды. Захватывающий пейзаж. Чудный горный воздух! И в финале — всего сто пятьдесят тысяч рублей ноль ноль копеек. Есть смысл продолжать заседание.

Но выехать из Минеральных Вод было не так-то легко. Воробьянинов оказался бездарным железнодорожным зайцем, и так как попытки его сесть в поезд оказались безуспешными, то ему пришлось выступить около «Цветника» в качестве бывшего попечителя учебного округа. Это имело весьма малый успех. Два рубля за двенадцать часов тяжелой и унизительной работы. Сумма, однако, достаточная для проезда во Владикавказ.

В Беслане Остапа, ехавшего без билета, согнали с поезда, и великий комбинатор дерзко бежал за поездом версты три, грозя ни в чем не виновному Ипполиту Матвеевичу кулакам. После этого Остапу удалось вскочить на ступеньку медленно подтягивающегося к Кавказскому хребту поезда. С этой позиции Остап с любопытством взирал на развернувшуюся перед ним панораму *кавказской* горной цепи.

Был четвертый час утра. Горные вершины осветились темно-розовым солнечным светом. Горы не понравились Остапу.

— Слишком много шику! — сказал он. — Дикая красота.

Воображение идиота. Никчемная вещь.[484]

У Владикавказского вокзала приезжающих ждал большой открытый автобус Закавтопромторга,[485] и ласковые люди говорили:

— Кто поедет по Военно-Грузинской дороге — тех в город везем бесплатно.

— Куда же вы, Киса? — сказал Остап. — Нам в автобус. Пусть везут, *раз* бесплатно.

Подвезенный автобусом к конторе Закавтопромторга, Остап, однако, не поспешил записаться на место в машине. Оживленно беседуя с Ипполитом Матвеевичем, он любовался опоясанной облаком *Столовой* горой и, находя, что гора действительно похожа на стол, быстро удалился.

Во Владикавказе пришлось просидеть несколько дней. Но все попытки достать деньги на проезд по Военно-Грузинской дороге или совершенно не приносили плодов, или давали средства, достаточные лишь для дневного пропитания. Попытка взимать с граждан гривенники не удалась. Кавказский хребет был настолько высок и виден, что брать за его показ деньги не представлялось возможным. Его было видно почти отовсюду. Других же красот во Владикавказе не было. Что же касается Терека, то протекал он мимо «Трека»,[486] за вход в который деньги взимал город без помощи Остапа. Сбор подаяний, произведенный Ипполитом Матвеевичем, принес за два дня тринадцать копеек.

Тогда Остап извлек из тайников своего походного пиджака колоду карт и, засев у дороги при выезде из города, затеял игру в три карты. Рядом с ним стоял проинструктированный Ипполит Матвеевич, который должен был играть роль восторженного зрителя, удивленного легкостью выигрыша. Позади друзей в облаках рисовались горные кряжи и снежные пики.

— Красненькая выиграет, черненькая проиграет! — кричал Остап.

Перед собравшейся толпой соплеменных гор[487]*, ингушей и осетинов в войлочных шляпах Остап бросал рубашками вверх три карты, из которых одна была красной масти и две — черной. Любому гражданину предлагалось поставить на красненькую карту любую ставку. Угадавшему Остап брался уплатить на месте.*

— Красненькая выиграет, черненькая проиграет! Заметил — ставь! Угадал — деньги забирай!

Горцев тешила простота игры и легкость выигрыша. Красная карта на глазах у всех ложилась направо или налево, и не было никакого труда угадать, куда она легла.

Зрители постепенно стали втягиваться в игру, и Остап для блезира уже проиграл копеек сорок. К толпе присоединился всадник в коричневой черкеске, в рыжей барашковой шапочке и с обычным кинжалом на впалом животе.

— Красненькая выиграет, черненькая проиграет! — запел Остап, подозревая наживу. — Заметил — ставь! Угадал — деньги забирай!

Остап сделал несколько пассов и метнул карты.

— Вот она! — крикнул всадник, соскакивая с лошади. — Вон красненькая! Я хорошо заметил!

— Ставь деньги, кацо, если заметил, — сказал Остап.

— Проиграешь! — сказал горец.

— Ничего. Проиграю — деньги заплачу, — ответил Остап.

— Десять рублей ставлю.

— Поставь деньги.

Горец распахнул полы черкески и вынул порыжелый кошель.

— Вот красненькая! Я хорошо видел.

Игрок приподнял карту. Карта была черная.

— Еще карточку? — спросил Остап, пряча выигрыш.

— Бросай.

Остап метнул.

Горец проиграл еще двадцать рублей. Потом еще тридцать. Горец во что бы то ни стало решил отыграться. Всадник пошел на весь проигрыш. Остап, давно не тренировавшийся в три карточки и утративший былую квалификацию, передернул на этот раз весьма неудачно.

— Отдай деньги! — крикнул горец.

— Что?! — закричал Остап. — Люди видели! Никакого мошенства!

— Люди видели, не видели — их дело. Я видел, ты карту менял, вместо красненькой черненькую клал! Давай деньги назад!

С этими словами горец подступил к Остапу. Великий комбинатор стойко перенес первый удар по голове и дал ошеломляющую сдачу. Тогда на Остапа набросилась вся толпа. Ипполит Матвеевич убежал в город. Вспыльчивые ингуши били Остапа недолго. Они остыли так же быстро, как остывает ночью горный воздух. Через десять минут горец с отвоеванными общественными деньгами возвращался в свой аул, толпа возвратилась к будничным своим делам, а Остап, элегантно и далеко сплевывая кровь, сочившуюся из разбитой десны, поковылял на соединение с Ипполитом Матвеевичем.

— Довольно, — сказал Остап, — выход один: идти в Тифлис пешком. В пять дней мы пройдем двести верст. Ничего, папаша, очаровательные

горные виды, свежий воздух… Нужны деньги на хлеб и любительскую колбаску. Можете прибавить к своему лексикону несколько итальянских фраз, это уж как хотите, но к вечеру вы должны насобирать не меньше двух рублей!.. Обедать сегодня не придется, дорогой товарищ. Увы! Плохие шансы!..

Спозаранку концессионеры перешли мостик через Терек, обошли казармы и углубились в зеленую долину, по которой шла Военно-Грузинская дорога.

— Нам повезло, Киса, — сказал Остап, — ночью шел дождь, и нам не придется глотать пыль. Вдыхайте, предводитель, чистый воздух. Пойте. Вспоминайте кавказские стихи. Ведите себя как полагается!..

Но Ипполит Матвеевич не пел и не вспоминал стихов. Дорога шла на подъем. Ночи, проведенные под открытым небом, напоминали о себе колотьем в боку, тяжестью в ногах, а любительская колбаса — постоянной и мучительной изжогой. Он шел, склонившись набок, держа в руке пятифунтовый хлеб, завернутый во владикавказскую газету, и чуть волоча левую ногу.

Опять идти! На этот раз в Тифлис, на этот раз по красивейшей в мире дороге. Ипполиту Матвеевичу было все равно. Он не смотрел по сторонам, как Остап. Он решительно не замечал Терека, который начинал уже погромыхивать на дне долины. И только сияющие под солнцем ледяные вершины что-то смутно ему напоминали — не то блеск бриллиантов, не то лучшие глазетовые гробы мастера Безенчука.

До первой почтовой станции — Балты — путники шли в сфере влияния Столовой горы. Ее плотный слоновый массив с прожилками снега шел за ними верст десять. Путников обогнал сначала легковой автомобиль Закавтопромторга, через полчаса — автобус, везший не менее сорока туристов и не больше ста двадцати чемоданов.

— Кланяйтесь Казбеку! — крикнул Остап вдогонку машине. — Поцелуйте его в левый ледник!

После автомобилей долго еще в горах пахло бензинным перегаром и разогретой резиной. Звонко бренча, обгоняли путников арбы горцев. Навстречу из-за поворота выехал фаэтон.

В Балте Остап выдал Ипполиту Матвеевичу вершок колбасы и сам съел вершка два.

— Я кормилец семьи, — сказал он, — мне полагается усиленное питание.

После Балты дорога вошла в ущелье и двинулась узким карнизом, высеченным в темных отвесных скалах. Спираль дороги завивалась кверху,

и вечером концессионеры очутились на станции Ларс в тысяче метров над уровнем моря.

Переночевали в бедном духане бесплатно и даже получили по стакану молока, прельстив хозяина и его гостей карточными фокусами.

Утро было так прелестно, что даже Ипполит Матвеевич, спрыснутый горным воздухом, зашагал бодрее вчерашнего.

За станцией Ларс сейчас же встала грандиозная стена *Бокового* хребта. Долина Терека замкнулась тут узкими теснинами. Пейзаж становился все мрачнее, а надписи на скалах многочисленнее. Там, где скалы так сдавили течение Терека, что пролет моста равен всего десяти саженям, *там* концессионеры увидели столько надписей на скалистых стенках ущелья, что Остап, забыв о величественности Дарьяльского ущелья, закричал, стараясь перебороть грохот и стоны Терека:

— Великие люди! Обратите внимание, предводитель. Видите, *чуть* повыше облака и несколько ниже орла. Надпись: «Коля и Мика, июль 1914 г.[488]» Незабываемое зрелище! Обратите внимание на художественность исполнения! Каждая буква величиною в метр и нарисована масляной краской! Где вы сейчас, Коля и Мика?

Задумался и Ипполит Матвеевич.

Где вы, Коля и Мика? И что вы теперь, Коля и Мика, делаете? Разжирели, наверное, постарели? Небось теперь и на четвертый этаж не подыметесь, не то что под облака — имена свои рисовать.

Где же вы, Коля, служите? Плохо служится, говорите? Золотое детство вспоминаете? Какое же оно у вас золотое? Это пачканье-то ущелий вы считаете золотым детством? Коля, вы ужасны! И жена ваша Мика противная женщина, хотя она виновата меньше вашего. Когда вы чертили свое имя, вися на скале, Мика стояла внизу на шоссе и глядела на вас влюбленными глазами. Тогда ей казалось, что вы второй Печорин. Теперь она знает, кто вы такой. Вы просто дурак! Да, да, все вы такие — ползуны по красотам! Печорин, Печорин, а там, гляди, по глупости отчета сбалансировать не можете!

— Киса, — продолжал Остап, — давайте и мы увековечимся. Забьем Мике баки. У меня, кстати, и мел есть! Ей-богу, полезу сейчас и напишу: «Киса и Ося здесь были».[489]

И Остап, недолго думая, сложил на парапет, ограждавший шоссе от кипучей бездны Терека, запасы любительской колбасы и стал подниматься на скалу.

Ипполит Матвеевич сначала следил за подъемом великого

комбинатора, но потом рассеялся и, обернувшись, принялся разглядывать фундамент замка Тамары,[490] сохранившийся на скале, похожей на лошадиный зуб.

В это время, в двух верстах от концессионеров, со стороны Тифлиса в Дарьяльское ущелье вошел отец Федор. Он шел мерным солдатским шагом, глядя только вперед себя твердыми алмазными глазами и опираясь на высокую клюку с загнутым концом, *как библейский первосвященник.*

На последние деньги отец Федор доехал до Тифлиса и теперь шагал на родину пешком, питаясь доброхотными даяниями. При переходе через Крестовый перевал (2345 метров над уровнем моря) его укусил орел. Отец Федор замахнулся на дерзкую птицу клюкою и пошел дальше. Он шел, запутавшись в облаках, и бормотал:

— Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены!

Эту же фразу он повторял, войдя в Дарьяльское ущелье. Расстояние между врагами сокращалось. Поворотив за острый выступ, отец Федор налетел на старика в золотом пенсне.

Ущелье раскололось в глазах отца Федора. Терек прекратил свой тысячелетний крик. Отец Федор узнал Воробьянинова. После страшной неудачи в Батуме, после того, как все надежды рухнули, новая возможность заполучить богатство повлияла на отца Федора необыкновенным образом.

Он схватил Ипполита Матвеевича за тощий кадык и, сжимая пальцы, закричал охрипшим голосом:

— Куда девал сокровище убиенной тобою тещи?

Ипполит Матвеевич, ничего подобного не ждавший, молчал, выкатив глаза так, что они почти соприкасались со стеклами пенсне.

— Говори! — приказывал отец Федор. — Покайся, грешник!

Воробьянинов почувствовал, что теряет дыхание.

Тут отец Федор, уже торжествовавший победу, увидел прыгавшего по скале Бендера. Технический директор спускался вниз, крича во все горло:

Дробясь о мрачные скалы,
Кипят и пенятся валы!..[491]

Великий испуг поразил сердце отца Федора. Он машинально продолжал держать предводителя за горло, но коленки у него затряслись.

— А, вот это кто?! — дружелюбно закричал Остап. — Конкурирующая организация!

Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу и хлеб и побежал прочь.

— Бейте его, товарищ Бендер, — кричал с земли отдышавшийся Ипполит Матвеевич.

— Лови его! Держи!

Остап засвистал и заулюлюкал.

— Тю-у-у! — кричал он, пускаясь вдогонку. — Битва при пирамидах[492] или Бендер на охоте! Куда же вы бежите, клиент? Могу вам предложить хорошо выпотрошенный стул!

Отец Федор не выдержал муки преследования и полез на совершенно отвесную скалу. Его толкало вверх сердце, поднимавшееся к самому горлу, и особенный, известный только одним трусам, зуд в пятках. Ноги сами отрывались от гранитов и несли своего повелителя вверх.

— У-у-у! — кричал Остап снизу. — Держи его!

— Он унес наши припасы! — завопил Ипполит Матвеевич, подбегая к Остапу.

— Стой! — загремел Остап. — Стой, тебе говорю!

Но это придало только новые силы изнемогшему было отцу Федору. Он взвился и в несколько скачков очутился сажен на десять выше самой высокой надписи.

— Отдай колбасу! — взывал Остап. — Отдай колбасу, дурак! Я все прощу![493]

Отец Федор уже ничего не слышал. Он очутился на ровной площадке, забраться на которую не удавалось до сих пор ни одному человеку. Отцом Федором овладел тоскливый ужас. Он понял, что слезть вниз ему никак невозможно. Скала *шла и* опускалась на шоссе перпендикулярно, и об обратном спуске нечего было и думать. Он посмотрел вниз. Там бесновался Остап, и на дне ущелья поблескивало золотое пенсне предводителя.

— Я отдам колбасу! — закричал отец Федор. — Снимите меня!

В ответ грохотал Терек и из замка Тамары неслись страстные крики. Там жили совы.

— Сними-ите меня! — жалобно кричал отец Федор.

Он видел все маневры концессионеров. Они бегали под скалой и, судя по жестам, мерзко сквернословили.

Через час легший на живот и спустивший голову вниз отец Федор увидел, что Бендер и Воробьянинов уходят в сторону Крестового перевала.

Спустилась быстрая ночь. В кромешной тьме и в адском гуле под

самым облаком дрожал и плакал отец Федор. Ему уже не нужны были земные сокровища. Он хотел только одного — вниз, на землю.

Ночью он ревел так, что временами заглушал Терек, а утром подкрепился любительской колбасой с хлебом и сатанински хохотал над пробегавшими внизу автомобилями. Остаток дня он провел в созерцании гор и небесного светила — солнца. *Ночью* он увидел царицу Тамару. Царица прилетела к нему из своего замка и кокетливо сказала:[494]

— Соседями будем.

— Матушка! — с чувством сказал отец Федор. — Не корысти ради…

— Знаю, знаю, — заметила царица, — а токмо волею пославшей тя жены.

— Откуда ж вы знаете? — удивился отец Федор.

— Да уж знаю. Заходили бы, сосед. В шестьдесят шесть поиграем! А?

Она засмеялась и улетела, пуская в ночное небо шутихи.

На третий день отец Федор стал проповедовать птицам. Он почему-то склонял их к лютеранству.

— Птицы, — говорил он им звучным голосом, — покайтесь в своих грехах публично!

На четвертый день его показывали уже снизу экскурсантам.

— Направо — замок Тамары, — говорили опытные проводники, — а налево живой человек стоит, а чем живет и как туда попал — тоже неизвестно.

— И дикий же народ! — удивлялись экскурсанты. — Дети гор!

Шли облака. Над отцом Федором кружились орлы. Самый смелый из них украл остаток любительской колбасы и взмахом крыла сбросил в пенящийся Терек фунта полтора хлеба.

Отец Федор погрозил орлу пальцем и, лучезарно улыбаясь, прошептал:

— Птичка божия не знает ни заботы, ни труда, хлопотливо не свивает долговечного гнезда.[495]

Орел покосился на отца Федора, закричал «ку-ку-ре-ку» и улетел.

— Ах, орлуша, орлуша, большая ты стерва!

Через десять дней из Владикавказа прибыла пожарная команда с надлежащим обозом и принадлежностями и сняла отца Федора.

Когда его снимали, он хлопал руками и пел лишенным приятности голосом:

— И будешь ты *цар-р-рицей* ми-и-и-и-рра, подр-р-руга ве-е-ечная моя!

И суровый Кавказ многократно повторил слова М. Ю. Лермонтова и

музыку А. Рубинштейна.[496]

— Не корысти ради, — сказал отец Федор брандмейстеру, — а токмо…

Хохочущего священника на пожарной *колеснице* увезли в психиатрическую лечебницу.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Глава XLII
Землетрясение

— Как вы думаете, предводитель, — спросил Остап, когда концессионеры подходили к селению Сиони, — чем можно заработать в этой чахлой местности, находящейся на двухверстной высоте *над уровнем моря?*

Ипполит Матвеевич молчал. Единственное занятие, которым он мог бы снискать себе жизненные средства, было нищенство, но здесь, на горных спиралях и карнизах, просить было не у кого.

Впрочем, и здесь существовало нищенство, но нищенство совершенно особое — альпийское. К каждому пробегавшему мимо селения автобусу или легковому автомобилю подбегали дети и исполняли перед движущейся аудиторией несколько па *наурской* лезгинки. После этого дети бежали за машиной, крича:

— Давай денги! Денги давай!

Пассажиры швыряли пятаки и возносились к Крестовому перевалу.

— Святое дело, — сказал Остап, — капитальные затраты не требуются, доходы не велики, но в нашем положении ценны.

К двум часам второго дня пути Ипполит Матвеевич, под наблюдением великого комбинатора, исполнил перед летучими пассажирами свой первый танец. Танец этот был похож на мазурку, но пассажиры, пресыщенные дикими красотами Кавказа, сочли его за лезгинку и вознаградили тремя пятаками. Перед следующей машиной, которая оказалась автобусом, шедшим из Тифлиса во Владикавказ,

— Давай денги! Денги давай! — закричал он сердито.

Смеющиеся пассажиры щедро вознаградили его прыжки. Остап собрал в дорожной пыли тридцать копеек. Но тут сионские дети осыпали конкурентов каменным градом. Спасаясь из-под обстрела, путники скорым шагом направились в ближний аул, где истратили заработанные деньги на сыр и чуреки.

В этих занятиях концессионеры проводили свои дни. Ночевали они в горских саклях. На четвертый день они спустились по зигзагам шоссе в Кайшаурскую долину. Тут было жаркое солнце, и кости компаньонов, порядком промерзшие на Крестовом перевале, быстро отогрелись.

Дарьяльские скалы, мрак и холод перевала сменились зеленью и домовитостью глубочайшей долины. Путники шли над Арагвой, спускались в долину, населенную людьми, изобилующую домашним скотом и пищей. Здесь можно было выпросить кое-что, что-то заработать или просто украсть. Это было Закавказье.

Повеселевшие концессионеры пошли быстрее.

В Пассанауре, в жарком богатом селении с двумя гостиницами и несколькими духанами, друзья выпросили чурек и залегли в кустах напротив гостиницы «Франция» с садом и двумя медвежатами на цепи. Они наслаждались теплом, вкусным хлебом и заслуженным отдыхом.

Впрочем, скоро отдых был нарушен визгом автомобильных сирен, шорохом новых покрышек по кремневому шоссе и радостными возгласами. Друзья выглянули. К «Франции» подкатили цугом три однотипных новеньких автомобиля. Автомобили бесшумно остановились. Из первой машины выпрыгнул Персицкий. За ним вышел «*Суд* и быт», расправляя запыленные волосы. Потом из всех машин повалили члены автомобильного клуба газеты «Станок».

— Привал! — закричал Персицкий. — Хозяин! Пятнадцать шашлыков!

Во «Франции» заходили сонные фигуры и раздались крики барана, которого волокли за ноги на кухню.

— Вы не узнаете этого молодого человека? — спросил Остап. — Это репортер со «Скрябина», один из критиков нашего транспаранта. С каким, однако, шиком они приехали. Что это значит?

Остап приблизился к пожирателям шашлыка и элегантнейшим образом раскланялся с Персицким.

— Бонжур! — сказал репортер. — Где это я вас видел, дорогой товарищ? А-а-а! Припоминаю. Художник со «Скрябина»! Не так ли?

Остап прижал руку к сердцу и учтиво поклонился.

— Позвольте, позвольте, — продолжал Персицкий, обладавший цепкой памятью репортера. — Не на вас ли это в Москве на Свердловской площади налетела извозчичья лошадь?

— Как же, как же! И еще, по вашему меткому выражению, я якобы отделался легким испугом.

— А вы тут как, по художественной части орудуете?

— Нет, я с экскурсионными целями.

— Пешком?

— Пешком. Специалисты утверждают, что путешествие по Военно-Грузинской дороге на автомобиле — просто глупость!

— Не всегда глупость, дорогой мой, не всегда! Вот мы, например, едем не так-то уж глупо. Машинки, как видите, свои, подчеркиваю — свои, коллективные. Прямое сообщение Москва — Тифлис. Бензину уходит на грош. Удобство и быстрота передвижения. Мягкие рессоры. Европа!

— Откуда у вас все это? — завистливо спросил Остап. — Сто тысяч выиграли?

— Сто не сто, а пятьдесят выиграли.

— В девятку?

— На облигацию, принадлежащую автомобильному клубу.

— Да, — сказал Остап, — и на эти деньги вы купили автомобили?

— Как видите.

— Так-с. Может быть, вам нужен старшой? Я знаю одного молодого человека. Непьющий.

— Какой старшой?

— Ну такой… Общее руководство, деловые советы, наглядное обучение по комплексному методу… А?

— Я вас понимаю. Нет, не нужен.

— Не нужен?

— Нет. К сожалению. И художник также не нужен.

— В таком случае *займите* десять рублей!

— Авдотьин, — сказал Персицкий. — Будь добр, выдай этому гражданину за мой счет три рубля. Расписки не надо. Это лицо не подотчетное.

— Этого крайне мало, — заметил Остап, — но я принимаю. Я понимаю всю затруднительность вашего положения. Конечно, если бы вы выиграли сто тысяч, то, вероятно, заняли бы мне целую пятерку. Но ведь вы выиграли всего-навсего пятьдесят тысяч рублей ноль ноль копеек! Во всяком случае — благодарю!

Бендер учтиво снял шляпу. Персицкий учтиво снял шляпу. Бендер прелюбезно поклонился. Персицкий ответил любезнейшим поклоном. Бендер приветственно помахал рукой. И Персицкий, сидя у руля, сделал ручкой. Но Персицкий уехал в прекрасном автомобиле к сияющим далям, в обществе веселых друзей, а великий комбинатор остался на пыльной дороге с дураком-компаньоном.

— Видали вы этот блеск? — спросил Остап Ипполита Матвеевича.

— Закавтопромторг или частное общество «Мотор»?[497] — деловито осведомился Воробьянинов, который за несколько дней пути отлично познакомился со всеми видами автотранспорта на дороге. — Я хотел было подойти к ним потанцевать.

— Вы скоро совсем отупеете, мой бедный друг. Какой же это Закавтопромторг? Эти люди, слышите, Киса, вы-и-гра-ли пятьдесят тысяч рублей. Вы сами видите, Кисуля, как они веселы и сколько они накупили всякой механической дряни! Когда мы получим наши деньги — мы истратим их гораздо рациональнее. Не правда ли?

И друзья, мечтая о том, что они купят, когда станут богачами, вышли из *Пассанаура.* Ипполит Матвеевич живо воображал себе покупку новых носков и отъезд за границу. Мечты Остапа были обширнее. Его проекты были грандиозны. Не то заграждение Голубого Нила плотиной, не то открытие игорного особняка в Риге с филиалами во всех лимитрофах.[498]

На третий день, перед обедом, миновав скучные и пыльные места: Ананур, Душет и Цилканы, путники подошли к Мцхету — древней столице Грузии. Здесь Кура поворачивала к Тифлису. Вечером путники миновали ЗАГЭС — Земо-Авчальскую гидроэлектростанцию. Стекло, вода и электричество сверкали различными огнями. Все это отражалось и дрожало в быстро бегущей Куре.

Здесь концессионеры свели дружбу с крестьянином, который привез их на арбе в Тифлис к одиннадцати часам вечера, в тот самый час, когда вечерняя свежесть вызывает на улицу истомившихся после душного дня жителей грузинской столицы.

— Городок *неплох,* — сказал Остап, выйдя на проспект Шота Руставели, — вы знаете, Киса…

Вдруг Остап, недоговорив, бросился за каким-то гражданином, шагов через десять настиг его и стал оживленно с ним беседовать. Потом быстро вернулся и ткнул Ипполита Матвеевича пальцем в бок.

— Знаете, кто это? — шепнул он быстро. — Это «Одесская бубличная артель „Московские баранки“». Гражданин Кислярский. Идем к нему. Сейчас вы снова, как это ни парадоксально, гигант мысли и отец русской демократии. Не забывайте надувать щеки и шевелить усами. Ах, черт возьми! Какой случай! Фортуна! Если я его сейчас не вскрою на пятьсот рублей — плюньте мне в глаза! Идем! Идем!

Действительно, в некотором отдалении от концессионеров стоял молочно-голубой от страха Кислярский в *чесучовом* костюме и канотье.[499]

— Вы, кажется, знакомы, — сказал Остап шепотом, — вот особа, приближенная к императору, гигант мысли и отец русской демократии. Не обращайте внимания на его костюм. Это для конспирации. Везите нас куда-нибудь немедленно. Нам нужно поговорить.

Кислярский, приехавший на Кавказ, чтобы отдохнуть от

старгородских потрясений, был совершенно подавлен. Мурлыча какую-то чепуху о застое в бараночно-бубличном деле, Кислярский посадил страшных знакомцев в экипаж с посеребренными спицами и подножкой и повез их к горе Давида. На вершину этой ресторанной горы поднялись по канатной железной дороге. Тифлис в тысячах огней медленно уползал в преисподнюю. Заговорщики подымались прямо к звездам.

Ресторанные столы были расставлены *прямо* на траве. Глухо бубнил кавказский оркестр, и маленькая девочка, под счастливыми взглядами родителей, по собственному почину танцевала между столиками лезгинку.

— Прикажите чего-нибудь подать! — втолковывал Бендер.

По приказу опытного Кислярского было подано вино, зелень и соленый грузинский сыр.

— И поесть чего-нибудь, — сказал Остап. — Если бы вы знали, дорогой господин Кислярский, что нам пришлось перенести сегодня с Ипполитом Матвеевичем, вы бы подивились нашему мужеству.

«Опять, — с отчаянием подумал Кислярский. — Опять начинаются мои мучения. И почему я не поехал в Крым? Я же ясно хотел ехать в Крым! И Генриетта советовала!»

Но он безропотно заказал два шашлыка и повернул к Остапу свое услужливое лицо.

— Так вот, — сказал Остап, оглядываясь по сторонам и понижая голос, — в двух словах. За нами *следили* уже два месяца, и, вероятно, завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада. Придется отстреливаться.[500]

У Кислярского посеребрились щеки.

— Мы рады, — продолжал Остап, — встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за родину.

— Гм… да! — гордо процедил Ипполит Матвеевич, вспоминая, с каким голодным пылом он танцевал лезгинку невдалеке от Сиони.

Он набивая рот сыром и зеленью. Он с удовольствием отрыгал винные пары, чтобы продлить наслаждение. Остап метнул на него сердитый взгляд, и Ипполит Матвеевич подавился зеленой луковкой.

— Да! — шептал Остап. — Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум.

— Не надо, — твердо сказал Кислярский.

В следующую минуту выяснилось, что председатель биржевого комитета не имеет возможности принять участие в завтрашней битве. Он очень сожалеет, но не может. Он незнаком с военным делом. Потому-то его и выбрали председателем биржевого комитета. Он в полном отчаянии,

но для спасения жизни отца русской демократии (сам он старый октябрист) готов оказать возможную финансовую помощь.

— Вы верный друг отечества! — торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиани. — Пятьсот рублей могут спасти отца русской демократии.

— Скажите, — спросил Кислярский жалобно, — а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?

Остап не выдержал и под столом восторженно пнул Ипполита Матвеевича ногой.

— Я думаю, — сказал Ипполит Матвеевич, — что торг здесь неуместен!

Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало: «Браво, Киса, браво, что значит школа».

Кислярский первый раз в жизни услышал голос гиганта мысли. Он так поразился этому обстоятельству, что немедленно передал Остапу пятьсот рублей. После этого он уплатил по счету и, оставив друзей за столиком, удалился по причине головной боли. Через полчаса он отправил жене в Старгород телеграмму: «Еду твоему совету Крым всякий случай готовь корзинку».

Долгие лишения, которые испытал Остап Бендер, требовали немедленной компенсации. Поэтому в тот же вечер великий комбинатор напился на ресторанной горе до столбняка и чуть не выпал из вагона фуникулера на пути в гостиницу. На другой день он привел в исполнение давнишнюю свою мечту. Купил дивный серый в яблоках костюм. В этом костюме было жарко, но он все-таки ходил в нем, обливаясь потом. Воробьянинову в магазине готового платья Тифкооперации был куплен белый пикейный костюм и морская фуражка с золотым клеймом неизвестного яхт-клуба. В этом одеянии Ипполит Матвеевич походил на торгового адмирала-любителя. Стан его выпрямился. Походка сделалась твердой.

— Ах! — говорил Бендер. — Высокий класс! Если б я был женщиной, то делал бы такому мужественному красавцу, как вы, восемь процентов скидки с обычной цены. Ах! Ах! В таком виде мы можем вращаться! Вы умеете вращаться, Киса?

— Товарищ Бендер! — твердил Воробьянинов. — Как же будет со стулом? Нужно разузнать, что с театром!

— Хо-хо! — возразил Остап, танцуя со стулом в большом мавританском номере гостиницы *«Ориент»*. — Не учите меня жить. Я теперь злой. У меня есть деньги. Но я великодушен. Даю вам двадцать

рублей и три дня на разграбление города! Я — как Суворов!.. Грабьте город. Киса! Веселитесь!

И Остап, размахивая бедрами, запел в быстром темпе:

Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он.[501]

Друзья беспробудно пьянствовали целую неделю. Адмиральский костюм Воробьянинова покрылся разноцветными винными яблоками, а *яблоки* на костюме Остапа расплылись и *слились* в одно большое радужное яблоко.

— Здравствуйте! — сказал на восьмое утро Остап, которому с похмелья пришло в голову почитать «Зарю Востока». — Слушайте вы, пьянчуга, что пишут в газетах умные люди! Слушайте!

> Театральная хроника
>
> Вчера, 3 сентября, закончив гастроли в Тифлисе, выехал на гастроли в Ялту Московский театр Колумба. Театр предполагает пробыть в Крыму до начала зимнего сезона в Москве.

— Ага! Я вам говорил! — сказал Воробьянинов.

— Что вы мне говорили? — окрысился Остап.

Однако он был смущен. Эта оплошность была ему очень неприятна. Вместо того, чтобы закончить курс погони за сокровищами в Тифлисе, теперь приходилось еще перебрасываться на Крымский полуостров. Остап сразу взялся за дело. Были куплены билеты в Батум и заказаны места во втором классе парохода «Пестель», который отходил из Батума на Одессу 7 сентября в 23 часа по *московскому* времени.

В ночь с десятого на одиннадцатое сентября, когда «Пестель», не заходя в Анапу из-за шторма, повернул в открытое море и взял курс прямо на Ялту, Ипполиту Матвеевичу, *блевавшему весь день и только теперь заснувшему*, приснился сон.

Ему снилось, что он в адмиральском костюме стоял на балконе своего старгородского дома и знал, что стоящая внизу толпа ждет от него чего-то. Большой подъемный кран опустил к его ногам свинью в черных яблочках. Пришел дворник Тихон в пиджачном костюме и, ухватив свинью за задние ноги, сказал:

— Эх, туды его в качель! Разве «Нимфа» кисть дает!

В руках Ипполита Матвеевича очутился кинжал. Им он ударил свинью в бок, и из большой широкой раны посыпались и заскакали по цементу бриллианты. Они прыгали и стучали все громче. И под конец их стук стал невыносим и страшен.

Ипполит Матвеевич проснулся от удара волны об иллюминатор.

К Ялте подошли в штилевую погоду, в изнуряющее солнечное утро. Оправившийся от морской болезни предводитель красовался на носу возле колокола, украшенного литой славянской вязью. Веселая Ялта выстроила вдоль берега свои крошечные лавочки и рестораны-поплавки. На пристани стояли экипажики с бархатными сиденьями под полотняными вырезными тентами, автомобили и автобусы «Крымкурсо» и товарищества «Крымский шофер».[502] Кирпичные девушки вращали *развернутые зонтики* и махали платками.

Друзья первыми сошли на раскаленную набережную. При виде концессионеров из толпы встречающих и любопытствующих вынырнул гражданин в чесучовом костюме и быстро зашагал к выходу из территории порта. Но было уже поздно. Охотничий глаз великого комбинатора быстро распознал чесучового гражданина.

— Подождите, Воробьянинов, — крикнул Остап.

И он бросился вперед так быстро, что настиг чесучового мужчину в десяти шагах от выхода. Остап моментально вернулся со ста рублями.

— Не дает больше. Впрочем, я не настаивал, а то ему не на что будет вернуться домой.

И действительно, Кислярский в сей же час удрал на автомобиле в Севастополь, а оттуда третьим классом домой, в Старгород.

Весь день концессионеры провели в гостинице, сидя голыми на полу и поминутно бегая в ванную под душ. Но вода лилась теплая, как скверный чай. От жары не было спасения. Казалось, что Ялта *растает* и стечет в море.

К восьми часам вечера, проклиная все стулья на свете, компаньоны напялили горячие штиблеты и пошли в театр.

Шла «Женитьба». Измученный жарой Степан, стоя на руках, чуть не падал. Агафья Тихоновна бежала по проволоке, держа взмокшими руками зонтик с надписью: «Я хочу Подколесина». В эту минуту, как и весь день, ей хотелось только одного — холодной воды со льдом. Публике тоже хотелось пить. Поэтому, а может быть, и потому, что вид Степана, пожирающего горячую яичницу, вызывал отвращение, — *публике* спектакль не понравился.

Концессионеры были удовлетворены, потому что их стул, совместно с

тремя новыми пышными полукреслами рококо, был на месте.

Запрятавшись в одну из лож, друзья терпеливо выждали окончания неимоверно затянувшегося спектакля. Публика наконец разошлась, и актеры побежали прохлаждаться. В театре не осталось никого, кроме членов-пайщиков концессионного предприятия. Все живое выбежало на улицу под хлынувший наконец свежий дождь.

— За мной, Киса! — скомандовал Остап. — В случае чего мы — не нашедшие выхода из театра провинциалы.

Они пробрались за сцену и, чиркая спичками, но все же *ударяясь* о гидравлический пресс, обследовали всю сцену. Великий комбинатор побежал вверх по лестнице в бутафорскую.

— Идите сюда! — крикнул он сверху.

Воробьянинов, размахивая руками, помчался наверх.

— Видите? — сказал Остап, разжигая спичку.

Из мглы выступил угол гамбсовского стула и сектор зонтика с надписью: «хочу…»

— Вот! Вот наше будущее, настоящее и прошедшее! Зажигайте, Киса, спички, а я его вскрою.

И Остап полез в карман за инструментами.

— Ну-с, — сказал он, протягивая руку к стулу, — еще одну спичку, предводитель.

Вспыхнула спичка, и, странное дело, стул сам собой скакнул в сторону и вдруг, на глазах изумленных концессионеров, провалился сквозь пол.

— Мама! — крикнул Ипполит Матвеевич, отлетая к стене, хотя не имел ни малейшего желания этого делать.

Со звоном выскочили стекла, и зонтик с надписью «Я хочу Подколесина», подхваченный вихрем, вылетел в окно к морю. Остап лежал на полу, легко придавленный фанерными щитами.

Было двенадцать часов и четырнадцать минут. Это был первый удар большого крымского землетрясения 1927 года.[503] Удар в девять баллов, причинивший неисчислимые бедствия всему полуострову, вырвал сокровище из рук концессионеров.

— Товарищ Бендер! Что это такое? — кричал Ипполит Матвеевич в ужасе.

Остап был вне себя. Землетрясение, *ставшее* на его пути! Это был единственный случай в его богатой практике.

— Что это? — вопил Воробьянинов.

С улицы доносились крики, звон и шепот.

— Это то, что нам нужно немедленно удирать на улицу, пока нас не

завалило стеной. Скорей! Скорей! Дайте руку, шляпа!..

И они ринулись к выходу. К их удивлению, у двери, ведущей со сцены в переулок, лежал на спине целый и невредимый гамбсовский стул. Издав собачий визг, Ипполит Матвеевич вцепился в него мертвой хваткой.

— Давайте плоскогубцы! — крикнул он Остапу.

— Идиот вы паршивый! — застонал Остап. — Сейчас потолок обвалится, а он тут с ума сходит! Скорее на воздух.

— Плоскогубцы! — ревел обезумевший Ипполит Матвеевич.

— Ну вас к черту! Пропадайте здесь с вашим стулом! А мне моя жизнь дорога как память!

С этими словами Остап кинулся к двери. Ипполит Матвеевич залаял и, подхватив стул, побежал за Остапом. Как только они очутились на середине переулка, земля тошно зашаталась под ногами, с крыши театра повалилась черепица, и на том месте, которое концессионеры только что покинули, уже лежали останки гидравлического пресса.

— Ну, теперь давайте стул! — хладнокровно сказал Бендер. — Вам, я вижу, уже надоело его держать.

— Не дам! — взвизгнул Ипполит Матвеевич.

— Это что такое? Бунт на корабле? Отдайте стул! Слышите?

— Это мой стул! — заклекотал Воробьянинов, перекрывая стон, плач и треск, несшиеся отовсюду.

— В таком случае получайте гонорар, старая калоша!

И Остап ударил Воробьянинова медной ладонью по шее.

В эту же минуту по переулку промчался пожарный обоз с факелами, и при их трепетном свете Ипполит Матвеевич увидел на лице Бендера такое страшное выражение, что мгновенно покорился и отдал стул.

— Ну, теперь хорошо, — сказал Остап, переводя дыхание, — бунт подавлен. А сейчас возьмите стул и несите его за мной. Вы отвечаете мне за целость вещи. Если даже будет удар в пятьдесят баллов, стул должен быть сохранен. Поняли?

— Понял.

Всю ночь концессионеры блуждали вместе с паническими толпами, не решаясь, как и все, войти в покинутые дома, ожидая новых ударов.

На рассвете, когда страх немного уменьшился, Остап выбрал местечко, поблизости которого не было ни стен, которые могли бы обвалиться, ни людей, которые могли бы помешать, и приступил к вскрытию стула. Результаты вскрытия поразили обоих концессионеров. В стуле ничего не было. Ипполит Матвеевич, не выдержавший всех потрясений ночи и утра, засмеялся крысиным смешком. Непосредственно

вслед за этим раздался третий удар, земля разверзлась и поглотила пощаженный первым толчком землетрясения и развороченный людьми гамбсовский стул, цветочки которого улыбались взошедшему в облачной пыли солнцу.

Ипполит Матвеевич стал на четвереньки и, оборотив помятое лицо к мутно-багровому солнечному диску, завыл. Слушая его, великий комбинатор свалился в обморок. Когда он очнулся, то увидел рядом с собой заросший лиловой щетиной подбородок Воробьянинова. Ипполит Матвеевич *тоже* был без сознания.

— В конце концов, — сказал Остап голосом выздоравливающего тифозного, — теперь у нас осталось сто шансов из ста. Последний стул (при слове «стул» Ипполит Матвеевич очнулся) исчез в товарном дворе Октябрьского вокзала, но отнюдь не провалился сквозь землю. В чем дело? Заседание продолжается!

Где-то с грохотом падали кирпичи. Протяжно кричала пароходная сирена. *Простоволосая женщина в нижней юбке бежала посреди улицы.*

Глава XLIII
Сокровище

В дождливый день конца октября Ипполит Матвеевич без пиджака, в лунном жилете, осыпанном мелкой серебряной звездой, хлопотал в комнате Иванопуло. Ипполит Матвеевич работал на подоконнике, потому что стола в комнате до сих пор не было. Великий комбинатор получил большой заказ по художественной части — на изготовление адресных табличек для жилтовариществ. Исполнение табличек по трафарету Остап возложил на Воробьянинова, а сам целый почти месяц, со времени приезда в Москву, кружил в районе Октябрьского вокзала, с непостижимой страстью выискивая следы последнего, безусловно таящего в себе бриллианты мадам Петуховой, *стула*.

Наморщив лоб, Ипполит Матвеевич трафаретил железные досочки. За полгода *бриллиантовой* скачки он растерял все свои привычки. *Просыпаясь по утрам, не пел он уже своих бонжуров и гутморгенов, далеко в прошлом остался морозный с жилкой стакан, из которого пивал он молоко, будучи делопроизводителем загса уездного города N. И баронские сапоги с квадратными носами и низкими подборами, брошенные во время погони за театром Колумба, гнили где-то на Тифлисской свалке.* По ночам Ипполиту Матвеевичу виделись горные хребты, украшенные дикими транспарантами, летал перед его глазами Изнуренков, подрагивая коричневыми ляжками, переворачивались лодки, тонули люди, падал с неба кирпич и разверзшаяся земля пускала в глаза серный дым.

Остап, пребывавший ежедневно с Ипполитом Матвеевичем, не замечал в нем никакой перемены. Между тем Ипполит Матвеевич переменился необыкновенно. *Если бы он пришел сейчас в свой родной загс, его, пожалуй, приняли бы за просителя и на приветствие ответили бы довольно небрежно.* И походка у Ипполита Матвеевича была уже не та, и выражение глаз сделалось дикое, и ус торчал уже не параллельно земной поверхности, а почти перпендикулярно, как у пожилого кота.

Изменился Ипполит Матвеевич и внутренне. В характере появились не свойственные ему раньше черты решительности и жестокости. Три эпизода постепенно воспитали в нем эти новые чувства. Чудесное спасение от тяжких кулаков васюкинских любителей. Первый дебют по части нищенства у пятигорского «Цветника». *И, наконец,* землетрясение, после которого Ипполит Матвеевич несколько повредился и затаил к своему

компаньону тайную ненависть.

В последнее время Ипполит Матвеевич был одержим сильнейшими подозрениями. Он боялся, что Остап вскроет стул сам и, забрав сокровище, уедет, бросив его на произвол судьбы. Высказывать свои подозрения он не смел, зная тяжелую руку Остапа и непреклонный его характер. Ежедневно, сидя у окна за трафаретом и подчищая старой зазубренной бритвой высохшие буквы, Ипполит Матвеевич томился. Каждый день он опасался, что Остап больше не придет и он, бывший предводитель дворянства, умрет голодной смертью под мокрым московским забором.

Но Остап приходил каждый вечер, хотя радостных вестей не приносил. Энергия и веселость его были неисчерпаемы. Надежда ни на одну минуту не покидала его.

В коридоре раздался топот ног, кто-то грохнулся о несгораемый шкаф, и фанерная дверь распахнулась с легкостью *страницы, перевернутой ветром.* На пороге стоял великий комбинатор. Он был весь залит водой, щеки его горели, как *яблочки.* Он тяжело дышал.

— Ипполит Матвеевич! — закричал он. — Слушайте, Ипполит Матвеевич!

Воробьянинов удивился. Никогда еще технический директор не называл его по имени и отчеству. И вдруг он понял.

— Есть? — выдохнул он.

— В том-то и дело, что есть. Ах, Киса, черт вас раздери!

— Не кричите, все слышно.

— Верно, верно, могут услышать, — зашептал Остап быстро, — есть. Киса, есть, и, если хотите, я могу продемонстрировать его сейчас же… Он в клубе железнодорожников. Новом клубе… Вчера было открытие… Как я нашел? Чепуха? Необыкновенно трудная вещь! Гениальная комбинация! *Блестящая комбинация,* блестяще проведенная до конца! Античное приключение!.. Одним словом, высокий класс!..

Не ожидая, пока Ипполит Матвеевич напялит пиджак, Остап выбежал в коридор. Воробьянинов присоединился к нему на лестнице. Оба, взволнованно забрасывая друг друга вопросами, мчались по мокрым улицам на Каланчевскую площадь. Они не сообразили даже, что можно сесть в трамвай.

— Вы одеты, как сапожник! — радостно болтал Остап, — Кто так ходит, Киса? Вам необходимы крахмальное белье, шелковые носочки и, конечно, цилиндр. В вашем лице есть что-то благородное!.. Скажите, вы в самом деле были предводителем дворянства?..

Остап стал суетлив. Раньше за ним этого не водилось. На радостях,

что сокровище, может быть, еще сегодня ночью перейдет в их руки, Остап позволял себе глупые и веселые выходки, толкал Ипполита Матвеевича, подскакивал к девушкам из Ермаковки и сулил им золотые горы.

Показав предводителю стул, который стоял в комнате шахматного кружка и имел самый обычный *«гамбсовский вид»*, хотя и таил в себе несметные ценности, — Остап потащил Воробьянинова в коридор. Здесь не было ни души. Остап подошел к еще не замазанному на зиму окну и выдернул из гнезд задвижки обеих рам.

— Через это окошечко, — сказал он, — мы легко и нежно попадем в клуб в любой час сегодняшней ночи. Запомните, Киса, третье окно от парадного подъезда.

Друзья долго еще бродили по клубу под видом представителей УОНО[504] и не могли надивиться прекрасным залам и комнатам. *Клуб был не велик, но построен ладно. Концессионеры несколько раз заходили в шахматную комнату и с видимым интересом следили за развитием нескольких шахматных партий.*

— Если бы я играл в Васюках, — сказал Остап, — сидя на таком стуле, я бы не проиграл ни одной партии. Энтузиазм не позволил бы. Однако пойдем, старичок, у меня двадцать пять рублей *подкожных.* Мы должны выпить пива и отдохнуть перед ночным визитом. Вас не шокирует пиво, предводитель? Не беда! Завтра вы будете лакать шампанское в неограниченном количестве.

Идя из пивной на Сивцев Вражек, Бендер страшно веселился и задирал прохожих. Он обнимал слегка захмелевшего Ипполита Матвеевича за плечи и говорил ему с нежностью:

— Вы чрезвычайно симпатичный старичок, Киса, но больше десяти процентов я вам не дам. Ей-богу, не дам. Ну зачем вам, зачем вам столько денег?..

— Как зачем? Как зачем? — кипятился Ипполит Матвеевич.

Остап чистосердечно смеялся и приникал щекой к мокрому рукаву своего друга по концессии.

— Ну что вы купите, Киса? Ну что? Ведь у вас нет никакой фантазии. Ей-богу, пятнадцати тысяч вам за глаза хватит… Вы же скоро умрете, вы же старенький. Вам же деньги вообще не нужны… Знаете, Киса, я, кажется, ничего вам не дам. Это баловство. А возьму я вас, Кисуля, к себе в секретари. А? Сорок рублей в месяц. Харчи мои. Четыре выходных дня… А? Спецодежда там, чаевые, соцстрах… А? *Доходит до вас* это предложение?..

Ипполит Матвеевич вырвал руку и быстро ушел вперед. Шутки эти доводили его до исступления.

Остап нагнал Воробьянинова у входа в розовый особнячок.

— Вы в самом деле на меня обиделись? — спросил Остап. — Я ведь пошутил. Свои три процента вы получите, Ей-богу, вам трех процентов достаточно, Киса.

Ипполит Матвеевич угрюмо вошел в комнату.

— А, Киса, — резвился Остап, — соглашайтесь на три процента. Ей-богу, соглашайтесь. Другой бы согласился. Комнаты вам покупать не надо, благо Иванопуло уехал в Тверь на целый год. А то все-таки ко мне поступайте, в камердинеры… Теплое местечко. Обеспеченная старость! Чаевые! А?..

Увидев, что Ипполита Матвеевича ничем не растормошишь, Остап сладко зевнул, вытянулся к самому потолку, наполнив воздухом широкую грудную клетку, и сказал:

— Ну, друже, готовьте карманы. В клуб мы пойдем перед рассветом. Это наилучшее время. Сторожа спят и видят сладкие сны, за что их часто увольняют без выходного пособия. А пока, дорогуша, советую вам отдохнуть.

Остап улегся на трех стульях, собранных в разных частях Москвы, и, засыпая, проговорил.

— А то камердинером!.. Приличное жалованье… Харчи… Чаевые… Ну, ну, пошутил… Заседание продолжается! Лед тронулся, господа присяжные заседатели!

Это были последние слова великого комбинатора. Он заснул беспечным сном, глубоким, освежающим и не отягощенным сновидениями.

Ипполит Матвеевич вышел на улицу. Он был полон отчаяния и злобы. Луна прыгала по облачным кочкам. Мокрые решетки особняков жирно блестели. Газовые фонари, окруженные веночками водяной пыли, тревожно светились. Из пивной «Орел» вытолкнули пьяного. Пьяный заорал. Ипполит Матвеевич поморщился и твердо пошел назад. У него было одно желание — поскорее все кончить.

Он вошел в комнату, строго посмотрел на спящего Остапа, протер пенсне и взял с подоконника бритву. На ее зазубринках видны были высохшие чешуйки масляной краски. Он положил бритву в карман, еще раз прошел мимо Остапа, не глядя на него, но слыша его дыхание, и очутился в коридоре. Здесь было тихо и сонно. Как видно, все уже улеглись. В полной тьме коридора Ипполит Матвеевич вдруг улыбнулся

наиязвительнейшим образом и почувствовал, что на его лбу задвигалась кожа. Чтобы проверить это новое ощущение, он снова улыбнулся. Он вспомнил вдруг, что в гимназии ученик Пыхтеев-Какуев умел шевелить ушами. Ипполит Матвеевич дошел до лестницы и внимательно прислушался. На лестнице никого не было. С улицы донеслось цоканье копыт извозчичьей лошади, нарочито громкое и отчетливое, как будто бы считали на счетах. Предводитель кошачьим шагом вернулся в комнату, вынул из висящего на стуле пиджака Остапа двадцать рублей и плоскогубцы, надел на себя грязную адмиральскую фуражку и снова прислушался. Остап спал тихо, не сопя. Его носоглотка и легкие работали идеально, исправно *вдыхали* и *выдыхали* воздух. Здоровенная рука свесилась к самому полу. Ипполит Матвеевич, ощущая секундные удары височного пульса, неторопливо подтянул правый рукав выше локтя, обмотал обнажившуюся руку вафельным полотенцем, отошел к двери, вынул из кармана бритву и, примерившись глазами к комнатным расстояниям, повернул выключатель. Свет погас, но комната оказалась слегка освещенной голубоватым аквариумным светом уличного фонаря.

— Тем лучше, — прошептал Ипполит Матвеевич.

Он приблизился к изголовью и, далеко отставив руку с бритвой, изо всей силы косо всадил все лезвие сразу в горло Остапа. Сейчас же выдернул бритву и отскочил к стене. Великий комбинатор издал звук, какой производит кухонная раковина, всасывающая остатки воды. Ипполиту Матвеевичу удалось не запачкаться в крови, *которая полилась, как из лопнувшего пожарного шланга. Воробьянинов,* вытирая пиджаком каменную стену, прокрался к голубой двери и на секунду снова посмотрел на Остапа. Тело его два раза выгнулось и завалилось к спинкам стульев. Уличный свет поплыл по *большой* черной луже, образовавшейся на полу.

«Что это за лужа? — подумал Ипполит Матвеевич. — Да, да, кровь… Товарищ Бендер скончался».

Воробьянинов размотал слегка измазанное полотенце, бросил его, потом осторожно положил бритву на пол и удалился, тихо прикрыв дверь.

Великий комбинатор умер на пороге счастья, которое он себе вообразил.

Очутившись на улице, Ипполит Матвеевич насупился и, бормоча: «Бриллианты все мои, а вовсе не шесть процентов», — пошел на Каланчевскую площадь.

У третьего окна от парадного подъезда железнодорожного клуба Ипполит Матвеевич остановился. Зеркальные окна нового здания жемчужно серели в свете подступавшего утра. В сыром воздухе звучали

глуховатые голоса маневровых паровозов. Ипполит Матвеевич ловко вскарабкался на карниз, толкнул раму и бесшумно прыгнул в коридор.

Легко ориентируясь в серых предрассветных залах клуба, Ипполит Матвеевич проник в шахматный кабинет и, зацепив головой висевший на *стенке* портрет Эммануила Ласкера, подошел к стулу. Он не спешил. Спешить ему было некуда. За ним никто не гнался. Гроссмейстер О. Бендер спал вечным сном в розовом особняке на Сивцевом Вражке.

Ипполит Матвеевич сел на пол, обхватил стул *жилистыми своими* ногами и с хладнокровием дантиста стал выдергивать из стула медные *гвоздики*, не пропуская ни одного. На шестьдесят втором гвозде работа его кончилась. Английский ситец и *рогожа* свободно лежали на обивке стула. Стоило только поднять их, чтобы увидеть футляры, футлярчики и ящички, наполненные драгоценными камнями.

«Сейчас же на автомобиль, — подумал Ипполит Матвеевич, обучавшийся житейской мудрости в школе великого комбинатора, — на вокзал и на польскую границу. За какой-нибудь камешек меня переправят на ту сторону, а там…»

И, желая поскорее увидеть, что будет «там», Ипполит Матвеевич сдернул со стула ситец и рогожку. Глазам его открылись пружины, прекрасные английские пружины, и набивка, замечательная набивка, довоенного качества, какой теперь нигде не найдешь. Но больше ничего в стуле не содержалось. Ипполит Матвеевич машинально разворошил *пальцем* обивку и целых полчаса просидел, не выпуская стула из цепких ног и тупо повторяя:

— Почему же здесь ничего нет? Этого не может быть! Этого не может быть!

Было уже почти светло, когда Воробьянинов, бросив все как было в шахматном кабинете, забыв там плоскогубцы и фуражку с золотым клеймом несуществующего яхт-клуба, никем не замеченный, тяжело и устало вылез через окно на улицу.

— Этого не может быть! — повторил он, отойдя от клуба на квартал. — Этого не может быть!

И он вернулся назад к клубу и стал разгуливать вдоль его больших окон, шевеля губами:

— Этого не может быть! Этого не может быть! Этого не может быть!

Изредка он вскрикивал, хватался за мокрую от утреннего тумана голову. Вспоминая все события ночи, он тряс седыми космами. *Бриллиантовое* возбуждение оказалось слишком сильным средством. Он одряхлел в пять минут.

— Ходют тут, ходют всякие, — услышал Воробьянинов над своим ухом.

Он увидел сторожа в брезентовой спецодежде и в холодных сапогах.[505] Сторож был очень стар, румян и, как видно, добр.

— Ходют и ходют, — общительно говорил старик, которому надоело ночное одиночество, — и вы тоже, товарищ, интересуетесь. И верно. Клуб у нас, можно сказать, необыкновенный.[506]

Ипполит Матвеевич страдальчески смотрел на румяного старика.

— Да, — сказал старик, — необыкновенный этот клуб. Другого такого нигде нету.

— А что же в нем такого необыкновенного? — спросил Ипполит Матвеевич, собираясь с мыслями.

Старичок радостно посмотрел на Воробьянинова. Видно, рассказ о необыкновенном клубе нравился ему самому, и он любил его повторять.

— Ну и вот, — начал старик, — я тут в сторожах хожу десятый год, а такого случая не было. Ты слушай, солдатик. Ну и вот, был здесь постоянно клуб, известно какой, первого участка службы тяги, я его и сторожил. Негодящий был клуб… Топили его топили и — ничего не могли сделать. А товарищ Красильников ко мне подступает: «Куда, мол, дрова у тебя идут?» А я их разве что, ем эти дрова? Бился товарищ Красильников с клубом — там сырость, тут холод, духовому кружку помещения нету, и в театр играть одно мучение — господа артисты мерзли. Пять лет кредита просили на новый клуб, да не знаю, что там выходило. Дорпрофсож кредита не утверждал. Только весною *купил* товарищ Красильников стул для сцены, стул хороший, мягкий…

Ипполит Матвеевич, налегая всем корпусом на сторожа, слушал. Он был в полуобмороке. А старик, заливаясь радостным смехом, рассказал, как он однажды взгромоздился на этот стул, чтобы вывинтить электрическую лампочку, да и покатился.

— С этого стула я соскользнул, обшивка на нем порвалась. И смотрю, из-под обшивки стеклушки сыплются и бусы белые на ниточке.

— Бусы, — проговорил Ипполит Матвеевич.

— Бусы, — визгнул старик восхищенно, — и смотрю, солдатик, дальше, а там коробочки разные. Я эти коробочки даже и не трогал. А пошел прямо к товарищу Красильникову и доложил. Так и комиссии потом докладывал. Не трогал я этих коробочек и не трогал. И хорошо, солдатик, сделал, потому что там драгоценность найдена была, запрятанная буржуазией…

— Где же драгоценности? — закричал предводитель.

— Где, где, — передразнил старик, — тут, солдатик, соображение надо иметь. Вот они!

— Где? Где?

— Да вот они! — закричал румяный старик, радуясь произведенному эффекту. — Вот они! Очки протри! Клуб на них построили, солдатик! Видишь? Вот он, клуб! Паровое отопление, *шахматы* с часами, буфет, театр, в галошах не пускают!..

Ипполит Матвеевич оледенел и, не двигаясь с места, водил глазами по карнизам.

Так вот оно где, сокровище мадам Петуховой. Вот оно, все тут, все сто пятьдесят тысяч рублей ноль ноль копеек, как любил говорить *убитый* Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер.

Бриллианты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия, прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал с вертящейся сценой, рубиновые подвески разрослись в целые люстры, золотые змеиные *браслетки* с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой, а фермуар перевоплотился в детские ясли, планерную мастерскую, шахматный *клуб* и *биллиардную.*

Сокровище осталось, оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но *его* нельзя было унести. Оно перешло на службу другим людям.

Ипполит Матвеевич потрогал руками гранитную облицовку. Холод камня передался в самое его сердце. И он закричал. Крик его, бешеный, страстный и дикий, — крик простреленной навылет волчицы — вылетел на середину площади, метнулся под мост и, отталкиваемый отовсюду звуками просыпающегося большого города, стал глохнуть и в минуту зачах.

Великолепное осеннее утро скатилось с мокрых крыш на улицы Москвы. Город двинулся в будничный свой поход.

Конец.

1927–1928 гг.
Москва.

---

notes

Часть первая

Глава I
Безенчук и нимфы

1

…В уездном городе N… — Словосочетания «уездный город N», «губернский город N» или просто «город N», весьма часто встречающиеся в русской прозе XIX века, были общим местом, своего рода символом глухой провинции, захолустья. Однако в романе «Двенадцать стульев» привычный смысл их несколько изменился: захолустье стало советским, черты «нового быта» комически соседствовали здесь с прежними, постепенно вытесняемыми. На что и намекали авторы романа, используя определение «уездный», которому вскоре надлежало исчезнуть, поскольку с 1921 года советским правительством планировалось новое административно-территориальное деление, так называемое районирование — постепенное введение краев (округов), областей и районов вместо прежних российских губерний, уездов и волостей. Помимо чисто управленческих задач таким образом решалась и задача идеологическая: районирование должно было знаменовать полное обновление страны, разрыв последних связей с имперской историей — даже на уровне терминологии. Фактически к реформе приступили в 1923 году и завершили шесть лет спустя. В 1927 году, когда разворачивается действие романа, вне районирования оставалось менее четверти территории СССР, где хотя бы в названиях учреждений еще сохранялось специфическое сочетание «имперского» и «советского»: исполнительный комитет губернского совета — губисполком, уездного — уисполком, уездная милиция — умилиция и т. п.

2

…вежеталем… — Вежеталь (фр. vegetal — растительный) — туалетная вода с запахом трав, цветов.

3

…месткома коммунальников… — Имеется в виду отделение

профессионального союза, объединявшего рабочих и служащих коммунальных предприятий и организаций: водопроводных и канализационных станций, бань, боен и т. п.

4

…*улицу «Им. тов. Губернского»…* — Шутка строится на обыгрывании считавшегося типичным для провинциальных городов названия главной улицы — «Губернаторская».

5

…*ондулясион* — (фр. ondulation) — завивка волос.

6

…*в очках он вылитый Милюков…* — П. Н. Милюков (1859–1943) — историк, публицист. До февральской революции 1917 года — один из лидеров либеральной оппозиции, идеолог конституционно-демократической партии, затем — министр иностранных дел Временного правительства. После падения Временного правительства — эмигрант. Длинные горизонтально закрученные усы Милюкова и его круглые очки — черты, многократно эксплуатировавшиеся карикатуристами.

7

…*довоенные штучные брюки…* — Речь идет о специфике фасона и качестве. Узкие брюки с завязками у щиколоток (чтобы всегда оставались на ногах натянутыми) были модны в начале 1910-х годов, но ко второй половине 1920-х годов такой фасон выглядел давно устаревшим. Что же касается определения «штучные», то оно означало «сшитые по индивидуальному заказу», а не купленные, например, в магазине или лавке готового платья.

8

…*короткие мягкие сапоги с узкими квадратными носами и низкими подборами…* — Подборами именовали каблуки, поскольку сапожник

«подбирал» их по высоте, наклеивая несколько кусков толстой кожи друг на друга — слоями. Воробьянинов носит так называемые полусапожки — того фасона (узкий квадратный носок, короткие мягкие голенища, низкий каблук), что был модным в предреволюционные годы.

9

…лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной звездой… — То есть сшитый из белой орнаментированной ткани «пике» — плотной, глянцевой, с выпуклыми узорами. Белый пикейный или шелковый жилет — непременный элемент вечернего костюма предреволюционных лет, он был обязателен к фраку или смокингу. Соответственно, к 1920-м годам материал пожелтел от времени и приобрел характерный «лунный» оттенок.

10

…люстриновый пиджачок… — Сшитый из люстрина (от фр. lustre — лоск, глянец, блеск), жесткой безворсовой ткани с отливом, для изготовления которой использовалась шерсть грубых сортов. Ко второй половине 1920-х годов люстрин давно вышел из моды и стал одним из самых дешевых видов сукна.

11

…чугунная лампа с ядром, дробью… — Имеется в виду характерная деталь предреволюционного быта — керосиновая лампа с резервуаром, вставленным в металлическую вазу. Такие лампы подвешивались на цепях, перекинутых через потолочные крюки, и высота их регулировалась с помощью противовесов, полых металлических шаров, куда засыпалась дробь: если лампу требовалось опустить — часть дроби высыпали в специальную чашку.

12

…Голос у нее был такой силы и густоты, что ему позавидовал бы Ричард Львиное Сердце… — Так в рукописи. Позже авторы добавили: «от крика которого, как известно, приседали кони». Ричард Львиное Сердце (1157–1199) — английский король с 1189 г., был наделен необычайной

физической силой, считался образцовым рыцарем.

13

…желтим драгунским кантом… — Вероятно, имеются в виду обязательные в российских драгунских полках желтые полосы по краям вальтрапа — суконного покрывала на крупе лошади, но, возможно, речь идет и о желтых шнурах вдоль швов на драгунских чикчирах — узких кавалерийских брюках цветного сукна.

14

…касторовую шляпу… — То есть сшитую из кастора (фр. castor — бобр, бобровый мех), плотной суконной ткани с густым, ровным, гладким и пушистым ворсом, для изготовления которой использовался бобровый или козий пух. При описании воробьяниновской одежды и обуви авторы намеренно акцентируют контрасты, указывающие на социальный статус героя в прошлом и настоящем: старые, хоть некогда дорогие и модные брюки, обувь добротная, изящная, но устаревшего фасона, щегольской жилет от вечернего костюма времен империи, вот только выцветший и абсолютно неуместный при заправленных в сапоги брюках, элегантная, однако изрядно поношенная шляпа — все свидетельствовало, что владелец прежде был богат, в советскую же эпоху стал мелким служащим — той категории, для которой чуть ли не униформой считались пиджаки из дешевого люстрина.

15

…Мацист… — Речь идет о сходстве Воробьянинова и итальянского актера Б. Пагано, бывшего портового грузчика, сыгравшего роль отважного атлета Мачисте (Maciste) в фильме Д. Пастроне «Кабирия». Этот «фильм-колосс» о событиях эпохи пунических войн, вышедший на экраны в 1914 году, пользовался значительным успехом: в 1918–1926 годах была создана серия о приключениях Мачисте, которого в русском прокате именовали Мацистом.

16

…манипуляциями советского служащего… — Определение «советский» здесь относится не к гражданству: в годы нэпа советскими называли служащих только тех учреждений, что входили в структуру исполкомов при советах — уездных, городских и т. п.

17

…запахом ализариновых чернил… — Ализарин — органический краситель, получаемый при переработке каменного угля. Сильный едкий запах, похожий на уксусный, был свойствен самым дешевым сортам чернил.

18

…паспортах… — Имеются в виду не собственно паспорта, а так называемые «удостоверения личности», которые выдавались тогда отделом управления местного исполкома. Бланки их содержали, в частности, графу «семейное положение», куда и вносил записи делопроизводитель. Несмотря на то, что паспортная система Российской империи была в качестве символа «буржуазного полицейского государства» изначально упразднена советским правительством, «удостоверения личности» по аналогии часто именовали паспортами. Кстати, получать такие удостоверения было вовсе не обязательно: до 1932 года в пределах страны разрешалось использовать практически любой официальный документ — профсоюзный билет, служебный пропуск, справку сельского совета и т. п. Лишь на время поездки за границу гражданину СССР вручали паспорт международного образца.

19

…Переписчик Сапежников… — Вероятно, распространенную фамилию — Сапожников — авторы романа исказили не случайно: в ряде областных говоров глагол «пежить», «пежиться» означает и «рассказывать небылицы», и «совершать половой акт». Подобного рода обсценные шутки встречаются и в дальнейшем.

20

…полбутылки… диковинка… соточка… «гусь»… четвертуха… полшишки… двадцатка… мерзавчик… сороковка… — Жаргонные названия, связанные с принятой в предреволюционную эпоху мерой жидкости: 1 ведро — 12,29 литра. «Четверть», «четвертуха» или «гусь» — бутыль емкостью в четверть ведра. Название дано в связи с тем, что формой этот сосуд с удлиненным горлом напоминал тушу гуся на прилавке. Одна «четверть» соответствовала четырем стандартным винным бутылкам — «диковинам», «диковинкам» или «шишкам». «Мерзавчик», «мерзавец», «шкалик» — бутыль емкостью в двухсотую долю ведра, наименьшая из выпускавшихся. Бытовало мнение, что из-за низкой цены такие бутыли всего больше способствуют распространению пьянства.

21

…Драманж!.. — Вероятно, шуточно переиначенное «на французский манер» жаргонное слово «мандраж» («мандраже») — дрожь, а в данном случае — похмельный озноб. Необходимость подобного рода переделки отчасти обусловлена тем, что «мандраж» по созвучию ассоциировался с жаргонизмом «манда» — влагалище.

22

…милиционер в форменной фуражке… — Милиционеры носили фуражки с ярко-красным околышем, в связи с чем на воровском жаргоне их называли «снегирями».

23

…Против ихнего глазету… — Имеется в виду обивка гроба глазетом (фр. glace — глянцевитый, блестящий), плотной тканью, основа которой, то есть продольная (вертикальная) нить — шелковая, а уток — поперечная (горизонтальная) нить — металлическая, серебряного цвета.

24

…ни одна фирма, даже в самой Твери, выстоять не могла… — В предреволюционные годы Тверь считалась центром деревообделочной промышленности.

Глава II
Кончина мадам Петуховой

25

…платья «шантеклер»… — Мода на такие платья — яркие, длинные, узкие в талии, обтягивавшие бедра и резко расширявшиеся от колена — распространилась после петербургской постановки в 1910 году аллегорической пьесы Э. Ростана «Шантеклер» (фр. chantecler — букв. «певец зари»), действие которой происходит на птичьем дворе, а главный герой — петух, влюбленный поэт по имени Шантеклер. Экстравагантная пьеса, провалившаяся на родине автора, широко обсуждалась в русской периодике, и торговцы использовали этот фактор для рекламы: помимо платьев, были еще духи и шоколад с тем же названием.

26

…«Поэзия есть Бог в святых мечтах земли» — заключительные слова поэмы В. А. Жуковского «Камоэнс». Высечены в 1887 году на постаменте петербургского памятника поэту работы В. П. Крейтона.

27

…московского журнала «Огонек»… — Печатавшийся с 1899 года в Петербурге иллюстрированный еженедельник «Огонек» был в 1918 году закрыт, с 1923 года издание возобновлено в Москве, и к 1927 году журнал стал едва ли не самым популярным в СССР.

28

…В страхкассе разве доктора… — Речь идет о районной страховой кассе — первичном территориальном подразделении Главного управления социального страхования (Главсоцстраха), которое, в свою очередь, подчинялось Народному комиссариату труда. Бюджет ее складывался из взносов застрахованных, и в соответствии с тогдашним законодательством страхкасса объединяла все виды страхования, распределяла средства,

финансировала медицинскую помощь всем работающим по найму, родственникам, состоящим на их иждивении, оплачивала лекарства, убытки по нетрудоспособности и пр. Однако медицинскую помощь застрахованным, как и всем прочим гражданам СССР, не платившим страховые взносы, должны были даром — «в порядке общей очереди» — оказывать сотрудники учреждений Народного комиссариата здравоохранения, услуги же частнопрактикующих врачей страхкассы не оплачивали. Считалось, что наркомздравовские врачи менее внимательны к пациентам, нежели частнопрактикующие, о чем и говорят герои романа.

29

…гарнитюр… — Так в рукописи. Вероятно, авторы хотели подчеркнуть, что это слово, подобно имени зятя, Клавдия Ивановна выговаривает «на французский манер».

30

…английским ситцем… — В рукописи указано сначала, что мебель была обита «сиреневым штофом» (нем. stoff — материя), то есть плотной узорчатой шерстяной или шелковой тканью.

31

…в Старгороде… — Судя по рукописи, авторы намеревались назвать город, где ранее жили Ипполит Матвеевич и Клавдия Ивановна, Барановым или Барановском. Однако позже Ильф и Петров отказались от этих юмористических вариантов, напоминавших о знаменитых Глупове, Скотопригоньевске и т. д. Новое название, сохранившееся во всех публикациях, связано, вероятно, с местом действия романа Н. С. Лескова «Соборяне», но в то же время указывает и на хрестоматийный Миргород.

32

…Мебель была превосходная, гамбсовская… — Речь идет о фирме, которую основал немецкий мастер-мебельщик Г. Гамбс (1765–1831), работавший в России с 1790-х годов. В 1810 году он получил право именоваться «придворным мебельщиком», а с 1828 года фирму возглавил

его сын — П. Г. Гамбс, при котором с 1860-х годов изготовлялись гарнитуры, подобные тому, что описан в романе. Знаменитая «гамбсова мебель» — ореховая, округлых форм, на изогнутых ножках — обивалась кожей, штофом или ситцем.

33

…*«танго-амапа»*… — Амапа — область на севере Бразилии. Речь идет о бразильском стиле танго, что стал популярен в США и Европе к началу 1910-х годов.

34

…*брандмейстеру*… — Имеется в виду начальник подразделения пожарной охраны, непосредственно занимавшегося тушением пожара.

Глава III
«Зерцало грешного»

35

«Достойно есть» — одна из самых распространенных богородичных молитв, входящая и в состав литургии: «Достойно есть, яко воистинну блажити Тя, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем».

36

…на Миусском рынке, в Москве… — Имеется в виду рынок возле Миусской площади. Ликвидирован в 1940 году.

37

…тумбочки… — Речь идет об одной из круглых деревянных или металлических тумб, вкопанных вдоль тротуаров, чаще всего — у домов, для того, чтобы помешать телегам и экипажам заезжать на тротуар.

38

…триумфальная арка елисаветинских времен… — Имеются в виду годы царствования императрицы Елизаветы Петровны (1741–1761). Для современников Ильфа и Петрова намек был вполне прозрачным: летом 1927 года, несмотря на протесты многих известных ученых, Президиум ВЦИК принял решение о сносе знаменитых московских Красных ворог — каменной триумфальной арки, построенной в 1753–1757 годах по проекту Д. В. Ухтомского.

39

…без мотора… — Согласно тогдашнему законодательству, ремесленники-кустари, использовавшие какие-либо моторы, станки и т. п.,

платили дополнительный налог.

40

…на Смоленском рынке… — Смоленский рынок — часть Смоленской площади, ликвидирован в 1928 году.

41

…к обновленцам перейти собрался… по иллюзионам ходят, алименты платят… — Обновленцами называли представителей либерально-реформаторского движения священнослужителей русской православной церкви, формировавшегося в 1900-е годы. Значительное влияние обновленцы приобрели в 1922 году, когда поддержали советское правительство в конфликте с патриархом. Они декларировали тождественность христианства и социалистической идеологии, выступали за упрощение обряда и обмирщение быта священнослужителей. Именно обмирщение подразумевает попадья, говоря в связи с обновленцами об «иллюзионах», то есть кинозалах, где шли также эстрадно-цирковые дивертисменты: посещение «публичных увеселений» традиционно считалось для православного духовенства крайне предосудительным. Что же касается «алиментов», то речь идет о выдвинутом обновленцами требовании предоставить священнослужителям право на развод и второбрачие. Подобного рода лозунги весьма способствовали компрометации реформаторов, и к 1927 году епископы-традиционалисты, в свою очередь пошедшие на компромисс с правительством, практически ликвидировали обновленческое движение, изолировали его немногочисленных сторонников от церковного большинства.

42

…коричневый утиный картуз… — Вероятно, имеется в виду картуз с высокой тульей и длинным козырьком, получивший название из-за сходства с каскетками, что носили состоятельные любители утиной охоты.

43

…«Летопись войны 1914 года»… — То есть иллюстрированный

еженедельник «Летопись войны», издававшийся в 1914–1917 годах.

44

…«Русский паломник»… — выпускавшийся в 1885–1917 годах популярный иллюстрированный еженедельник, где описывались путешествия к святым местам, церковные достопримечательности, публиковались нравоучительные рассказы и т. п.

45

…«Русский в Италии»… — Имеется в виду русско-итальянский разговорник, один из серии «Русские за границей», издававшейся в предвоенные годы: «Русский в Италии. Самое простое и легкое руководство для скорого изучения итальянского языка, заключающее все самое необходимое в обыденной жизни и в путешествии, с указанием точного произношения».

46

…капор… — (голл. kaper — шапка) — женская стеганая шапка, закрывающая также уши и шею.

Глава IV
Муза дальних странствий

47

Возможно, источник названия главы — популярные в 1920-е годы стихи Н. С. Гумилева — см., например:

«Что до природы мне, до древности,
Когда я полон жгучей ревности,
Ведь ты во всем ее убранстве
Увидел Музу Дальних Странствий»
(«Отъезжающему»).

…палаточник… угощавший пивом финагента… — Финагентами, то есть финансовыми агентами, именовали служащих территориального подразделениях налоговой инспекции, которые, подчиняясь финансовым инспекторам — фининспекторам, непосредственно контролировали уплату налогов частными предпринимателями, так называемыми нэпманами. Шутки по поводу коррумпированности служащих финансовой инспекции были, можно сказать, «дежурными» в фельетонистике 1920-х годов.

48

…Агент ОДТГПУ… — Так в рукописи. Речь идет об оперативном сотруднике Отделения дорожно-транспортного отдела Общесоюзного государственного политического управления при Совете народных комиссаров СССР. Такие отделения были созданы на всех крупных железнодорожных узлах — для предотвращения диверсий, саботажа, возникновения антисоветских организаций и т. п. Звания «агентов» (III — 1 категорий) по знакам различия соответствовали званиям армейского младшего командного состава (от командира отделения до помощника командира взвода), присваивались они младшим оперативникам, которые подчинялись уполномоченным. Звания «агентов» присваивались также и младшим оперативникам уголовного розыска. На вокзалах сотрудники

ОДТО ОПТУ были весьма заметны: они носили обмундирование армейского образца и фуражки с околышами малинового цвета, за что на воровском жаргоне именовались «малиновками».

49

…*«Жила-была Россия, великая держава»*… — Возможно, аллюзия на поставленную МХАТом осенью 1926 года пьесу М. А. Булгакова «Дни Турбиных», точнее, эффектную реплику одного из персонажей этой пьесы: «Была у нас Россия — великая держава». Реплика булгаковского персонажа, надо полагать, в свою очередь, восходит к строфе стихотворения С. С. Бехтеева «Россия»:

«Была державная Россия:
Была великая страна,
С народом мощным, как стихия,
Непобедимым, как волна».

Эти и другие монархические стихи, написанные в апреле 1917 года, Бехтеев послал царской семье, которая находилась под арестом в Тобольске. Позже, когда поэт-монархист служил в Добровольческой армии, они распространялись в списках, публиковались в периодике на территории «белого движения». В 1919 году, с приходом белых в Одессу, стихотворение «Россия» печаталось на листовках, что раздавали горожанам, и, вероятно, Ильф и Петров тогда с ним и ознакомились впервые. Монархическому контексту реплики булгаковского персонажа стихи соответствовали: о державном величии говорил будущий белогвардеец, собравшийся воевать с красными, и для тех, кто знал оригинал, намек был прозрачен. Однако «Дни Турбиных» — вполне советская пьеса, потому, как известно, будущему белогвардейцу отвечает бывший офицер русской армии, готовый служить красным и предрекающий, что белые потерпят поражение, уцелевшие эмигрируют, а Россия при большевиках вновь станет великой державой. Пародийно обыгрывая бехтеевские стихи и булгаковскую реплику, Ильф и Петров подчеркивали, что пророчество сбылось: белые побеждены, и к десятилетию советской власти престиж СССР достаточно высок. Не исключено также, что авторы «Двенадцати стульев», напоминая о пьесе, широко обсуждавшейся в периодике, передали знакомому драматургу

своеобразный поклон. Такое предположение уместно, поскольку к теме мхатовской постановки Ильф и Петров неоднократно возвращаются.

50

…сдачу деньгами, а не благотворительными марками в пользу детей… — В 1920-е годы принудительное распространение такого рода марок постоянно поручалось кассирам государственных и общественных организаций, а протесты покупателей против подобных поборов квалифицировались сотрудниками правоохранительных органов как форма «антисоветской агитации».

51

…бесплацкартный поезд… — В тогдашних железнодорожных билетах значились только номера поезда и вагона, конкретное же место каждого пассажира указывалось в специальной квитанции — плацкарте (нем. Platzkarte — билет на место). Билеты в бесплацкартный вагон продавались по количеству пассажиров — без указания конкретного места. Таким образом, места занимались в зависимости от проворности и предприимчивости пассажиров, чем и объясняется «кровопролитный характер» посадки. В поздних вариантах слово «кровопролитный» заменено на «скандальный».

52

…Интересная штука — полоса отчуждения… — Полосой отчуждения или же полосой отвода называется полоса земли, отведенная под железнодорожные сооружения, она считается «отчужденной» от прилегающей территории, поскольку находится в ведении железнодорожной, а не местной администрации.

53

…Ермаки Тимофеевичи… с никелированными бляхами на сердце… — Ермак Тимофеевич (ум. 1585) — предводитель казачьих отрядов, завоевывавших Сибирь, герой народных песен. На лубочных картинках обычно изображался как длиннобородый, могучего телосложения воин в

кольчуге с «зерцалом» — блестящими накладными пластинами. Обязательная же деталь униформы вокзальных носильщиков в описываемые годы — металлическая нагрудная пластина с личным номером каждого и названием станции.

54

…Умирает старый еврей… Один еврей… — Вполне вероятно, соавторы не случайно акцентируют специфичность железнодорожных анекдотов. По свидетельству современников, активизация весной 1927 года полемики с троцкистами способствовала росту антисемитских настроений, широкому распространению слухов о том, что Троцкий, будут евреем, подбирал сотрудников исключительно по национальному признаку, да и вообще пренебрегал интересами России, почему «здоровая часть партийного руководства» вынуждена теперь противостоять «еврейскому засилью», маскируя политической полемикой истинную причину — борьбу с «обнаглевшими инородцами». Официальная пропаганда пыталась препятствовать распространению такого рода слухов, доказывая, что правительство отнюдь не замалчивает проблему и, конечно, не поощряет проявления антисемитизма, напротив, последовательно и неуклонно искореняет этот «пережиток эпохи царизма», несовместимый с советской идеологией, добиваясь заметных успехов. Вот и в романе «Двенадцать стульев» анекдоты о евреях — такой же малозначимый комический элемент, как и упоминание о привычке железнодорожных пассажиров постоянно есть в дороге.

55

…бежит на Алдан… — Речь идет о крупном месторождении золота в бассейне сибирской реки Алдан. Разработка его, начавшаяся еще в 1890-е годы, была приостановлена, а затем вновь активизировалась с 1923 года, причем еще пять лет спустя разведку и добычу в основном вели на свой страх и риск старатели, продававшие золото государственным конторам.

56

…сочинения графа Салиаса… — Имеется в виду русский писатель Е. А. Салиас-де-Турнемир (1840–1908) — автор многочисленных

авантюрных романов.

57

…двухнедельный узаконенный декретный отпуск… — В данном случае речь идет об отпуске с сохранением заработной платы: ежегодное получение таких отпусков было узаконено соответствующим декретом советского правительства, и в 1927 году продолжительность их для советских служащих той категории, к которой относился Воробьянинов, составляла именно две недели.

58

…«Клоповар» — прибор… имеющий внешний вид лейки… — Прибор этот состоял из цилиндрического жестяного сосуда с длинным узким носом и рукоятью, как у лейки или чайника. Изнутри ко дну припаивалась железная труба, куда засыпали горящие древесные угли, оставшийся объем сосуда заполнялся водой, в воду иногда добавляли различного рода инсектициды, а сверху «клоповар» закрывался специальной крышкой, потому благодаря углям там поддерживалась достаточно высокая температура. Тонкой струей кипятка и ядовитым паром из «клоповара» обрабатывали щели, где обычно гнездились клопы: считалось, что такая термохимическая обработка наиболее эффективна.

59

…Шанхай… в этом сеттльменте… Хэнань… кантонцы… Сватоу… — Ипполит Матвеевич и Леопольд Григорьевич говорят о событиях гражданской войны в Китае. Шанхай — важнейший китайский порт; сеттльмент (англ. settlement) — поселение, колония, иностранный квартал в городах стран Востока: в Шанхае тогда располагались английский, американский, японский и пр. сеттльменты, обладавшие правами экстерриториальности; кантонцы — сторонники находившегося в Кантоне (Гуанчжоу) правительства, что было сформировано Гоминьданом, партией национально-демократической ориентации, в блоке с китайскими коммунистами; Хэнань — провинция в Центральном Китае, частично контролировавшаяся кантонцами, а из Сватоу (Шаньтоу), порта в Юго-Восточном Китае, они начали тогдашнее наступление. Кантонцы, которым

активно помогал СССР, планировали создание единого китайского государства, им противостояли сепаратисты, пользовавшиеся английской, американской и японской поддержкой. В марте 1927 года гоминьдановские войска вошли в Шанхай, ранее контролировавшийся сепаратистами англо-американской ориентации, почему и ожидалось, что английский сеттльмент будет разгромлен. Однако погромов не было, напротив, гоминьдановское командование неожиданно перешло к преследованию и уничтожению недавних союзников — коммунистов. Под угрозой оказалась и дипломатическая миссия СССР в Китае. Статья в «Правде» об этих событиях была озаглавлена (как уже упоминалось в предисловии к роману) «Шанхайский переворот», а пресловутая «кровавая баня в Шанхае», свидетельствовавшая о глобальной неудаче советской политики на Дальнем Востоке, стала основной газетной новостью 15 апреля 1927 года — в тот день, когда и начинается действие романа.

60

…замечательное средство «Титаник»… — Само название «замечательного средства» содержит иронический намек: крупнейший в мире британский пассажирский пароход «Титаник», строительство которого завершилось в 1911 году, столкнулся с айсбергом и затонул в 1912 году.

Глава V
Бойкий мальчик

61

Главы V и VI («Бойкий мальчик» и «Продолжение предыдущей»), целиком отведенные предреволюционным похождениям Воробьянинова, были исключены из романа еще при подготовке первой публикации 1928 года в журнале «30 дней». Под общим заглавием «Прошлое регистратора загса» они напечатаны в октябрьском номере этого журнала за 1929 год. В редакционном примечании указывалось, что «Прошлое регистратора загса» — не вошедшая в роман глава «Двенадцати стульев», и это отчасти соответствовало истине: главы V, VI составляли в совокупности третью главу самого раннего из сохранившихся вариантов романа. В дальнейшем изъятые главы по-прежнему не включались в основной текст.

…Фоли-Бержер… — (Folies-Bergere) — известный концертный зал в Париже, открытый в 1869 году. В этом зале ставились музыкальные ревю «канканного» типа.

62

…гласным городской думы… — Городская дума — распорядительный орган городского общесословного самоуправления. В предреволюционные годы депутатами с правом голоса, то есть гласными, могли стать владельцы недвижимого имущества в городе. Из состава думы избиралась городская управа — исполнительный орган, ее составляли городской голова и члены управы, при этом голова руководил и думой, и управой.

63

…первогильдийным купцом… — В начале XX века существовали две купеческие гильдии, принадлежность к которым давала ряд прав (например, на занятие оптовой торговлей, владение промышленными предприятиями) и привилегий. Высшей была первая гильдия, для вступления в которую требовались больший объявленный капитал,

большего размера вступительный и ежегодные взносы. Семейство, состоявшее не менее 100 лет в первой гильдии, могло ходатайствовать о получении потомственного дворянства.

64

…*«белого металла бр. Фраже»*… — Так в рукописи. При публикации слова «бр. Фраже» изъяты. Вероятно, авторы имели в виду посуду, которую выпускала варшавская фирма «Фраже» (Fraget). Название фирме было дано в честь основателя — И. Фраже (1797–1867), организовавшего первую в Варшаве гальваническую лабораторию: гальваническим методом наносился слой серебра или золота на посуду из неблагородных металлов. Наследники сохранили название фирмы, ее магазины и склады были открыты в крупных городах Российской империи, продукция — «изделия мельхиоровые и белого металла», «серебряные и накладного серебра» и т. п. — постоянно рекламировалась. Однако к 1910-м годам так называемое «варшавское серебро» уже вышло из моды и считалось признаком дурного вкуса, мещанской претензией на роскошь. Претенциозной была и вся ресторанная обстановка, что и подчеркивают авторы.

65

…*переодетого гимназиста… выводил старый лакей…* — В Российской империи гимназистам официально запрещалось посещать кафе и рестораны, соответственно, владельцам подобного рода «увеселительных заведений» запрещалось обслуживать гимназистов.

66

…*уездный предводитель дворянства…* — Предводитель дворянства и депутаты дворянского собрания, то есть местного органа сословного самоуправления, избирались сроком на три года. В их компетенции были вопросы причисления к дворянству, ведения родословных книг, участия дворянства в местном общесословном самоуправлении — земстве и т. п.

67

…*околоточный надзиратель…* — Чиновник полиции, возглавлявший

минимальное городское административно-территориальное подразделение — околоток. Несколько околотков составляли так называемую «часть».

68

…сходите к полицмейстеру… — Околоточный надзиратель непосредственно подчинялся частному или участковому приставу, который, в свою очередь, подчинялся городскому приставу, а тот — начальнику городского полицейского управления, полицмейстеру. Таким образом, Воробьянинов, намекая на личное знакомство с высшим городским полицейским начальством, угрожает околоточному.

69

«Бывали хуже времена, но не было подлей» — расхожая цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Современники». Восходит к рассказу Н. Д. Хвощинской (псевдоним — В. Крестовский) «Счастливые люди»: «Бывали хуже времена — подлее не бывало».

70

…фельетонистом Принцем Датским… — Расхожие псевдонимы такого рода воспринимались как журнально-газетные штампы, да и вся статья провинциального фельетониста — набор тогдашних штампов.

71

…курсы профессора Файнштейна… — Вероятно, намек на деятельность С. Д. Файнштейна — известного в Одессе рубежа XIX–XX веков психолога и педагога.

72

…по мнению «мартыханов»… — «Мартыханы», «мартышканы», «мартышки» — презрительные прозвища, которыми наделяли кадеты своих сверстников, учившихся в гимназиях, реальных училищах и т. п.

73

…гимназист Пыхтеев-Какуев… — Очередная обсценная шутка, которой авторы продолжают тему, обозначенную в первой главе фамилией загсовского переписчика.

74

…приехал на бегунках… — Имеются в виду легкие одноместные сани.

Глава VI
Продолжение предыдущей

75

…окружного прокурора… — Речь идет о прокуроре окружного суда — учреждения, в ведении которого находилось судопроизводство в нескольких уездах, объединенных в округ. Суд состоял из председателя, товарищей (заместителей) председателя, членов суда, в его аппарат входили прокурор с товарищами, канцелярия прокурора, нотариусы, судебные следователи и т. п.

76

…башня Эйфеля… — Инженер А. Г. Эйфель (1832–1923) построил башню в Париже к открытию Международной выставки 1889 года, а не 1899 года. Потому участие Воробьянинова в спорах, вызванных ее установкой, маловероятно: будущему предводителю дворянства исполнилось тогда четырнадцать лет.

77

…с бородкой «буланже»… — Ж. Буланже (1837–1891) — французский генерал, затем военный министр — носил короткую, остроконечную, сливающуюся с усами бороду, окаймлявшую лицо. После поражения во франко-прусской войне Буланже пропагандировал идеи реванша, политические противники обвинили его в попытке организовать государственный переворот, из-за чего генерал и обрел скандальную известность.

78

…ротонду… — (итал. rotonda — круглая) — длинная женская накидка без рукавов, с прорезями для рук, вошедшая в моду с 1870-х годов. Вероятно, названа по сходству силуэта с архитектурной ротондой — круглой беседкой.

79

…«Французской комедии»… — Comedie Francaise — созданная по королевскому указу в 1680 году театральная труппа, репертуар которой составляли исключительно французские пьесы; в XIX веке самый консервативный французский театр, отстаивавший традиции классицизма.

80

…проигравший… в безик… заезжему россиянину… — Подразумевается, что Воробьянинов стал жертвой мошенничества: безик — одна из примитивнейших карточных игр, потому шулеры обычно использовали ее для вовлечения новичков.

81

…Старгород был завален снегом… — Так в рукописи. При публикации фраза изменена: «Когда через год они вернулись назад, Старгород был завален снегом». Вероятно, изменение было обусловлено тем, что описание парижской жизни Воробьянинова и Боур — от фразы «Ипполит Матвеевич со своей подругой приехали в Париж осенью» до финальной реплики «Едем, милая, домой. Давно пора» — было изъято при журнальной публикации.

82

…каланчу… с висевшими на ней двумя большими круглыми бомбами… пожар средней величины… — В России на пожарных каланчах находились специальные круглосуточные посты: в случае обнаружения дыма и огня дозорный вывешивал круглые кожаные шары размером примерно с человеческую голову — так называемые «бомбы», посредством которых указывалась часть города, где начался пожар, обозначались интенсивность и размеры возгорания.

83

…Витте… Портсмутский мир… — Граф С. Ю. Витте (1849–1915) — глава российского правительства в 1903–1906 годах, считался либералом,

сторонником реформ, в связи с чем был постоянно критикуем монархистами. Витте представлял Россию при заключении Портсмутского мирного договора (1905), фиксировавшего поражение в войне с Японией, что также вызывало недовольство.

84

…дочери… состоятельного помещика Петухова… — Судя по рукописи, тестю Воробьянинова авторы изначально дали другую фамилию — Осетров. Изменения внесены уже в беловой вариант.

85

…приданое можно было получить за Мари… долговязым и кротким скелетом… Ну, как твой скелетик? — нежно спрашивала Елена Станиславовна… — Сохранившееся в рукописи сравнение будущей жены Воробьянинова со скелетом изъято при редактировании для журнальной публикации — Мари названа «долговязой и кроткой девушкой», вопрос же Елены Станиславовны был оставлен, в связи с чем может показаться, что Боур внезапно заинтересовалась костным строением Воробьянинова. Поскольку в беловом варианте нет соответствующей авторской правки, уместно предположить, что причина упомянутых несообразностей — инициатива редактора.

86

…земские марки… председателя земской управы… — Губернское земство как общесословное самоуправление состояло из губернского земского собрания — распорядительного органа — и управы, собранием избранной, то есть исполнительного органа, возглавлял же собрание и управу председатель, также выборный. Земский бюджет формировался из различного рода пожертвований, налоговых обложений и сборов, к таковым относились и доходы от продажи марок.

87

…Французский авиатор Бренденжон де Мулинэ… знаменитый перелет из Парижа в Варшаву… — Надо полагать, речь идет о

беспосадочном перелете Париж — Петербург, завершенном 4 июня 1913 года. Событие это оживленно обсуждалось русской прессой как очередное доказательство безграничного могущества техники. Сам летчик, чья статья была опубликована популярным еженедельником «Синий журнал» 14 июня, писал: «Петербург — шестая и самая удаленная от Парижа столица, которую я посещаю на аэроплане».

88

…приз Помери… — Помери (Pommery) — одна из престижных марок шампанского. Вероятно, имеется в виду приз, установленный винодельческой компанией.

89

…охотно пил шампанское… — Так в рукописи. При публикации фраза изменена: французский авиатор пил уже не шампанское, а «русскую водку».

90

…На Александровском вокзале… общества «Свободной эстетики» … вернувшегося из Полинезии поэта К. Д. Бальмонта… — В Москву Бальмонт приехал 5 мая 1913 года, встречали его не на Александровском (ныне Белорусском), а на Брянском (ныне Киевском) вокзале. Ажиотаж, описанный авторами романа, связан с тем, что поэт вернулся после семилетней эмиграции: в 1905 году Бальмонт, сотрудничавший с леворадикальными изданиями, близкий к большевикам, уехал за границу, поскольку опасался полицейских преследований, жил в Париже. В январе 1912 года началось кругосветное путешествие Бальмонта, продолжавшееся 11 месяцев, маршрут проходил и через Полинезию, о чем позже поэт-путешественник написал цикл статей. В Россию он вернулся после амнистии, объявленной по случаю 300-летия династии Романовых. Чествование Бальмонта состоялось 7 мая, оно было организовано Обществом свободной эстетики (1906–1917), объединявшим представителей модернистских направлений. Нет оснований предполагать, что авторы романа не знали, почему Бальмонт уехал за границу в 1905 году, однако с 1921 года он опять был в эмиграции, о советской власти

высказывался критически, потому упоминание о его прежних конфликтах с противниками большевиков было неуместным.

91

…торжество… было омрачено выступлением неофутуриста Маяковского, допытывавшегося у прославленного барда… приветствия исходят от лиц, ему близко знакомых… — В изложении авторов романа вопрос, обращенный к Бальмонту, кажется откровенно издевательским, что не вполне соответствует фактам. Как уже отмечалось, русская публика считала Бальмонта политическим эмигрантом, «борцом с самодержавием», и откровенные насмешки неизбежно воспринимались бы как выражение солидарности «неофутуриста» с преследовавшим поэта правительством, что отнюдь не соответствовало тогдашнему имиджу Маяковского. Потому обращение к Бальмонту было сформулировано куда более дипломатично. Газета «Русское слово», например, сообщала: «Некоторое замешательство среди присутствующих вызывает выступление неофутуриста г. Маяковского», который «начинает с того, что спрашивает г. Бальмонта, не удивляет ли его то, что все приветствия исходят от лиц, ему близко знакомых, или соратников по поэзии. Г-н Маяковский приветствует поэта от имени его врагов». Таким образом, «неофутурист» подчеркнул, что с властью он отнюдь не солидаризуется и, хотя в Бальмонте по-прежнему видит литературного противника, полагает необходимым приветствовать эмигранта. Надо полагать, Ильф и Петров умышленно исказили выступление Маяковского, придав малозначительному в 1913 году инциденту «хрестоматийный глянец»: Бальмонт, вполне благополучный кумир курсисток, типичный «буржуазный литератор», возвратившийся из заграничного вояжа, скандализован дерзким нонконформистом. К теме литературного поведения Маяковского авторы романа будут постоянно возвращаться.

92

…Два молодых человека… познакомились в иллюзионе с… Марианной Тиме и убили ее, чтобы ограбить… — Убийство Тиме широко обсуждалось в русской периодике, к примеру, фельетонист «Синего журнала» негодовал: «Злодеев доброго старого времени сменили изящные великосветские денди. С хорошими манерами, с недурными связями».

Автор азартно живописал, как двадцатипятилетние преступники хладнокровно составили и реализовали план обольщения и убийства своей сорокалетней знакомой — хоть и «увядшей», но все еще «жаждущей ласк, греховных объятий, наслаждений». Убийц «ждало разочарование. Они не нашли у Тиме денег, только сорвали с руки кольцо. Продали его. Затем уехали в имение. Отдыхать». Вскоре их арестовали. Статья «Люди хорошего тона» была опубликована 22 февраля 1913 года, а месяц спустя по российским синематографам уже шел фильм «Великосветские бандиты» — «уголовно-сенсационная драма», как значилось на афишах.

93

…*«Княгиня Бутырская»*… — Этот фильм, выпущенный в 1913 году и объявленный в афишах «психологической кинодрамой», назывался также «По ступеням жизни».

94

…*«Эклер-журнал»*… — Кинохроника, выпускавшаяся в России французской фирмой «Эклер» в 1912–1914 годах.

95

…*«Талантливый полицейский» с участием Поксона*… — В русском кинопрокате было принято переименовывать иностранных знаменитостей, и Поксоном называли всемирно известного американского комика Дж. Банни (1863–1915).

96

…*Розов, десятипудовый верзила*… — К. В. Розов (1874–1923) — диакон Успенского собора московского Кремля, обладавший басом необыкновенной силы и глубины, в январе 1918 года возведенный в сан «патриаршего архидиакона».

97

…*В старгородской газете… появился ликующий стишок… местного*

цензора Плаксина… трехсотлетия дома Романовых… — Неточно цитируются стихи, напечатанные в листовке с портретом царя, которую издала Одесская городская управа — «В память Высочайших Его Императорского Величества Государя Императора Николая II проездов через Одессу». Автор — поэт и драматург С. И. Плаксин — был чиновником канцелярии градоначальства и еще с 1880-х годов заслужил репутацию весьма строгого цензора.

98

…В это самое время рабочий Мнухин… стоял перед столом жандармского ротмистра… Прокламации… загулявшая бабенка… — Фрагмент был исключен из романа еще на стадии редактирования для журнальной публикации. Причины этого неясны, однако маловероятно, что купюра сделана авторами добровольно. Без эпизода с ротмистром, без упоминания о прокламациях нельзя уяснить, почему до этого в саду «несколько штатских выхватили из толпы гуляющих» Мнухина и другого рабочего, а затем отвезли задержанных в жандармское управление.

Глава VII
Великий комбинатор

99

…налитое яблоко… — Так в рукописи. При публикации слово «налитое» заменено на «нагретое», однако в беловом варианте соответствующей правки нет. Вероятно, причина изменения — опечатка, допущенная машинисткой и не замеченная авторами.

100

…ни денег, ни квартиры… не было даже пальто… в зеленом, узком, в талию, костюме… лаковых штиблетах… Носков под штиблетами не было… — Как и в случае с Воробьяниновым, в описании акцентированы контрасты, подсказывающие читателю наиболее вероятное их объяснение, надо полагать, очевидное соавторам, особенно бывшему сыщику Петрову. Оно связано со специфическим социальным статусом героя — в Старгород вошел заключенный, неоднократно судимый и совсем недавно освободившийся, то есть преступник-рецидивист. В самом деле, бездомный бродяга, не имеющий холодной весной (лед на лужах) ни пальто, ни носков, не путешествует в модном костюме и щегольской обуви. Зато для рецидивиста тут нет ничего необычного. Квартиры у него нет и быть не должно — советским законодательством предусматривалось, что осужденные «к лишению свободы» лишались «права на занимаемую жилую площадь». Значит, бездомным он стал уже после первого срока, вернуться было некуда. Соответственно, гардероб хранить негде, вся одежда — на себе: зимой теплые вещи покупаются, летом продаются. И если «молодого человека двадцати восьми лет» арестовали до наступления холодов, то пальто он не носил. Туфли и костюм Бендер сохранил, поскольку их отобрали после вынесения приговора и вернули при освобождении, носки же и белье, которые арестантам оставляли, изветшали. Осведомленный современник догадывался и о том, что за обстоятельства вынудили великого комбинатора добираться до города пешком. Дело тут не только в послетюремном безденежье. Освободившемуся рецидивисту, учитывая странности его наряда, лучше б

вообще не попадаться на глаза милиции, а на вокзалах, на железнодорожных станциях непременно дежурят и милиционеры, и сотрудники ОГПУ, наблюдающие за приезжими. Потому, даже если недавний арестант и купил билет, целесообразно выйти не на станции, а на ближайшем полустанке и оттуда добираться пешком. Понятно также, почему рецидивист выбирает город, где раньше не бывал: во-первых, там нет знакомых сотрудников угрозыска, во-вторых, губернский центр достаточно велик, чтобы на улицах приезжий был не слишком заметен. Достаточно прозрачные намеки на криминальное прошлое героя постоянно встречаются и в дальнейшем.

101

…В руке молодой человек держал астролябию… — В рукописи указано, что «молодой человек» держал еще и «длинный рулон плотной бумаги», но при редактировании для журнальной публикации эти слова зачеркнуты. Астролябия — угломерный прибор для определения географических широты и долготы — используется, в частности, и при землемерных работах.

102

…«О Баядерка, ти-ри-рим, ти-ри-ра!»… — Ария из оперетты И. Кальмана «Баядера».

103

…Для… женотделов… — Речь идет о так называемых женских отделах: подразделениях партийных комитетов государственных учреждений и предприятий, чьей задачей было ведение пропаганды специально среди женщин, вовлечение женщин в партию, выдвижение на руководящую работу и т. п.

104

…агент Старгуброзыска… — То есть оперативный сотрудник губернского управления уголовного розыска.

105

…из канцелярии Маслоцентра… — Маслоцентром называли Всероссийский союз молочной кооперации, который входил в систему сельскохозяйственной кооперации страны, объединяя молочно-животноводческие крестьянские кооперативы. Эта организация курировала, в частности, производство на заводах молочных продуктов.

106

…продана… слесарю… — В рукописи — «интеллигентному слесарю». При редактировании для журнальной публикации определение «интеллигентному» зачеркнуто.

107

…Ленских событий… — Имеется в виду забастовка рабочих золотых приисков на реке Лене весной 1912 года, завершившаяся столкновением с войсками, что привело к значительным жертвам — свыше пятисот раненых и убитых. Эти события в предреволюционные годы широко обсуждались леворадикальной прессой, а в советской историографии трактовались как пример «бесчеловечной капиталистической эксплуатации», которая была прекращена только благодаря революции. Вероятно, авторы подразумевают, что улица Старгорода недавно переименована из-за очередной газетной кампании: весной 1927 года было много публикаций о забастовке на Ленских приисках — в частности, подборка соответствующих материалов (исторический очерк, воспоминания, стихи и т. п.) под общим заглавием «Пятнадцатилетие Ленского расстрела» напечатана «Правдой» 17 апреля.

108

…турецко-подданный… — Ссылка на турецкое подданство отца не воспринималась современниками в качестве однозначного указания на этническую принадлежность героя. Скорее тут видели намек на то, что отец Бендера жил в южнорусском портовом городе, вероятнее всего — Одессе, где многие коммерсанты, обычно евреи, принимали турецкое подданство, дабы дети их могли обойти ряд дискриминационных

законоположений, связанных с конфессиональной принадлежностью, и заодно получить основания для освобождения от воинской повинности.

109

…Стардеткомиссию… — Речь идет о губернской детской комиссии — межведомственной организации при губисполкомах, в задачу которой входили улучшение быта детей, надзор за детскими учреждениями, культурно-воспитательная работа в них, борьба с детской беспризорностью и т. п. Суть бендеровской аферы — получение от губернской комиссии денег на копирование и распространение «идеологически выдержанной» картины по детским учреждениям.

110

…пишут письмо Чемберлену… — О. Чемберлен (1863–1937) был в 1924–1929 годах министром иностранных дел Великобритании, а поскольку эта страна считалась главным потенциальным военным противником СССР и в мае 1927 года были даже разорваны дипломатические отношения, министр стал постоянной мишенью пропагандистских нападок.

111

…«Запорожцы…»… — Знаменитая картина И. Е. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1891) стала благодаря многочисленным репродукциям неотъемлемым атрибутом массовой культуры 1920-х годов, сюжет ее постоянно иронически «переосмыслялся» карикатуристами, например, «Нэпманы пишут письмо фининспектору» и т. д.

112

…в Москве… многоженец… два года без строгой изоляции… — Авторы подчеркивают, что газета была московской, значит, речь идет о квалификации действий героя газетной статьи в соответствии с Уголовным кодексом РСФСР. Термин «многоженец» Бендер использует вслед за автором статьи, и это не вполне точно. Предусмотренное тогдашним УК

РСФСР предельное наказание за многоженство, то есть за вступление в брак при «сокрытии состояния в зарегистрированном или фактическом браке перед регистрирующими брак органами», было вдвое меньше указанного газетой. Следовательно, правонарушения героя пресловутой газетной статьи были квалифицированы судом не как многоженство, но как мошенничество, т. е. «получение с корыстной целью имущества или права на имущество посредством злоупотребления доверием или обмана», что и каралось «лишением свободы на срок до двух лет». Бендер обдумывает именно мошенническую операцию — это юридически корректное определение. Афера в Стардеткомиссии тоже квалифицировалась бы как мошенничество. Таким образом, едва выйдя на свободу, Бендер планирует две мошеннические операции, а поскольку принято было считать, что преступники-рецидивисты не меняют «специальность», то, подсказывают авторы, «специальность» Бендера — мошенничество и сходного рода правонарушения. За это и сидел.

113

АХРР — Ассоциация художников революционной России (1922–1932). Непосредственно курировалась ЦК ВКП(б), что обусловливало ее влиятельность и значительные финансовые возможности. Указание на связь замысла картины Бендера «Большевики пишут письмо Чемберлену» с посещением выставки АХРР подчеркивает ироническое отношение авторов романа к сервилизму АХРР и ее эстетической программе — использованию традиций классического русского реализма XIX века для решения актуальных пропагандистских задач. 17 апреля 1927 года в Москве открылась IX выставка АХРР, выставки филиалов этой организации проводились также в городах УССР.

114

…в походном зеленом костюме… — Иронический парафраз описания Наполеона из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Воздушный корабль»:

> «На нем треугольная шляпа
> И серый походный сюртук».

115

…т. Калинина в папахе и белой бурке, а т. Чичерина — голым по пояс… — М. И. Калинин в 1927 году — председатель ЦИК СССР, а Г. В. Чичерин — народный комиссар иностранных дел.

116

…Белой акации, цветы эмиграции… — Бендер перефразирует первую строку популярнейшего в начале века романса А. Зорина (А. М. Цимбал) на стихи А. А. Пугачева: «Белой акации гроздья душистые вновь аромата полны».

117

…пару горшановского пива… — Вероятно, имеется в виду пиво, которое выпускалось на предприятиях, ранее принадлежавших торгово-промышленному товариществу «Горшанов и Карнеев». При публикации приведенная фраза изъята.

118

…муж в допре сидит… — Допр — дом принудительных работ, одна из разновидностей советских тюрем описываемого периода. Согласно тогдашним идеологическим установкам, революция ликвидировала социальную основу преступности — классовое неравенство, потому в СССР должны были исчезнуть тюрьмы и каторга. Установки эти реализовывались только терминологически: тюрьму и каторгу как государственные институты официально переименовали в «места заключения». В соответствии с тогдашним Исправительно-трудовым кодексом РСФСР (ИТК РСФСР) к «местам заключения» относились, в частности, «учреждения для применения мер социальной защиты исправительно-трудового характера»: дома заключения, или домзаки, исправительно-трудовые дома, или исправдома, «трудовые колонии», «изоляторы специального назначения», или специзоляторы и т. д. Терминология порою варьировалась в различных республиках, и учреждения, называемые в российском ИТК «исправительными домами», в украинском ИТК именовались «домами принудительных работ». В допрах

содержались находящиеся под следствием и отбывали наказание лица, осужденные на срок свыше шести месяцев, но обычно не более двух лет, и при этом не признанные «социально опасными». Осужденные на срок свыше двух, но не более пяти лет отправлялись в трудовые колонии, а «лишенные свободы» за тяжкие преступления — в специзоляторы. Бендер использует термин «допр», а не «исправдом», потому читатель может догадаться, где, в какой из республик Советского Союза и за что конкретно «великому комбинатору» пришлось последний раз отбывать наказание. Тогдашний УК УССР предусматривал за мошенничество «лишение свободы на срок не ниже шести месяцев», а если ущерб наносился «государственному или общественному учреждению», то «не ниже одного года». Уместно допустить, что Бендер, намекали авторы, очередной раз осужденный за мошенничество или аналогичного типа преступление на срок не менее шести месяцев и не более двух лет, отбывал наказание на Украине — в допре, как и полагалось. Например, был арестован в августе или сентябре 1926 года, почему, кстати, оказался без пальто, и освободился в апреле 1927 года.

Глава VIII
Бриллиантовый дым

119

…фермуар… — (фр. fermoir — застежка, пряжка) — застежка из драгоценных камней на ожерелье или короткое ожерелье с такой застежкой.

120

…диадема… — (греч. diadema — повязка) — украшение в форме венца.

121

…участник концессии… — Концессия (лат. concessio — разрешение, уступка) — официальное разрешение на заранее оговоренных условиях какой-либо предпринимательской деятельности, обычно предполагающей использование государственной или муниципальной собственности (строительство и эксплуатация заводов, железных дорог, рудников и т. п.), а равным образом само предприятие, организованное после такого разрешения. Выгодными концессиями советское правительство привлекало иностранный капитал, что широко обсуждалось в периодике эпохи нэпа. Бендер пародийно переосмысливает газетные публикации: предмет концессии — розыск и последующее использование имущества Воробьянинова, которое, согласно советскому законодательству, изначально подлежало национализации, а в роли иностранного инвестора — сам Воробьянинов, принятый дворником за эмигранта-парижанина, советскую же сторону представляет местный мошенник.

122

…Энди Таккер… — герой серии рассказов О. Генри о «благородном мошеннике». В СССР был весьма популярен сборник О. Генри «Милый жулик», выпущенный в 1924 году. Упоминание об Энди Таккере — еще

одно косвенное указание на уголовную «специальность» Бендера.

123

…*верно говорят, что помещикам землю скоро отдавать будут?..* — Шутка строится на очевидном тогда пародировании выступлений сторонников Л. Д. Троцкого, жестко критиковавших политику ЦК ВКП(б): льготы, которые получили в городе и особенно в деревне частные предприниматели, интерпретировались оппозиционерами как «начало реставрации капитализма». По мнению И. В. Сталина, на инвективы подобного рода следовало «отвечать лишь насмешкой», что и делалось. К примеру, в интервью «Беседа с иностранными рабочими делегациями», опубликованном «Правдой» 13 ноября 1927 года, Сталин иронизировал: «Надо полагать, что Коминтерн и ВКП(б) выдают с головой рабочий класс СССР контрреволюционерам всех стран. Более того, я могу вам сообщить, что Коминтерн и ВКП(б) решили на днях вернуть в СССР всех изгнанных из нашей страны помещиков и капиталистов и возвратить им фабрики и заводы. И это не все. Коминтерн и ВКП(б) пошли дальше, решив, что настало время перейти большевикам к питанию человеческим мясом. Наконец, у нас имеется решение национализировать всех женщин и ввести в практику насилование своих же собственных сестер». Таким образом, пьяный дворник лишь доводит до абсурда — по-сталински — тезис троцкистов, однако эпизод в пивной был все же исключен из романа.

124

…*«Бывали дни веселые»*… — неточно цитируется первая строка популярного в начале века романса М. Ф. Штольца «Изменница» на стихи П. Г. Горохова.

125

…*Под рубашкой «ковбой»*… — Ковбойка — широкая, обычно хлопчатобумажная рубашка в яркую клетку с мягким отложным (иногда пристегивающимся на пуговицах) воротником и накладными карманами.

126

…гарусный… — То есть вязанный из гаруса, тонкой шерстяной сученой пряжи.

127

…шерстяные напульсники… — Имеются в виду вязаные эластичные повязки-браслеты на запястье. В предреволюционные годы бытовало мнение, что напульсники предохраняют от простуды и ревматизма.

128

…в… егерском белье… — Точнее — егеровском: тонком шерстяном трикотажном белье, получившем название в честь немецкого гигиениста Г. Егора (1832–1916), который пропагандировал ткани из шерсти. В предреволюционные годы такое белье считалось предметом роскоши.

129

…бархатные толстовки… — Толстовка — носившаяся с поясом широкая, длинная, сборчатая мужская блуза, похожая на традиционную русскую крестьянскую рубаху. Вошла в моду благодаря многочисленным фотографиям Л. Н. Толстого, который носил такие блузы (разумеется, не бархатные), подчеркивая свое «опрощение», близость к простонародью.

130

…заведующего Маслотрестом… — Имеется в виду упоминавшийся выше Маслоцентр. Деятельность этой организации, ее руководителей и многочисленных подразделений постоянно обсуждалась в тогдашней периодике. Возглавлял Маслоцентр М. Х. Поляков (1884–1938), бывший чекист, ранее входивший в высшее руководство Народного комиссариата внутренних дел.

131

…Тараса Булъбу, продающего открытки с видами Днепростроя… — Днепростроем именовали строительство Днепрогэс — гидроэлектростанции в нижнем течении Днепра, то есть в Запорожье, что

неизбежно вызывало ассоциации с запорожским казачеством и хрестоматийной повестью Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». Примечательно, что строительство Днепрогэса, как и действие романа, началось в апреле 1927 года. Авторы таким образом указывают, что сновидения Бендера непосредственно связаны с периодикой: Днепрострой, как и Маслоцентр, упоминались в свежей газете.

Глава IX
Следы «Титаника»

132

…к отливу, находившемуся тут же в дворницкой. Он умывался… — Так в рукописи. Отливами в Одессе (т. е. в родном городе авторов романа, да и вообще на юге) именовали канализационные стоки в полу. Делали их в нежилых помещениях, там, где не было водопровода, и обычно над отливами вешали рукомойники. Канализационный сток прямо в дворницкой — деталь весьма существенная: значит, после воробьяниновской модернизации особняка (упомянутой в гл. V) дворницкая, как и другие комнаты «для прислуги», осталась без водопровода. В публикации текст изменен — Воробьянинов «пошел к умывальнику». Замена, снимающая местный колорит, не адекватна: умывальником тогда называли кран над специальной раковиной.

133

…Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице… — Шутка, характерная для одесситов: на Малой Арнаутской было множество мастерских, где кустарным образом изготовлялась мнимоконтрабандная парфюмерия.

134

…герою труда… — Почетное звание «герой труда» установлено правительством СССР 27 июля 1927 года, но само словосочетание бытовало и ранее, воспринималось оно как специфически советская идеологическая и языковая новация, потому часто встречалось в юмористических текстах.

135

…жилотдел… — Имеется в виду жилищный отдел управления коммунальным хозяйством исполкома, так называемого Коммунхоза.

Этому управлению надлежало, в частности, заниматься благоустройством города.

136

…знаменитый жулик… тут Курочкин (слышали?) замечает… — История, рассказанная Бендером, — типичный «беговой», то есть ипподромный анекдот предреволюционных лет. Что до Курочкина, о котором Воробьянинов непременно должен был слышать, то, вероятно, имеется в виду С. И. Уточкин (1876–1915) — один из первых русских авиаторов, земляк авторов романа, первоначально получивший известность как велогонщик. Он не случайно оказался столь наблюдательным: велогонки в начале века часто проводились на ипподромах, там же гонщики тренировались, почему и были, что называется, беговыми завсегдатаями.

137

…у Аристида Бриана… — А. Бриан (1862–1932) — министр иностранных дел Франции в 1925–1932 годах. Карикатуры на длинноусого «вождя международного империализма» часто появлялись в советских газетах и журналах.

138

…Боборыкина, известного автора-куплетиста… — Вероятно, речь идет о П. Д. Боборыкине (1836–1921) — плодовитом прозаике народнического направления, который, однако, не был куплетистом. Говоря о сходстве Воробьянинова и Боборыкина, Бендер имеет в виду обширную лысину и пенсне.

Глава X
Голубой воришка

139

…наидешевейшего туальденора мышиного цвета… — Туальденор (от фр. toile de Nord — букв. северное полотно) — легкая хлопчатобумажная материя, холстина, из которой обычно изготавливалась рабочая одежда — халаты, комбинезоны и т. п., в связи с чем пряжа изначально окрашивалась в серый цвет.

140

…«Слышен звон бубенцов издалека…» — популярный романс А. Р. Бакалейникова «Бубенцы» на стихи А. Б. Кусикова.

141

…«Коль славен наш Господь в Сионе» — гимн на стихи М. М. Хераскова, музыка Д. С. Бортнянского. Исполнялся в Российской империи при торжественных церемониях. Эту мелодию играли также куранты Спасской башни в Кремле и Петропавловского собора в Петербурге. В годы гражданской войны на территориях, контролируемых белыми войсками, она была принята вместо прежнего российского государственного гимна.

142

…коровий голос начал… Сокуцкий, Самара, Орел, Клеопатра… — Примета времени: к середине 1920-х годов, когда радио вошло в советский быт, государственные учреждения оборудовали репродукторами, но качество звучания оставалось еще весьма низким, шумовой фон очень сильным, потому имена собственные, названия учреждений и т. п. передавались по буквам.

143

…одобрено Доризулом… — Имеется в виду Дорожное бюро изобретений и улучшений.

144

…черноземный Баттистини… — М. Баттистини (1856–1928) — неоднократно гастролировавший в России знаменитый итальянский оперный певец-баритон.

145

…грешно есть помимо водки… — Возможно, очередная аллюзия на реплику одного из персонажей пьесы «Дни Турбиных»: «Как же вы будете селедку без водки есть?»

146

…Дети Поволжья?.. — Бендер иронически намекает на возраст мнимых сирот: детьми их могли счесть разве что в начале 1920-х годов — именно в эту пору население Поволжья вымирало от катастрофического голода, главной причиной которого была засуха. Сбор средств «в помощь голодающим Поволжья», а затем на «ликвидацию последствий голода» — дежурные темы советской периодики начала нэпа.

147

…николаевскими полубакенбардами… — На многих портретах император Николай I изображен с короткими узкими негустыми бакенбардами.

148

…вокс гуманум… — Точнее, «вокс гумана» (от лат. vox humana — букв. человеческий голос) — название органного регистра.

149

…*Грустно, девицы…* — Парафраз строки популярного романса на стихи А. А. Дельвига («Русская песня»): «Скушно, девушки, весною жить одной».

150

А. В. Нежданова — (1873–1950) — известная певица, звание «народная артистка» получила в 1925 году.

151

…*Заратустра не позволяет…* — Аллюзия на книгу Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» (1883–1884), пропагандировавшую, кстати, принципиально иные нормы поведения.

152

…*сто четырнадцатая статья Уголовного кодекса… служебных обязанностей…* — Бендер ссылается на ст. 114 УК УССР. Это очередной авторский намек на криминальное прошлое «великого комбинатора», отбывавшего наказание именно на Украине: считалось, что дословное знание УК той республики, где располагалось соответствующее «место лишения свободы» — характерная примета многих бывших заключенных.

Глава XI
Где ваши локоны?

153

…в зимних шлемах… — Речь в данном случае идет вовсе не о защитной металлической каске: шлемом официально именовался предназначенный для повседневного ношения головной убор советских военнослужащих в 1919–1941 годах: островерхая, закрывающая шею шапка с наушниками на пуговицах, которую называли еще и «богатыркой» (поскольку была стилизована под шелом древнерусского воина) или «буденовкой», так как головными уборами этого образца поначалу были снабжены кавалерийские части под командованием С. М. Буденного. Зимние шлемы шили тогда из плотного шинельного сукна на подкладке, летние — из хлопчатобумажной ткани.

154

…магазина Старгико… — Вероятно, речь идет о старгородском ГИКО — губернском кооперативном объединении инвалидов. Такого рода организации в 1920-е годы объединяли ремесленные артели инвалидов и располагали собственными складами, магазинами и т. п.

155

…здания Губплана… — То есть губернского отделения Государственной плановой комиссии, созданной в 1925 году.

156

…две трамвайные линии: Вокзальную и Привозную… — Привозом в южных городах называли городской рынок, в Одессе это было и официальное наименование.

157

…бемского стекла… — То есть богемского — сорт листового шлифованного оконного стекла.

158

…школьники первой ступени… — В 1927 году, согласно советской классификации, действовавшей до 1934 года, школа I ступени — четырехлетняя общеобразовательная, далее следовала школа II ступени — пятилетняя общеобразовательная, где учились с 5-го по 9-й класс.

159

…«Смехач», «Красная Нива»… — «Смехач» (1924–1928) — еженедельный иллюстрированный юмористический журнал при газете «Гудок»; «Красная нива» (1923–1931) — иллюстрированный еженедельник, считавшийся одним из самых занимательных в СССР.

160

…грузовик Мельстроя… — Мельстрой — трест, затем акционерное общество по строительству мельниц и зерновых агрегатов, их оборудованию и торговле техническими принадлежностями. Советские тресты в эпоху нэпа были объединениями наиболее крупных предприятий одной отрасли на основе хозяйственного расчета, то есть предоставления коммерческой самостоятельности с условием дальнейшей рентабельности. Руководство треста распоряжалось финансовыми средствами и ресурсами, определяло рынки сбыта, устанавливало цены на продукцию, ассортимент, вело торговлю. Акционирование же в годы нэпа было официально рекомендованным средством создания финансовой базы для дорогостоящих межведомственных проектов. Мельстрой был привилегированной организацией и располагал редкими тогда в СССР тяжелыми грузовиками, поскольку в 1920-е годы строительство механизированных мельниц пропагандировалось как задача политическая — атака была направлена против мукомолов-частников, которых объявили «деревенской буржуазией».

161

…«Шимми»… — куплеты из оперетты И. Кальмана «Баядера», текст которых в России, а позже в СССР варьировался едва ли не каждым режиссером.

162

…пещера Лехтвейса… — Так в рукописи. Имеется в виду популярный приключенческий «роман-сериал», главы которого издавались отдельными выпусками: Редер В. А. Пещера Лейхтвейса, или 13 лет любви и верности под землею. СПб., 1909–1910.

163

…американского боевика «Акулы Нью-Йорка»… — Вероятно, речь идет о вышедшем на экраны в 1915 году четырехсерийном приключенческом фильме «Подвиги Элен», где главную роль играла звезда немого кино П. Уайт. В европейском прокате фильм этот был известен как «Тайны Нью-Йорка».

164

…помещалась губернская земская управа, и горожане очень гордились… — Так в рукописи. В машинописном же варианте и публикациях вместо слова «горожане» — «граждане», хотя никаких следов правки нет. Замена явно неадекватна: речь идет о предвоенной поре, когда, как известно, слово «граждане» для обозначения жителей губернского города практически не использовалось. Вероятно, машинистка, печатавшая рукопись, допустила ошибку, которую авторы не обнаружили своевременно.

Глава XII
Слесарь, попугай и гадалка

165

…Второй империи… — В рукописи первоначально — «Третьей империи», позже исправлено на исторически корректное определение. Эпоха Второй империи — время правления во Франции императора Наполеона III (1852–1870), который всемерно подчеркивал преемственную связь между установленным им режимом и Первой империей, когда императором был его дядя — Наполеон I (1804–1814, 1815). Стиль эпохи Наполеона III характеризовался одновременно имперской торжественностью и массовостью.

166

…Арцыбашева… — М. П. Арцыбашев (1878–1927) — популярный беллетрист, автор скандальных романов «Санин», «У последней черты», считавшихся порнографическими, эмигрировал в 1923 году. Носил короткую округлую бороду.

167

…«Одесская бубличная артель — „Московские баранки“… — В 1920-е годы парадоксы подобного рода — вполне заурядное явление: на вывеске указывались место официальной регистрации фирмы и ее название, иногда совпадавшее — полностью или частично — с наименованием основной продукции. К примеру, в Поволжье была широко известна «Саратовская артель „Одесская халва“, а в Одессе — „Московская вегетарианская столовая“, где подавались „московские горячие блины“.

168

…упаковочная контора «Быстроупак»… — Возможно, в данном случае название конторы — намек, понятный тогдашним москвичам: на Цветном бульваре находилась контора «кооперативной артели» со

сходным названием — «Быструпак».

169

…«гр. гр.» заказчиков… — Такое сокращение слова «граждане» обычно не использовалось, и авторы, надо полагать, подразумевают, что владелец конторы, заказывавший вывеску, по привычке ориентировался на досоветское клише «г.г.» — господа.

170

…не было спартри… — Вероятно, имеется в виду плетеный материал для изготовления и отделки шляп (фр. sparteri — плетение), а равным образом шляпы из такого материала, модные во второй половине 1920-х годов.

171

…дамских шляп «Жоржет»… — шляп с высокой тульей и узкими, опущенными полями.

172

…репродукция картины Беклина «Остров мертвых»… — Для работ швейцарского художника А. Беклина (1827–1901) характерно сочетание натуралистической манеры письма и фантастических сюжетов. Это относится и к его картине «Остров мертвых» (1880). На рубеже XIX–XX вв. Беклин был весьма популярен в России, но к середине 1920-х годов репродукции его картин воспринимались интеллектуалами как претенциозная безвкусица.

173

…в раме фантази… — Имеется в виду рама округлой формы, обычно с растительным орнаментом.

174

…скатертью ришелье… — То есть ажурной скатертью, у которой края вырезов узора обшиты цветной шелковой нитью.

175

…если линия говорила правду, — вдова должна была бы дожить до мировой революции… — Так в рукописи. То, что авторы соотносят начало мировой революции с неопределенно далеким будущим, нельзя в данном случае рассматривать как насмешку над правительственными идеологическими установками. Наоборот, высмеиваются лишь троцкистские призывы к «перманентной революции», ироническая трактовка которых официально пропагандировалась. Однако вне тогдашнего политического контекста шутка оказалась рискованной, почему сочетание «до мировой революции» и было заменено на привычно нейтральное — «до Страшного суда».

176

…«Всеобщей Электрической Компании»… — Имеется в виду продукция американской фирмы «General Electric».

177

…харьковская работа… — Речь идет о продукции электротехнического завода в Харькове.

178

…СплошнойАроматный Господин Госпромцветмет. Версты не протянут… — «Слесарь-интеллигент» намекает на низкое качество советских моторов — настолько, по его мнению, плохих, что целесообразнее было бы сразу же использовать их не по прямому назначению, а в качестве источников цветных металлов, вторичного сырья, сбор которого был одной из задач Объединения государственных предприятий по добыче и обработке цветных металлов, сокращенно именовавшегося трест «Госпромцветмет».

179

…протекторы «Треугольник»… — То есть изготовленные на заводе «Треугольник», одном из крупнейших в России предприятии резиновой промышленности. В советское время — «Красный треугольник».

180

…«Indian» и «Wanderer»… — Вероятно, имеются в виду марки американских мотоциклов.

181

…колеса давидсоновские… — То есть колеса от мотоциклов, выпускаемых американской фирмой «Harley Davidson».

182

…Жилтоварищество этого дома заключило… договор… — В данном случае речь идет о «жилищно-арендном кооперативном товариществе» — организации такого типа создавались в 1920-е годы для общественного управления муниципализированными жилыми строениями.

Глава XIII
Алфавит — зеркало жизни

183

…*союза совторгслужащих…* — Речь идет о профессиональном союзе, объединявшем тогда служащих советских учреждений, торговых организаций и предприятий.

184

…*кажется, друг детей… Но вы можете не дружить с детьми — этого от вас милиция не потребует…* — Бендер намекает на то, что обладатель профсоюзного билета состоял в обществе «Друг детей» (1924–1935), куда обязывали вступать служащих советских учреждений, а Воробьянинову платить членские взносы не придется.

185

…*Старпродкомгуба…* — Имеется в виду продовольственный комитет Старгородской губернии. Губернские и уездные продовольственные комитеты (продкомы) были созданы в 1918 году как местные заготовительно-распределительные органы Народного комиссариата продовольствия РСФСР. Осенью 1921 года преобразованы в продовольственные отделы местных Советов.

186

…*памятник нужно нерукотворный…* — Бендер перефразирует расхожую цитату из стихотворения А. С. Пушкина «Памятник».

187

…*ковров-обюссонов…* — Французский город Обюссон был известен фабрикой ковров и драпировок.

188

…Государственный музей мебели… — Точнее, Государственный музей мебельного искусства, созданный в 1918 году. Экспозиция была открыта с 1920 года в Александровском дворце в Нескучном саду, ас 1928 года ГММИ стал отделом Объединенного музея декоративного искусства.

Глава XIV
Знойная женщина, мечта поэта

189

Словосочетание «мечта поэта», ставшее поэтическим штампом, восходит, вероятно, к строфе популярного романса «Нищая» А. А. Алябьева на стихи Д. Т. Ленского (перевод с французского стихотворения П. Ж. Беранже):

«Сказать ли вам, старушка эта
Как двадцать лет тому жила!
Она была мечтой поэта,
И слава ей венок плела».

…*Из гостиничной линейки…* — Линейками называли длинные узкие брички, где седоки располагались не на поперечных скамьях, а на двух продольных. Обычно над такой бричкой натягивался парусиновый тент.

190

…*опиум для народа…* — Аллюзия на известный афоризм К. Маркса «Религия — опиум народа», который использовался В. И. Лениным и стал советским идеологическим клише.

191

…*И враг бежит, бежит, бежит!..* — Строка рефрена популярной строевой песни:

«Так громче, музыка, играй победу!
Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит!
Так за царя, за родину, за веру
Мы грянем громкое ура, ура, ура!»

В качестве основного текста была использована «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина, музыка — Д. М. Дольского.

192

…Предоставим небо птицам, а сами обратимся к земле… — Популярный афоризм немецкого социал-демократа А. Бебеля.

193

…кремовая кепка и полушелковый шарф румынского оттенка… — Речь идет о так называемой «румынской моде» в Одессе 1920-х годов: тогдашние франты носили поверх рубашки или пиджака длинный шарф — преимущественно розовых тонов.

194

…граф Алексей Буланов… абиссинский мальчик Васька… — В основе рассказа Бендера о «гусаре-схимнике» Буланове — биография А. К. Булатовича (1870–1919), русского гвардейского офицера, этнографа-любителя, путешественника. В 1896–1900 годах он был прикомандирован к русской дипломатической миссии при негусе (императоре) Абиссинии (Эфиопии) — Менелике II (1844–1913). Как военный советник абиссинской армии Булатович участвовал в войне с Италией 1895–1896 годов и действительно привез взятого на воспитание «абиссинского мальчика Ваську». О своих африканских приключениях Булатович написал несколько книг, наиболее популярной была «С войсками Менелика II», изданная в 1900 году в Петербурге. В 1903 году он оставил службу, ушел в монастырь и принял схиму, что действительно стало светской сенсацией. Подробности его подвижничества и факт расстрижения — вымышлены.

195

…войска итальянского короля… — В рукописи — «короля Виктора Эммануэля». Исправлено при подготовке к публикации, поскольку Италией тогда правил Умберто I (1878–1900). Ошибка весьма характерная: Виктор-Эммануил II (1861–1878) приобрел мировую известность как объединитель Италии, которого поддерживал кумир русской

интеллигенции Дж. Гарибальди, а Виктор-Эммануил III (1900–1946) был современником авторов романа.

196

…Княгиня Белорусско-Балтийская… — Шутка строится на созвучии старинной княжеской фамилии — Белосельские-Белозерские — с названием одной из железных дорог — Белорусско-Балтийская.

197

…в Малом Совнаркоме… — Имеется в виду специальная комиссия Совета Народных Комиссаров РСФСР, созданная в ноябре 1917 года, дабы ускорить решение вопросов, которые можно было не выносить на коллегию СНК. Позже Малый Совнарком занимался подготовкой материалов для СНК. К участию в заседаниях Малого Совнаркома часто привлекались эксперты по финансам, праву и т. п.

198

…Прощальная слеза и цыпленок на дорогу… — Так в рукописи. В беловом варианте и последующих публикациях вместо словосочетания «прощальная слеза» — «прощальная сцена», хотя никаких следов правки нет. Замена не вполне адекватная, поскольку «сцена» — окказиональный синоним «ссоры», а это значение противоречит контексту. Уместно предположить, что ошиблась машинистка, печатавшая рукопись, авторы же не исправили ошибку своевременно.

Глава XV
Дышите глубже, вы взволнованы!

199

…*паровозом серии «Щ»*… — Такую маркировку имели паровозы из серии, спроектированной Н. Л. Щукиным (1848–1924). Выпускал их Харьковский завод с 1905 года, причем уже тогда они считались конструктивно устаревшими, почему и были сняты с производства задолго до создания романа. Вероятно, упоминание о серии «Щ» — иронический намек: в Старгороде, где весной 1927 года открытие первой трамвайной линии воспринимается как значительное достижение, символом технического прогресса стал паровоз давно устаревшей конструкции.

200

…*«Лига Наций»*… — Межгосударственная организация, созданная в 1919 году для развития сотрудничества правительств, гарантии совместной безопасности, сохранения мира. СССР не принимали в Лигу Наций вплоть до 1934 года, почему она и характеризовалась советской пропагандой как союз антикоммунистических держав, скрывающих под лицемерным миролюбием воинственные планы.

201

…*«Но от тайги до британских морей…»* — Слова из «Марша Красной Армии» С. Я. Покрасса на стихи П. К. Григорьева.

202

…*товарищ в инженерной фуражке*… — В Российской империи к форменному костюму инженера, находящегося на государственной службе, полагалась фуражка с тульей черного сукна, черным бархатным околышем, лакированным козырьком, зеленым кантом вокруг верхнего и нижнего краев околыша и вокруг тульи, эмблемой на околыше в виде скрещенных молотка и разводного гаечного ключа (так называемых

«молоточков»), а инженеры-путейцы носили эмблему в виде скрещенных топора и якоря.

203

…*помешали НЭП, хозрасчет, самоокупаемость…* — При начатом в период нэпа переводе государственных предприятий на хозяйственный расчет было прекращено финансирование многих проектов, реализация которых не предполагала быстрой самоокупаемости.

204

…*Пищетрест…* — объединение мукомольных, маслобойных, сыроваренных, консервных и т. п. предприятий.

205

…*Комбанк…* — коммунальный банк. В условиях экономической децентрализации, связанной с введением нэпа, перед коммунальными банками (наряду с городскими и губернскими) ставилась задача организации кредита для промышленности и торговли в пределах той губернии, в центре которой они находились. Комбанки контролировались Цекомбанком — Центральным банком коммунального хозяйства и жилищного строительства.

206

…*ГубКК…* — Губернская контрольная комиссия, отделение ЦКК — Центральной контрольной комиссии ВКП (б). ГубКК были созданы в 1920 году для разбора жалоб членов партии.

207

…*писавший теперь под псевдонимом «Маховик»…* — Подобного рода «производственные» псевдонимы воспринимались тогда в качестве газетных штампов, как и прежний псевдоним этого фельетониста в предреволюционные годы.

208

…ссылаясь на «Арматуру», не сдал к сроку вагонов… — Имеется в виду завод «Арматура», входивший в Московский государственный арматурный трест — «Арматрест». Завод этот действительно выпускал оборудование для трамвайных вагонов.

209

…следил за пробой бигеля… — Бигель или бюгель (от нем. bugel — стремя, скоба) — металлическая П-образно изогнутая штанга, соединяющая электропровода трамвайной линии с электромотором трамвая.

210

…заговорил о международном положении… — Ирония авторов по поводу обязательного анализа «международного положения» на митингах, посвященных совсем другим вопросам, отнюдь не воспринималась в 1927 году как фрондерство, поскольку в периодике постоянно высмеивались лидеры троцкистской оппозиции, сводившие практически любую тему к обсуждению «международного положения», точнее — внешнеполитических провалов официального руководства. К примеру, Н. И. Бухарин, выступая на Московской губернской партконференции в ноябре 1927 года, шутил: «Я, товарищи, детально останавливаться не буду на международном положении. Я не иронически это говорю, хотя и знаю, что это может послужить поводом для того, чтобы наша оппозиция сказала: ну, вот, „национальная ограниченность“, потому что мало говорил о международном положении».

211

…сенатор Бора… — У. Бора (1865–1940) — председатель комиссии сената США по иностранным делам в 1924–1933 годах, сторонник установления дипломатических отношений с СССР.

212

…о румынских боярах… Муссолини… — Словосочетание «румынские бояре» — пропагандистское клише, бытование которого связано с тем, что в монархической Румынии сохранялась собственность на землю помещиков-бояр. Пропагандистские нападки на Румынию, обусловленные территориальными притязаниями, усилились в 1926 году, после того, как ею был заключен союз с Италией, где с 1922 года у власти было фашистское правительство Б. Муссолини.

213

…«Марш Буденного»… — Популярный тогда марш Д. Я. Покрасса на стихи Д'Актиля.

Глава XVI
Союз меча и орала

214

В словосочетании «меч и орало» обыгрывается библейская цитата: «И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи на орала, и копья свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Исайя, 2, 4).

…в девяносто девятом году… — Международные выставки в Париже устраивались в 1889 и 1900 годах.

215

…Вы, надеюсь, кирилловец… — Речь идет о том, считает ли Полесов законными притязания великого князя Кирилла Владимировича (1876–1938) на русский престол. В описываемый период продолжалась ожесточенная полемика о престолонаследии, из-за которой русские монархисты разделились на два основных лагеря: «кирилловцев» и сторонников великого князя Николая Николаевича (1856–1929) — «николаевцев». Поведение Кирилла Владимировича, считавшегося «блюстителем российского престола», многие эмигранты находили эпатажным, не соответствующим высокому положению, а в 1924 году он еще и объявил себя «императором всероссийским», что обусловило перманентный конфликт, весьма иронически обсуждавшийся советской периодикой.

216

…чувствовал вдохновение — упоительное состояние перед выше-средним шантажом… — Очередной намек на криминальное прошлое Бендера — мошенника, брачного афериста, шантажиста и т. п. В соответствии с тогдашней юридической терминологией шантажом именовалось вымогательство, то есть требование «передачи каких-либо имущественных выгод или же совершения каких-либо действий»,

сопряженное «с угрозой огласить позорящие потерпевшего сведения или сообщить власти о противозаконном его деянии» Срок «лишения свободы» за шантаж не превышал двух лет — таким образом, до прихода в Старгород Бендер мог отбывать наказание и за подобное преступление.

217

…два года со строгой изоляцией… — В соответствии с тогдашним УК УССР такая мера наказания могла быть применена за недонесение о «контрреволюционных преступлениях».

218

…жаловались на уравнительные… — В данном случае речь идет о промысловом налоге на частное предпринимательство. Налог этот состоял из патентного и уравнительных сборов: патентные сборы были фиксированными, размеры их устанавливались централизованно, эти сборы взимались при выдаче периодически возобновляемых разрешений на торговлю, размеры же уравнительных сборов фактически произвольно определялись местными властями и взимались с оборота.

219

…И вот всю ночь безумец бедный, куда б стопы не обращал… — Неточно цитируется строка из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник».

220

…чертог вдовы Грицацуевой сиял… — аллюзия на стихотворение А. С. Пушкина «Чертог сиял…», включаемого в «Египетские ночи».

221

…«На заре ты ее не буди»… — романс А. Е. Варламова на стихи А. А. Фета.

222

…*Новохоперск…* — уездный город Воронежской губернии, символ провинциального захолустья в фельетонистике 1920-х годов.

Часть вторая

Глава XVII
Среди океана стульев

223

…*Статистика знает все…* — Панегирические рассуждения авторов о статистике — примета времени. 1925–1927 годы можно считать периодом расцвета советской статистики, поскольку правительство, озабоченное контролем над развитием промышленности и сельского хозяйства, где еще допускалась частная инициатива, всемерно поощряло статистические исследования. Однако в 1928 году конъюнктура изменилась, что видно и по тогдашним дискуссиям о принципах долгосрочного планирования. Правительством целенаправленно изгонялась частная инициатива, проводилась жесткая централизация, предполагались колоссальные расходы на ускоренную индустриализацию, на очередную реформу сельского хозяйства — коллективизацию. В связи с этим обнародование результатов широкомасштабных статистических исследований, способных отразить падение среднего уровня жизни, прежде всего — в области потребления сельскохозяйственной продукции, было официально признано неуместным. От статистики теперь требовали решения пропагандистских задач, а ученых, выразивших несогласие с таким подходом, преследовали, да и вообще любые суждения о важной роли статистики считались нежелательными.

224

…*Гаргантюа, король дипсодов…* — Умышленно или случайно авторы объединили двух героев романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1532–1536): необычайной прожорливостью отличался великан Гаргантюа, тогда как королем дипсодов, то есть жаждущих (греч. dipsa — жажда), был его сын Пантагрюэль.

225

…*силач Фосс…* — Имеется в виду весьма известный на рубеже XIX–XX веков цирковой артист, выступавший под именем Эмиль Фосс (или де

Фосс, что, возможно, псевдоним), борец необычайной силы и веса. Гастроли этого «чемпиона-атлета из Штеттина» часто сопровождались серией скандалов, организованных с рекламными целями. К примеру, приехав в город, он отправлялся в вокзальный ресторан, где публично заказывал и съедал сразу десять обедов, выйдя из ресторана, садился в специально подготовленную извозчичью пролетку, буквально разламывавшуюся под его тяжестью, а перед началом состязаний специально для «силача Фосса» на арену выносили большое блюдо с целым жареным поросенком и четвертью водки, что (не без некоторых цирковых уловок) тут же поглощалось «на глазах у изумленной публики», и т. п. Даже после окончания спортивной карьеры Фосса публика не забывала о нем, поскольку своеобразные «выступления» в ресторанах и трактирах не прекращались, вот только цирковые импрессарио более не платили по счетам, дело доходило до полицейских протоколов, и скандалы оказывались отнюдь не рекламными. Анекдоты о прожорливости «силача Фосса» были популярны и в предреволюционные годы.

226

…легендарный солдат Яшка-красная рубашка… — Яшка-красная рубашка — герой русских сказок, многократно изданных в литературной обработке, веселый и дерзкий плут. Сведения о каком-то особенном его обжорстве, подразумеваемом авторами романа, не обнаружены.

227

…Лукулл… — Луций Лициний Лукулл (ок. 117 — ок. 56 до н. э.) — римский полководец, был весьма богат; отойдя от политической деятельности, жил в Риме, где устраивал пиры, необычайная пышность которых вошла в поговорку.

228

…У Дома Народов… занимала редакция и контора большой ежедневной газеты «Станок»… — Описывается здание Дворца труда на улице Солянка, где находилась редакция газеты «Гудок». Вероятно, название газеты выбрано не только по созвучию, но и как напоминание об издававшейся в 1921 году одесской газете «Станок», сотрудниками

которой были близкие друзья и знакомые Ильфа и Петрова, тоже впоследствии ставшие московскими литераторами.

229

…о достижениях акционерного общества «Меринос»… — Возможно, это шутка связана с акционерным обществом «Овцевод», представительство которого находилось в Москве.

230

…модный писатель Агафон Шахов… мохнатое демисезонное пальто… котлетообразная бородка… щеки цвета лососиного мяса… было под сорок… печататься он начал с 15 лет, но только в позапрошлом году к нему пришла большая слава… пол и брак… любовь и пол… Критика зашипела… перешел на проблему растрат… кассира Асокина… — В характеристике этого писателя авторы романа объединили легко узнаваемые читателями-современниками (и в первую очередь московскими коллегами-журналистами) черты двух литературных знаменитостей — П. С. Романова (1884–1938) и В. П. Катаева. Портреты и биографии обоих неоднократно печатались. На Романова указывало прежде всего внешнее сходство и возраст. Он и впрямь носил короткую — «котлетообразную» — бородку, порою одевался не по сезону. Его довольно редкое имя — Пантелеймон — заменено здесь на созвучное и ничуть не более распространенное — Агафон, а «царская» фамилия — Романов — на функционально сходную — Шахов. Описание же тематики и проблематики прозы Шахова, сообщение о нападках критиков делали намек совсем прозрачным: один из томов собрания сочинений Романова, изданный в 1926 году и нещадно ругаемый критиками, назывался «Вопросы пола» — как и одноименный рассказ. Правда, в отличие от Шахова, Романов печататься начал не с пятнадцати лет, а гораздо позже, известность получил задолго до 1927 года и роман о растратчиках вообще не выпускал. С пятнадцати лет печатался Катаев, широкую известность он получил в 1926 году, когда с октября по декабрь самый авторитетный ежемесячник «Красная новь» публиковал его сатирическую повесть «Растратчики»; ее герои — бухгалтер и кассир государственного учреждения — растратили жалованье своих сослуживцев на кутежи, проституток и т. п. О катаевском персонаже, кассире Ванечке, напоминала читателям и экстравагантная

фамилия кассира газеты «Станок» — Асокин. В одном из эпизодов повести сообщалось, что написанное снаружи на стекле кассового окна слово «касса» Ванечка постоянно читал «изнутри наоборот» — «ассак» и даже напевал: «Ассак, ассак, ассак». При подготовке романа к публикации все фрагменты, связанные с Шаховым, были исключены.

Глава XVIII
Общежитие имени монаха Бертольда Шварца

231

Имеется в виду живший в XIII–XIV веках немецкий монах-францисканец, легендарный алхимик, которому приписывалось изобретение пороха и огнестрельного оружия.

…дача Медикосантруда… — Речь идет о санатории профсоюза работников медико-санитарного труда.

232

…Я жил в ней прошлый сезон… — Благодаря этому замечанию Бендера читатель узнает, что «великого комбинатора», вышедшего из допра весной 1927 года, арестовали не ранее лета и не позднее осени 1926 года, а следовательно, он был осужден не более чем на год лишения свободы — срок, предусмотренный тогдашним законодательством за мошенничество и сходного рода преступления.

233

…Я буду медиком… удовлетворился этим странным объяснением… — Так в рукописи. Объяснение и впрямь могло показаться странным, поскольку о медицинском образовании Бендера или его планах на этот счет ничего не говорится ни раньше, ни позже. Готовя роман к публикации, авторы заменили реплику: «Для того, чтобы жить на такой даче, не нужно быть медиком». Однако уместно предположить, что и первый вариант бендеровского ответа был выбран вовсе не по недомыслию. Вновь напоминая о криминальном прошлом Бендера, Ильф и Петров обыграли здесь специфическую терминологию, «блатную музыку»: на воровском жаргоне врач, медик — «лепила», а глаголы «лепить» (что-то) и «лечить» (кого-либо) употреблялись также в значении «лгать», «сознательно вводить в заблуждение», «обманывать». Соответственно, «великий комбинатор» иронизирует по поводу предстоящих

мошеннических уловок в Москве, где опять придется «лечить» владельцев стульев и, конечно же, «лепить» при этом. Трудно сказать, почему была заменена реплика. Не исключено, что редакторы сочли смысл шутки неочевидным, авторы же решили уступить, хотя шутка была рассчитана на довольно широкий круг читателей: о жаргонах воров и нищих давно публиковали исследования филологи, этнографы, правоведы, да и вообще «блатная музыка» вошла в тогдашний литературный язык. Прием иронического переосмысления терминов воровского жаргона и в дальнейшем неоднократно используется в романе.

234

…перебирая сохранившиеся в памяти воспоминания о битве при Калке, рассказывали друг другу прошлое и настоящее Москвы… — Хрестоматийно известное сражение на реке Калке в 1223 году союзных русских и половецких войск с монгольскими, завершившееся разгромом союзников, к истории Москвы отношения не имеет.

235

…Дорпрофсожа… — То есть Дорожного комитета профессионального союза работников железнодорожного транспорта.

236

…вагон-микст… — Речь идет о смешанном (лат. mixtus — смешанный), то есть разделенном на две части, вагоне: места для пассажиров в нем соответствовали стандартам разных классов. В предреволюционные годы такие вагоны предназначались для линий, где из-за малого количества пассажиров нецелесообразным было использование специальных вагонов для каждого из трех классов.

237

…Рязанский вокзал — самый свежий и новый из всех московских… — Ныне — Казанский. Строительство этого вокзала, начатое в 1914 году по проекту А. В. Щусева, в основном завершилось к 1926 году.

238

…Ярославский вокзал, с его псевдорусскими гребешками… — Ярославский вокзал построен в так называемом псевдорусском стиле по проекту Ф. О. Шехтеля в 1900–1902 годах.

239

…С Октябрьского… — Ныне — Ленинградский вокзал.

240

…геральдические курочки Ярославского вокзала… — Имеются в виду узоры чугунной декоративной решетки над главным входом Ярославского вокзала.

241

…тщанием Главнауки… — Главнаука — Главное управление научными музейными и научно-художественными учреждениями Народного комиссариата просвещения.

242

…Запасный дворец… кстати, не дворец, а НКПС… — Речь идет о здании, построенном в 1750-е годы — с целью хранения запасов продовольствия и фуража для нужд императорского двора. В конце XIX века Запасный дворец был передан Дворянскому институту — учебному заведению, где воспитывались «девицы благородного звания», а с 1918 года там находился Народный комиссариат путей сообщения. В 1930-е годы здание полностью перестроено по проекту И. А. Фомина.

243

…вот и Мясницкая… можно подохнуть с голоду… на первое шарикоподшипники, а на второе мельничные жернова… — На Мясницкой, вопреки названию улицы, располагались не мясные лавки, а главным

образом учреждения, торговавшие станками, электрооборудованием и т. п. Тирада Бендера — очередная аллюзия на повесть Катаева «Растратчики», где Мясницкая характеризуется сходным образом.

244

…*Когда проезжали Лубянскую площадь, Ипполит Матвеевич забеспокоился…* — Эти слова были сняты при подготовке журнальной публикации. На Лубянской площади, как известно, находилось здание ОГПУ.

245

…*афиши о первом представлении оперы «Любовь к трем апельсинам»…* — Речь идет о состоявшейся в мае 1927 года премьере оперы С. С. Прокофьева по пьесе К. Гоцци.

246

…*знаменитого тенора Дмитрия Смирнова…* — Смирнов Д. А. (1882–1944) — солист Большого, затем Малого театров, часто гастролировал за границей, эмигрировал в 1920 году, позже неоднократно выступал в СССР.

247

…*Имени товарища Семашко…* — Н. А. Семашко (1874–1949) был в 1927 году наркомом здравоохранения.

248

…*МУНИ…* — Московское управление недвижимым имуществом.

249

…*купил его на Сухаревке…* — Имеется в виду рынок на площади у Сухаревой башни, построенной в конце XVII века под руководством зодчего М. А. Чоглокова возле слободы стрелецкого полка, которым

командовал Л. П. Сухарев. Снесена в 1934 году, рынок ликвидирован.

Глава XIX
Уважайте матрацы, граждане!

250

…в вегетарианской столовой «Не укради»… — Вероятно, шутка, поскольку в 1927 году среди московских столовых не было ни одной с библейской заповедью в названии.

251

…звон часов Буре… — Имеются в виду часы торгового дома «Павел Буре». Фирма эта была основана швейцарским коммерсантом П. Э. Буре, получившим в 1816 году от Александра I привилегию на торговлю часами. Сам он часовым мастером не был, лишь продавал часы, произведенные в Швейцарии, которые приобретал партиями. Удачливый торговец вскоре купил завод, стал «поставщиком двора», торгуя и карманными, и настенными часами. Наследники его постоянно увеличивали оборот фирмы. В 1920-е годы часы Буре считались признаком респектабельности.

252

…купи рубель… — Рубель (южнорусск.) или валек — приспособление для стирки белья: деревянный слегка изогнутый дугой брус с рукоятью, длиною он обычно с полметра, шириною примерно в ладонь и вчетверо меньше толщиною, наружная (вогнутая) сторона плоская, а с внутренней вырезаны поперечные валики овальной формы — рубцы. Рубелем выколачивают при стирке стопы мокрого белья, а также «накатывают» белье на скалку, отжимая и разглаживая.

253

…возьмешь в Мосдреве кредит… — Вероятно, речь идет о продаже мебели в рассрочку Московским трестом деревообрабатывающей промышленности: у этого треста были свои магазины, где продавалась выпускавшаяся его предприятиями мебель.

254

…стены расписаны французом Пюви де Шаванном… — П. Пюви де Шаванн (1824–1898) считался на рубеже XIX–XX веков классиком монументально-декоративной живописи.

Глава XX
Музей мебели

255

…на премьеру «Красного мака»… — Речь идет о премьере балета Р. М. Глиэра «Красный мак», поставленного Большим академическим театром в 1927 году. Это была первая постановка Большого театра на современную тему, причем прямо связанную с Китаем и косвенно — с уже обсуждавшимися в романе шанхайскими событиями: советский корабль приходит в китайский порт, местные контрреволюционеры готовят диверсию, однако заговор раскрывает артистка Тая Хоа (Красный мак), разоблаченные жестоко мстят ей, умирающая Тая Хоа призывает своих товарищей и единомышленников бороться за революцию.

256

…империалистические замыслы Екатерины II в связи с любовью… к мебели стиля Луи Сез… — В рукописи — «стиля Рокайль». Имелась в виду так называемая рокайльная мебель, стиля рококо, популярная в XVIII веке. Замена — «Луи Сез» (фр. Louis Seize — Луи Шестнадцатый) — введена при редактировании для журнальной публикации. Возможно, политическая интерпретация стилей мебели — намек на планы интервенции, которую после свержения Людовика XVI собиралась организовать русская императрица для восстановления монархии во Франции.

257

…сидел О. Генри, в бытность его в американской тюрьме Синг-Синг… — Речь идет о тюрьме, находившейся в штате Нью-Йорк. О. Генри, как известно, служа в банке, совершил растрату, был осужден, однако наказание отбывал не в Синг-Синге, а в Колумбусе — тюрьме штата Огайо. Возможно, в данном случае вышучиваются еще и «дежурные» темы советской периодики: тюрьма Синг-Синг упоминалась тогда довольно часто в связи с различными политическими процессами, и название стало своего рода символом американских тюрем.

258

…«Сказка любви дорогой», — подумал Ипполит Матвеевич… — Возможно, имеется в виду строка рефрена популярного романса Б. В. Гродзкого на стихи А. А. Френкеля:

«Молчи, грусть, молчи,
Не тронь старых ран,
Сказки любви дорогой
Не вернуть никогда, никогда…».

Не менее вероятна аллюзия на вышедший в 1918 году фильм П. И. Чардынина «Молчи, грусть, молчи», известный также в прокате под названием «Сказка любви дорогой», где снимались звезды русского кино.

259

…пить некие редереры… — Редерер — марка шампанского.

260

…«Это май баловник… опахалом»… — Воробьянинов цитирует строки стихотворения К. М. Фофанова «Май», или, что более вероятно, романс, весьма популярный в 1910-е годы.

261

…Это Жарова стихи?.. — Стихи Фофанова, считавшегося декадентом, Лиза приписывает А. А. Жарову — известному «комсомольскому поэту», автору популярных в 1920-е годы песен.

Глава XXI
Баллотировка по-европейски

262

…Попечителем учебного округа… — То есть высокопоставленным чиновником министерства просвещения, подчинявшимся непосредственно министерскому руководству. Попечителю надлежало контролировать деятельность всех гражданских учебных заведений округа (в округ входило две и более административно-территориальные единицы губернского масштаба). Накануне мировой войны в Российской империи было пятнадцать учебных округов и аналогичных округам объединений.

263

…пост председателя биржевого комитета… — Биржевой комитет — исполнительный орган при биржах, который периодически избирался в соответствии с положениями устава Московской биржи 1870 года, объявленного нормативным. Председателями обычно выбирали крупных предпринимателей и финансистов. К 1917 году биржевых комитетов в России было 101.

264

…заведующего пробирной палатой… — Пробирная палата — учреждение, на которое возлагалась задача так называемого пробирного надзора: контрольного определения содержания металлов в сплавах, пробах золота, серебра и т. п.

265

…акцизного, податного и фабричного инспекторов… — Акцизный инспектор — чиновник, ответственный за взимание установленных местной властью и обычно включенных в цену товара дополнительных налогов (акцизных сборов) с продавцов или производителей товаров. Податной инспектор следил за соответствием величины налогов доходам

налогоплательщиков. Фабричный инспектор отвечал за контроль соблюдения предпринимателями норм фабричного законодательства, охраны труда (в первую очередь — по отношению к малолетним), за предотвращение конфликтов предпринимателей с рабочими и т. п.

266

…наметили председателей земской и купеческой управы… мещанской управы… — Земская управа — исполнительный орган земства, местного общесословного самоуправления, распорядительным органом которого было земское собрание — губернское или уездное. Земская управа имела свои канцелярии, подразделявшиеся на отделы. Избирались земские органы на три года. Купеческая управа — исполнительный орган общегильдийного сословного самоуправления, чьим распорядительным органом было купеческое общество города. Мещанская управа — исполнительный орган сословного самоуправления при распорядительном органе, мещанском обществе города. Органы сословного управления избирались на три года.

267

…попечительницей обществ «Капля молока» и «Белый цветок»… — Благотворительные общества с такими названиями были широко известны в предреволюционные годы.

268

…безработный сейчас. На бирже труда состоит. У него есть даже билет. Его обещали на днях устроить в союз… — Речь идет о безработном, официально зарегистрировавшемся на бирже труда и получившем удостоверение. Биржи труда были созданы в период нэпа, работу их курировали представители профессиональных союзов. Помимо посредничества при найме, биржи занимались обучением безработных, то есть подразумевается, что знакомый Елены Боур прошел некий курс обучения, благодаря чему имеет возможность вступить в соответствующий профессиональный союз и пользоваться предусмотренными льготами.

269

…Кадеты Финляндию продали… — После того, как Временное правительство, где министром иностранных дел был кадетский лидер Милюков, восстановило 7 марта 1917 года автономию Финляндии, последовательно ограничиваемую царским правительством с начала 1910-х, правые радикалы обвинили кадетов в предательстве национальных интересов.

270

…у японцев деньги брали!.. — Согласно обвинениям русской праворадикальной прессы, выдвигаемым с 1905 года, деятельность оппозиционных организаций в годы русско-японской войны финансировалась японским правительством.

271

…Армяшек разводили!.. — Речь, вероятно, идет о том, что в предреволюционные годы русская либеральная пресса выражала возмущение политикой турецкого правительства, организовавшего геноцид армян в 1915–1916 годах (более полутора миллионов жертв), лидеры же кадетов, как и большинство интеллигентов, сочувствовали армянским сепаратистам.

272

…всегда был октябристом… — Имеется в виду «Союз 17 октября» — право-либеральная партия, пропагандировавшая идеи конституционной монархии. Названа в честь императорского манифеста 17 октября 1905 года, где декларировались принципы «неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов».

273

…почтовые марки, имеющие хождение наравне… — Речь идет о том, что из-за дефицита серебра и меди в годы первой мировой войны были напечатаны почтовые марки с надписью, указывавшей правомерность их использования вместо разменных монет.

274

…Мне один видный коммунист… будто бы СТО уже решительно повернуло в сторону войны… — Так в рукописи. Приведенный фрагмент изъят при публикации. СТО — Совет труда и обороны — одна из влиятельнейших комиссий Совнаркома, созданная в 1918 году для оперативного решения военных вопросов.

275

…Сормовские заводы делают не танки, а барахло!.. — Так в рукописи. При публикации фрагмент изъят. Имеется в виду один из крупнейших машиностроительных центров — объединение «Красное Сормово» в городе Сормово, что с 1928 года входил в состав Нижнего Новгорода.

Глава XXII
От Севильи до Гренады

276

В названии главы и далее в тексте цитируется серенада из драматической поэмы А. К. Толстого «Дон Жуан»:

«Гаснут дальней Альпухары
Золотистые края,
На призывный звон гитары
Выйди, милая моя!
…
От Севильи до Гренады
В тихом сумраке ночей
Раздаются серенады,
Раздается звон мечей…».

Романс на эти стихи — «Серенада Дон Жуана» — написан П. И. Чайковским.

…Любовь сушит человека… — Строка из популярной тогда шуточной песни. Автор не установлен.

277

…сена, которым госпожа Нордман-Северова… кормила знаменитого художника… — Имеется в виду Н. Б. Нордман-Северова (1863–1914) — жена И. Е. Репина, пропагандировавшая вегетарианство; она действительно готовила блюда из сена. Шутки по поводу «сенной диеты», к которой жена пыталась приучить Репина и его гостей, были довольно распространены в предреволюционные годы.

278

…*«Я здесь, Инезилья, стою под окном»*… — Неточно цитируется стихотворение А. С. Пушкина. На эти стихи М. И. Глинка написал популярный романс.

279

…*Электрические станции Могэса*… — То есть Московского объединения государственных электростанций.

280

…*кино «Арс»*… — Ныне в этом здании на Тверской улице Драматический театр им. К. С. Станиславского.

281

…*образцовую столовую МСПО «Прагу»*… — МСПО — Московский союз потребительских обществ — организация, объединявшая продовольственные магазины, столовые, кондитерские и колбасные фабрики, хлебопекарни и т. п. Бывший арбатский ресторан «Прага», подобно многим другим аналогичным заведениям в 1927 году, официально именовался «столовая-кафе».

282

…*работникам нарпита*… — Нарпитом называли профсоюз работников народного питания, объединявший всех сотрудников столовых, кафе, чайных, буфетов и т. п.

283

…*консертной программы*… — Так в рукописи. Возможно, ошибка, исправленная при подготовке романа к публикации, но не исключено, что авторы высмеивают попытки тогдашних конферансье имитировать иностранный акцент.

284

…хорошо известная в Марьиной Роще… — Марьина Роща в ту пору — окраинный район Москвы, изобиловавший воровскими притонами. Соответственно, конферансье намекает на специфический характер репертуара певицы.

285

…Ночной зефир струил эфир… — Неточно цитируется стихотворение А. С. Пушкина:

> «Ночной зефир
> Струит эфир,
> Шумит,
> Бежит
> Гвадалквивир…».

На эти стихи было написано несколько популярных романсов.

286

…Из двухсот рублей… оставалось только двенадцать… — Таким образом, один из концессионеров совершает растрату, что можно счесть очередным — и уже прямым — авторским указанием на связь с повестью Катаева «Растратчики».

Глава XXIII
Экзекуция

287

…в клетчатых брюках «столетье» … на толстовку русского коверкота… — Вероятно, имеется в виду «Столетие Одессы» — название сорта суконной клетчатой ткани. Праздновалось столетие города в 1895 году, узкие клетчатые брюки тогда считались еще модными, и примерно тогда же российские фабрики освоили выпуск входившего в моду коверкота (англ. covercoat — верхняя одежда) — плотной шерстяной или полушерстяной ткани с мелким узором.

288

…Тут очнувшийся Ипполит Матвеевич… — Так в рукописи. В беловой вариант авторами внесена правка, отчасти сохранившаяся при публикации: «Была маленькая надежда — можно было уговорить подождать с деньгами, но тут очнувшийся Ипполит Матвеевич…»

289

…треногу с клап-камерой… — Имеется в виду массивная складная фотокамера (от нем. klappen — складывать), объектив которой перед съемкой выдвигали из корпуса. При публикации весь фрагмент, связанный с работой двух фотокорреспондентов от слов «Еще саженей за десять…» и до «одобрительный смех расходившейся публики…» — был изъят.

290

…в костюме лодзинских коричневатых цветов… — Польский город Лодзь был одним из крупнейших центров текстильной промышленности Российской империи. Однако в данном случае речь, вероятно, идет о весьма специфической продукции, наподобие уже упоминавшегося «контрабандного товара», изготовленного в Одессе на Малой Арнаутской улице: из Лодзи по России распространялись наидешевейшие готовые

костюмы, для них использовалась ткань местного производства, имитация добротного английского сукна, по фасону и расцветке лодзинские костюмы тоже были сходны с модными английскими, потому владельцы лодзинских подделок обычно воспринимались как претендующие на респектабельность при отсутствии средств.

291

…бывший почетный гражданин города Кологрива… — В Российской империи почетные граждане были привилегированным сословием, по социальному статусу предшествующим дворянству, Кологрив же — уездный город Костромской губернии — в предреволюционной фельетонистике считался, как и упоминаемый ранее Новохоперск, символом провинциальной глуши, захолустья.

292

…ОВО НКПС… — Отдел вооруженной охраны путей сообщения, подразделение НКПС, в задачу которого входила охрана товарных вагонов, складов, железнодорожных магистралей и т. п.

293

…5) деньги и 6) деньги… — Возможно, аллюзия на популярный афоризм, часто приписываемый Наполеону: «Для войны нужны, во-первых, деньги, во-вторых, деньги и, в-третьих, деньги…»

Глава XXIV
Людоедка Эллочка

294

…*Словарь Вильяма Шекспира… составляет…* — Вероятно, рассуждения о словаре Шекспира связаны с выпущенным в 1874–1875 годах в Кенигсберге и многократно переиздававшимся словарем, подготовленным А. Шмидтом (1818–1886).

295

…*Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо»…* — Вероятно, этноним связан с английскими описаниями путешествий по Африке в XVIII веке: авторы этих описаний сообщали о характерном для племен, живущих в районе реки Нигер, культе божества Мумбо-Юмбо (Mumbo Jumbo), которое наказывает женщин, не желающих признавать власть мужчин. Этнографы к подобного рода сообщениям относились весьма скептически, и с XIX века сочетание «Mumbo Jumbo» используется в английском как обозначение объекта и атрибута непонятного (зачастую — шарлатанского) культа, невнятной (или намеренно усложненной) речи, да и вообще некоей тарабарщины. Так оно использовано, к примеру, и Т. Карлейлем в хрестоматийной работе «Французская революция», впервые переведенной на русский в 1907 году. Примерно тогда же термин вошел и в русскую юмористику.

296

…*великого, многословного и могучего…* — Аллюзия на стихотворение в прозе «Русский язык» И. С. Тургенева.

297

…*мужеского пола…* — Так в рукописи.

298

…получал ее муж на заводе «Электролюстра»… — Такого завода в Москве не было. Вероятно, аллюзия на 1-ю и 2-ю фабрики «Электролампа», входившие в Государственный электротехнический трест — «ГЭТ».

299

…американского миллиардера Вандербильда… — Вандербилты (Vanderbilt) — «железнодорожные короли», одно из богатейших семейств в США, основу династического благосостояния которого заложил Корнелиус Вандербилт (1794–1877).

300

…легкость покроя необыкновенная… — Аллюзия на ставшую крылатой фразу из пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор» — «легкость в мыслях необыкновенная».

301

…по рабкредиту… — Имеется в виду широко практиковавшаяся во второй половине 1920-х годов государственными и кооперативными торговыми учреждениями продажа рабочим и служащим товаров с рассрочкой платежа при условии предоставления гарантий предприятиями или учреждениями, где работали покупатели. Долгосрочный кредит получали обычно на полгода — в объеме месячного заработка.

302

…богатое слово — гомосексуализм… — Возможно, аллюзия на тогдашнюю полемику советских юристов о правомерности признания «добровольного мужеложства» преступлением.

303

…До свидания, дефективный… — Беспризорных подростков и несовершеннолетних правонарушителей в 1920-е годы официально

именовали «морально дефективными», и, вероятно, ирония Бендера относится к этому неуклюжему термину.

304

…Это мексиканский тушкан… Это шанхайские барсы… — Такие животные зоологам неизвестны. Вероятно, кстати, что «шанхайские барсы» — очередное напоминание читателю о ключевом для понимания романа событии, «шанхайском перевороте».

Глава XXV
Авессалом Владимирович Изнуренков

305

…без уголовщины. Кодекс мы должны чтить… — То, что уголовный кодекс призывает чтить именно профессиональный мошенник, рецидивист, не казалось читателям-современникам парадоксом, поскольку было обусловлено конкретными обстоятельствами — принятием очередной редакции Уголовного кодекса. Осенью 1926 года Бендер был осужден в соответствии с нормами права, зафиксированными первым советским УК в редакции 1922 года, освобожден он был в апреле 1927-го, а с 1 января на территории РСФСР действовал новый УК — в редакции 1926 года, где сроки лишения свободы за кражи, мошенничество и подобного рода преступления были значительно увеличены. На территории же УССР, где ранее отбывал наказание «великий комбинатор», а также в ряде других республик, кодексы, аналогичные российскому, вступали в действие лишь с 1 июля 1927 года.

306

…Капабланка — в шахматах… — Х. Р. Капабланка (1888–1942) был чемпионом мира в 1921–1927 годах.

307

…Мельников — в беге на коньках… — Я. Ф. Мельников (1896–1960) был чемпионом России в 1915 году, чемпионом СССР в 1924–1935 годах, Европы — в 1927 году.

308

…Горький писал большой роман… — Имеется в виду «Жизнь Клима Самгина»: отрывки из этого романа с июня 1927 года публиковала «Правда», а затем и другие советские периодические издания, что было предметом постоянных шуток в литературной среде.

309

…Капабланка готовился к матчу с Алехиным… — Этот матч, состоявшийся осенью 1927 года, выиграл А. А. Алехин (1892–1946).

310

…граждан, не желавших снижать цены… — Речь идет об очередной кампании по снижению цен на ряд товаров, что проводилась согласно решению, принятому пленумом ЦК ВКП (б) в феврале 1927 года. Кампания эта пропагандировалась как новое «достижение социализма», и частным предпринимателям, которых обязали снизить цены в заранее указанном процентном отношении к конкретно определенному сроку, она принесла весьма значительные убытки, поскольку экономическими факторами не обусловливалась. Шутки по поводу торговцев, недовольных подобного рода внеэкономическими методами, были едва ли не самыми распространенными в тогдашней периодике.

311

…Виноват сам Музпред… — Официальное название упомянутой организации — Объединение государственных музыкальных предприятий при Народном комиссариате просвещения, или же Государственный музыкальный трест «Музпред». Занималась она производством, ремонтом, продажей и прокатом музыкальных инструментов и граммофонов.

312

…Забрали инструмент, да еще подали в суд и описали мебель… — Согласно тогдашним правилам, в случае длительной неуплаты клиентом взносов за прокат, прокатная организация, вернув свое имущество, имела право требовать еще и возмещения убытков — сумму, которую должна была бы получить за истекший срок.

313

…У меня ничего нельзя описать. Эта мебель — орудие производства… — Изнуренков заблуждается или же сознательно лжет:

хоть и существовала практика обложения литераторов налогами как «некооперированных кустарей», а при описании имущества ремесленников не полагалось включать в опись «орудия производства», однако в любом случае гамбсовский стул к «средствам производства» не мог быть отнесен.

314

…А поутру она вновь улыбалась… всегда… — Цитируются строки популярного тогда шуточного романса из репертуара Московского театра миниатюр — о некоей девушке, постоянно оказывающейся жертвой различного рода инцидентов (падение с высотного здания, автомобильная авария и т. п.), однако неизменно выходящей из всех злоключений невредимой. Автор не установлен.

Глава XXVI
Клуб автомобилистов

315

…занимавшуюся хипесом… — Хипес (жарг.) — совершаемое проституткой с сообщником (сообщниками) ограбление клиента, кража, шантаж и т. п.

316

…от памятника Пушкина к памятнику Тимирязева… — Памятник К. А. Тимирязеву работы С. Д. Меркурова находится в начале Тверского бульвара, тогда как памятник А. С. Пушкину — скульптора А. М. Опекушина (в 1950 году перемещенный) стоял в конце бульвара.

317

…поехал в МУУР… — То есть в Московское управление уголовного розыска.

318

…заведующий шахматным отделом маэстро Судейкин… — Звание «маэстро» с XIX века традиционно присваивалось шахматистам, добившимся значительных успехов в международных турнирах и матчах, с 1900-х годов его получали и победители всероссийских турниров, а в 1925 году для советских шахматистов было введено звание «мастер СССР», считавшееся эквивалентным международному «маэстро». Возможно, что «маэстро Судейкин» — намек на Н. Д. Григорьева (1895–1938), математика, шахматиста-любителя, редактора шахматного отдела газеты «Известия», первого советского шахматного радиокомментатора: в 1927 году он заведовал отделом «Страница шахматиста» журнала «30 дней» и тогда же был удостоен звания «мастер СССР».

319

…*партия Тартаковер-Боголюбов…* — Оба знаменитых шахматиста родились в России, оба покинули ее, однако политическими эмигрантами официально не считались: С. Г. Тартаковер (1887–1956) эмигрировал вместе с родителями в детстве, а Е. Д. Боголюбов (1889–1952) был интернирован в 1914 году, когда выступал в Германии, там он женился, вернулся в Россию через десять лет, стал победителем чемпионатов СССР 1924 и 1925 годов, но в 1926 году уехал на родину жены. Книги Боголюбова и Тартаковера издавались в СССР в 1920-е годы. Что касается упомянутой партии, то, возможно, речь идет о поединке, состоявшемся на Нью-Йоркском турнире 1924 года.

320

…*впечатления с пленума…* — Вероятно, речь идет о пленуме Исполнительного комитета Коммунистического интернационала, состоявшемся в мае 1927 года. На этом пленуме обсуждались уже упомянутые апрельские события в Китае по поводу которых Троцкий и его сторонники жестко критиковали руководство ВКП(б) и Коминтерна.

321

…*секаровская жидкость…* — Имеется в виду препарат, который создал французский физиолог Ш. Броун-Секар (1817–1894); это широко рекламировавшееся средство омоложения представляло собой вытяжку из семенных желез животных.

322

…*«Стальной шлем»…* — Союз немецких фронтовиков, ветеранов мировой войны; эта организация нацоналистического характера была создана осенью 1918 года; к 1927 году численность ее превышала двести тысяч.

323

…*Данцигский коридор…* — Установленная в соответствии с Версальским мирным договором 1919 года полоса польской территории

между нижним течением Вислы и Померанией, отделявшая от Германии Восточную Пруссию и Данциг и предоставлявшая Польше выход к Балтийскому морю. Уничтожение этой полосы (называвшейся также Польским коридором), которая рассекала территорию Германии, было основным требованием немецких националистов и предметом постоянных дипломатических конфликтов того времени.

324

…*План Дауэса…* — Ч. Г. Дауэс (1865–1961) — вице-президент США в 1925–1929 годах, банкир. Под его руководством был создан план (утвержден в 1924 году), который предусматривал получение Германией займов и кредитов для восстановления экономического потенциала. В советской прессе план Дауэса характеризовался как средство «эксплуатации немецких рабочих американскими капиталистами».

325

…*Штреземан…* — Г. Штреземан (1876–1929) был в 1923–1929 годах министром иностранных дел Германии. Лауреат Нобелевской премии мира 1926 года.

326

…*Пуанкаре…* — Р. Пуанкаре (1860–1934) в 1926–1929 годах был премьер-министром Франции.

327

…*«Французские предложения о гарантиях безопасности»…* — Усиление Германии в результате реализации плана Дауэса французское правительство считало угрозой Европе и особенно Франции, почему и требовало постоянно гарантий европейской и французской безопасности.

328

…*велосипедных брюках…* — По фасону они напоминали брюки-гольф: штанины укороченные, только не сужающиеся, а слегка расширяющиеся

от бедер вниз, с манжетами ниже колен, но выше щиколотки, застегивающимися на пуговицу или кнопку.

329

…с пером № 86… — В данном случае номер не связан с размерами ручки: перья № 86 были наиболее используемыми в школах, канцеляриях и т. п.

330

…на Сан-Себастианском турнире… — Вероятно, речь идет о турнире, состоявшемся в 1911 году.

331

…чубаровское дело… — В августе 1926 года в Чубаровом переулке Ленинграда было совершено бандитское нападение на фабричную работницу с последующим групповым изнасилованием. В декабре 1927 года слушание дела завершилось в Ленинградском губернском суде. Обвинение в изнасиловании было предъявлено 22 подсудимым, еще 4 привлекались к ответственности «за дачу ложных показаний». Самому старшему из «чубаровцев» исполнилось 50 лет, остальным — от 17 до 25, причем социальное положение преступников не позволяло обойтись привычными ссылками на «буржуазную психологию» при объяснении причин инцидента. К примеру, автор хроникальной статьи «Чубаровский процесс», опубликованной во втором номере журнала «Красная панорама» за 1927 год, сообщал, что все обвиняемые — «рабочие, в большинстве — семейные, в большинстве — не пьяницы, в большинстве — не судившиеся, есть и комсомольцы. Короче, это не так называемый „преступный элемент“. В этом и лежит глубокая социальная серьезность процесса, поэтому к нему и было привлечено внимание всего Советского Союза». Процесс приобрел политический характер: в периодике подсудимым инкриминировали «нападение на советский быт» и т. п., на предприятиях организовывались «митинги трудящихся», выносившие резолюции с требованиями самого сурового наказания «чубаровцам». Семеро из них были приговорены к расстрелу, остальные, включая обвиняемых в лжесвидетельстве, — к различным срокам лишения свободы.

332

…заем двадцать седьмого года… на пятьдесят?.. — Имеются в виду облигации государственного внутреннего десятипроцентного выигрышного займа на срок с 1 марта 1927 года по 1 марта 1935 года. Каждая облигация продавалась за 24 рубля при номинальной стоимости 25 рублей и объявленных 10 процентах годового дохода, причем до истечения срока займа планировалось тридцать тиражей выигрышей, из них три — в 1927 году. В государственных учреждениях «ценные бумаги» такого рода обычно распространялись принудительно — на сумму, соответствующую заранее определенной части жалованья; вероятно, поэтому Персицкий и уверен, что у всех его товарищей непременно есть облигации.

Глава XXVII
Разговор с голым инженером

333

…моссельпромщиками… — Имеются в виду служащие Московского треста по переработке сельскохозяйственных продуктов — Моссельпрома, — торговавшие с лотков папиросами, конфетами и т. п. Элементом их униформы было кепи с надписью «Моссельпром», аналогичные надписи делались и на лотках.

334

…впоследствии будет сооружен памятник великому русскому драматургу Островскому… — Скульптор Н. А. Андреев работал над памятником А. Н. Островскому в 1924–1929 годах.

335

…сунул в щель американского замка длинный желтый ноготь большого пальца… Дверь бесшумно отворилась… — В 1920-е годы под лозунгом «Америка в СССР» рекламировались американские замки, которые, как гласила реклама, были изготовлены «с точностью до восьми сотых миллиметра». Столь высокая точность должна была гарантировать защиту от воровских отмычек и аналогичных инструментов, однако защита оказалась ненадежной, по поводу чего и шутят авторы.

336

…между Махно и Тютюнником… — Н. И. Махно (1888–1934) и Ю. О. Тютюнник (1891–1929) — удачливые партизанские лидеры времен гражданской войны. Отряды крестьянской повстанческой армии под командованием анархиста Махно и отряды украинских националистов, которыми руководил Тютюнник, совершали стремительные рейды, захватывая и грабя населенные пункты на территориях, контролируемых как белыми, так и красными войсками, а затем — столь же стремительно

— отступали. В данном случае, вероятно, речь идет о зиме 1919/20 года, когда Тютюнник возглавил знаменитый конный поход, благодаря которому и сложилась его военная репутация.

337

…*Мочеизнуренков…* — Так в рукописи. Вероятно, речь идет о диабете, который тогда и позже официально называли еще и мочеизнурением, имея в виду одно из проявлений этой болезни — повышенное мочеотделение. При подготовке рукописи к публикации шутка была снята.

338

…*Что мне Гекуба…* — Аллюзия на трагедию У. Шекспира «Гамлет, принц датский».

339

…*Вы мне в конце концов не мать, не сестра и не любовница…* — Бендер иронически перефразирует строку популярного романса С. И. Танеева «Узница» на стихи Я. П. Полонского:

«Что мне она! — не жена, не любовница,
И не родная мне дочь!
Так отчего ж ее доля проклятая
Спать не дает мне всю ночь?».

340

…*Воленс-неволенс…* — Имеется в виду расхожая латинская поговорка volens nolens — волей-неволей.

Глава XXVIII
Два визита

341

…Царица голосом и взором… пир… — Аллюзия на стихотворение А. С. Пушкина «Чертог сиял…», включаемое в «Египетские ночи».

Глава XXIX
Замечательная допровская корзинка

342

…*маркизет…* — легкая, прозрачная (вуалевидная) ткань из хлопковой пряжи.

343

…*кондитерскую ССПО…* — То есть кондитерскую Старгородского союза потребительских обществ.

344

…*«Бонбон де Варсови»* … — (фр. Bonbon de Varsovie — букв. варшавская конфетка) — кондитерская фирма в предреволюционной России.

345

…*могла пригодиться и веревочка…* — Вероятно, аллюзия на пьесу Н. В. Гоголя «Ревизор».

346

…*на службу в Азнефть…* — Имеется в виду Государственное объединение азербайджанской нефтяной промышленности, которое в официальной документации также именовалось «Азнефть».

347

…*диагоналевый студенческий мундир…* — Диагональ — плотная шерстяная ткань с характерным рисунком: выпуклыми косыми параллельными рубчиками.

Глава XXX
Курочка и тихоокеанский петушок

348

…в «Госшвеймашине»… — Государственный трест по производству и продаже швейных машин и частей к ним — «Госшвеймашина» — находился на улице Петровка.

349

…Нурми… — П. Нурми (1897–1973) — финский спортсмен, олимпийский чемпион 1920, 1924 и 1928 годов в беге на длинные дистанции.

350

…восемнадцатый год… подомовая охрана… — В 1917–1919 годах жильцы многоквартирных домов самостоятельно организовывали отряды вооруженной охраны для ночных дежурств в подъездах.

351

…легко вооруженный воин… — В рукописи — «легко вооруженный гоплит». Исправлено авторами, поскольку в древнегреческом ополчении гоплит — по определению — воин тяжелой пехоты, носивший шлем, щит, панцирь, поножи, вооруженный копьем и мечом.

352

…Лето проходит. Вянет лист… — Перифраз строки стихотворения Козьмы Пруткова «Юнкер Шмидт»:

> «Вянет лист. Проходит лето.
> Иней серебрится…
> Юнкер Шмидт из пистолета

Хочет застрелиться».

353

…*И улица пустынна…* — Аллюзия на стихотворение А. А. Блока «Ночь, как ночь, и улица пустынна…».

354

…*моя гвинейская курочка…* — Слово «гвинейская» снято еще при подготовке рукописи к журнальной публикации. Вероятно, шутка строилась на том, что гвинейские куры относятся к подвиду диких, так называемых «сорных кур».

355

…*твой тихоокеанский петушок так устал на заседании Малого Совнаркома…* — «Великий комбинатор», как обычно, намекает Грицацуевой на причастность к авторитетным, часто упоминаемым в периодике организациям: 4 мая 1927 года — в соответствии с решениями Всетихоокеанского научного конгресса — при АН СССР был учрежден постоянный Тихоокеанский комитет с Океанографической секцией, входивший в международную Тихоокеанскую научную ассоциацию.

356

…*Частица черта… пожар…* — Ария из оперетты И. Кальмана «Сильва».

357

…*Мы разошлись, как в море корабли…* — Неточно цитируется популярный романс Б. А. Прозорова (Прозоровского) «Корабли»:

«Мы никогда друг друга не любили,
…И разошлись, как ночью корабли».

Глава XXXI
Автор Гаврилиады

358

В названии главы обыгрывается название шуточной поэмы А. С. Пушкина «Гавриилиада».

…входящие и исходящие барышни… — То есть сотрудницы канцелярии, регистрирующие входящие и исходящие документы.

359

…бронеподростки… — Термин, относящийся к периоду официально допускаемой безработицы. Согласно тогдашним политическим и правовым установкам, учреждения и предприятия обязаны были обеспечивать несовершеннолетних (15–17 лет) работой, для чего администрацией сохранялось (бронировалось) минимальное количество рабочих мест. Численность несовершеннолетних была заранее определена в процентном отношении к общей численности сотрудников: при появлении соответствующих вакансий надлежало прежде всего принимать на работу подростков «по броне». Как правило, принимались те, кого направляли горкомы и райкомы комсомола.

360

…под широколиственной сенью ведомственных журналов… — Во Дворце труда, где работали авторы романа, действительно находились редакции многих ведомственных газет и журналов, издававшихся различными профсоюзами: Медикосантруда, сельхозлесрабочих, работников связи и т. д.

361

…обходить свои владения… — Аллюзия на строки из поэмы Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос»:

«Мороз-воевода дозором
обходит владенья свои».

362

…*Никифор Ляпис, молодой человек с бараньей прической и неустрашимым взглядом… знаете, Трубецкой…* — Внешне и манерами поведения кудрявый поэт всего более походил на О. Я. Колычева (1904–1973), хорошо известного в московских редакциях. Он был одесситом, земляком авторов романа, и, вероятно, те, зная настоящую фамилию литподенщика — Сиркес, находили амбициозно-комичным выбор в качестве псевдонима боярской фамилии — Колычев. По этому принципу, надо полагать, выбран псевдоним героя романа: фамилия Ляпис, созвучная фамилии Сиркес, сочетается со старинной княжеской Трубецкой, что создает своеобразный — «местечково-аристократический» — колорит. Однако халтурщик Ляпис — не только карикатура на одного из земляков и знакомых авторов, это еще и типаж — советский поэт, готовый к немедленному выполнению любого «социального заказа». Соответственно, в Ляписе, его незатейливых виршах литераторы-современники видели также пародию на маститых литераторов, в частности — на Маяковского, эпигоном которого считался тогда Колычев.

363

…*брюки из белой рогожки…* — Имеется в виду не рогожа как таковая, то есть грубый плетеный материал из мочальных лент (свитых волокон вымоченной коры молодой липы), а сходная по фактуре легкая хлопчатобумажная ткань, нити которой переплетаются попарно.

364

…*Страдал Гаврила от гангрены…* — Имя Гаврила в такого рода контекстах ассоциировалось тогда с Гаврилой-бузотером, популярным героем анекдотов, молодым рабочим, ражим детиной, незадачливым и добродушным. «Бузотер Гаврила» — постоянный персонаж фельетонов, шуточных поэм и карикатур, публиковавшихся в московском сатирическом еженедельнике «Бузотер» (1924–1927). Примечательно

также, что в Харькове выходил сатирический двухнедельный журнал «Гаврило» (1925–1926) с аналогичным героем. В этом журнале публиковались многие земляки и друзья авторов романа, в частности — Катаев, аллюзии на рассказы которого встречаются в дальнейшем.

365

…из жизни потельработников… — То есть сотрудников предприятий и учреждений Народного комиссариата почт и телеграфа — Наркомпочтеля или Наркомпотеля.

366

…сраженный пулей фашиста, все же доставляет письмо по адресу… В СССР нет фашистов, а за границей нет Гаврил… фашист переодетый… напишите нам лучше о радиостанции… — Наиболее вероятный адресат этой пародии — Маяковский. В феврале 1926 года прессой широко обсуждалось совершенное группой неизвестных нападение на купе поезда «Москва — Рига», где везли дипломатическую почту. В перестрелке с налетчиками погиб дипкурьер Т. И. Нетте, которому Маяковский посвятил стихотворение «Товарищу Нетте, пароходу и человеку», опубликованное полгода спустя. Кстати, «о радиостанции» Маяковский тоже написал: стихотворение «Радио-агитатор» опубликовано в 1925 году.

367

…самого Энтиха… — Шуточный намек на «авантюрно-героические» баллады Н. С. Тихонова (1896–1979): Энтих — «Н. Тих».

368

…«О хлебе, качестве продукции и о любимой»… — Заглавие пародийно воспроизводит легко опознаваемую читателями структуру «агиток» Маяковского: «О „фиасках“, „апогеях“ и других неведомых вещах», «Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе» и т. п. Кстати, в июне 1927 года начался выпуск собрания сочинений Маяковского, но вскоре он стал объектом довольно жесткой

критики. Поводом была позже признанная хрестоматийно-советской, юбилейная «октябрьская» поэма — «Хорошо!». В 1927 году Маяковский читал ее с эстрады, печатал фрагментами в периодике, затем выпустил отдельным изданием. Описывая первое десятилетие советской истории, он традиционно упоминал Троцкого и других оппозиционеров среди вождей октябрьского восстания, уверял читателей, что партия едина и призывал готовиться к грядущим боям в «Европах и Азиях», то есть скорой «мировой революции». В общем, не уследив за перипетиями партийной борьбы, сделал все, от чего официальные идеологи рекомендовали воздержаться, высказался по-троцкистски. Неудача была скандальной, и скандальность усугублялась спецификой литературной репутации Маяковского, некогда слывшего нонконформистом, мятежником, буяном, но вот уже Десять лет как ставшего образцово лояльным и требовавшего признания за собой статуса советского классика, непогрешимого в области истолкования партийной политики. Возможно, по этим причинам Маяковский — его стихи, биография — едва ли не главный объект иронического осмысления в обзоре «литературно-театральной Москвы» Ильфа и Петрова, о чем уже упоминалось во вступительной статье.

369

…посвящалась загадочной Хине Члек… — Вероятно, шутка строится на созвучии сочетаний «Хина Члек» и «Лил(и)я Брик». Л. Ю. Брик (1891–1978) были посвящены многие стихи Маяковского, хотя не исключено, что были и другие адресаты (например, Е. Ю. Хин (1905–1969), журналистка, близкая знакомая поэта). Характерно, что имя «Хина» созвучно не только названию популярного лекарства от малярии («любовная лихорадка» — распространенная метафора), но и названию краски для волос — «хна», ведь Брик была рыжей, о чем писал Маяковский, например, в многократно публиковавшейся поэме «Флейта-позвоночник»:

«Тебя пою,
накрашенную,
рыжую…».

В фамилии «Члек» угадывается еще и намек на аббревиатуру «ЧК»: дружба Маяковского с высокопоставленными сотрудниками ВЧК — ОГПУ и возможность сотрудничества Брик с этими организациями постоянно

обсуждались в литературных кругах. О ее муже О. М. Брике (1888–1945), некогда работавшем в ВЧК, даже ходила злая и не вполне соответствовавшая действительности эпиграмма, обычно приписываемая С. А. Есенину:

«Вы думаете, кто такой Ося Брик?
Исследователь русского языка?
А на самом-то деле он шпик
И следователь ВЧК».

Весьма важно, что «Лиля и Ося», как называл их Маяковский, — персонажи уже упоминавшейся автобиографичесой «октябрьской поэмы». К теме отношений Маяковского и Бриков авторы романа еще не раз вернутся — это шутки, предназначенные «для своих», узкого круга профессиональных литераторов.

370

…Пушкин писал турецкие стихи и никогда не был в Турции… Эрзерум находится в Тульской губернии… Пушкин писал по материалам. Он прочел историю пугачевского бунта… — Во время русско-турецкой войны 1828–1829 годов А. С. Пушкин, сопровождая русские войска, побывал во взятом штурмом турецком городе Эрзеруме, несколько стихотворений тематически связаны с этой войной, однако определение «турецкие» по отношению к ним — свидетельство невежественности Ляписа. По той же причине Ляпис убежден, что словосочетание «История пугачевского бунта» — не заглавие пушкинского историографического сочинения, а название комплекса архивных материалов.

371

…в стихотворении «Скачки на приз Буденного» жокей… затягивает на лошади супонь и после этого садится на облучок… мне про скачки все рассказал Энтих… — В 1927 году вышел сборник рассказов Н. С. Тихонова — Энтиха — «Военные кони». Автор в годы мировой войны служил в конном полку, писал и рассказывал о том неоднократно, благодаря чему слыл лихим наездником, рубакой и вообще знатоком

кавалерии. Однако подобного рода репутацией он пользовался преимущественно среди не воевавших коллег-литераторов, на что и намекают авторы романа.

372

…на стене висела большая газетная вырезка, обведенная траурной каймой… — Во многих редакциях было принято вывешивать на стенах или стендах обведенные черной рамкой статьи, авторы которых допускали ошибки, наподобие тех, что свойственны Ляпису. Например, в «Гудке», где работали авторы романа, для таких ляпсусов предназначался специальный стенд, именуемый сотрудниками «Сопли и вопли».

373

…очерк в «Капитанском мостике»… первый опыт в прозе… «Волны перекатывались через мол… домкратом»… — Описание афер Ляписа-Трубецкого в редакциях ведомственных журналов и приведенная Персицким цитата — аллюзия на рассказ В. П. Катаева «Ниагаров-журналист» (из цикла «Мой друг Ниагаров»), опубликованный журналом «Крокодил» в № 32 за 1924 год. Герой рассказа — невежественный, однако не лишенный чувства юмора литхалтурщик — наскоро диктует редакционным машинисткам фельетоны о мытарствах не получивших спецодежды моряков, химиков и железнодорожников: «старого железнодорожного волка» по имени Митрий, «старого химического волка Мити» и «старого морского волка», разумеется, Митьки. К ляписовскому «опыту в прозе» наиболее близок ниагаровский опус «из жизни моряков», предложенный газете «Лево на борт»: «Митька стоял на вахте. Вахта была в общем паршивенькая, однако, выкрашенная свежей масляной краской, она производила приятное впечатление. Мертвая зыбь свистела в снастях среднего компаса. Большой красивый румб блистал на солнце медными частями. Митька, этот старый морской волк, поковырял бушпритом в зубах» и т. п. Кстати, в газете «Лево на борт» и журнале «Капитанский мостик» читатели-современники, особенно московские журналисты, легко угадывали выпускавшиеся ЦК Профсоюза рабочих водного транспорта СССР газету «На вахте» (1924–1926) и приложение к ней, иллюстрированный ежемесячник «Моряк», редакции которых находились во Дворце труда. Оба издания были, так сказать, преемниками одесской

газеты «Моряк» (1921), тоже профсоюзной, памятной и авторам романа, и Регинину, в ней работавшему. Впрочем, не исключено, что в данном случае авторы не только напоминают читателю о рассказе своего «литературного отца», но и очередной раз пародируют «октябрьскую поэму» Маяковского. Тот был некомпетентен в вопросах техники, хотя и любил при случае щегольнуть специальным термином, что очень забавляло знакомых. В юбилейной поэме он вновь допустил оплошность сродни ляписовской: перепутав флотские единицы измерения скорости и расстояния, сообщил, что пароходы с войсками белых шли «узлов полтораста наматывая за день».

374

…С Хиной я сколько времени уже не живу. Возвращался я с диспута Маяковского… — Вероятно, подразумевается разрыв Маяковского с Л. Ю. Брик в 1925–1926 годах, все еще остававшийся предметом литературных сплетен. По этой причине, надо полагать, фамилия поэта фигурирует в соседстве с Хиной Члек. Мотивируя такое соседство, авторы романа, весьма внимательные к деталям вообще и особенно к газетной хронике, специально допускают хронологическую неточность: Маяковский, уехавший за границу в апреле 1927 года, до июня в Москве не выступал.

375

…с прибылью продать в «Голос комода»… Эх, Трубецкой… — «Комодом» москвичи называли принадлежавший князьям Трубецким особняк XVIII века на улице Покровка.

376

…Валуа… — династия французских королей в XIV–XVI веках.

377

…гражданин Никифор Сумароков-Эльстон… один бред подписывается Сумароковым, другая макулатура — Эльстоном, а третья — Юсуповым… — В данном случае подразумевается титулатура

Ф. Ф. Юсупова (1887–1967) — одного из организаторов убийства Г. Е. Распутина. Отец Юсупова, граф Ф. Ф. Сумароков-Эльстон, женившись на княжне З. Н. Юсуповой, последней представительнице этого рода, добился права на титул князя Юсупова, разумеется, при сохранении собственного. Соответственно, и сын был князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон. В 1927 году он издал в Париже книгу «Конец Распутина: Воспоминания», широко обсуждавшуюся на родине автора.

378

…у Новой Голландии… — То есть у острова, образованного Мойкой и разветвлениями Адмиралтейского канала.

379

…бархат и лохмотья… — Аллюзия на пьесу А. В. Луначарского «Бархат и лохмотья», которая шла тогда в Малом театре.

380

…«И вся-то наша жизнь есть борьба»… — Строка уже упоминавшегося в главе XV «Марша Буденного».

Глава XXXII
Могучая кучка или золотоискатели

381

Глава эта, опубликованная с некоторыми сокращениями в журнальном варианте и первом книжном издании, была исключена из всех последующих.

…квипрокво… — (лат. qui pro quo — букв. один вместо другого) — путаница, недоразумение, комическая ситуация.

382

…Московский художественный Академический… Качалов… Москвин, под руководством Станиславского сбор сделают… не меньше ста раз… Шли же «Дни Турбиных»… — Пьесу эту ставил И. Я. Судаков (1890–1969) под руководством К. С. Станиславского, причем тогдашние «звезды» — В. И. Качалов (1875–1948) и И. М. Москвин (1874–1946) в постановке заняты не были, о чем знали все театралы. Вероятно, разместив в одном ряду имена «звезд» и название популярной пьесы, авторы намекают на мхатовский конфликт: ветераны труппы, так называемые «старики», к которым относились, в частности, Качалов, Москвин и Станиславский, всячески противились проникновению в репертуар советских пьес, а «молодежь», группировавшаяся вокруг В. И. Немировича-Данченко, настаивала на обновлении репертуара «в духе эпохи». Постановка булгаковской пьесы, «освященная» именем Станиславского, планировалась в качестве очередного компромисса, предотвращавшего раскол труппы, стала же она триумфом «молодежи», на чьей стороне, кстати, были симпатии авторов романа. Примечательно, что 9—13 мая 1927 года в Москве проходило 1 Всесоюзное партийное совещание по вопросам театральной политики, где были приняты резолюции о необходимости «бережного отношения к старейшим академическим театрам» и «борьбы за создание советской драматургии»; соответственно, авторы романа указывают на конкретные причины активизации конъюнктурных устремлений ляписовского соседа-драматурга.

383

…комсомольце, который выиграл сто тысяч… — Вероятно, аллюзия на стихотворение Маяковского «Мечта поэта», опубликованное осенью 1926 года: Маяковский рекламировал облигации очередного государственного займа, повествуя о необычайно широких возможностях, что обрел счастливец, выигравший именно сто тысяч рублей. В этом контексте ироническую характеристику Хунтова как человека, «звучащего в унисон с эпохой», а также непривычную для русского уха фамилию ляписовского соседа можно рассматривать как своего рода подсказку читателю: термин «хунта» устойчиво ассоциировался с Латинской Америкой, где Маяковский побывал в 1925 году, и эту свою поездку он неоднократно описывал. Стоит подчеркнуть еще раз, что сама тема ангажированности Маяковского, его творческого кризиса была весьма популярна в 1927 году, кстати, тогда в Москве была издана монография Г. А. Шенгели «Маяковский во весь рост», которая весьма едко высмеивала бывшего футуриста. По мнению Шенгели, пришла пора «повнимательнее рассмотреть, что представляет собой Маяковский как поэт. Во-первых, сейчас уже можно подвести итог его поэтической работе, так как она практически закончена. Талантливый в 14-м году, еще интересный в 16-м, — теперь, в 27-м, он уже не подает никаких надежд, уже безнадежно повторяет самого себя, уже бессилен дать что-либо новое и способен лишь реагировать на внешние раздражения, вроде выпуска выигрышного займа, эпидемии растрат, моссельпромовских заказов на рекламные стишки».

384

…Советский изобретатель изобрел луч смерти и запрятал чертежи в стул… Жена… распродала… фашисты узнали… борьба… — Сюжет этот явно пародиен. В качестве конкретных объектов пародирования можно указать роман А. Н. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина», опубликованный в 1925–1927 годах, фильм Л. В. Кулешова по сценарию В. И. Пудовкина «Луч смерти», вышедший в 1925-м, и, конечно же, роман А. Белого «Москва», своего рода бестселлер сезона, выдержавший к осени 1927 года два издания. О том, что главным объектом иронического переосмысления стала книга Белого, свидетельствует прежде всего жанровая специфика. В романе Толстого и фильме Кулешова повествуется

о грядущих войнах и революциях, то есть фантастических событиях планетарного масштаба, а вот у Белого, как и у Ляписа, сюжет вполне соответствует канонам «шпионского» детектива: рассеянный профессор, совершивший важное с военной точки зрения открытие (конечно же, смертоносный луч), прячет техническую документацию между страницами книг, профессорские книги распродает беспечный сын, покупает их, разумеется, эмиссар иностранной разведки, в борьбу вступают прочие «силы зла», охотящиеся за открытием русского ученого, и т. д.

385

…Ибрагим существовал милостями своей сестры. Из Варшавы она присылала ему новые фокстроты… переписывал… менял название… — В данном случае речь идет о сочинениях русских композиторов и поэтов, оставшихся в Польше после ее отделения от России, или же уехавших в Польшу из Советской России.

386

…настоящая опера с балетом… Золотоискатели принялись вырабатывать характеры… — Соседство слов «опера» и «золотоискатели» напоминает читателю о двухчастном названии главы: «Могучая кучка» — это творческое содружество знаменитых русских композиторов (А. П. Бородина, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова и др.), авторов классических опер; термин же «золотоискатели» характеризует откровенную жажду наживы Ляписа и его соавторов.

387

…Уголино — гроссмейстер ордена фашистов… Сфорца — фашистский принц… — То, что в 1927 году врагами советского ученого оказываются фашисты, — вполне закономерно: Италия, где у власти была партия Б. Муссолини, считалась потенциальным военным противником СССР, аналогично и в упоминавшемся фильме Кулешова «Луч смерти» враги изобретателя — фашисты. Следуя пропагандистской схеме, ляписовский соавтор наугад выбирает знакомые понаслышке имена, привычно ассоциируемые с Италией: Уголино — персонаж «Божественной комедии» Данте, а Сфорца — династия миланских герцогов, правившая в

XV–XVI веках. Термин «гроссмейстер фашистского ордена», то есть соединение фашизма и масонства, точнее, масонской номенклатуры — тоже очевидная нелепость, поскольку именно дуче заслужил репутацию ярого гонителя масонов. Однако химерический фашист-масон — не только свидетельство невежества «золотоискателей». Это еще и указание на основной объект пародии, роман Белого «Москва»: в романе главный враг русского ученого, иностранный резидент Мандро — масон, и перед войной он встречался с будущим дуче «в масонских кругах». Авторы пародии на Белого постоянно подчеркивают, что «золотоискатели» выбирают тему шпионажа, исходя исключительно из соображений конъюнктурных. При этом подразумевается, что Ляпис опять ошибся: в контексте полемики с «левой оппозицией» акцентирование военной угрозы было нежелательно именно с точки зрения официальной пропаганды. Таким образом, роман «Москва» интерпретируется Ильфом и Петровым как неуклюжая попытка Белого следовать уже устаревшим — в мае 1927 года — пропагандистским установкам. На исходе 1928 года политическая ситуация была иной (что уже рассматривалось в предисловии), потому, вероятно, глава «Могучая кучка или золотоискатели» не включалась в последующие издания «Двенадцати стульев».

Глава XXXIII
В театре Колумба

388

…глаза его приобретали голубой жандармский оттенок… — Имеется в виду цвет офицерских мундиров Корпуса жандармов в XIX веке, а позже — цвет мундирных кантов.

389

…положенный по гендоговору… — То есть генеральному договору. В данном случае подразумевается общее соглашение, заключавшееся при найме с администрацией предприятия или учреждения и предусматривающее, в частности, обеспечение сотрудников инвентарем и специальной одеждой, перечисленными при подписании.

390

…стоять на цинке… — Термин воровского жаргона: караулить, наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы вовремя предупредить об опасности сообщника, совершающего кражу или иное преступление.

391

…с тиражным пароходом «Скрябин»… — Речь идет о специальной поездке для пропаганды в Поволжье уже упоминавшегося государственного выигрышного займа 1927 года и продажи облигаций непосредственно перед тиражом. Судна, называвшегося «Скрябин», в Волжском пароходстве тогда не было, однако некоторые пароходы действительно носили имена знаменитых русских композиторов.

392

…О, моя молодость… запах кулис… сколько таланту… в роли Гамлета… — Вероятно, Бендер пародирует аффектированную речь героев

пьес А. Н. Островского, рассказов А. П. Чехова, А. И. Куприна и ряда других писателей о старых актерах, вспоминающих истинные или мнимые сценические триумфы.

393

…в… брюках-дудочках… — То есть узких брюках длиною обычно до щиколоток.

394

…галстуках «собачья радость»… — О каких конкретно фасоне и расцветке идет речь, не вполне ясно: «собачьей радостью» именовали тогда и галстук-бабочку, вероятно, по аналогии с ошейником, и галстук-бант — ленту, часто цветную, завязывавшуюся бантом под воротником рубашки, и короткие широкие, бледно-розовые, в белую крапинку или горошек галстуки, напоминавшие, надо полагать, дешевую вареную колбасу, прозванную так же.

395

…ботиночках «Джимми»… — Имеются в виду полуботинки с длинными узкими носами, как правило, на высоком каблуке — фасон, заимствованный из американских фильмов, что, вероятно, и обусловило экзотическое для СССР прозвище.

396

…б. Филипповым и б. Елисеевым… — Г. Г. Елисеев (1858–1942) — владелец многочисленных винных и гастрономических магазинов, самый крупный из которых располагался на Тверской. И. М. Филиппов (1827–1878) — создатель сети «филипповских» булочных и кондитерских в Москве, славившихся дешевизной и высоким качеством продукции; потомки сохранили название фирмы, филипповская булочная с кофейной находилась неподалеку от елисеевского магазина на Тверской. Ныне магазин и булочная на Тверской носят имена прежних владельцев — Елисеевский гастроном и Филипповская булочная.

397

…со стадиона Томского… — Так в рукописи. М. П. Томский в 1927 году — член Политбюро ЦК ВКП(б), председатель Всесоюзного центрального совета профессиональных созов и т. п., но через два года он уже был признан «оппозиционером» в числе прочих «правых фракционеров». Стадион, о котором идет речь, принадлежал профсоюзу пищевиков. После «опалы» Томского имя его упоминать запрещалось, потому в позднейших изданиях вместо «стадиона Томского» — «Стадион юных пионеров».

398

…кино «Великий Немой»… — Кинотеатр с таким названием (позже изменено на «Новости дня») находился на Тверском бульваре.

399

…размахивали записочками от… и прочих, тесно связанных с театром лиц… — Далее Ильф и Петров иронически обыгрывают названия реально существовавших организаций, ставя их в ряд с вымышленными.

400

…школьного совета «Мастерской циркового эксперимента»… — Вероятно, контаминация таких названий, как Мастерская циркового искусства, Государственные экспериментальные театральные мастерские и т. п. В данном случае обыгрывается склонность тогдашних режиссеров-модернистов к цирковым эффектам.

401

…«ФОРТИНБРАСА при УМСЛОПОГАСЕ»… — В названии организации, явно пародирующем неудобопроизносимые советские аббревиатуры, соединены имена двух литературных героев: хрестоматийно известного норвежского принца из трагедии У. Шекспира «Гамлет, принц датский» и зулусского воина из романа Р. Г. Хаггарда «Аллен Квотермейн».

402

…Московское отделение Ленинградского общества драматических писателей и оперных композиторов… — Возможно, шутка. Общество русских драматических писателей и оперных композиторов было создано в 1870 году в Москве по инициативе А. Н. Островского — для защиты авторских прав драматургов и композиторов, затем — уже в начале XX века — оно разделилось на московскую и петербургскую организации: Московское общество драматических писателей и композиторов и петербургский Драмсоюз. В советский период реорганизовано в Московское и Ленинградское общества драматических писателей и композиторов. Оба союза объединены в 1925 году во Всероссийское общество драматических писателей и композиторов, переименованное вскоре в Союз драматических и музыкальных писателей.

403

…в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там… — Очередное, причем уже прямое указание на криминальное прошлое Бендера.

404

…кружках Эсмарха… — стеклянная, фаянсовая или металлическая кружка, емкостью 1–3 литра, с гибкой резиновой отводной трубкой длиною до 2 метров, используется для клизм и спринцеваний. Изобрел это приспособление немецкий медик Ф. А. Эсмарх (1823–1908).

405

…привыкшего к классической интерпретации «Женитьбы»… Автор спектакля — Ник. Сестрин… монтера Мечникова… — Описывая «Театр Колумба», то есть театр первооткрывателей, авторы романа создали обобщенную пародию на многочисленные авангардистские постановки, характерные для 1920-х годов. Однако главным объектом иронии были работы В. Э. Мейерхольда. В частности, на исходе 1926 года он поставил комедию Н. В. Гоголя «Ревизор», что вызвало ожесточенную полемику в тогдашней периодике: противники инкриминировали Мейерхольду

злонамеренное искажение классики, едва ли не глумление над гоголевским текстом, защитники же режиссера настаивали на том, что именно он сумел «приблизить классику к современности». Интерес к спектаклю был настолько силен, что в 1927 году в Москве вышел сборник критических статей «Гоголь и Мейерхольд», куда, кстати, вошла апологетическая работа А. Белого. На Мейерхольда указывает и театральная терминология, присущая его школе: «автор спектакля», «вещественное оформление». К мейерхольдовским сценическим приемам отсылает также библейская аллюзия — «им. Валтасара»: огненные слова, возникшие на стене дворца библейского царя, сопоставлены со светящимися экранами, куда проецировались названия частей спектакля или соответствующие лозунги. Да и сочетание «Ник. Сестрин» явно образовано по образцу «Вс. Мейерхольд», то есть с частичным раскрытием инициала, как обыкновенно было на его афишах. Прочие же фамилии, равным образом названия учреждений, производят комический эффект в силу «внутренней формы» и благодаря неожиданным литературным или историческим ассоциациям. Так, сочетание «стихи М. Шершеляфамова» напоминает и о французской поговорке «cherchez la femme» (фр. ищите женщину), и о скандально известном поэте-имажинисте В. Г. Шершеневиче, дружившем с Мейерхольдом, «литмонтаж И. Антиохийского» — о городе Антиохии, привычно ассоциируемом с событиями Священной истории, далее — по контрасту — следует «Х. Иванов», намек на распространенную скабрезную шутку, непристойное именование ничем не интересного незнакомца, в фамилии «Симбиевич-Синдиевич» обыграно созвучие терминов «симбиоз» и «синдикат», почему инициалы тут вообще не понадобились, зато имя и фамилия изготовителя париков приведены полностью — «Фома Кочура», именно так звали знаменитого террориста, бывшего столяра, совершившего в 1902 году покушение на харьковского губернатора, ну а «монтеру Мечникову» достался однофамилец мирный — биолог И. И. Мечников, нобелевский лауреат 1908 года, и т. п.

406

…отпечатана в школе ФЗУ КРУЛТ… — Вероятно, здесь пародируются такие аббревиатуры, как ГВЫРМ, то есть Государственные высшие режиссерские мастерские — учебное заведение, организованное Мейерхольдом, и ФЭКС, Фабрика эксцентрического актера — кино-театральная постановочная группа, также создававшаяся под влиянием

мейерхольдовских идей. Соответственно, при фабрике и мастерских (если рассматривать термины в их привычном значении) вполне может существовать фабрично-заводское училище — ФЗУ.

407

…мастерских ВОГОПАСА… — Литературная аллюзия: в рассказе А. Т. Аверченко «Городовой Сапогов» заглавный персонаж заказывает визитную карточку и, читая на литографском камне «зеркально» изображенную свою фамилию — «вогопас», возмущается, видя в том злую насмешку.

408

…Госмедторг… — То есть акционерное общество производства и торговли химико-фармацевтическими препаратами и медицинским имуществом — «Госмедторгпром». У общества был свой магазин на улице Петровка.

409

…и на термометрах играете?.. — Аллюзия на опубликованную в июльском номере журнала «30 дней» за 1927 год шуточную афишу одесского Дома врача, где сообщалось, что «ансамбль врачей-исполнителей» будет играть фокстроты на кружках Эсмарха, стетоскопах, а также скальпелях, пинцетах и т. п.

Часть третья

Глава XXXIV
Волшебная ночь на Волге

410

…Грузчики вонзали железные когти… — Имеются в виду специальные серпообразные крючья на веревках, облегчающие подъем груза и перенос его на спине, благодаря которым грузчики и получили прозвище «крючники».

411

…на Кремлевском «элеваторе» поднялся в город… — Нижний Новгород естественным образом делился на две неравные части: та, что территориально больше, где был возведен Нижегородский Кремль (его строительство завершилось в XVI веке), располагалась на горах — высоком берегу Волги, а нижняя — по нижним набережным, обе части соединялись двумя подъемниками — элеваторами — Кремлевским и Похвалинским.

412

…о радиолаборатории Бонч-Бруевича… — М. А. Бонч-Бруевич (1888–1940) — один из первых русских радиотехников, основатель отечественной радиоламповой промышленности, под руководством которого проектировалась и в 1922 году была построена в Москве первая мощная радиовещательная станция; возглавлял Нижегородскую радиолабораторию в 1918–1928 годах.

413

…о последствиях наводнения… — Имеется в виду весенний разлив Волги 1927 года.

414

…заграбастал себе двадцать марок… — Речь идет о выдававшихся командированным для ежесуточных расчетов в столовых и буфетах жетонах (талонах) с указанной в рублях и копейках номинальной стоимостью. Эти документы предъявлялись столовыми и буфетами к оплате.

415

…флексатоны… — Флексатон — ударный музыкальный инструмент, получивший распространение в 1920-е годы и обычно использовавшийся джаз-оркестрами: стальная пластинка с прикрепленными к ней двумя шариками.

416

…выставку денежных знаков и бон… — Денежными знаками, вероятно, именуются банковые билеты, выпускавшиеся с 1922 года Госбанком СССР. Наименьшая из них по стоимости приравнивалась к довоенной десятирублевой золотой монете (содержание золота 7,74234 г) — червонцу, благодаря чему они и получили название червонные банкноты. Червонцы выпускались купюрами в 1, 2, 3, 5, 10, 25, 50 рублей. Бонами же в данном случае названы государственные краткосрочные кредитные документы, квитанции на получение каких-либо товаров или услуг в объеме указанной суммы.

417

…со своей женой Густой, которая никакого отношения к нашему коллективу не имеет… — Надо полагать, намек на жену Мейерхольда — ведущую актрису театра З.Н. Райх (1894–1939): некоторые современники и коллеги отказывали ей в сценическом даровании, настаивая, что единственной причиной блестящей театральной карьеры было удачное замужество. О намеке на Райх свидетельствует, в частности, и своего рода «перекличка» немецкого имени жены Сестрина и немецкой фамилии жены Мейерхольда.

418

…Рабис… — профессиональный союз работников искусства. Согласно тогдашним правовым установкам, местное отделение этого союза могло направить художников, которые прошли там регистрацию и не имели постоянного места работы, в распоряжение организаций, заблаговременно приславших заявки.

419

…стоите, как засватанный… — Вероятно, Бендер имеет в виду особенности русского архаического свадебного обряда: с момента сватовства на поведение жениха и невесты налагалось множество запретов. К примеру, в ряде областей невесту выводили из родного дома под руки — дабы духи домашнего очага видели, что она не своей волею их покидает, и т. п. Не исключено также, что реплика Бендера связана с обычаями в ряде областей России, запрещавшими девушкам, которые дали согласие сватам, участвовать в деревенских гуляниях молодежи.

420

…ВХУТЕМАС… — Высшие государственные художественно-технические мастерские, организованные в 1921 году. Подразумевается, что художник-самозванец получил диплом не позже чем за год до описываемых событий, поскольку в 1926 году на основе ВХУТЕМАСа был создан Высший государственный художественно-технический институт — ВХУТЕИН.

421

…Пароход по Волге плавал… Сире-энь цвяте-от… — Неточно цитируется один из куплетов популярной лирической песни «Волжская» («Волжские страдания»):

> «Пароход идет „Анюта“,
> Волга-матушка река,
> На нем белая каюта,
> Заливает берега.
> Сирень цветет,
> Не плачь, придет…»

Текст песни варьировался, однако во всех вариантах вторая строка каждой строфы — «Волга-матушка река», четвертая — «Заливает берега», рефрен —

«Сирень цветет,
Не плачь, придет».

Примечательно, что один из вариантов под названием «Волжские частушки» был опубликован во втором номере журнала «30 дней» за 1927 год.

422

…Не уходи. Твои лобзанья… небосклон… — Неточно цитируется строфа популярного романса В. С. Муромцевского на стихи Вл. Г. Жуковского «Твои лобзанья жгучи».

Глава XXXV
Нечистая пара

423

…взыскательного художника… — Аллюзия на строку стихотворения А. С. Пушкина «Поэт».

424

…чайной Коробкова… — Возможно, речь идет о чайной, в предреволюционные годы принадлежавшей купцу И. А. Коробкову, который также был владельцем кондитерского магазина в Нижнем Новгороде.

425

…РКИ… — РКИ или Рабкрин — Рабоче-крестьянская инспекция, созданная в 1920 году для контроля деятельности всех советских учреждений и предприятий. Комиссии РКИ подчинялись соответственно Народному комиссариату РКИ. Группы сотрудников РКИ в обязательном порядке контролировали розыгрыши государственных займов.

426

…Электричество плюс детская невинность… — Лозунг Остапа явно воспроизводит ленинскую модель: «Коммунизм — это Советская власть плюс электрификация всей страны».

427

…заиграл «Барыню»… «Если барин… без часов»… — Имеется в виду народная плясовая песня, серия куплетов о барыне и барине — жадных, тщеславных и глупых щеголях и транжирах, причем у каждой серии был свой рефрен:

«Ах, какая барыня,
Барыня-сударыня»

и

«Ах ты барин, барин мой,
Сударь-барин дорогой».

428

…*Французский кинооператор из группы «Авангард»*… — Группу составляли кинематографисты, призывавшие к отказу от коммерческой ангажированности и поиску новых художественных приемов. В СССР печатались труды теоретика «Авангарда» — Л. Деллюка (1890–1924), который, в частности, сформулировал категорию «фотогении» — аспекта действительности, наиболее подходящего для выражения средствами фото или киноискусства.

429

…*Человека забыли*… — Аллюзия на финал пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад».

430

…*известно, что без разрешения инспекции труда мы не можем допустить сверхурочных… почему же вы не запаслись разрешением в Москве*… — Инспекция труда находилась в ведении Народного комиссариата труда, на нее возлагался надзор за соблюдением учреждениями и предприятиями законодательства о труде. Инспекторы труда избирались профсоюзными организациями. Правила, о которых идет речь, то есть запрет на сверхурочные работы без санкции (предварительной или последующей) местного инспектора труда, зафиксированы действовавшим в 1927 году Кодексом законов о труде РСФСР.

Глава XXXVI
Изгнание из рая

431

…одни герои романа были убеждены в том, что время терпит, а другие полагали, что время не ждет… — Литературная аллюзия: название одного из самых популярных в России романов Дж. Лондона о клондайкских золотоискателях и прозвище заглавного героя — «Время-не-ждет».

432

…издательство «Васильевские четверги»… — Весьма прозрачный намек на писательское объединение и кооперативное издательство «Никитинские субботники», названные так в честь основательницы — Е. Ф. Никитиной (1891–1973). «Никитинские субботники» в 1927 году продолжали выпуск шеститомного собрания сочинений Пантелеймона Романова (Агафона Шахова), кроме того, «Никитинскими субботниками» в 1927 году изданы две части эпопеи Андрея Белого «Москва» и сборник «Гоголь и Мейерхольд» — на эти книги содержатся аллюзии в романе «Двенадцать стульев».

433

…Бейте в бубны, пусть звенят гитары… — Шахов напевает романс М. Нейда (Б. С. Борисова) на стихи Г. М. Намлегина «Цыганка Зара», а это, так сказать, новинка сезона: брошюра с нотами и стихами быстро ставшего модным романса была впервые издана в Ленинграде в 1927 году.

434

…Сифончатые молодые люди… — Обсценная шутка, построенная на игре слов: «сифон», с одной стороны, название насоса в виде коленчатой трубки, что понимается как уничижительный намек на неординарные инструменты группы «музыкального оформления», а с другой стороны, это

— жаргонное именование сифилиса.

435

…ни одного значка деткомиссии… — Детскими комиссиями выпускались значки (жетоны) для продажи с целью использования выручки на нужды детских учреждений.

436

…путеводитель по Волге, издания 1926 года… — Имеется в виду книга: Поволжье. Природа, быт, хозяйство. Путеводитель по Волге, Оке, Каме, Вятке и Белой. Л., 1926.

437

…Васюки… — название вымышлено, описание города заимствовано из указанного путеводителя, где оно относится к городу Ветлуга, что расположен в верхнем течении одноименного притока Волги.

Глава XXXVII
Междупланетный шахматный конгресс

438

…гроссмейстера (старший мастер). — Звание «гроссмейстер» для советских шахматистов было учреждено в 1927 году (упразднено в 1931-м), однако в описываемое время это звание еще никто не получил. Немногочисленных же обладателей звания «мастер СССР» любители шахмат могли знать поименно, почему Бендер и титулует себя так, чтобы заранее предусмотреть нежелательные вопросы. Соответственно для васюкинцев экзотическая титулатура Бендера — прямое указание на то, что в город приехал шахматист, с успехом участвовавший в международных турнирах, возможно — иностранец. Сама глава — своеобразный отклик на тогдашний шахматный ажиотаж в СССР: благодаря московскому международному турниру 1925 года, визитам в СССР всемирно известных шахматистов и готовящейся I Лондонской шахматной Олимпиаде 1927 года шахматные рубрики периодических изданий стали необычайно популярны.

439

…роман Шпильгагена в пантелеевском издании… — Фр. Шпильгаген (1829–1911) — немецкий писатель, автор популярных в России социально-политических романов. Собрание его сочинений выпустил известный петербургский издатель-«прогрессист» Л. Ф. Пантелеев (1840–1919) в 1896–1899 годах.

440

…не в форме, устал после Карлсбадского турнира… — Карлсбадские (карловарские) международные турниры считались традиционными международными соревнованиями шахматистов, однако именно в 1927 году такой турнир не проводился. Авторы романа подчеркивают, что Бендер попросту пересказывает все, что когда-либо читал или слышал о шахматах и шахматистах.

441

…Ласкер… — Э. Ласкер (1868–1941) — чемпион мира в 1894–1921 годах.

442

…городе Земмеринге… — Речь идет о Земмерингском международном турнире 1926 года.

443

…Приезд Хозе-Рауля Капабланки, Эммануила Ласкера, Алехина, Нимцовича, Рети, Рубинштейна, Марроци, Тарраша, Видмара и доктора Григорьева… — А. И. Нимцович (1886–1935) официально считался с 1906 года одним из сильнейших шахматистов мира, участник международных турниров и матчей на первенство мира. Р. Рети (1889–1929) с 1909 года участвовал в международных турнирах, возглавлял команду Чехословакии на 1 шахматной Олимпиаде 1927 года. А. К. Рубинштейн (1882–1961) — участник международных турниров с 1905 года, в 1920-е годы считался одним из сильнейших шахматистов мира. Г. Мароци (1879–1951) — участник международных турниров с 1895 года, возглавлял команду Венгрии на 1 шахматной Олимпиаде. Э. Тарраш (1862–1934) — призер международных турниров 1889–1894 годов, претендент на мировое первенство. М. Видмар (1885–1962) — один из ведущих шахматистов мира 1910—1920-х годов, председатель Шахматного союза Югославии.

444

…Все учтено могучим ураганом… — Измененная строка романса С. Я. Покрасса «Там бубна звон» на стихи О. Л. Осенина:

> «Все сметено могучим ураганом,
> И нам теперь свободно кочевать…»

445

…маэстро Дуза-Хотимирского… — Ф. И. Дуз-Хотимирский (1879–1965) — русский шахматист, участник международных турниров с 1911 года и чемпионатов СССР. Сотрудничал в журнале «30 дней».

446

…маэстро Перекатова… — Не установлен.

447

…стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо… мотовоздушную дрезину… — В данном случае пародируются характерные для многих советских писателей — А. К. Гастева, П. С. Романова, А. Н. Толстого и других — представления о грядущем глобальном урбанистическом переустройстве страны.

448

…Учитесь торговать… — Остап, иронизируя, приводит постоянно цитировавшийся советской периодикой лозунг, который был выдвинут Лениным в связи с переходом к новой экономической политике.

449

…Дело помощи утопающим… — Ироническое обыгрывание «канонического» изречения К. Маркса, которое также повторялось Лениным: «Освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих».

450

…вошел в кассу клуба… в кассе было тридцать пять рублей… ждите меня на берегу… Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея… — Выступление Бендера в клубе — аллюзия на рассказ «Лекция Ниагарова», вошедший в сборник В. П. Катаева, что был издан в серии «Юмористическая иллюстрированная библиотека журнала „Смехач“ в 1926 году. Герой рассказа читает в московском Политехническом музее платную лекцию о „междупланетном сообщении“ — название, перекликающееся с названием главы. Он ничего по существу вопроса

сказать не может, однако деньги уже собраны кассиром-соучастником, и лжелектор начинает, копируя манеру маститых ученых: „В сущности, господа, что такое междупланетное сообщение? Как показывает самое название, междупланетное сообщение есть, я бы сказал, воздушное сообщение между различными планетами и звездами. То есть безвоздушное. В чем же, господа, разница между воздушным сообщением и безвоздушным? Воздушное сообщение — это такое сообщение, когда сообщаются непосредственно через воздух. Безвоздушное сообщение это такое сообщение, когда сообщаются без всякого воздуха“. Далее Ниагаров пытается рассказывать анекдоты, откровенно дерзит оппонентам и убегает от возмущенной публики, требуя, чтобы сообщники выключили в зале свет и погрузили „кассу на извозчика“. На следующий день неунывающий, хоть и слегка побитый Ниагаров заявляет, что опять готов читать лекции на любую тему, лишь бы „кассир был свой парень и извозчик не подвел“. В романе „Двенадцать стульев“ тоже без драки не обходится, а роли кассира и извозчика отведены Воробьянинову.

451

…из практики наших уважаемых гипермодернистов Капабланки, Ласкера и доктора Григорьева… — Авторы вышучивают тогдашние споры о гипермодернизме — сложившемся в 1910—1920-е годы направлении шахматной стратегии, особенно сильно повлиявшем на дебютную теорию, о которой, кстати, должен был рассказать васюкинцам Бендер. Основателями этого направления считались Нимцович, Рети и Алехин. Сам термин «гипермодернизм» или «ультрасовременные шахматы» был предложен Тартаковером. Примечательно, что упомянутые лжегроссмейстером Капабланка, Ласкер и Григорьев гипермодернистами не были.

452

…не сводил своего единственного ока с гроссмейстеровой обуви… — Очередная аллюзия на рассказ «Лекция Ниагарова»: у катаевского персонажа были «остроносые малиновые туфли», Бендер же еще в Старгороде приобрел «малиновые башмаки», которыми очень гордился.

453

…защиту Филидора… — Имеется в виду Ф. А. Даникан Филидор (1726–1795), автор изданной в 1749 году хрестоматийно известной монографии «Анализ шахматной игры».

454

…Контора пишет… — Аллюзия на рефрен популярных эстрадных куплетов: «Дела идут, контора пишет…» Автор не установлен.

455

…храбрецам-разведчикам… Испуганные пластуны… покатились куда-то в темноту… — «Пластунскими» называли в русской армии специальные пешие команды Кубанского казачьего войска, в данном же случае шутка строится на традиционном представлении о казаках-пластунах как о необычайно искусных и отважных войсковых разведчиках.

Глава XXXVIII
И др

456

…я пришел к тебе с приветом… затрепетало… — Неточно цитируется первая строфа стихотворения А. А. Фета «Я пришел к тебе с приветом», которое было дежурным декламационным номером на литературных вечерах предреволюционных лет.

457

…«Пти шво»… — (от фр. petits chevaux — лошадки) — настольная игра, имитирующая бега на ипподроме: по разграфленному картонному листу противники передвигают от «старта» к «финишу» фишки в форме лошадей, скорость передвижения которых определяется количеством очков, набираемых при поочередном бросании игральных костей.

458

…если не считать уголовного розыска, который тоже нас не любит… Тело облачено в незапятнанные белые одежды, на груди золотая арфа… — «Великий комбинатор», вспомнив об уголовном розыске, иронически обыгрывает термины воровского жаргона: «знать музыку» — знать воровской жаргон, «играть музыку», «ходить по музыке» — совершать кражи и иные правонарушения, «цветной» — вор, профессиональный преступник. Соответственно, Бендер, знающий воровскую терминологию и совершающий различного рода мошенничества и кражи, действительно «знает музыку» и «ходит по музыке», на что указывает «золотая арфа», но при этом Остап не считает себя «цветным», профессиональным вором, почему и шутит по поводу «белых одежд».

459

…ноты романса «Прощай, ты, Новая Деревня»… — Имеется в виду

народная песня:

> «Прощай ты. Новая деревня,
> Прощай ты, вся моя семья!
> Прощай, подруга дорогая,
> Как знать, увижу ль я тебя?..»

Однако с учетом криминального прошлого Бендера соотнесение темы смерти и упомянутого романса не случайно. «Новая Деревня» здесь не только топоним: определение «новая» употреблялось в 1920-е годы в значении «советская», «социалистическая», а слово «деревня» на воровском жаргоне — «тюрьма», таким образом, рецидивист Остап осмысляет смерть как окончательное расставание с пенитенциарными учреждениями СССР.

460

…занимался выжиганием по дереву… — Выжигание по дереву действительно было официально признанным кустарным промыслом и, кроме того, довольно распространенным увлечением, которое сатирики часто характеризовали как мещанское, обывательское наряду с выпиливанием лобзиком. В таком контексте заявление «великого комбинатора» — иронический самооговор: он-то уж явно не ремесленник-кустарь и отнюдь не филистер. Зато на воровском жаргоне термин «дерево» («деревяшки») употреблялся в значении «деньги» и «документы», точнее, «бланки документов», а «выжига» — мошенник, соответственно, «выжигание по дереву» можно понимать и как «подделка документов», «незаконное использование документов», что в романе постоянно практикуется «великим комбинатором».

461

…известный теплотехник и истребитель… — Слово «теплотехник», с одной стороны, напоминание о «выжигании по дереву», а с другой, в контексте воровского жаргона, «техник» — вор, совершающий кражи с помощью технических приспособлений, равным образом удачливый преступник, не оставляющий следов. Термин «истребитель» здесь

использован в значении «летчик», что является аллюзией на распространенную присказку: «вор, как летчик, летает, пока не сядет».

462

…отец которого был турецко-подданный и умер, не оставив сыну своему Остапу-Сулейману ни малейшего наследства. Мать покойного была графиней и жила нетрудовыми доходами… — В данном случае Бендер не столько рассказывает о себе, сколько пародирует обычные для мошенников ссылки на «безвыходные обстоятельства», что вынудили «стать на преступный путь». Подразумевается, что если б сыну «турецко-подданного» и досталось наследство, советская власть все равно лишила бы его собственности, равным образом вдова «турецко-подданного» лишилась бы «нетрудовых доходов», т. е. ренты. Ну а титул, которым Бендер наделил покойную, должен был восприниматься современниками как намек на «знатное происхождение»: в предреволюционные годы это вызывало сочувствие, позже, по причинам очевидным, прием утратил функциональность, почему и осмеивается великим комбинатором.

463

…Иваном Кольцом… — Иван Кольцо (ум. 1584) — казачий атаман, ближайший сподвижник Ермака.

464

…Из-за острова на стрежень… — Песня на стихи Д. Н. Садовникова, всенародно исполняемая пассажирами волжских пароходов, была необычайно популярна с 1890-х годов.

Глава XXXIX
Вид на малахитовую лужу

465

…штаны из… чертовой кожи, коломянки… — «Чертова кожа» — плотная хлопчатобумажная ткань, получившая столь экзотичное название за необычайную прочность, способность долго не намокать и легкий глянец, придающий некоторое сходство с выделанной кожей. Коломянка (от нем. Kalamank) — льняная ткань, тоже плотная и гладкая.

466

…в… рубашечках «апаш»… — Имеются в виду рубашки с отложным незастегивающимся, открывающим горло воротником. Считалось, что такой фасон популярен среди парижских бандитов — апашей (от фр. apache — название племени индейцев, используемое в значение «налетчики», «разбойники», «грабители» и т. п.), которые принципиально не носили галстуков, повязывая прямо на шею под воротник яркий платок.

467

…мы чужие на этом празднике жизни… — Остап обыгрывает распространенную романтическую формулу, которая, например, использована в классическом стихотворении М. Ю. Лермонтова «Дума»:

> «И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
> Как пир на празднике чужом».

Пятигорск (и вообще Кавказ) в сознании интеллигентов устойчиво ассоциировались с биографией и поэзией М. Ю. Лермонтова, что обусловливает обращение к его темам в соответствующих главах романа «Двенадцать стульев».

468

…Хорошо излагает, собака… — Вероятно, аллюзия на строки из стихотворного цикла Н. А. Некрасова «Песни о свободном слове»:

«Хорошо поет, собака,
Убедительно поет!»

469

…же не манж… жур… — Воробьянинов строит французскую фразу ошибочно.

470

…говорит по-французски хуже, чем Мильеран… — А. Мильеран (1859–1943) был в 1920–1924 годах президентом Франции, затем избирался в Сенат, его политическая деятельность довольно часто обсуждалась в советской периодике.

471

…повалил густой дым… конек-горбунок… — Аллюзия на сказку в стихах П. П. Ершова «Конек-горбунок».

472

…становится теперь в третью позицию… — Речь идет об одной из традиционных, определенных балетными правилами позиций, с которых начинается движение в танце: ноги выпрямлены в коленях, ступни развернуты перпендикулярно друг другу — так, чтобы правая пятка была прижата к середине левой ступни.

473

…Гебен… копек… брод… — Немецкая фраза также строится с грубыми ошибками.

474

…система… каждая общественная копейка должна быть учтена… — Бендер переосмысляет постоянно цитируемые в советской периодике 1920-х годов высказывания Ленина о принципиальном значении «учета и контроля» при социализме.

475

…двинулся стрелковым шагом… — Стрелками в Российской империи принято было называть солдат пехотных полков, то есть авторы подразумевают, что Остап шагает ритмично, быстро и широко, как пехотинцы на марше. Однако здесь иронически обыгрывается и другое значение: на воровском жаргоне «стрелок» — «нищенствующий», «просящий подаяние», «мошенник», а Бендер учил компаньона именно просить подаяние, сам же при этом планировал очередную мошенническую операцию.

476

…видели Родзянко?.. — М. В. Родзянко (1859–1924) — один из лидеров октябристов, в 1911–1917 годах — председатель Государственной думы, впоследствии — эмигрант. Из-за высокого роста, дородности и вообще «монументальной» — по словам современников — внешности он стал своего рода думским символом.

477

…Пуришкевич в самом деле был лысый?.. — В. М. Пуришкевич (1870–1920) — праворадикальный публицист, поэт, один из основателей экстремистских организаций «Союз русского народа» и «Союз Михаила Архангела», депутат Государственной думы с 1907 года, участник убийства Распутина. По причине одиозных политических воззрений подвергался нападкам либеральной прессы, в связи с чем его обширная лысина стала постоянной мишенью карикатуристов.

478

…Не пой, красавица… песни Грузии… дальний… — Неточно цитируется первая строфа стихотворения А. С. Пушкина «Не пой, красавица, при мне…», или, что более вероятно, популярный романс М. А. Балакирева на пушкинские стихи.

479

…судьба хранила этого сытого жулика… — Неожиданная — применительно к «голубому воришке» — реминисценция знаменитых пушкинских стихов из 1 главы романа «Евгений Онегин»: «Судьба Евгения хранила…»

Глава XL
Зеленый мыс

480

…не устраивайте в моем доме пандемониума… — Слово «пандемониум» обычно употреблялось в значении «преисподняя», «ад».

481

…репсовая… в полосочку… — Репс или рипс (фр. reps — рубец) — жесткая полотняная ткань с продольными мелкими рубчиками, используемая при обивке мебели.

482

…пудру Коти… — То есть пудру, изготовленную на предприятиях французского парфюмера Ф. Коти (1874–1934). В данном случае, вероятно, речь идет о подделке или контрабанде.

483

…необандероленный сухумский табак… — Бандеролью называли этикетку в виде узкой бумажной ленты с оттиском специального штампа или иным рисунком, наклеивавшуюся на товарную упаковку после уплаты торговцем пошлины; соответственно, «необандероленный» означает «беспошлинный».

Глава XLI
Под облаками

484

В журнальном варианте эта глава называлась «Печальный демон», что было аллюзией на первую строку поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон».

…Горы не понравились Остапу… Дикая красота… Никчемная вещь… — Аллюзия на опубликованное в 1925 году стихотворение Маяковского «Тамара и Демон»:

«От этого Терека
в поэтах
истерика.
Я Терек не видел.
Большая потерийка
Из омнибуса
вразвалку
сошел,
поплевал в Терек с берега…
Чего ж хорошего?
Полный развал!
Шумит…»

Это стихотворение, где, кстати, Маяковский иронически переосмысляет лермонтовские сюжеты (баллады «Тамара» и поэмы «Демон»), а также вышучивает известных литераторов-современников, будет обыгрываться и в другом эпизоде главы.

485

…автобус Закавтопромторга… — То есть автобус, принадлежавший Закавказскому автотранспортному торгово-промышленному акционерному обществу.

486

…мимо «Трека»… — Речь идет о владикавказском городском парке с оранжереями.

487

…собравшейся толпой соплеменных гор… — Аллюзия на строки стихотворения М. Ю. Лермонтова «Спор»:

«Как-то раз перед толпою
Соплеменных гор…»

488

…июль 1914 г… — Дата символична, поскольку знаменует рождение новой эпохи, изображенной в романе: 15 (28) июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии, а 19 июля (1 августа) Германия — России, то есть началась первая мировая война, в результате катастрофического хода которой и возник Pax Sovietica — уникальный мир Страны Советов.

489

…Великие люди… чуть повыше облака и несколько ниже орла… Где же вы, Коля, служите… по глупости отчета сбалансировать не можете… Киса и Ося здесь были… — Аллюзия на опубликованное летом 1926 года стихотворение Маяковского «Канцелярские привычки» — сатиру на курортников и туристов, стараниями которых горы Кавказа буквально испещрены «памятными» надписями даже на высоте «орлиных зон». В этом контексте сочетание «Киса и Ося» приобретает неожиданный смысл: Кисой Маяковский публично называл Л. Ю. Брик, а Осей — ее мужа, О. М. Брика, причем в июле 1927 года «Киса и Ося» действительно были на Кавказе.

490

…фундамент замка Тамары… — Речь идет о развалинах

средневековой крепости в Дарьяльском ущелье, которые легенда связывала с грузинской царицей Тамарой (XII век). Замок этот изображен в балладе Лермонтова «Тамара».

491

…*Дробясь о мрачные скалы… валы…* — Неточно цитируется стихотворение А. С. Пушкина «Обвал».

492

…*Битва при пирамидах…* — Аллюзия на Египетскую экспедицию Наполеона, во время которой французскими солдатами проводились массовые казни пленных.

493

…*Отдай колбасу, дурак! Я все прощу…* — Вероятно, Бендер перефразирует первую строку романса Б. А. Прозоровского на стихи В. Ленского — «Вернись! Я все прощу: упреки, подозренья…».

494

…*он ревел так, что временами заглушал Терек… увидел царицу Тамару… прилетела к нему… и кокетливо сказала…* — Аллюзия на стихотворение Маяковского «Тамара и Демон», где описана встреча поэта с царицей у Терека, причем поэт был «услышан Тамарой», поскольку голос его, который «страшен силою ярой», заглушил шум горной реки:

> «Царица крепится,
> взвинчена хоть,
> величественно делает пальчиком…»

495

…*Птичка божия не знает…* — Стихи из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы».

496

…И будешь ты цар-р-рицей ми-и-и-и-рра… слова М. Ю. Лермонтова и музыку А. Рубинштейна… — Имеется в виду опера А. Г. Рубинштейна «Демон», причем имя поэта, упомянутое в «демоническом» контексте, — очередное указание на стихотворение Маяковского «Тамара и Демон»:

«История дальше
уже не для книг.
Я скромный, и я бастую.
Сам Демон слетел,
подслушал
и сник…
К нам Лермонтов сходит,
презрев времена.
Сияет —
„Счастливая парочка!“
Люблю я гостей…»

Глава XLII
Землетрясение

497

…частное общество «Мотор»… — Официальное название этой организации — Кооперативное товарищество шоферов «Мотор».

498

…с филиалами во всех лимитрофах… — Лимитрофы (лат. limitrophus — пограничный) — государства, образовавшиеся на западных окраинах Российской империи в результате революции 1917 года и гражданской войны: Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша.

499

…в чесучовом костюме и канотье… — Чесуча (от кит. tsoudzu — шелк-сырец) — дорогая шелковая ткань, обычно светло-или темно-золотистая. Канотье (от фр. canotier — гребец) — соломенная шляпа с низкой тульей правильной цилиндрической формы и узкими прямыми полями, шляпы этого фасона были элементом молодежной моды 1870-х годов — их носили увлекающиеся греблей. В сатирической журналистике 1920-х годов чесучовый костюм и канотье — атрибуты преуспевающего коммерсанта, нэпмана.

500

…следили уже два месяца… на конспиративной квартире… засада… отстреливаться… — Как обычно, Бендер для очередной мошеннической операции умело использует материалы центральной периодики, непременно знакомые жертвам хотя бы понаслышке: к примеру, 5 июля 1927 года «Правда» опубликовала официальное сообщение о деятельности белоэмигрантских террористических организаций, подписанное председателем ОГПУ, а 6 июля — интервью с зампредседателя ОПТУ, рассказавшим о засадах на диверсантов, группами и поодиночке с боями

прорывавшихся к границе, погибавших в перестрелках и т. п.

501

…*Вечерний звон… он…* — Цитируется романс «Вечерний звон» А. А. Алябьева на стихи И. И. Козлова — перевод с английского стихотворения Т. Мура.

502

…*автобусы «Крымкурсо» и товарищества «Крымский шофер»…* — Акционерное общество «Крымкурсо», самая крупная крымская автотранспортная организация, занималось как автобусными, так и автомобильными перевозками, равным образом экскурсиями по Крыму; промыслово-кооперативное товарищество (или же «автоартель») «Крымский шофер» предлагало клиентам таксомаршруты исключительно на легковых автомобилях.

503

…*первый удар большого крымского землетрясения 1927 года…* — Речь в данном случае идет о землетрясении 11 сентября 1927 года, однако первое, куда менее сильное, было гораздо раньше — 26 июня.

Глава XLIII
Сокровище

504

…*УОНО…* — уездный отдел Наркомпроса.

505

…*в брезентовой спецодежде и в холодных сапогах…* — Вероятно, сторож на дежурстве носит обмундирование пожарного: широкая брезентовая куртка-плащ с капюшоном, брюки того же материала, сапоги с головками из грубой сыромятной кожи без подкладки и брезентовыми голенищами.

506

…*Клуб у нас, можно сказать, необыкновенный…* — Чудесное преображение сокровищ в новое здание клуба задано изначально: роман начинается 15 апреля 1927 года, когда в «Правде» была опубликована статья «Театр и клуб» — о «совещании профработников и деятелей театра», где, в частности, сообщалось «о тяжелом материальном положении клубов» и высказывалось предположение, что «конкретные данные, сообщенные представителями профорганизаций», будут способствовать «более деловому подходу к вопросам клубно-художественной работы». На ту же тему — причем в тот же день — высказался и «Гудок». В статье «Возможности есть — нет уменья», подписанной «Железнодорожник», изложена история благоустройства клуба, где, кстати, фигурируют стулья: «Еще с 1925 года железнодорожники просят установить в клубе радиоприемник с громкоговорителем, а им отвечают, что, мол, нет средств. Между тем правление клуба закупило 250 венских стульев, стоящих в 3–4 раза дороже обыкновенных скамеек со спинками. Если бы вместо стульев были закуплены скамейки, в клубе был бы уже громкоговоритель. Кроме того, стулья непрочны, скоро поломаются, и их рано или поздно придется заменить скамьями». В романе, как и в гудковской статье, правление клуба

«нерационально» приобрело дорогие стулья, они «скоро поломались», тем не менее клуб получил даже не громкоговоритель, а новое здание.

Подчеркнем: газетная хроника 15 апреля 1927 года — ключ к пониманию романа. В этот день газеты сообщили о «шанхайском перевороте», событии, которое «левая оппозиция объявила» крупнейшим поражением советской внешней политики, чреватым смертельно опасными для страны последствиями, а сталинско-бухаринская пропаганда в ответ приписала троцкистам попытку вернуть страну на десять лет назад — к эпохе «военного коммунизма», глобальной войны, «перманентной революции». 15 апреля началась погоня бывшего уездного предводителя дворянства за сокровищами — тоже своего рода попытка вернуться на десять лет назад, вернуть собственность своей семьи. В тот же день столичная пресса поставила вопрос об улучшении оборудования железнодорожных клубов. Осенью 1927 года троцкисты были разгромлены окончательно, а правительство позволило гражданам поверить, что глобальная война, «перманентная революция» надолго откладываются. Осенью 1927 года Воробьянинов убедился, что попытка вернуть прошлое не удастся. И осенью 1927 года был построен новый железнодорожный клуб — на воробьяниновские средства. Круг замкнулся. И в итоге авторы (иронически обыгрывая сюжет пушкинской «Пиковой дамы») доказали, что любые попытки вернуться в прошлое — безумны, гибельны. Потому буквально утратил рассудок Востриков, буквально обезумел Воробьянинов, буквально захлебнулся кровью своей Бендер, так и не узнавший, что избитый лозунг — «сокровища помещиков и капиталистов должны стать общественным достоянием» — реализован тоже буквально.